

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1966

11

1966

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 11

Ноябрь, 1966 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| ЮЛИЙ ТАУБИН — Стихи тридцатых годов. Перевели с белорусского Яков Хелемский и Н. Кислик (С предисловием А. Кулешова) | 3    |
| ЕФРЕМ МАРЬЕНКОВ — Огонь на Севере (Записки краскома)   | 8    |
| КАЙСЫН КУЛИЕВ — Говорю с жизнью, стихи. Перевел с балкарского Н. Гребнев   | 82   |
| И. ИСАКОВ — Кок Воронин, рассказ   | 85   |
| ВАДИМ ШЕФНЕР — Мирная ночь, стихи  | 106  |
| Б. ЗОЛОТАРЕВ — Невеста, рассказ  | 107  |
| ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — Два стихотворения  | 129  |
| ПАУЛ МИХНЯ — Желудь, стихотворение. Перевела с молдавского Новелла Матвеева  | 131  |

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| В. КАВЕРИН — Несколько лет | 132 |
|----------------------------|-----|

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

|   |     |
|---|-----|
| И. БОДЯКШИН — Из недавнего прошлого (Публикация и предисловие М. Ирошниковца) | 159 |
|---|-----|

### ПУБЛИЦИСТИКА

|   |     |
|---|-----|
| Г. КОЗЛОВ, М. РУМЕР — Только начало (Заметки о хозяйственной реформе) | 165 |
|---|-----|

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| А. ГУБЕР — Вьетнам сражается | 183 |
|------------------------------|-----|

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

|  |     |
|--|-----|
| М. БЕЛКИНА — «Главная книга». История одной библиотеки. (С предисловием А. Твардовского) | 195 |
|--|-----|

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

|  | Стр. |
|--|------|
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>  |      |
| <i>Полвека советской литературы</i>  |      |
| Т. МОТЫЛЕВА — Глазами друзей и врагов  | 225  |
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>   |      |
| <i>Политика и наука</i>  |      |
| Ю. Шаратов. Энциклопедия современного марксизма.— Е. Драбкина. Нежданные находки.— М. Галлай. Дела космические — и дела земные.  | 244  |
| <i>Литература и искусство</i>  |      |
| Б. Сарнов. И в музыку преобразили шум.— Л. Лазарев. Самое веское доказательство.— С. Кайдаш. Размахистость и небрежность.— Ст. Рассадин. Что сказал бы Маяковский?..   | 256  |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ  | 272  |
| КОРОТКО О КНИГАХ — А Платонов. Избранное.— Илья Зверев. Трамвайный закон.— Леонид Сапрсков. Дело к весне.— Г. Федоров. Дневная поверхность — Л. Иванов. Дерзать! — Франц Фюм.н. Суд божий.— Тадеуш Конвицкий. Современный сонник.— И. Дюшен «Жан-Кристоф» Ромена Роллана.— Х. Х. Камалов. Морская пехота в боях за Родину (1941—1945 гг.).— М. Певзнер. Два знамени — Н. Румянцева. Фридрих Зорге — человек упрямой справедливости.— М. М. Громыко. Западная Сибирь в XVIII веке | 280  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ  | 287  |

---



---

---

ЮЛИЙ ТАУБИН

★

## СТИХИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

С белорусского

*Белорусские газеты и журналы тридцатых годов охотно печатали стихи молодого поэта Юлия Таубина, в которых уже тогда звучал самобытный и сильный поэтический голос. Однако ранний литературный успех не вскружил ему голову. Его широкой образованности, отношению к поэтической работе можно позавидовать. Таубин прекрасно знал русскую поэзию, читал Гёте, Гейне, Шекспира, Байрона в оригинале. Ему прочили славное будущее, видели в нем восходящую звезду белорусской поэзии. На беду, жизнь Таубина оборвалась на пороге поэтической зрелости. Но для меня Таубин не погиб, не умер. Дружба, связывающая людей в юности, какие бы испытания ни выпали на ее долю, всегда с нами, она часть нас самих и нашей работы. Об этом я писал в «Монолог», посвященном памяти белорусских поэтов З. Астапенка и Ю. Таубина («Новый мир», № 2, 1965).*

*Не бесследным для белорусской советской литературы оказался поэтический опыт Юлия Таубина. Лучшие его стихотворения, отмеченные глубокой гражданственностью, подлинностью чувства, ритмическим богатством, привлекают внимание белорусских поэтов и по сей день.*

*В 1957 году вышла из печати книга «Избранных стихотворений» Ю. Таубина на белорусском языке. Книга быстро разошлась. Это лучшее свидетельство того, что стихи поэта выдержали испытание временем. Публикуя переводы некоторых из них в «Новом мире», мы надеемся, что они найдут и своего русского читателя.*

**Аркадий Кулешов.**

### *Вам...*

Вам, ослившим зámеть  
Лет холодных, походных,  
Я сдаю свой экзамен  
На высокую годность.

Вам, считавшим обоймы  
В боевых эшелонах,  
Нрав несу беспокойный,  
Ворох мыслей бессонных.

Однолеткам пытливым,  
Тем, что зданья возводят,-  
Этих звуков разливы  
И мечты половодье.

Что прошло, то — не с нами,  
А грядущему — слава.  
Я сдаю свой экзамен  
На высокое право.



Мы тоскуем и любим,  
 Побеждаем печали.  
 Я хочу, чтобы люди  
 Голос мой услышали.

Люди зрелого дела,  
 Вы — источники света,  
 Кровь, согревшая тело,  
 Соль двадцатого века.

Я сдаю свой экзамен,  
 Одержимый мечтою,  
 Чтобы «Годен», — сказали,  
 «Быть поэтом достоин».

Бьюсь не зря над словами,  
 Петь хочу — не впустую.  
 Рекам, взнузданным вами,  
 Я стихом салютую,

Вашей выси и шири,  
 Вам, бессмертные дети  
 Наилучшего в мире  
 Молодого столетья.

Вам, кто выдержал заметить,  
 Спас от старых невзгод нас,  
 Я сдаю свой экзамен  
 На поэтову годность.

*Перевел Яков Хелемский.*

## Смерть

\* \* \*

Когда я буду умирать и становиться телом постылым...  
 Я хочу, чтобы это случилось не скоро, — потому  
 Я теперь хочу жить, жить жизнью,  
 какая лишь мне по силам,  
 Жизнью, свойственной лишь мне одному.  
 Видеть, как солнце смеется на пыльном окне,  
 Окунать свое тело в лоно речонок тихих,  
 По морю плыть в рыбацьем челне,  
 Ходить по полям в перевозданной гречихе.  
 Я хочу встречать друзей и подруг, молодых и зрелых,  
 Хочу доверчивых женских поцелуев  
 И пожатия крепких мужских рук,  
 Чтобы чувство жизни во мне не сгорело,  
 Полное и многоцветное, как радужный полукруг.  
 Я хочу посетить огромные города,  
 Дальние страны с наречьями чужими.  
 Я хочу, чтобы воздуха свет, и земля, и вода  
 В каждой жилке моей напрягались и жили.

Чтобы мог я сказать, когда истекут мои сроки,  
Что беды и радости знал я на вкус и на ошупь.  
Чтобы спутников близких моих и товарищей строки  
Пронизывали меня своєю мощью.  
Хочу жить — пусть оступаясь, но не отступая —  
Вознесенный высоко силою времени,  
                        добыть свое твердое место на тверди земной.  
Знаю свои недостатки,  
                        но задача моя не простая.  
Мне двадцать первый год.  
                        Жизнь не за, а передо мной.

\* \* \*

Когда я буду умирать,  
                        пусть сойдутся друзья, с кем дорогу торил,  
Чтобы все пережитое мы заново обревизовали.  
Сыграйте тогда мне Бетховена «Марш № 3»,  
Мужественный и непреклонный, как мы с вами.  
Тогда я одолею этот презренный страх,  
Этот постыдный и жалкий страх животный, —  
Тогда я буду умирать  
Спокойный и свободный.  
Из гейневских сатир подходящее к случаю  
Выберите, чтоб высмеять безглазую старуху.  
Из наших стихов прочтите лучшее,  
Пожмите мне,  
                        товарищи,  
                        руку.  
А когда я сокровенное слово назову  
И двенадцать ночи пророкочет мерно —  
Настройте радиоприемник на Москву,  
На станцию имени Коминтерна.  
Чтобы в грудь мне хлынул ветер влажный,  
Сдержанный гимном взволнованных масс,  
Чтобы музыка  
                        курантов Кремлевской башни  
Дошла до меня в мой последний час.  
Вошла в сознание  
                        широким штормом,  
Как бессмертье, дарованное наяву,  
И примирила с потерей  
                        великой и неповторной  
Жизни, присущей мне одному.

\* \* \*

А пока еще —  
                        права на смерть не имеешь,  
И, по правде, не хочется  
                        и неловко даже...  
Каждая житейская подробность и мелочь  
Волнует и будоражит.

Небывало остро  
 ощущаешь и воспринимаешь.  
 Захватило половодьем чувств возвышенных.  
 Хочется бежать наперегонки с трамваем,  
 Полно мыслей,  
 выношенных и невыношенных.  
 Весна.  
 Зацветет сирень и крыжовник,  
 яблоня и смородина.  
 Приходит уверенность,  
 становлюсь в своем деле искусен.  
 Блуждания вкось  
 и ошибки пройденного  
 Отступают,  
 понятные в ракурсе.  
 Будем жить, жить!  
 Жизнь нужна позарез нам.  
 Умирать — ни смысла нет, ни охоты.  
 Будем жить.  
 Жить вдохновенно и трезво —  
 Всем нам достанет работы.  
 Я хочу, чтобы мы ощутили это  
 все —  
 Жажду жизни неутолимую эту.  
 Преображаясь,  
 роясь посев,  
 В бурях и штурмах,  
 в новой красе  
 Встает перед нами  
 обличье планеты.

### *Моя вторая книга*

Читатель, принимай  
 Бродягу-прощелыгу.  
 Наборщик, набирай  
 Мою вторую книгу.

Здесь все переплелось,  
 Сошлось, связалось вместе,  
 Что нарождалось врозь  
 При свете всех созвездий.

Отхлынуло давно  
 Тревог слепое иго,  
 И ты передо мной,  
 Моя вторая книга.

Да, неказиста ты,  
 Кошь встретить по одежке,  
 Не сыщешь красоты  
 В простой твоей обложке.

Не лучше и формат,  
 И шрифт под статью формату.



Ты вся на первый взгляд,  
Похоже, небогата.

Но что же мы?.. А ну,  
Отбросим эту позу!  
Читатель, я втянул  
Тебя в глухую прозу.

Уж ты меня прости  
За сетованья эти.  
Пора нам перейти  
К лирической беседе.

Березовая даль...  
Безбрежная свобода...  
Я приношу не дань,—  
Я песне сердце отдал.

Я только с ней одной  
В родстве прямом и кровном,  
Я с нею всей душой  
В пути ее неровном.

Березовая даль,  
Тревожная свобода...  
Я приношу не дань,—  
Я песне сердце отдал.

Она идет за мной —  
Оружье и защита,  
Стране отдарок мой,  
Единственный зажимок.

Я без нее, считай,  
Последний прощельга.  
Наборщик, набирай  
Скорей вторую книгу.

*Перевел Н. Кислик.*



---

---

ЕФРЕМ МАРЬЕНКОВ

★

## ОГОНЬ НА СЕВЕРЕ

*(Записки краскома)*

В Северодвинском направлении противник потеснил наши части по обоим берегам.

*(Оперативная сводка Красного фронта за 12 августа 1919 года)*

### **Глава первая**

I

**В** гром последнего майского дня возле станции небольшого песчаного городка Рогачева выстроилось в ряд несколько рот бойцов из отправляемого на фронт запасного полка. Красноармейцы томилась молча, рукавами смахивая пот с лица, и, казалось, не слушали слов комиссара полка, очень худого, жилистого черноволосого человека, который призывал их к подвигу и жертвам во имя родины и революции.

Несколько в стороне песок месила небольшая толпа местных жителей, преимущественно евреев. Проходя мимо, они останавливались поглядеть на солдат, стоящих с потными наподобие хомутов скатками через плечо. Родственников у бойцов в этом городишке, по-видимому, не было, поэтому не было слышно и женского плача; только одна белокурая молодая в деревенском сарафане и белом платочке украдкой вытирала глаза и успокаивала ребенка, ревно подпрыгивавшего у нее на руках.

Комиссар как-то внезапно прервал речь, воскликнув:

— Ура, товарищи!..

Когда смолкло не очень дружное «ура», стоявший тут же командир запасного полка Осмоловский выкрикнул:

— Поздравляю вас с походом! — И подал команду: — По вагонам!..

Встрепенулся духовой оркестр на правом фланге и рявкнул нечто очень бойкое, вроде кавалерийского марша. Началась шумная и веселая посадка.

Без гудков, без звонков тронулся эшелон, сопровождаемый все тем же бойким маршем духового оркестра.

В числе командиров одной из рот на фронт отправлялись и два смоленских краскома — Лев Гомулко и я, Алексей Бобров. Эшелон следовал сперва в Москву, в распоряжение Революционного Военного Совета.

Все были уверены, что из Москвы нас направят на Восточный фронт, который в апреле перешел в наступление. Недаром же плакаты, газеты и агитаторы призывали: «Все на Востфронт! Все на Колчака!..»

Но в Реввоенсовете сделали по-своему: вместо Восточного нас направили на Северный фронт. И что удивительно: из всего эшелона на Север направили только одну нашу роту, а остальные остались в Москве, в резерве.

Для нас подали отдельный состав из одиннадцати теплушек с двухъярусными нарами и одного облезлого классного вагона. В товарных разместились красноармейцы, ровно двести человек. Обмундированы они были вполне прилично: почти новые ботинки с обмотками, летние, тоже почти новые гимнастерки, шаровары, шинели или телогрейки. Были у них котелки и даже фляги и противогазы. Не было только вишенок.

В облезлом классном расположилась поездная бригада, веселый военфельдшер с аптечкой, отделение конвоя, сопровождавшего роту, и мы, четыре командира — ротный и взводные, а младший комсостав находился при своих бойцах.

Еще там, в Рогачеве, командиром маршевой был назначен Лев Гомулко, мой товарищ по курсам краскомов, совсем еще молодой, не больше девятнадцати, сын климовичского столяра и сам столяр. Невысокий, белобрысенький, он выглядел маломерком.

Я оказался его помощником, хотя был старше своего командира года на полтора и ростом был повыше него, не такой курносый и не белобрысый. Имел я и другое преимущество перед ним: больше него прочел книг, пописывал стихи, написал даже трехактную пьесу, которую ставили в клубе на курсах. И не только в этом я чувствовал свое превосходство: Лев Гомулко на фронт ехал почти совсем еще не обстрелянным, а я-то уже успел понюхать пороха в окопах на «Фердинандовом носу», за Двинском (это еще при Керенском, в 1917 году).

Кроме нас, в вагоне ехали два командира взводов. Иван Ковалев, бывший прапорщик. Был он еще молодой, высокий, недурен собой, но какой-то замкнутый, даже вроде бы пришибленный, разговаривал мало и нехотя. Однажды заметил он про себя, но вслух: «И зачем приезжала!..» И замолчал, упорно думая о чем-то своем.

Впрочем, как не думать ему? Что нам — одна голова на плечах! А у него остались мать-старушка, жена и двухлетняя дочка. Молодайка в деревенском сарафане, стоявшая в сторонке с ребенком на руках, и была его жена, приезжавшая из-под Зембина. А ехали-то мы не к теще в гости.

Второй комвзвода — Яковлев, можно сказать, почти уже старичок, хоть и брил бороду, оставляя только усы. На пятьдесят четвертом году своей жизни он добровольцем подался на Петроградские курсы краскомов, окончил их, попал в запасной полк в Рогачев и теперь вот ехал с нашей маршевой на фронт. Ну, на что он там? Будь он, скажем, большой военспец, вроде бывшего генерала, — иное дело. А то всего только командир взвода. Какой из него вояка, если он без задышки не может пробежать и двести шагов?

Характером он был невозмутим и добродушен, даже слишком, — возможно, это от лени. Всех нас — и командиров и красноармейцев — он называл сынками.

Вооружены мы были наганами. У меня и Льва Гомулко через плечо висели еще бинокли.



В нашем же купе ехал начальник конвойной группы, тоже комвзвода. Он сопровождал роту только до Вологды, где находился штаб 6-й армии, а оттуда вместе со своими конвойными должен был отправиться обратно.

## II

В одном из вагонов ехали два моих орланинских земляка, в прошлом дезертиры: Семен Каверзнев, сын бывшего хотинского старосты, и Петр Харитоненков, его сосед, дружок по несчастью. Это их нынче в апреле я, можно сказать, почти из рук главаря банды Семенчука-Фараона вырвал, обезоружил и сагитировал добровольно, без всякой боязни явиться в свой Орланинский военкомат.

На одной из остановок я вошел к ним в теплушку, захватив с собою московские «Известия» за первые дни июня. Мы сидели и, вспоминая наши такие необычайные встречи в родных местах, удивлялись тому, что вот и теперь неожиданно оказались в одном запасном полку и попали в одну маршевую роту. Потом я рассказывал новости из газеты. Рассказал, что Колчак ограбил Россию, сколько он захватил золота и серебра; прочел статью командующего Харьковским военным округом Ворошилова о банде Григорьева, о выпущенных им бумажных деньгах, на которых он написал: «Бей жидов, спасай Россию!» «Не Григорьев силен,—предупреждал Ворошилов,— а кулаки, которые с ним. Это опасно».

Во время нашей беседы ко мне неожиданно подошел очень высокий и худой красноармеец с крупным носом, рыжеватый настолько, что ресницы были бесцветными. Наверно, он был еще молодой, может быть, немного старше меня, но выглядел каким-то рано постаревшим.

— Товарищ командир, отпусти меня! — попросил он спокойно и серьезно.

— Куда?

— Домой.

Красноармейцы захохотали. Это они и надоумили его обратиться ко мне с такой просьбой.

— Как это — домой?

— Домой, в Рогачев. Там у меня мать. Совсем старая мать. И хро-мая сестра. Я сапожник. Я кормил их. А теперь что будет? Отпусти!

— Товарищ... Как твоя фамилия?

— Леонтович. А в Рогачеве зовут меня просто «холодный сапожник». И все знают меня.

— Товарищ Леонтович, по такой причине домой не отпускают.

— У меня еще много причин.

— Какие же?

— У меня голова болит. И еще есть причина: я боюсь.

Красноармейцы еще громче захохотали:

— Ой, уморил! Не тужи, холодный. на фронте горячим сделают!

— Товарищи! А смеяться, собственно, нечему,— сказал я.— Товарищ Леонтович, послушайте. Кто же хочет войны? Кто не боится?.. Но ведь ничего не поделаешь: надо защищать революцию!

— Они не боятся,— кивнул Леонтович на красноармейцев.— Они только смеются. А я не смеюсь: я боюсь войны и у меня часто голова болит.

— Если болит голова, вот приедем в Вологду, там будет осмотр, и заяви врачу: голова болит. А я ничем не могу помочь.

Он скривил губы, словно обиженный ребенок, и вдруг заплакал. Я понял, что голова его действительно не в порядке.

— Какой он больной? Лопает за троих! — сердито заметил один из бойцов и сплюнул себе под ноги. — Как есть стимулянт!

— Врач разберется.

Леонтович, вытирая слезы рукавом, пошел на свое место.

## *Глава вторая*

### I

В Вологде наш эшелон задержался всего на несколько часов. Леонтовича решили оставить в роте до медицинского осмотра, но врач к нам в эшелон не пришел, хотя на него и была подана заявка.

Потом Гомулко отправился в штаб армии, а я повел роту на питательный пункт, где и накормили нас супом из сушеных эвщей с постным маслом и перловой кашей да на три дня выдали сухой паек: по полтора фунта хлеба на каждого, сахар, конопляное масло и селедку.

Возвратившись из штаба, Гомулко похвалился: он познакомился с командующим и комиссаром. Нашей роте назначено было идти на укомплектование Вашко-Мезенского полка.

Дальнейшее направление нам было дано.

Из Вологды эшелон, теперь уже без конвоя, последовал через Вятку на Котлас. В теплушках душно, хотя двери были раздвинуты до отказа.

Путь из Вятки на Котлас был извилистый, а паровоз, как назло, несся бешеным аллюром; вагоны мотало так, что того и гляди они соскочат с рельсов и закувыркаются по откосу.

Не выдержав этой безрассудной и выматывающей езды, Гомулко выбежал на заднюю площадку нашего вагона, схватил сигнальную веревку и стал дергать ее. Через несколько минут поезд остановился. К нашему вагону тотчас же подбежали машинист в грязном, замасленном пиджаке и усатый «главный» с флажком в руке.

— Что случилось-та? — встревоженно восклицал проводник.

Но Гомулко не дал ему говорить.

— Вы что ж это: под откос хотите пустить нас? — грозно закричал он. — А пулю в лоб не хотите?

Загалдели и красноармейцы:

— Предатели!

— Контрики!..

Растерянный машинист с недоумением поглядывал то на нас, то на проводника.

— Почему поезд ведете по-сумасшедшему? Да еще на загибах? — повышая голос, спрашивал Гомулко.

— А-а-а, вот оно что!.. Потому-то и ведем по-сумасшедшему, что на загибах ведем! Надо знать профиль дороги. А вы его не знаете, товарищи, вот что... Не знаете, а вмешиваетесь не в свое дело: кричите, ишшо и пулю в лоб... Эх вы!.. Ну, ладно уж: сядите себе спокойно, только близко к дверям не стойте, а то ишшо так может мотануть, что из вагона кувыркнетесь... Сядите себе тихо, спокойно; доставим вас по маршруту в полной сохранности и к сроку... А теперь закурить не найдется ли? Ежель ласка ваша?

Гомулко отдал машинисту полную пачку махорки и прибавил полбуханки хлеба. Ему было стыдно. Но машинист и проводник, видно, уже ко многому привыкшие, не обиделись. Они сердечно поблагодарили за

хлеб и табак и еще раз уверили, что доставят нас в полной сохранности и к сроку.

Пока поезд еще не тронулся, командиры взводов прошли по вагонам, чтобы успокоить красноармейцев и предупредить их, чтобы во время движения поезда они не стояли у открытых дверей. А минут через десять паровоз снова прокричал жиденьким тенорком, зачихал дреvesными искрами, и вагоны опять понесло, трясся, как в лихорадке.

## II

В Котлас мы прибыли ночью. Паровозик отвел нас на запасной путь и куда-то убежал пить, а может, и за дровами. Красноармейцы спали, прикрыв на ночь двери, спали и наши комвзводов с военфельдшером. Мы слевой выбрались из вагона и прошли по городку.

Было удивительно тихо и непривычно светло в такой поздний час. Бледный полумесяц шурился, оглядывая уснувший городок. Кое-где мигали тусклые звезды. Мы вышли на берег широкой реки. С восточной стороны в нее впадает Вычегда, а с юго-запада — Малая Северная Двина. Эти реки, сливаясь здесь, в Котласе, и образуют могучую Северную Двину. Да, это не то что Днепр у нас в Смоленске!

Город состоял из кривых улочек, редких деревянных домиков. Но в то время слово «Котлас» обозначало не этот заштатный северный городишко — оно звучало полновесно и грозно, и даже когда об этом не упоминали, все добавляли про себя: важный стратегический пункт...

С Архангельском Котлас связан большой судоходной рекой, а с Москвой — железной дорогой. Именно поэтому интервенты и стремились захватить Котлас, чтобы, наступая отсюда — через Вятку, — разгромить нашу 3-ю армию, связаться с Колчаком и потом вместе ринуться на Москву. Котлас Ленин приказал удерживать во что бы то ни стало. Вот чем был тогда для нас Котлас, и невзрачность его строений словно еще повышала его важное значение, ибо он был уже как бы и не захолустный город с обывателями, живущими повседневными несложными делами, а «стратегическим пунктом», важным моментом всемирной истории.

Утром мы погрузились на большой речной пароход и поплыли по Вычегде на восток между белыми обрывистыми берегами. Плыли мы против течения, довольно медленно — только на третьи сутки высадились в Усть-Сысольске.

Усть-Сысольск был похож на Котлас: тоже городишко, улицы не вымощены, только вдоль главной протянуты неширокие дощатые тротуары.

Встретили нас устьсысольцы не совсем гостеприимно. Едва мы сошли на пристань, сидевшие там торговки зырянки наперебой загалдели: — Абу нянь! Абу нянь!..<sup>1</sup>

Однако за соль и селедку они с удовольствием отдавали нам и клюкву, и сушеные грибы, и запеченную в тесте рыбу.

На отдых мы расположились не в городе, а в ближайшей деревушке, по пять-шесть человек в избе. И здесь хозяева были не очень-то нам рады. Ясно было, что событий, происходящих уже не где-то далеко, в столицах, а здесь же, рядом с деревнями, зыряне не понимали и больше всего боялись быть в них поневоле втянутыми. Только дня через три-четыре отношения стали налаживаться, но и то лишь потому, что бойцы вели себя вежливо, ничего у хозяев не выпрашивали, а с ними делились солью, угощали махорочкой, помогали в работе. Через неделю почти

<sup>1</sup> Нет хлеба!



все красноармейцы ели уже с хозяевами за одним столом, отдавая им свой паек, и хозяева оставались довольны. А девушки зырянки просто-таки на глазах расцветали: каждый вечер пляски под гармонь и песни — и по-русски и по-зырянски!

Мы слевой поместились на одной квартире. Хозяин наш, Алексей Львович, еще молодой человек, жил с женой и двумя ребятишками-школьниками. Дом у него был просторный, из нескольких комнат, построенный, как обычно у зырян, вроде бы в два этажа, с жильем в верхней половине, вход в нее из нижней избы был по лесенке, словно на корабельную палубу.

Хозяин работал в городе, служил в учреждении, и каждое утро уходил в Усть-Сысольск, за три версты.

С первого же дня он отнесся к нам с такой доброжелательностью, словно мы были званые гости. Был он человеком очень развитым, а это было в то время для зырянина, живущего у себя на Севере, удивительно. В шкафу у него стояло немало томов Льва Толстого, Лермонтова, Чехова, Горького, собрание сочинений Пушкина было почти полным, увидел я у него и Леонида Андреева, Лескова и Мамина-Сибиряка. И не только художественная литература интересовала нашего хозяина: на отдельной полочке стояло несколько книг Ленина, Плеханова, лежали газеты «Известия» и фронтовая «Наша война».

— Край наш богатый, — говорил он нам, — да только не дается нам еще это богатство. Промышляем, кому чем вздумается: ловим рыбу, лес рубим, охотимся. Земли у нас непочатый край, но заболоченная.

— А как бывшие помещики ваши, капиталисты? — спросил Лева.

— Ни помещиков, ни фабрикантов у нас не было. Скупщики были и перекупщики, они и сейчас не перевелись, только делают все исподтишка.

— А как, по-вашему, зыряне относятся к Октябрьской революции?

— О революции у них понятие пока небольшое. Недовольны — сэли, красного товара, гвоздей, вообще железа нет, но имя Ленина чтут, тому хорошему, что о нем говорится, верят, ждут, что он все дело наладит.

Иногда под вечерок или ранним утром мы уходили с хозяином на речонку, приток Вычегды, с удочками и всегда приносили свежую рыбу — случалось, и стерлядь.

Отдыхали мы в этой деревушке дней десять. С удовольствием отдохнули бы и дольше, но связной из штаба Вашко-Мезенского полка, на пополнение которого следовала наша рота, прибыл с приказанием: «Пароходом немедленно следовать в Котлас и ждать дальнейших указаний».

На этот раз до Котласа мы плыли по течению всего полтора суток и тотчас же по прибытии присоединились к флотилии пароходов и барж, на которые уже был погружен весь личный состав и имущество Вашко-Мезенского полка.

### *Глава третья*

#### 1

Под вечер, перед закатом, к нашему пароходу пришвартовалась шлюпка. В ней сидели четверо. Двое из них по веревочному трапу поднялись на палубу. Один был в сапогах-вытяжках, защитного цвета суконных шароварах, в черной сатиновой рубашке, подпоясанной широким командирским ремнем; сбоку, чуть не на самой ягоднице, в кожаной кобуре висел у него наган, а в руках он держал ременную плетку и, слегка сутулясь, легонько похлопывал ею по голенищу, поглядывая нагло-дерзкими глазами. Судя по его открытому, без единой морщинки

лицу, ему не было еще и тридцати, но ссутуленные плечи, хмуро сдвинутые брови и небритость несколько старили его.

Второй был невысок ростом, круглолиц, с подбритыми усиками и одет был по-красноармейски: ботинки с обмотками, шаровары и приплюснутая фуражечка со звездочкой, хотя ремень у него был командирский и на боку тоже висел наган. Никаких командирских знаков ни у того, ни у другого не было.

Военный в ботинках с обмотками вдруг улыбнулся приветливо и спросил:

— Кто же из вас командир маршевой?

Гомулко сделал шаг к нему и, взяв под козырек, ответил:

— Командир маршевой роты — я. А вы?..

— А я — адъютант полка. Цветков моя фамилия. А вот и командир нашего полка — товарищ Кирвенко. Доложите ему о состоянии роты. — И кивнул на человека в черной рубашке, с плеткой в руке.

Гомулко подал команду «смирно». Отрапортовав, он, как и полагается, сделал шаг в сторону. Кирвенко подал ему руку, потом поздоровался с красноармейцами:

— Здравствуйте, товарищи!

— Здра-ас!..

— Поздравляю вас с благополучным прибытием на фронт!

Но тут красноармейцы ответили по-разному:

— Покорно благодарим!..

— Служим народу!..

А некоторые даже крикнули: «Ура!..»

— Есть в вашей роте члены партии? — спросил Кирвенко.

— Членов партии нет, — отозвался Гомулко, — а кандидатов два: я и командир взвода Яковлев. Есть и сочувствующие: краском Бобров, мой заместитель, и рядовой Каверзнев.

— А ты, — Кирвенко перешел на «ты», — давно принят в кандидаты?

— Недавно. Перед отправкой на фронт.

— В какой организации?

— В запасном полку, в Рогачеве.

— Только перед отправкой? Ну что ж, послужи. Потом и в партию примем. Конечно, если заслужишь. Красноармейцы присягу принимали?

— Принимали на Первое мая.

Он опять нахмурил белесые брови и обратился к бойцам роты:

— Товарищи! Мы уже на фронте. Правда, пока в резерве, но уже на фронте. А тут свой и очень строгий закон: невыполнение приказа командира, воровство, мародерство, побег с фронта — все это на фронте рассматривается как измена, как предательство революции!.. А за предательство — трибунал. А трибунал — это расстрел. Понятно вам?..

— Поня-я... — негромко и недружно ответили красноармейцы.

— Вот и прекрасно, коли понятно, — продолжал Кирвенко. — А теперь отдыхайте. Ночью отправимся на позиции. Будем сражаться с английскими интервентами и белогвардейской контрой за нашу советскую власть!

— Товарищ командир! — воскликнул красноармеец Каверзнев, мой земляк, на своем смоленском говорке: — А чим-то воевать будем? Ти, можить, голоруч?

— Оружие будет. Дадим оружие, товарищи. Только крепче держите его в своих руках. — Он обратился к адъютанту Цветкову: — Может, капитана навестим? — И они направились в каюту капитана парохода. Редким шагом проходя по палубе, Кирвенко слегка сутулился и тихо хлопывал себя по голенищу ремненной плеткой.

В эту первую встречу командир полка произвел на меня какое-то странное, я бы сказал, даже тягостное впечатление. В нагло-дерзких глазах его и каком-то нарочито неторопливом шаге мне чувствовалось нечто злое, звериное. И весь он, небритый, со вздувающейся жилой на лбу, в черной рубашке своей, с плеткой в руке, запугивающий нас военно-полевым судом, казался мне не похожим на командира Красной Армии.

— Ну, что скажешь? — спросил я Льва Гомулко.

Но он либо не понял моего вопроса, либо не захотел отвечать.

В полночь раздался басовитый гудок ведущего парохода, и караван судов, сопровождаемый пришибленным месяцем и цветными огоньками бакенов, медленно поплыл по широкой реке. Только и слышно было, как по воде шлепают плицы паровых колес.

## II

Перед рассветом третьего дня нашего плавания, когда караван судов причалил у правобережного притока Двины — Нижней Тоймы, на землю пал густой туман. А откуда-то из тумана глухо, словно из-под земли, донесся гул тяжелых разрывов.

— Слышишь? — шепотом спросил Лев Гомулко.

— Слышу.

Наступило пасмурное утро. Подул ветерок, кое-где разрывая туман. Стал накрапывать дождь. Накинув на плечи шинели, мы стояли на борту и прислушивались к отдаленным разрывам, глядя на выплывавший из тумана берег.

К нам подошли несколько спозаранку проснувшихся красноармейцев.

— Это что ж, из тяжелых бухают? — спросил один.

— Может, и из тяжелых, — ответил я.

— По ихним или по нашим?

— Может, и по нашим.

— Здорово лупят!

— Ничего не здорово! — с усмешкой возразил я. — Ничего не здорово, а даже совсем глупо: ну какой смысл стрелять при таком тумане? Ведь ничего же не видно. Совсем напрасная трата снарядов.

— Значит, наугад глушат? Как рыбу?

— Вот именно... А вы чего встали ни свет ни заря?

— Да так... по нужде. Пойдем, братва, поспим ишшо. Нехай бухают.

На правом берегу Двины, в самом устье Нижней Тоймы, раскинулось небольшое село того же названия; в нем были сосредоточены резервные части. Хотя из-за тумана не было видно ни села, ни людей, мы отчетливо слышали голоса и вдыхали дым домашних очагов. В полдень, когда туман поредел, мы увидели толпящихся на берегу матросов в черных бушлатах. Они приветственно махали нам бескозырками.

Сойти на берег никому из нас не посчастливилось. А в четвертом часу пополудни, оставив на причале один небольшой пароход и баржу, остальные три парохода с одной баржей на буксире поплыли дальше, навстречу доносившемуся гулу, который то затихал, то снова нарастал.

Вскоре мы остановились возле двух на якорь стоявших пароходов; на них были установлены орудия и пулеметы. Это был штаб нашей третьей бригады. Комполка и адъютант на шлюпке отплыли в штаб, и мы опять поплыли вниз, прислушиваясь к все нарастающему орудийному гулу. А еще спустя час мы стали на якорь почти у самого берега. В полуверсте от него раскинулась небольшая деревушка. Дальше впереди,

верстах в пяти от этой деревни, виднелось большое, в вечерних сумерках очень живописное гористое село с двуглавой церковью. Это было село Городок, в трех верстах за которым, как узнали мы, в лесу проходила линия огня.

Когда стемнело, мы начали высаживаться.

Нашу еще не вооруженную роту прибывшие квартирьеры повели в ближайшую деревушку, а все вооруженные стрелковые роты и пулеметные команды цепочкой направились по луговой тропке в Городок.

### *Глава четвертая*

#### 1

Утром 1 августа 1918 года жителей Архангельска встревожил донесившийся со взморья оружейный гул. Люди шли, а иные бежали к пристани. Вскоре там собралась уйма народу.

— Ужели немцы? Вот те и Брестский мир!

Но немцы тут были ни при чем.

Брызгая искрами из-под копыт, по булыжной мостовой рысью пронесся в черных бурках конногорный отряд Берса, бывшего ротмистра; потом прошла легковая машина, в ней сидели члены Совета обороны из военспецов: Потапов, командовавший сухопутными войсками, адмирал Викорст и капитан второго ранга Чаплин. Они ехали к зданию штаба обороны.

В губкоме партии тем временем собрались ответственные партийные работники Архангельска: Попов — председатель губисполкома, его заместитель Павлин Виноградов — беспартийный, в прошлом учитель. Были здесь Макар Боев, Пластинина, Теснанов, Андришин, рабочие, моряки.

Всегда быстрый в движении, Павлин Виноградов, протирая роговые очки, торопливо говорил Боеву, проходя с ним в кабинет:

— Вполне понятно, вполне!.. Дипломатические уловки их закончились провалом, и они решили захватить город вооруженной силой. Это же вполне понятно!

— Разбойники,— отозвался Макар Боев.

— Слушай-ка, друг, в случае чего тебе придется остаться в городе вместе со мной. Понимаешь?.. Подпольно будем работать.

— Понимаю.

— Очень хорошо. После обеда начнем погрузку на пароходы. Иди подготавливай семью в путь. А мы пока обсудим, как обороняться.

К полудню гул на взморье начал ослабевать. Стоявшие против Кег-острова два ледокола, вооруженные дальнобойными орудиями, подняли якоря и направились ко взморью, на помощь Мудьюгскому островному гарнизону. Совет обороны приказал Викорсту в случае безвыходного положения взорвать ледоколы в фарватере Двины, чтобы преградить путь союзнической эскадре.

На закате солнца со взморья донесся сильный гул: это оставшиеся в живых защитники острова Мудьюг взорвали пороховой погреб. Затем они сняли с уцелевших орудий замки, погрузили на катер раненых и отплыли к Архангельску, преследуемые огнем английских гидросамолетов.

По прибытии их в город стало очевидным, что серьезно сопротивляться гарнизон Архангельска не в состоянии и надо эвакуироваться не мешкая.

Началась спешная погрузка на речные пароходы семей партийных

и советских работников, семей моряков, рабочих, служащих, оружия, боеприпасов, продовольствия и государственной казны.

В ночь с 1 на 2 августа пятьдесят речных пароходов под общим руководством Павлина Виноградова (он хотел остаться в городе, но его заставили руководить эвакуацией) отплыли вверх по Двине.

В ту же ночь в Архангельске произошел контрреволюционный переворот. Его совершили военспецы Викорст, Потапов, Чаплин и Берс со своей черной сотней, добрую половину которой составляли завербованные еще в Петрограде контрреволюционно настроенные офицеры. Власть в городе захватили эсеры, которых активно поддерживали меньшевики. Тотчас же было учреждено заранее сфабрикованное правительство — Верховное управление Северной области, возглавляемое Чайковским, именовавшим себя народным социалистом, — была такая примыкавшая к кадетам партия.

Второго августа после полудня новое правительство на катере отплыло к острову Мудьюг, чтобы хлебом-солью встретить заморских гостей. Этого именно и хотели союзники: чтобы была видимость, будто они не насильно вторгались в Россию, а их приглашали сами русские!

## II

Военные корабли под американским, британским и французским флагами подошли к Архангельску 3 августа.

Утро выдалось тихое, теплое, ясное. На пристани собрались толпы горожан; среди них в рабочих блузах, надвинув кепи на глаза, блуждали Боев и Андриюшин. Возле оркестра стояли члены нового правительства; резко выделялась седая борода Чайковского; рядом с ним, в парадных мундирах, держали под козырек Викорст и Потапов.

— Нашли свое место! — проворчал Андриюшин.

— Тише, тише, — вполголоса остановил его Боев.

Зазвонили с церковных колоколен. Под звон колоколов началась высадка войск. На берег сходила английская пехота в зеленых френчах и брюках, в тяжелых, с двойными подошвами ботинках, за спиной — брезентовые ранцы, сбоку — противогазы, а на плечах — винчестеры, легкие ручные пулеметы.

Потом начали высаживаться шотландские стрелки с голыми коленями, в круглых беретах с кукишем на макушке. На офицерах — клетчатые юбки выше колен; по френчам — серебряные пояса с большими золотыми подковами на животе и свисавшими с них белыми кистями; вместо беретов — полосатые пилотки с кисточкой.

Над городом в это время, заполняя воздух гулом пропеллеров, летали и сбрасывали листовки английские гидросамолеты.

Поднял листовку и Андриюшин. Интервенты заявляли в ней, что войска их вступают в Россию не потому, что хотят захватить хотя бы одну пядь русской земли, а для того, чтобы помочь русским друзьям восстановить разрушенное хозяйство, армию, сделать ее вновь способной противодействовать Германии. Они говорили, что сожалеют о том, что в России началась гражданская война. «Мы оплакиваем гражданскую войну», — писали англичане.

Не было в этих листовках сказано лишь о том, что, оплакивая гражданскую войну, интервенты ее разжигали: с их помощью вспыхнули савинковские мятежи в Ярославле и Рыбинске, они открыто снабжали оружием Колчака, Деникина и Юденича.

Советская Россия, выведя свою страну из империалистической вой-

ны, нарушила все их расчеты, а с этим они примириться не хотели. Влекли их к себе также огромные лесные богатства Севера.

Колонной по шестнадцати в ряд, под духовую музыку войска проходили церемониальным маршем мимо большого белого здания на набережной, шли вдоль сквера. А на восточной окраине его в этот час несколько ребятишек и какой-то среднего роста мужчина в серой шинели расклеивали по столбам и заборам последний — от 2 августа — номер газеты «Архангельская правда», в котором был напечатан призыв комитета партии большевиков:

### «Дорогие товарищи!

Мировая гидра контрреволюции в лице английского империализма нанесла архангельской организации тяжелый удар. Комитет партии вынужден идти в подполье, дабы не быть разбитым мировыми разбойниками.

Товарищи! Революция в опасности. Наш долг — всеми силами и средствами спасти ее!»

### III

Днем начала интервенции в Архангельской области обычно считают 2 августа, когда англичане захватили остров Мудьюг. Но это, пожалуй, не совсем точно. Еще задолго до захвата острова они разогнали Кемский уисполком и расстреляли трех членов его, коммунистов; еще в июле, когда на заседании губисполкома обсуждался вопрос о высылке из Архангельска находившихся там итальянских и сербских военных отрядов (так как известно стало, что другие «союзники России» имели в виду использовать их против советской власти), английский и французский консулы, требуя оставления этих отрядов, заявили с угрозой:

— Члены губисполкома за свои незаконные действия ответят перед трибуналом той стороны, которая в дальнейшем окажется хозяином.

Председательствовавший Павлин Виноградов, выслушав угрозу консулов, быстро встал со стула и стоя стукнул кулаком по столу:

— Вон отсюда! А отряды будут высланы!

Впоследствии рассказывали, что Павлин Виноградов был в Москве, докладывал Ленину о положении на Сезере. Передавали даже подробности. Ленин, слушая, быстро расхаживал по кабинету. Потом, приостановившись, он сбоку посмотрел на стриженую голову Павлина Виноградова, на его очки и переспросил:

— Стукнули кулаком по столу и выгнали?

— Выгнал,— уже смущаясь за свою несдержанность, сознался Павлин.

Ленин еще раз оглядел его с ног до головы и, присев в кресло за письменный стол, заговорил строго:

— Разве можно так? Вы очень плохой дипломат, товарищ. Очень плохой! С консулами иностранных государств так не разговаривают.— Он пытливо взглянул на смутившегося Павлина Виноградова, и глаза его вдруг заискрились: — А впрочем, хорошо! Очень-очень хорошо!

И, слегка откинувшись в кресле, Ленин засмеялся.

Однако от души посмеявшись выходке товарища, он резко встал и быстро начал ходить по кабинету.

— Они не хотят мира, которого требуют народы,— говорил он гневно, глядя куда-то вдаль,— они нападают на нас, провозгласивших мир! Они боятся революции, социализма и хотят совместно с внутренней белогвардейщиной задушить революцию, уничтожить советскую власть.

Они хотят нашей кровью затушить пожар, искры которого перекидываются на их крыши!..

Он приостановился и в упор посмотрел на Павлина Виноградова. — Но им не удастся задушить революцию и свергнуть советскую власть! Наша партия, наш народ сильнее, чем они думают. С нами и за нас рабочие всех стран. Мы прогоним интервентов с русской земли, как вы прогнали их из своего кабинета. Хорошо, очень хорошо поступили!

#### IV

Заняв Архангельск, союзники стали хозяйничать в захваченном районе, словно в своем владении, а Чайковский, генерал Марушевский, позднее генерал Миллер были только прикрывающей грабеж завесой.

Командующий экспедиционным корпусом английский генерал Пуль назначил французского полковника Донопа начальником гарнизона, поручив ему контроль и над русскими властями. А тот, много не раздумывая, объявил город на военном положении, ввел жесточайшую цензуру на эсеровскую и меньшевистскую печать, хотя та юлила перед союзниками и приветствовала их вторжение, потребовал от правительства восстановить царские законы, возратить бывшим владельцам национализированные у них фабрики, заводы, лесопильные биржи, пароходы, магазины; отменить рабочий контроль на предприятиях и поднять над учреждениями царский трехцветный флаг.

Не сразу и не без выторгованных уступок, но в конце концов все это было выполнено «правительством» Чайковского.

С первых же дней по вступлении войск Антанты в Архангельск распоясалась их собственная, а затем и белогвардейская контрразведка. Начались аресты коммунистов, служащих советских учреждений, профсоюзных работников и вообще всех заподозренных в сочувствии советской власти жителей Архангельска, ближних и дальних сел и деревень. Их забирали и днем и по ночам и бросали в тюрьмы; многим тут же выносили приговоры и по ночам увозили за город, на «мхи». Тюрьмы Онеги и Архангельска не могли вместить всех арестованных. Тогда интервенты и белогвардейцы приспособили для избыточных плывучие тюрьмы, а на Мудьюге — небольшом болотисто-песчаном и продолговатом, как огурец, острове в Двинской губе — устроили каторжную тюрьму и начальником ее взамен французского тюремщика назначили известного своей жестокостью бывшего помощника начальника нерчинской каторги Судакова, человека редкой злобы.

Всего лишь через две недели по улицам Архангельска — из тюрьмы на пристань — гнали первую партию заключенных на каторжный Мудьюг, и все они были закованы в кандалы.

В числе каторжан шли Андриюшин и Тесанов. Пластинину увезли на «мхи», а Макар Боев при попытке его ареста отстреливался из своего нагана до последнего патрона, а последним покончил с собой.

Подбодренные поддержкой интервентов, в деревне подняли свою голову кулаки. Вовсю начали свирепствовать белогвардейские банды. Тысячи расстрелянных, заколотых штыками и заживо брошенных в проруби людей похоронили на своем дне многоводные реки Севера.

#### V

Северный фронт протянулся на тысячу верст по труднопроходимой лесисто-болотистой тайге. Основные силы интервентов и белогвардейцев были сгруппированы на двух главных направлениях: на железно-

дорожном, между станциями Плесецкой — Обозерской, и на Северодвинском, по обоим берегам реки.

В начале открытия Северного фронта особенно неустрашимо, отчаянно и с большим риском действовал Павлин Виноградов. Он объявил себя временным командующим Котласским военным районом, сгруппировал и подчинил себе отдельные разрозненные отряды, речную флотилию, вооружив ее орудиями и пулеметами, и поплыл вниз по Двине, навстречу продвигавшейся к Котласу вражеской флотилии; неподалеку от Березников столкнулся с ней и огнем орудий и пулеметов привел ее в полное замешательство — враг не ожидал такого стремительного натиска. Павлин Виноградов в буквальном смысле спас положение на Северной Двине в первые дни военных действий. Но уже в сентябре его убило осколком снаряда в тот момент, когда он заряжал орудие, чтобы выстрелить по врагу.

Короткая и самоотверженная жизнь этого беспартийного большевика и подвиг его заслуживают много большего, чем то, что я могу о нем здесь рассказать.

Его преемником стал молодой талантливый командир-артиллерист Уборевич, который сперва командовал батареей, а потом был назначен начальником 18-й дивизии. После успешно проведенной этой дивизией зимней операции по освобождению от интервентов Шенкурска Уборевич был переброшен на другой, более ответственный фронт.

Ко времени прибытия нашего полка на позиции, к лету 1919 года, огневой рубеж на Северодвинском направлении проходил по правому берегу реки, между селами Городок и Троица, у небольшой речки Тэди, правобережному притоку Северной Двины. А по левому берегу Двины позиции занимал Ижма-Печорский полк.

Деревушка наша оказалась маленькой, всего дворов пятнадцать; избы крепкие, двухъярусные, с высоко прорубленными небольшими окнами и петушками над крыльцом. Несколько изб было разбито снарядами и стояло как бы на карачках. Вдоль улицы, на огородах и на полях были вырыты окопы и ямы-убежища — в них жители прятались от вражеских гидропланов.

Разместились мы тесновато — человек по пятнадцать—двадцать в избе, и даже в тех избах, которые стояли «на карачках». Взводные командиры находились при своих взводах, а мы слевой облюбовали небольшую, но тоже двухъярусный домик на окраине.

Хозяин наш был белобородый, лет шестидесяти пяти крестьянин, человек угрюмый и малоразговорчивый. Зато хозяйка, овдовевшая невестка его, Анна Федоровна, или Анюта, как она сама назвалась, молодая и довольно пригожая женщина с кроткими голубыми глазами, встретила нас куда как приветливее. Она предложила нам свою двухспальную под пологом кровать, на которой, по-видимому, никто не спал; но дабы не стеснять хозяев, мы отказались и предпочли сеновал над хлебом, в котором находились упитанная холмогорка с телком, штук пять овец и несколько кур.

Лошади у нашего хозяина, как и у многих других жителей деревни, не было. А свиней на Севере почти вовсе не разводят.

В избе было чисто и опрятно, на окнах ситцевые занавески; святой кут заставлен иконами; в горнице, отделенной от передней половины деревянной перегородкой, стояли большой комод, причудливая, прямо на показ, самопрялка и предложенная нам пышная кровать, застланная простыней, одеялом и целой горкой подушек. Ни одной книжки, кроме старенького псалтыря, в доме мы не нашли.



### Глава пятая

В первый же день нашего знакомства в отсутствие старика молодая невестка его с какой-то кроткой улыбкой пожаловалась нам на свою судьбу. Она ведь не простая крестьянка, не мужичка, а дочь недавно умершего дьякона Городковского причта, и за простого, к тому же не совсем здорового крестьянина она вышла по нужде, так как духовенство впало в крайнюю бедность, а жених жил довольно исправно; после двухлетней совместной жизни муж умер, не оставив на утешение ей ребеночка. Сердце ее иной раз прямо сохнет от скуки, а кабы ребеночек был, все-таки жизнь была бы краше, а так и молодость не в радость. Но говорила она об этом довольно весело и так значительно подмигивала мне, что я чувствовал себя беспокойно.

Устроившись с квартирой, мы вышли на улицу. Солнце уже упало за дальний лес на левом берегу Двины. Орудийная пальба прекратилась. Красноармейцы тоже высыпали на улицу; некоторые из них возле крылечек начали чистить картофель, собираясь варить ужин, иные стали петь песни и заигрывать с девушками, словно на отдыхе в глубоком тылу...

И вдруг вечернюю тишину резко взорвали пулеметы и суетливо-беспорядочная стрельба из ружей. С каждой минутой бой разгорался; беспорядочно стучали пулеметы, и особенно настойчиво стучал пулемет на левом фланге. Огненные всполохи пронизали не только раскинувшийся за Городком лес, но и небо — с отвратительным визгом начала рваться шрапнель. Жители деревни рассыпались по своим дворам, ожидая налета гидропланов. Мы быстро построили роту и, невооруженные, стояли, молча прислушиваясь к стрельбе и с минуты на минуту поджидая гонца с приказанием.

Но через полчаса внезапно вспыхнувший бой начал затихать, потом и совсем все затихло. «Что такое?» — недоумевали мы и всю ночь держались наготове.

Утром оказалось, что белогвардейцы откуда-то (видимо, от шпионов) узнали о смене частей на наших позициях. А такого случая на фронте только и ждут: части перемешиваются и тем самым создаются очень благоприятные условия для внезапной атаки. И белогвардейцы ринулись в атаку, рассчитывая вызвать замешательство в сменяемых с позиции частях и захватить окопы. Однако первые подразделения нашего полка успели занять окопы, и враг был встречен буйным огнем сменяемого с позиции батальона Петроградского полка и четвертой роты и пулеметной команды нашего полка, которые занимали в это время позиции.

Оставив человек двадцать убитыми, белые отхлынули, увозя с собой раненых. Потери, много меньшие, были и у нас.

Из приказа по полку мы узнали, что в этом вечернем бою особенно отличилась пулеметная команда, в частности начальник ее Аристов, который на левом фланге сам залег за пулемет. За проявленное мужество командование полка представило Аристова к ордену Красного Знамени, но, раненый, он выбыл из полка, да так и не вернулся.

Так в первый же день начал свое боевое крещение наш Вашко-Мезенский полк.

Связной из штаба полка рассказал и кое-что совсем неутешительное: несколько рот вашкомезенцев, услышав начавшийся бой, остановились в лесу, за версту до окопов, в полной нерешимости, даже готовые к немедленному отступлению, и только подскакавшие к ним комполка

Кирвенко и адъютант образумили их и повели в окопы, навстречу врагу.

Тот же связной передал Гомулко приказания штаба полка: к десяти часам утра всей ротой прибыть к пароходу, стоящему на приколе в Городковском заливчике — вернее, заводи неподалеку от села, — за получением оружия, боеприпасов и продовольствия. А вооружив бойцов, оставаться в той же деревне до особого распоряжения и проводить занятия. Нам даже прислали расписание занятий.

По открытому, поросшему густой травой лугу мы повели роту к заводу, где стояли пароход и большая баржа. По лугу белели рубахи мужчин и платочки женщин, косивших траву. А косили они не обычным, принятым у нас способом, не косами, а большими серпами, изогнувшись в три погибели; левой рукой они захватывали горсть травы, а правой, широко взмахивая серпом, подсекали ее, словно жали рожь, и сырую складывали в небольшие копны, чтобы потом на носилках доставлять ее на свои усадьбы, где просушивали и сваливали на чердак или стоговали на огородах.

Пользуясь хорошей погодой и наступившим на фронте затишьем, крестьяне торопились с заготовкой сена. А на фронте действительно наступило затишье, изредка нарушаемое ленивой орудийной перестрелкой да ночными поисками разведчиков.

Мы шли к пароходу, с тревогой прислушиваясь, не загудят ли самолеты. Куда деваться тогда? Место открытое, ни кустика, ни оврага, — только ложиться и лежать пластом, не шевелясь. К нашему счастью, до парохода мы дошли вполне благополучно.

Нам выдали густо смазанные трехлинейные винтовки, десять цинковых коробок с патронами, смазку, ветошь и на неделю продовольствия: черных сухарей, несколько мешков сушеных овощей, бидон постного масла, соли, селедку, кирпичного чая, сахарного песку и по две пачки махорки на брата. Ни спичек, ни бумаги не выдали — может, забыли, а может, этих предметов и вовсе не было на плавучей базе.

На обратном пути внимание наше привлек полный военный человек, который, словно парнишка, бегал по лугу и маленьким сачком ловил бабочек. Глядя на него, красноармейцы хохотали и отпускали по его адресу сочные шутки.

Каково же было мое изумление, когда я в бегавшем за бабочками военном узнал нашего орланинского доктора Модеста Семеновича Зюзина.

Я подбежал к нему.

— Здравствуйте!

— Алешка!.. Вот так так! Значит, тоже на фронт прибыл?

— Да, на фронт. Вчера только.

— А я уж три месяца работаю здесь военным врачом. Мой медпункт в Городке, а я решил позабавиться: для коллекции вздумал наловить бабочек, у нас, на Смоленщине, таких нет.

Я рассказал ему, что встретил в Смоленске, на Днепровском мосту, его жену Марию Гавриловну, бывшую мою учительницу, и дочь их Тонечку. Он слушал меня грустно. Потом вдруг улыбнулся:

— Значит, Тонечка моя здорова?

— О, да! И такая красавица!

— Красавица, говоришь? Вот и женись на ней. Отвоюешься — и женись!

— Что вы, что вы! Впрочем, будем живы...

Мы поговорили еще несколько минут.

— В свободный час заходи ко мне в медпункт! — предложил доктор. Я поблагодарил, распрощался с ним и побежал нагонять роту.

Возвратились мы в свою деревушку тоже благополучно, хотя погода все стояла ясная, летная. Это было большой удачей, потому что жители рассказывали, что английские самолеты часто рассеивали их пулеметным огнем, когда они работали в поле.

Раздав по винтовке и по шестьдесят патронов на бойца, я приказал красноармейцам чистить оружие. Когда оно было приведено в полную готовность, приступили к дележке продуктов.

И начались для нас трудовые будни: утром мы выводили бойцов на прогулку строем, днем занимались по программе, изучали уставы, ружейные приемы, сомкнутый и рассыпной строй. Так прошло несколько дней. За это время Лева сумел-таки подружиться с нашей Анной Федоровной.

В свободное время красноармейцы ухаживали за скотом, пилили дрова, косили траву, и хозяева, как в деревушке под Усть-Сысольском, зажили с ними одной жизнью. Наш хозяин, однако, становился день ото дня угрюмей. «Наверное, догадывается об амурах невестки своей!» — думалось мне. Но, оказывается, совсем не в том было дело, его беспокоило другое. Соседи пользовались помощью красноармейцев, а он везде был один. Как же! На квартире у него командиры, люди все время занятые, их не попросишь поухаживать за скотиной или пособить на покосе... После того, как мы это узнали, к нам на квартиру под вечерок, а то и днем стали приходигь по два-три бойца, они и помогали хозяину в работе. А он за это подкармливал их и с нами становился приветливее.

В таком благополучии мы прожили дней шесть и вдруг получаем с нарочным распоряжение штаба — откомандировать в такую-то роту двадцать бойцов с полным вооружением и снаряжением, снабдив их аттестатами; на следующий день снова распоряжение — откомандировать столько-то бойцов в такую-то роту...

Мы предполагали, что наша рота воьется в состав полка неделимой, как самостоятельная боевая единица. И это, нам казалось, было бы гораздо целесообразнее, потому что мы уже свыклись друг с другом, знали друг друга. Но вот роту совсем расколошматили, до единого бойца, и сами мы, комсостав, были распределены: Гомулко с комвзвода Иваном Ковалевым, бывшим прапорщиком, направили в третий батальон, в девятую роту, а меня и старичка Яковлева — в первый батальон, во вторую роту. Гомулко и я стали помощниками командиров рот, а Ковалев и Яковлев — командирами взводов.

Погоревала, прощаясь с ними, Анна Федоровна, да ничего не попишешь — война! Мы оставили у нее наши чемоданишки с вещами — авось когда-нибудь вернемся. Она попросила у нас на память фотографические карточки. Ну что ж, нам не жалко, пожалуйста!

## *Глава шестая*

### I

Канцелярия роты, в которую я получил назначение, находилась в Городке и размещалась в просторной избе зажиточного крестьянина, неподалеку от церкви. В селе же были расположены штаб полка, хозяйская и комендантская команда.

Я застал только ротного писаря, уже немолодого бойца в гимнастерке с расстегнутым воротом. Лицом он был немного рябоват, но приятен, особенно хороши были приветливые серые глаза. В избе было душно, по окнам ползали мухи, пахло прелью; чувствовалось какое-то казенное запустение, от которого так и тянет на свежий воздух.

— А где я могу видеть командира роты?

Он тотчас же привстал, поправил ремешок и отрекомендовался. Командир роты ушел на заставу.

— Это на самой окраине села, за мостиком,— сказал писарь Коваленков,— в старом сарае. Я провожу вас. Мне все равно идти туда с бумагами. Прислали к нам в роту пятнадцать человек на пополнение, и вот теперь копаюсь с ихними бумагами, аттестатами.

Услышав за стеной постукивание сапожных молоточков и неясный говор, я спросил:

— Это что же здесь, и мастерская?

— Какая там мастерская! Так, два сапожника ковыряются, починяют. Одного недавно прислали. Чудной какой-то..

Мы с Коваленковым прошли в соседнее помещение, в котором постукивали молоточками. Каково же было мое удивление, когда я увидел красноармейца своей маршевой — Леонтовича. Он всполошился, даже обрадовался:

— Товарищ командир! И вы к нам?

— Да, вот видите, к вам.

— Очень хорошо... А я опять сапожничая: я же холодный сапожник. А знаете, на меня послали бумагу в Рогачев, чтобы семья моя — старушка и сестра хромая — не голодали.

— Вот видите... А голова теперь не болит?

— Немного болит, когда очень есть хочется. Кормят нас совсем нехорошо!..

— Зачем обижаться? Вы подрабатываете у крестьян. Вам-то еще житуха! — возразил писарь.

— Да, житуха. Только всегда есть хочется.

— Ну, уж это...

Но что «это» — писарь так и не сказал, только рукой махнул, и мы пошли к выходу. У крыльца нам повстречался бородатый крестьянин лет сорока, в белой рубахе и холщовых синих штанах, в опорках на босу ногу.

— Хозяин! Это — помощник нашего командира роты! — отрекомендовал меня Коваленков.

Хозяин поклонился вежливо, даже маленько осклабился.

— Так, так... Теперь молодые пошли в начальники, все молодежь. Милости просим! — проговорил хозяин и спросил: — Родом из нашего ли крестьянского класса или по партийной линии?

Я не ответил, а только кивнул ему, и мы направились к церковной оградке, возле которой меня должен был поджидать комвзвода Яковлев.

— Ишь ласковый какой! А на самом деле суцая вредность, хозяин-то!

— Разве?

— О-о, хитер, как паук!

Комвзвода Яковлев сидел на затененной сторонке церковной паперти вместе с моложавым объемистым попом, который курил трубку. Они о чем-то оживленно спорили.

— Эх, бать, поговорил бы и я с вами,— сказал я,— да сейчас не время... Пойдем к ротному, товарищ Яковлев.

## II

Пройдя длинную улицу, мы свернули в переулок, перешли мостик, переброшенный через глубокий овраг, и оказались у ветхого сарая. Здесь, в сарае, мы застали командира роты Добрых и нескольких бойцов — связанных от взводов; красноармейцы лежали на соломе, а коман-

дир роты сидел на колоде у полевого телефона и с кем-то разговаривал. Когда он положил трубку, я представился ему.

— Очень рад! Очень рад! Только вы не козыряйте. Проще, проще. Мы — свои люди... Ага, бумаги! Давай, голубчик, давай! Сейчас займусь вами. Обедали вы? Впрочем, скоро обед, скоро. А я сейчас!.. Давай бумаги, братец, давай!

Мне немного странной показалась суетливая приветливость командира роты. А он уже обратился к писарю:

— Все, голубчик? Ну, можешь идти!

Усевшись с нами на соломе, ротный начал расспрашивать: откуда мы прибыли, давно ли; потом начал объяснять расположение батальона и своей роты.

— Командир батальона у нас Иван Васильевич Епов. Замечательный, душевный человек, из бывших прапорщиков, член партии. Он сейчас находится в штабе батальона. А штаб расположен в лесу, верстах в трех отсюда; две роты — первая и третья — занимают позиции на фронтальном направлении. А наша рота находится на фланге. Заставы наши разбросаны версты на три вдоль непроходимого болота. Собственно, не заставы, а отдельные полевые караулы. Один взвод прикрывает батарею и находится с версту отсюда, а может, и полторы будет. Да мы выйдем за ворота, я вам наглядно покажу!

Мы вышли из сарая, одна стена которого оказалась расщепленной осколками разорвавшейся вблизи авиабомбы.

— Вот там, на опушке, — указал он рукой, — стоит наша батарея — четыре орудия. Один взвод нашей роты и прикрывает ее. — Он обратился к комвзвода Яковлеву: — Вам придется принять этот взвод... А вот от самого леса и вправо, вдоль болота, как я уже и говорил, версты на три тянется участок нашей роты. Участок тихий, спокойный, непроходимое болото, но на всякий случай полевые караулы выставлять приходится — мало ли что... А правее нас — это уже далеко за Городок — расположен конный отряд всем известного горца Хаджи-Мурата; очень храбрый и дерзкий командир, из кавказцев... Так вот, примите взвод, который прикрывает батарею! — снова обратился он ко взводному Яковлеву. — А вы уж останетесь со мной, на главной заставе. Не так ли? — повернулся Добрых ко мне.

— Слушаю...

— Вот пока и все. Об остальном еще поговорим. А теперь скоро и обед. Уже третий час... Как, ребята, не пора ли за супом?

— От взводов уже идут.

— Так и вы берите котелочки и отправляйтесь в село. Берите супу на всех шестерых. Без горячей пищи плохо. Святое дело — горячая пища... Да, вот что, ребятки, по пути зайдите к библиотекарю — может, свежие газеты есть. Скажите — для второй роты... А я сейчас позвоню и доложу Ивану Васильевичу о вашем прибытии! — И он потянулся к телефону, который тотчас же запищал комариным писком. — Алло! Иван Васильевич?.. Ах, это вы, товарищ Серебряный. А где же Иван Васильевич?.. Ушел в первую роту... Так вот что, товарищ адъютант, когда комбат вернется, доложите ему, что во вторую роту прибыли командиры — мой помощник, товарищ Бобров, и комвзвода Яковлев. Оба краскомы... Нет, не оба молодые: командир взвода — в годах... Пожалуйста... Будьте здоровы!.. Ну вот, пообедаем чем бог послал... Неважно кормимся мы, да ведь что сделаешь? Ну, а потом можно будет и отдохнуть.

— Да, отдохнуть не мешало бы, сынок! — отозвался комвзвода Яковлев. — Целый день на ногах.

## III

После более чем скромного обеда комвзвода Яковлев в сопровождении связного отправился к батарее, комроты Добрых прилег на солошке отдохнуть, а я занялся газетами. Принесли их порядочно: несколько номеров «Известий», две «Правды» и номеров пять фронтовой газеты «Наша война».

Немало накопилось новостей за эти полторы недели. Новости разные — хороших, пожалуй, больше: Ворошилов принял командование армией; на Украине громят Петлюру; рабочий класс Англии, Италии и Франции организует генеральную забастовку в защиту Советской России. И последняя приятная новость: нашими войсками на востоке занята Уфа...

А вот и неприятное: под Петроградом наши части отошли. Деникин наступает на Курск и Воронеж; нехорошо и на Волге, у Царицына: враг стремится прервать наши важнейшие пути к хлебу и топливу...

Конечно, все плохое проходяще, я глубоко верю в это. Деникина останоят и попрут к морю; укрепится наше положение и под Петроградом, колыбелью революции. «Но терпение и время, терпение и время!» — как говаривал Кутузов.

*Глава седьмая*

## I

Ночь мы не спали: сидели на соломе со связными и клевали носами, порой подбадривая друг друга. Так и провели всю ночь, покачиваясь со стороны на сторону, вплоть до самого рассвета. А когда стало совсем уже светло, вздремнули, но ненадолго. Часов в девять утра на заставу к нам пожаловали командир батальона Епов, высокий, рыжеватый, еще довольно молодой человек, одетый в летнее красноармейское обмундирование и в добротные сапоги, а с ним и батальонный адъютант Серебряный, белокурый, с приплюснутым носом, в каком-то песочного цвета балахоне с откидным капюшоном, в пенсне. Он весело поздоровался и, видимо по привычке, слегка мотнул головой, словно у него чесался подбородок.

Прихватив одного связного, мы отправились в полевые караулы, разбросанные вдоль охраняемого фланга. В первом полевом карауле, подступы к которому были скрыты ложбинкой, мы застали красноармейцев бодрствующими. Они в небольшом окопчике кипятили чай. С ними находился и командир взвода пулеметчик Пунин.

— А часовые у тебя выставлены? — спросил его комроты.

— А как же! Часовые стоят у самого болота.

Поговорив с красноармейцами о житье-бытье и скудном пайке, мы, теперь уже шестером, ложбинкой направились к следующему полевому караулу, который занимал окопчик в полуверсте от первого. Пока шли ложбинкой, было все тихо и спокойно; на фронтальном направлении не слышно было ни одного выстрела. Но едва мы поднялись на высотку-вершинку, на склоне которой шагах в тридцати был виден окопчик, где-то в лесу раздался одинокий орудийный выстрел. И вдруг мы всем нутром своим услышали нарастающий визг снаряда.

— Ложись! — крикнул комбат.

Мы пали на землю, и тотчас же в ложбинке взметнулся песок, блеснул и раскатисто крякнул разрыв. Осколки над головой нашей взвизгнули, впиваясь в землю.

— В окоп! — снова крикнул комбат.

Мы быстро поднялись и бегом бросились к окопу. Именно в этот момент раздался второй орудийный выстрел. Я видел, как вдруг побледневший адъютант Серебряный сорвал с носа пенсне и, подобрав полы своего балахона, прытче всех побежал впереди. Едва мы вскочили в окоп, позади нас взметнулась вспышка и раздался взрыв...

— Да, не шутят! — проговорил Добрых.

— Это черт знает что! Этак же могут и убить! — воскликнул адъютант Серебряный.

— И даже фамилии не спросят, — заметил я.

Но он не понял моей шутки.

— Нет, нет, не спросят!

— Неужели они оттуда увидели нас? — удивился комбат.

— Вероятно. Иначе бы не стреляли, — ответил Добрых.

Послышался еще выстрел и еще. Снаряды ложились возле самого окопчика, и мы сидели в нем съежившись, как и красноармейцы, которые, по-видимому, были очень недовольны нашим посещением: до нашего прихода их никогда не обстреливали из орудий.

Выпустив по окопу снарядов двадцать, противник обстрел прекратил.

— А как же нам выбраться отсюда? — забеспокоился Серебряный. — В самом деле ведь могут убить!

— Нарочно не убивают, — сказал комбат. — По одному, бегом в ложбинку. Я — первый!

Он поднялся и, пригибаясь, бегом бросился в ложбинку, и только пробежав высотку, упал на землю; спустя минуты две из окопчика выбежал я; потом — командир роты, комвзвода Пунин и связной. Последним уже не бежал, а полз адъютант Серебряный.

Дальше командир батальона и адъютант не пошли. Перед тем как уйти в свой штаб, комбат Епов сказал командиру роты, вернее приказал:

— Здесь, на высотке, надо бы прорыть ход сообщения.

— Слушаюсь...

— А вы уверены, что болото это непроходимо?

— Как я могу быть уверенным, Иван Васильевич? — возразил Добрых. — Я не обследовал его.

— Вот то-то и оно... Надо разведать болото!

— Слушаюсь...

Комбат и адъютант повернули назад и ложбинкой, пригибаясь, направились на заставу, к сараю. А мы четверо прошли еще вдоль всего участка роты. Тишина и спокойствие.

Комроты Добрых взглянул на часики: шел первый час пополудни; в животах уже слышалось вступление к маршу, и мы повернули на заставу, в полуразрушенный сарай.

Когда мы возвратились домой, комроты Добрых озабоченно проговорил:

— Вот что, товарищ Бобров: завтра, этак с утра, возьмите с собою пятерых красноармейцев и обстоятельно разведайте это проклятое болото. Ежели оно непроходимо, то далеко не зарывайтесь. Шут с ним! Но ежели по нему все-таки можно пройти, то это обязательно надо уточнить. А то ведь недалеко и до греха: оборона-то у нас перед болотом совсем слабая. Как вы на это смотрите?

— Слушаюсь...

День прошел сравнительно благополучно. Правда, три вражеских гидросамолета покружились над болотом, над Городком, потом сбросили две бомбы в районе батареи и улетели. А под вечер, как обычно, с канонерок выпустили десятка полтора тяжелых снарядов, нащупывая:

наши пароходы и батарею. Но наша батарея не отозвалась, и стрельба прекратилась. Ночь тоже прошла тихо: ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны; в лесу мирно куковали кукушки, кому-то отсчитывая годы, а может быть, и дни.

Когда случается затишье, то и на войне можно жить припеваючи и мечтать о будущем счастье, если оно вообще существует на грешном свете нашем.

## II

А утром, вооружившись биноклем и компасом, я отправился с пятью красноармейцами на разведку болота. До леса мы дошли по сухой кромке, тянувшейся вдоль трясины, а от леса, то есть с левого фланга нашего участка, свернули в болото и углубились в него приблизительно на полверсты. Сперва мы шли довольно благополучно, хотя заросшее мелким кустарничком и осокой болото чавкало под ногами так, словно хотело их сжевать. «А все-таки пройти по нему можно!» — подумал я. Но потом болото начало засасывать ноги все глубже. Мы продолжали, однако, двигаться вперед: я несколько впереди, двое по сторонам от меня, шагах в пятнадцать, а трое — сзади, вроде прикрытия. Чем дальше мы пробирались, тем глубже погружались ноги; мы уже проваливались иногда в топь выше колена, а то и по пояс, но хватались за кусты, выкарабкивались и снова шли.

— Дальше не пройдем, товарищ командир! — не раз останавливали меня бойцы.

— Как так не пройдем? — возражал я и, цепляясь за кустарник, преодолевал кочку за кочкой, пока не ухнул в трясину чуть ли не по самую грудь и меня едва успели вытащить подоспевшие красноармейцы. «А пожалуй, и верно, болото непроходимо!» — подумал я, но решил идти дальше.

— Куда же тут переть? Ведь гибель! — заартачились красноармейцы, не двигаясь с места. Их упорство почему-то взорвало меня.

— Нет, пойдете! — прикрикнул я. — Раз я иду, так и вы пойдете! Это я попал в одно гиблое место, а идти еще можно... Можно еще идти! — снова проваливаясь по грудь, проговорил я.

— Рятуйте! — вдруг раздалось слева от меня. Красноармейцы, сами утопая в трясине, бросились на крик. Я приостановился, обождал, потом окликнул их. Никто не отозвался. Я еще раз окликнул, и опять никто не отозвался. Оглянулся — никого не видно, наверно, скрылись за кустарником. «Неужели они повернули назад? — с тревогой подумал я. — Ну, подождите же!» И, сверив направление по компасу, я пошел один. Болото радостно и торжествующе захлюпало, обдавая меня вонью.

Часа три шел я наугад, пока наконец не почувствовал, что болото начинает сдавать, под ногами становится как будто тверже. Впереди посветлело, и я вышел на твердую бровку. В изнеможении я присел на траву и только теперь почувствовал, что окончательно выбился из сил.

Часа полтора просидел я. Наконец встал, огляделся — и вдруг увидел окопчик. Тот самый окоп, возле которого накануне нас обстреляли из орудий. Я направился к нему, но меня тотчас же окликнул часовой:

— Ни с места! Руки вверх!

Вероятно, он ни разу еще меня не видел и не мог понять, как и откуда на него вышел человек. Я стоял с поднятыми руками, пока не подошел начальник полевого караула и комвзвода Пунин.

— Как ты оказался тут? — удивился комвзвода.

— Разведывал болото, да вот маленько переборщил: надо было выйти прямо к главной заставе, а я вон куда забрел!



— И ты не утоп в болоте? — удивился Пунин.

— Сам видишь: не утоп.

— Значит, болото проходимо?

— Смотря для кого..

Только часа в три после полудня пришел я на свою заставу. А тут уж из-за меня поднялась целая тревога. Оставившие меня красноармейцы доложили командиру роты, что болото непроходимо, что они едва не погибли, а командир не послушался их, не вернулся и наверняка сгинул в болоте.

— Как же вы могли оставить своего командира? — закричал на них всегда мягкий в обращении с подчиненными командир роты.— Предатели! Я вас под суд отдам! Сейчас же назад, бегом! Без командира не возвращайтесь! Живого или мертвого доставить его сюда!..

О проществе комроты Добрых доложил по телефону комбату.

— Что ж, подождем до вечера. И если он не вернется к вечеру, доложим командиру полка, что при выполнении боевого задания пропал без вести. А болото будем считать непроходимым. Что делать с красноармейцами? Как наказать? Можно и в трибунал. Да ведь жалко все-таки ребят. Покрасить бы им рожи, да нельзя. Накажи, как сам знаешь!

И вот появился я, живой и невредимый, только измученный.

— Голубчик, да как же вы решились? Я ведь предупреждал вас, чтоб глубоко в болото не лазить. Ведь уже ясно, что оно непроходимо!

— Как же непроходимо? Я-то прошел?.. Ну ладно, об этом после. Помыться бы, поесть чего и спать, спать!

— Сейчас! Все это мы сейчас... Ребята,— обратился он к связным.— Подогрейте суп, чаю вскипятите!

Запищал телефон.

— Товарищ Епов? Вернулся-таки краском Бобров!.. Нет, говорит, пройти все-таки можно!.. Да, да, проходимо.

Но как же в самом деле наказать провинившихся бойцов? Посадить их под арест? Невыгодно: им отдых, а людей и так не хватает. Оставить без обеда, как в школе? Это совсем неприемлемо: какой потом из него, и без того голодного, боец? Оставалось только сделать им выговор, постыдить их. Так комроты и сделал, когда они, обескураженные напрасными поисками, мокрые и грязные под вечер еле добрались на заставу.

## *Глава восьмая*

### **I**

Тайга никогда не спокойна. Даже в часы ночного затишья, когда замирает все — звери, птицы и шишки на соснах висят неподвижно,— даже в эти часы безмолвия можно услышать легкий отдаленный шум: это дышит тайга.

Да, она жила, дышала, и ночи проходили в напряженном ожидании. С тех пор как непроходимое болото оказалось труднопроходимым, никто из нас не мог вздремнуть хотя бы на часок: ежеминутно мы ждали к себе по ночам гостей с фланга.

Тем радостнее мы встречали большое красное солнце. А когда оно уже поблескивало на крестах городковской церкви и над болотом редел туман, красноармейцы ложились отдыхать. Иногда я уходил во второй взвод, прикрывавший батарею, и там растягивался под сосной, засыпая под редкие выстрелы из орудий.

Как-то в первых числах июля утречком прикрывавшие батарею красноармейцы сидели у костра на опушке леса и, вспотевшие, с растегнутыми воротниками гимнастерок, варили молодую картошку, вы-

менянную у жителей на селедку; ее варили со свежей стерлядью, которую наловили рубашками в обмельчавшем городковском заливчике-заводи.

На всех лицах было довольство. Утро выдалось такое тихое, безоблачное — красота! На рогульках висели котелки с молодой картошкой и свежей стерлядью, а на соснах, прямо над нашими головами, безбоязненно прыгали белки.

Помешивая суп, земляк мой Каверзнев уверял, что стерлядь жирнее и сытнее свиного сала. Дробненький и веснушчатый боец Ярославец, кстати очень суеверный человек, возражал ему:

— Может, и жирнее, но рыба эта из змеиной породы, даже по хребтине видно! — И он кипятил только чай.

Неразговорчивый пулеметчик Потапов заметил хмуρο:

— Дурья ты башка, Ярославец!

Я еще не познакомился ближе с этим бойцом. Знал, что в Красную Армию он вступил добровольцем, а до армии работал плотником в Архангельске. Говорили, что там, в Архангельске, он неведомо за что жестоко был избит англичанами: шомполами ему вспороли всю спину. А его сестру английские солдаты утопили в Двине, у Кег-острова: она не хотела уступить им, они и утопили ее.

Сейчас он сидел несколько в стороне, подле обомшелого пня, на котором приспособил свой пулемет для стрельбы по воздушным целям, и мастерил мундштучки. Сидел он голый до пояса (вымытые гимнастерка его и рубашка просушивались возле этого же пня), и на его спине отчетливо видны были рубцы. Значит, правду о нем рассказывали.

Всего возле костра сидело человек двенадцать, кипятивших чай или варивших суп; остальные бойцы отдыхали под соснами; в кустарничке, шагах в семистах, стояла наша батарея, а в лесу, неподалеку от нас, пофыркивали артиллерийские кони.

Время еще было раннее, но солнце, выбравшись из болота, уже упало в Двину. Комвзвода Яковлев спал где-то под сосной, и до нас доносилось его мерное прихрапывание.

Эту мирную тишину вдруг нарушил гул пропеллеров. Не ожидая моей команды, Потапов и Каверзнев стали проверять свои пулеметы (пулемет Каверзнева был установлен на изгороди). Я приказал затоптать костры, убрать котелки и просыхавшие рубашки. Потапов сунул свое барахлишко под куст и прикрыл его лапничком.

Гул приближался, он стал оглушительным, и над нами навесились двенадцать гидропланов. Они летели развернутым строем над лесом и так низко, словно над своей территорией. Без бинокля видны были сидевшие в кабинах летчики.

Мы залегли в кустарничке. Было жутко: ведь двенадцать гидропланов! Они кружатся над нами: может быть, заметили дымок или блеснит котелок Каверзнева? Почему-то кружатся они именно над нами и очень низко. Они ищут нас. Да, безусловно, ищут, чтобы уничтожить, смешать нас с пылью! Но почему же молчит наша батарея?..

Первая бомба грохнула где-то возле батареи.

— Во как! — громко проговорил пулеметчик Потапов и сплюнул.

Самолеты как будто стали удаляться. Но их гул затих всего на несколько минут. И опять начал нарастать. Они вновь закружились над нами. Снова послышался визг, но теперь он был гуще и продолжительнее. Земля вздрогнула и качнулась, сосны застонали, с треском начали падать сучья. Кони заржали и бились, срываясь с привязи. А бомбы, сразу по нескольку штук, падали, поднимая фонтаны земли.

Инстинктивно пригибаясь, я побежал к артиллеристам. По дороге

наткнулся на комвзвода Яковлева. Только сейчас он проснулся! Он глядел на меня спронею недоумевающе, на усах хвоя и трава.

— Сынок, наступают, что ль?

— Сверху!..

Орудия так хорошо прикрыли хвоей, что и с земли я их не сразу распознал и подбежал чуть ли не к самым дулам. Артиллеристы лежали на земле между сосен, тоже прикрывшись хвоей.

— Почему не открываете огонь? — впопыхах крикнул я.

С дерева послышался язвительный тенорок командира батареи, тоже старичка:

— Надо знать технику артиллерии! Вы обязаны знать ее, а вы не знаете, товарищ краском!

Он сидел на суку сосны, свесив босые ноги, и слегка наклонялся ко мне, словно хотел укусить меня. И в самом деле, у наших полевых орудий траектория настильная, а цель над головой...

Молча повернувшись, я побежал к стрелковому взводу: командир батареи кричал мне вслед что-то язвительное — что, я не слышал, но по голосу понятно было.

Позади меня грохнуло, бомба взорвалась возле самых орудий.

Подбежав ко взводу, я скомандовал:

— По гидропланам из пулеметов...

Задрожали оба пулемета, выплевывая огонь; раздались и ружейные залпы, которые открыл комвзвода Яковлев; в этих залпах я различил чей-то отдельный, несогласованный выстрел: оказывается, Ярославец прильнул к сосне и стреляет без команды, в одиночку.

— Слушать команду взводного! — крикнул я ему, но он не слушал. Приложится — и бах! Приложится — и бах!

Я еле успел пригнуться, когда на склоне нашего оврага взорвалась бомба. Меня отшвырнуло, в глазах завертелись сосны, гидропланы, привиделись, помню, и босые пятки командира батареи, кувыркающиеся в воздухе...

Придя в себя, я, как очумелый, вскочил и огляделся. Поодаль от пулеметчика Потапова ерзали на коленках и охали несколько бойцов; лоскутья шинелей и клочья белой рубахи висели на суках. Потапов лежал у пулемета, поводя рыльцем его по гидропланам, а у Каверзнева что-то застряло; он даже не замечал, что его плечо в крови. Я подбежал к нему.

— Перекос, так его в душу, — ругался пулеметчик, выбрасывая замок. Руки его дрожали, и я помог ему. Не успели мы вложить новую ленту, как послышался отчаянный крик Ярославецца, стрелявшего в одиночку:

— Товарищ командир, гляди! Гляди!..

И в самом деле один из гидропланов быстро пошел на снижение. Вот он сел на воду почти у самого берега. А бойцы, даже и раненые, наперебой кричали в азарте:

— Гля, гля, сбили!..

— У-гу-гу!..

— Тонет, тонет!..

Громче всех кричал Ярославец. Он уверял, что это он сбил гидроплан своим последним выстрелом.

— Я целился ему прямо в пузо! Прямо в пузо! — кричал он.

Эскадрилья, заметив снижение гидроплана, всей стайей потянулась к нему. Но только она отдалилась на некоторое расстояние, с батареи послышалась команда и минуту спустя загрохотали орудия. Гидропланы бросились вроссыпь, набирая высоту.

Когда я услышал артогонь, в душе моей вспыхнула горячая благодарность к старичку комбатареи. «Жив!» — подумал я о нем. «Живы!» — подумал я и обо всех его артиллеристах.

## II

В бинокль отлично видно было, как из кабины севшего на воду гидроплана выбирались двое. Стоя по грудь в воде, они барахтались, возясь с пропеллерами. Два гидроплана, отделившись от эскадрильи, вновь снизились, видимо, намереваясь приводниться, но опять загрели наши орудия, снаряды взорвались в воде неподалеку от летчиков. Гидропланы метнулись в стороны и резко взмыли ввысь.

Летчики вышли на берег. Они сели и, торопливо сняв обмундирование и белье, бросили все в воду. Что они хотят делать? Вот они бросились в Двину. Вплавь к своим? Но до Троицы семь верст, не менее. Неужели они надеются доплыть? Вот черт их поберет!

— Товарищ командир, разреши! — о чем-то просил меня Потапов, показывая на летчиков. Схватив винтовку, он бросился вниз, на луг. Он бежал, словно на пожар, только мелькала его голая исполосованная спина. Поняв намерение Потапова, Ярославец и Громов, даже не спросив моего разрешения, бросились вслед за ним. Я их не удерживал, но приказал:

— Живьем! Слышите, живьем их! Да поищите в Двине их обмундировку. Пригодится!

Летчики плыли. Вот они уже посреди реки. Плыли они, не взмахивая руками, словно дикие утки-гоголи, чернели только их головы. Пропало! Уплыли!

Над бегущими тремя начинают кружиться те два гидроплана, остальные поднялись повыше и потянулись вдоль Двины. Слышно было, как стрекочут в воздухе пулеметы: с гидропланов стреляли по бегущим красноармейцам. Вот они падают... Поднимаются и опять бегут. Потапов добежал уже до берега почти против летчиков и вдруг упал как-то совсем неуклюже. Да ну же, ну!.. Неужто подстрелили? Нет. Он снимает ботинки, шаровары. Вот он голый с разбега бросился в Двину. Что он, с ума сошел?

Я вспомнил, что в заливчике, у баржи, привязана лодка-долбежка. Она маленькая, но двух человек поднимет. Приказал двум красноармейцам:

— К барже! Там лодка. Плывите наперерез. Не будут славаться — стреляйте!.. Да, стой! Одной винтовки хватит, одной! Другому-то надо грести.

Каверзнев тоже хотел бежать с ними, но, сделав несколько шагов, вдруг побледнел и сразу как-то смяк.

— Каверзнев, сейчас же марш на перевязочный! Товарищ Яковлев, отправить всех раненых в Городок, на перевязочный пункт!

Спустя полчаса сопровождаемые лодкой английские летчики уже плыли к берегу. Рядом с лодкой плыл Потапов. Один из летчиков несколько раз пытался ухватиться за борт, но красноармеец взмахивал обломанным веслом, и тот покорно плыл дальше, впереди Потапова.

Прошло еще несколько томительных минут. Вот они уже не плывут, а идут по дну и выходят на берег. Потапов надевает шаровары и ботинки. Все стоят и ждут его. Вот он поднимается. Все они идут гурьбой по лугу. Над ними кружатся все те же два гидроплана, но бросать бомбы и стрелять они теперь не смеют: у них не хватит решимости убивать своих.

А на опушке леса, возле самой воронки, в нетерпеливом ожидании толпились красноармейцы, восклицая наперебой: «Из воды да живьем, во как!», «Каб не лодка — уплыли бы!»

### Глава девятая

#### I

Молодой летчик шел легко и бодро. Его мускулистое тело было загорелым, черные волосы коротко острижены. Второй летчик был уже немолод. Он шел, опустив лысеющую голову, и глядел на свои босые ноги. Казалось, кости его на ходу поскрипывают, как не смазанные в суставах. Впереди них шел Потапов. Лицо его по-прежнему было хмуро и неприветливо. Он ни на кого не глядел, словно сам был пленный.

Взглянув на меня, он спросил:

— Ну, куда мы их?

— В штаб полка. Я тоже пойду.

— Мы их в штаб полка, а они нас — в штаб Духонина! — хмуро и зло проговорил Потапов, искоса поглядывая на пленных.

Когда мы вошли в село, из многих изб начали выходить жители; женщины стыдливо прикрывали глаза рукой, но сквозь пальцы все-таки глядели.

Пожилой летчик теперь выпрямился и шел совершенно спокойно, ни на кого не обращая внимания, словно встречались ему не люди, а вещи, а молодой стеснялся и наклонил голову... Я решил одеть его. Завел в переулок и, подойдя к крылечку небольшой избенки, сказал одному из конвоиров:

— Сними-ка шаровары и отдай молодому пленному, а сам пока посиди так в избе.

— Не совестно мне, что ль? — пробурчал он, но снял шаровары. — И после него, гада, надевать неохота...

Я жестом показал молодому летчику: дескать, сейчас наденешь. Летчик поглядел на замызганные, не по росту шаровары, брезгливо поморщился и отрицательно повертел головой.

— Что ж это, они и тут хотят хозяевами быть? — усмехнулся Потапов. — Может, его подогнуть маленько? — И в то же мгновение неожиданно замаялся на молодого летчика.

В толпе сельчан кто-то ахнул. Женщины взвизгнули и отбежали подальше.

— Товарищ Потапов, ты с ума сошел? — крикнул я.

Он смутился и глядел на меня растерянно.

— Бить пленного?

Я бросил взгляд на красноармейцев. Они молчали и отворачивались, явно не одобряя мою взыску.

— Давай свою винтовку!

— Товарищ командир...

— Товарищ Потапов, пойми, что он, может быть, такой же рабочий, как ты. Может быть, и на фронт он попал не по своей охоте!..

— Они все добровольцы, — возразил Потапов, но все-таки он подошел к пленному и проговорил как-то нехотя, смущаясь: — Не бойся, больше не буду... Хоть ты и гад, а мне и самому нехорошо!

Пленный, должно быть, понял его по жестам. Он улыбнулся и протянул Потапову руку.

Нас догнал бежавший от самого берега красноармеец Громов, «вололаз». Он достал-таки со дна Двины сапоги пленных — все остальное, по-видимому, унесло течением. Одну пару сапог он хотел взять себе,

так как ботинки его совсем прохудились, но я не разрешил, и летчики надели свои сапоги на голые ноги. И смех и грех!.. Но не вести же их голых в штаб? Я стал писать донесение и просил выдать для пленных какое-нибудь обмундирование. Но не успел и отослать свое донесение, как из штаба прискакал верховой и привез с собой два новых комплекта красноармейского обмундирования, в том числе и новые ботинки.

— Это для пленных! — сказал он.

— Ага, догадались?

— Как не догадаться? Все видели. На горе стояли, возле церкви, и все видели. Вот командир и приказал, чтоб одеть их, обувь.

Для пожилого рукава гимнастерки оказались очень короткими, и руки его торчали, как грабли; молодой еле-еле натянул на себя одежду, а застегнуть воротник не смог.

А ботинки, говоря откровенно, я присвоил: одну пару дал Потапову, а другую Громову. Обоим — в награду, если командование позволит это считать наградой. А нет — запишу в их вещевой аттестат.

## II

На допросе в штабе полка выяснилось, что высокий и худой летчик — капитан, англичанин, а молодой — капрал, уроженец Шотландии. Оба они в северной экспедиции участвуют добровольцами.

Спрашивал их на немецком языке адъютант нашего батальона Серебряный. На первый вопрос — понимает ли капитан по-немецки — тот ответил:

— Делайте свое дело...

— С норовом, черт возьми! — усмехнулся Кирвенко. На этот раз он был не в своей черной рубашке, а в диагоналевой гимнастерке, а густые каштановые волосы его были слегка взлохмачены. Когда он спрашивал, на лбу его вздувалась синяя жилка, серые дерзко-нагловатые глаза щурились испытующе и насмешливо.

— Спроси его фамилию!

Капитан отказался назвать свою фамилию. Вообще он не желал разговаривать: большевики могут делать свое дело без всяких разговоров.

— А тебя как звать? — спросил комполка молодого летчика. Адъютант задал этот вопрос по-немецки, но летчик не понял. Наконец он догадался и ответил:

— Вилли Варслэнд.— При этом он взглянул на капитана, но тот, не обращая на него внимания, разглядывал свои худые волосатые руки, торчавшие из коротких рукавов гимнастерки.

— Парень крепкий, а ума, должно быть, немного, на того глядит,— усмехнулся Кирвенко.— Что ж, приглашай их обедать.

— Русский полковник приглашает вас поесть! — по-немецки сказал адъютант.

Капитан поднял голову и что-то ответил.

Адъютант пояснил:

— Он говорит, что за него могут дать большой выкуп...

— Скажи ему, что мы людьми не торгуем.

— Вы сохраняете жизнь пленным? — спросил англичанин.

— Кто чего заслужил! — отозвался Кирвенко, но адъютант перевел несколько иначе:

— Да, сохраняем, если они отказываются от дальнейшей борьбы с нами.

— Я всегда буду вашим врагом,— сказал капитан, в упор глядя на командира полка.

— Ну и черт с тобой! — улыбнулся Кирвенко. — Так и передай: черт его побери. Но все-таки предлагаю ему пообедать. Будет он обедать или нет?

— Да, он будет обедать.

— Давно бы так, — рассердился Кирвенко.

Но капитан вдруг заявил, что он не может сидеть за одним столом с солдатом. Кирвенко удивленно приподнял брови:

— Но ведь это их солдат!

— Это все равно, — ответил капитан. Но он мог бы есть в компании русских офицеров, хотя они и большевики.

— Ну и ну! — воскликнул Кирвенко. — С ним-то, может, я и не сяду.

Он недоуменно посмотрел на молодого пленного: как же ему быть с ним?

— Товарищ командир! — вмешался я. — Прикажи выдать мне двести пачки махорки, и этого парня я накормлю за милую душу!

— Махоркой, что ли? Хорошо, зайди к каптеру. Кстати, представь к награждению отличившихся бойцов. А тебе — спасибо! — И он пожал мою руку.

— Служу мировой революции!

### III

Молодой летчик обедал со мной в избе, где размещалась наша ротная канцелярия. Зашли мы к хозяину втроем, на его жилую половину. Третьим был Потапов с винтовкой, в качестве конвоира. Он присел на скамью, а мы с Варслэндом — за стол. Хозяин был мужичок зажиточный, но скупой, к тому же, как говорил писарь Коваленков, «хитрый, как паук». Поняв, в чем дело, он оказался удивительно любезным: подал нам хлеба, молока, нажарил молодой картошки с бараниной. Собственно, не сам он жарил, а жена его, глуховатая и бездетная баба. Она налила кружку молока и отвернула ломоть хлеба и Потапову. И что бы вы думали? Хозяин даже отказался взять махорку за обед, а отсыпал себе только на несколько папирос... Махорочку взял себе Потапов с превеликим удовольствием.

Пленный ел не жадно, но исправно. Налегал он, однако, на картошку и баранину и, что меня удивило, ел без хлеба. Оказывается, у них вообще мало едят хлеба, а этот, ржаной, к тому же с примесью картошки и мякннки, не понравился ему.

Мне очень хотелось поговорить с ним. Знать бы мне по-английски хоть слов десять — пятнадцать, и то уж было бы достаточно, как тому сторожу нашей Орланинской волости Сидору Осиповичу, что сумел прожить долгие годы, обходясь всего пятнадцатью словами, примерно: стариша, писарь, ваше благородие, белая, красная, закус... Правда, когда он изрядно выпивал и его заставляли на губах играть польку-мазурку, какую он выучился играть на кларнете в полковом оркестре — это еще в царствование Александра II, на теплых водах, — он притопывал ногой и выкрикивал новые слова: «Даму мне, даму!» Вся остальная речь его сводилась к нескольким фразам: «Все в законе, все в порядке». Или наоборот: «Все не в законе, не в порядке»... Мы с Варслэндом в словарном запасе своем оказались даже беднее волостного сторожа Сидора Осиповича. Недавно я начал по самоучителю заниматься эсперанто: зачем учить много языков, когда можно обойтись одним? Но знал я очень мало, а он не понял и тех слов, которые я сказал.

Не находя нужных слов, мы стали прибегать к очень убедительному и доступному языку жестов. Он спросил мое имя.

— Алексей Бобров.

— Я благодарен мистеру Попроу.

«Сенкью» — это я понял: спасибо, дескать.

— За что?

— О!..

Замечаю, что хозяин очень внимательно прислушивается к нашему разговору, старается уловить и понять каждый жест.

— Про штой-та вы, а?

— Насчет войны...

— Так-так... Что ж он говорит?

— А тебе зачем знать?

— Как же, мучить-то они долго еще будут нас?

— Нет, теперь уж недолго, уйдут.

— Это слава богу, слава богу!

Допив молоко, Варслэнд погладил себя по животу.

Вот и хорошо, коли сыт. Оба, довольные и обедом и разговором, которому не позавидовал бы и волостной сторож Сидор Осипович, мы поднялись из-за стола.

Под вечер обоих пленных в повозке отправили в штаб бригады. В нее сел и адъютант Серебряный, а вестовой комполка Андрей, вооруженный винтовкой, сопровождал их верхом на лошади.

Я отправил красноармейцев-конвоиров в их взвод, на опушку леса, а сам пошел в сарай, на заставу. Солнце внезапно скрылось, словно упало в лес и затерялось в нем; над селом начали опускаться белесые сумерки, но в воздухе разливалась теплынь. Я шел один, думал о жизни, и мне почему-то стало грустно, жаль чего-то. А чего — я и сам не мог понять.

## **Глава десятая**

### I

В субботу 5 июля под вечерок я отпросился у командира роты отлучиться в соседнюю деревушку. Мне хотелось помыться и переодеться, а мой чемодан с бельишком все еще оставался на старой квартире, у Анны Федоровны.

— К ночи вернетесь? — спросил Добрых.

— А как же!

— Только не идите через луг — место открытое. Лучше версты две дать крюку и спокойно идти дорогой, там и кустики и канавки и вообще пообочь закрытая местность. Сами понимаете: мало ли что.

Но обходить лишние две-три версты мне не хотелось, да и времени было в обрез, и я попер напрямик по открытому, уже скошенному лугу. Ходили же мы днем и целой ротой, и ничего. Чего же сейчас остерегаться?

Шел я легко и весело, радуясь, что вырвался на волю. Я шел и думал. Думал о короткой жизни своей и неразделенной любви моей к Лене Орловой. Достал из брезентового подсумка ее карточку, которую всегда носил с собою, и долго смотрел на нее. На меня глядели такие правдивые, с легкой и доброй усмешкой карие глаза ее. А волосы рассыпаны по плечам. Может, и красоты особой в ней не было, но зато было что-то такое мне дорогое, что, наверно, не забуду ее всю жизнь! «Любила ли она меня хоть когда-нибудь? — спрашивал я себя и убеждал: — А все-таки любила. Хоть и вышла замуж за другого, а меня все-таки любила».



Я спрятал карточку и оглянулся по сторонам. Справа от меня золотистой рябью играла на закате Двина, и над нею устало качались беспокойные чайки. Слева синела опушка леса, за которым на многие десятки верст тянется знакомое мне топкое болото, поросшее мелким кустарником и осокой.

Вечер наступал тихий, спокойный и грустный. Увлеченный своими воспоминаниями, я незаметно отмахал уже версты три и свернул на черную тропку, ведущую к деревеньке, как вдруг послышался басовитый гул. Я невольно ускорил шаги. Шесть гидропланов, летевших до безобразия низко, закружились над Городком, сбросили несколько бомб, затем направились вверх по Двине. Но два стервеца, отделившись от группы, повернули прямо на мою деревеньку. Я — бегом. Но разве от самолета убежишь? Меня заметили. Сперва взвизгнули пули над головой, а потом я услышал и стук пулемета. Я стоял тихо, не шевелясь, как столб, и только когда они, пустив несколько очередей по деревне, направились вслед за своими, я опять пустился бегом. Еле отдышался потом.

## II

Белобородый хозяин и Анна Федоровна оказались дома и после бани при свете лампадки пили чай с сахаром. Анна Федоровна искренне обрадовалась мне, усадила за самовар и принялась разжигать печурку.

Хозяин посмеивался:

— Значит, не убило тебя? Зазря, зазря! — слегка качнувшись, проговорил он. — Зазря по лугу ходишь... Намедни на нашу деревню налетели. Бабу одну, Феклу, поранили и двух овецек подстрелили... Зазря, зазря! — засмеялся он и опять качнулся.

«Э-э, да ведь он пьян!» — догадался я.

— Где вы сахар достаете?

— Это ишшо зимой, в Шенкуре... Как, значит, завоевали красные ваши город этот Шенкур, уезд наш. Мы, мужики, всей деревней, скопом, туда за солью.. А я и сахару на базаре за овечку!

Анна Федоровна поставила сковороду с яичницей на стол и достала из резного буфета бутылку с какой-то коричневой жидкостью.

— И мне налей! — сказал хозяин.

— А может, батюшка, довольно?

— Нет, налей!

Она налила нам по полному стакану, а себе чуть-чуть.

— Что это? — спросил я.

— Свойская бражка. Она — ничего. Милости просим!

Выпили. Я стал закусывать яичницей, чувствуя, что в голове моей начинает бороздить.

— А бражка, она вроде бы и ничего!

— Хорошая, на рощине... Ну-ка ишшо, Анюта!

Анна Федоровна только усмехнулась и налила еще по стакану. Я начал было отказываться, но она уговорила:

— Ну, что это вы! Молодой такой, а не можете? Да вот я, баба, и то выпью! Особливо с вами!

Выпили еще. Причина-то важная: она, баба, тоже выпьет, особенно со мной...

Потом она начала спрашивать меня о Леве, но я ничего определенного сказать о нем не мог: мы на фронте ни разу еще не встречались с ним.

— Топили у вас сегодня баню?

— Баньку? Поздно же теперь: уже и бабы помылись. Но можно согреть котел воды, это недолго.

Я еле отговорил ее. Старик стал клевать носом, и Анна Федоровна повела его спать на сеновал. Я наскоро переоделся, намерен был тотчас же распрощаться.

— Анна Федоровна! Я там бельишко свое оставил. Может, как-нибудь будет время...

— Не беспокойся, не беспокойся: постираю! Да что это ты, уходишь? Куда же идти на ночь глядя?.. Переночуй, отдохни как следует, а утречком раненько я разбужу! — уговаривала она.

Все тело мое охватывала приятная истома; в голове шумело от выпитой бражки. «А почему бы и в самом деле не переночевать? Что там может случиться за ночь?»

А хозяйка уговаривала, ворковала:

— А сейчас раздевайся и ложись на кроватку, а я уж как-нибудь, как-нибудь...

Я разделся и лег, прикрывшись мягким одеялом.

— Разделся?

— Уже.

Анна Федоровна вышла из-за перегородки во всем белом, босая, прошла к божнице и дунула на лампадку. Проходя возле кровати, она повела рукой по моим волосам и вдруг юркнула ко мне под одеяло.

### III

Проснулся я очень рано, еще до солнца, и стал быстро одеваться. В печурке уже вовсю шипело. Вскоре с чердака сошел и старик. Он спустился по лесенке в избу, стал посредине ее и начал чесаться, не говоря ни слова. Так же хмуро и молча он и за стол сел.

Анна Федоровна налила нам бражки по полному стакану. Я откалзался наотрез, как она ни уговаривала. А хозяин ткнул и свой стакан, и мой и сразу повеселел.

Обстоятельно позавтракав, я стал прощаться.

— Поглядывай, чтоб не убило! А то у их совести хватит! — сказал хозяин, подавая руку.

Анна Федоровна вместе со мною вышла за дверь, сунула мне в руку сверток в желтой бумаге и, кротко улыбаясь, негромко проговорила:

— Приходи... Как только можно будет, непременно приходи!

Она явно хотела на прощанье поцеловаться; я сверток принял, а от поцелуя почему-то уклонился, но сказал:

— Конечно, приду...

Но больше я ее не видел.

Несмотря на вчерашний вечерний урок, пошел я опять-таки по открытому скошенному лугу. Я торопился.

Чем ближе я подходил к Городку, тем виноватее чувствовал себя: в самом деле, как это я без разрешения командира роты отлучился на целую ночь? Но Добрых встретил меня дружеской улыбкой:

— Отдохнули?

— Виноват, товарищ командир!

— Ничего, ничего. Хорошо, что отдохнули. А тут все благополучно. Вот только меня что-то очень знобит.

— Не простудились ли?

— И сам не знаю. Трясет и трясет. К врачу сходить, что ль?

— Конечно, сходите!

Оставив меня своим заместителем, командир роты отправился в

Городок, к врачу. А спустя минут двадцать к заставе верхом на лошади подъехал командир полка Кирвенко в сопровождении ординарца Андрея.

Я отдал рапорт: все тихо, благополучно,— и доложил, что командир роты заболел и отправился к врачу.

— Что с ним?

— Трясет его.

— Трясет?.. Должно быть, малярию подхватил... Ну что ж, пройдем со мной по вашей позиции!

Комполка спешил и передал повод ординарцу, сказав ему: «Продвигайся по ложбинке!» — и мне: «Пойдем. Показывай, где тут ваши заставы».

— У нас не заставы,— пояснил я,— а отдельные полевые караулы.

— Ну, караулы так караулы. Где они?

Не заходя на первый, мы сразу же направились ко второму отдельному полевому караулу, возле которого нас обстреливали из орудий.

По пути Кирвенко спросил меня:

— Родом-то откуда?

— Смоленский.

— А-а, почти земляк: я витебский, из-под Невеля. На фронте впервые?

— Нет, еще при Керенском был на фронте.

Он расспрашивал меня о многом: о семье, чем я занимался до армии, где работал. Вопросы его были такие простые, обыденные и разговаривал он со мною так ненаучливо, что у меня стало невольно скрадываться то неприятное впечатление, которое он произвел на меня при первой встрече на пароходе. Я даже почувствовал к нему такое доверие, что осмелился заговорить о давнишней своей мечте.

— Товарищ командир! Я написал пьесу в трех действиях. «Жертва идеи» называется она, драма.

Он посмотрел на меня:

— Очень хорошо.

— Пьесу эту ставили у нас на курсах. Прошла с большим успехом.

— Очень хорошо.

— Теперь я окончательно додумал ее...

— Тоже хорошо.

— Мне бы теперь отпуск хотя бы суток на трое?..

— Можно.

— Хочу в Москву съездить с этой пьесой, попытать счастья: авось напечатают ее!

— За трое суток до Москвы не доберешься. Самое большее — до Котласа.

— Дорога само собой: на дорогу надо еще несколько суток.

— А вот этого я уж и не могу.

— Но пьеса-то! Драма! В трех действиях! — горячился я.

— Все равно не могу,— говорил он как будто и серьезно, только в глазах его я замечал усмешку.— Не могу!

Он вдруг остановился и поднял указательный палец правой руки:

Поэтом можешь ты не быть,  
Но гражданином быть обязан...

И спросил:

— Какой поэт сказал это?

— Не знаю.

— Вот те и раз: писатель, а не знаешь... Некрасов. Николая Алексеевича Некрасова нельзя не знать. Так вот, наш гражданский долг — сидеть вот тут, в окопе, с оружием в руках. Больше, чем на трое суток,

отпустить не могу... А пьесу можно и по почте послать, и если она стоящая, то ее издадут и без тебя.

Мы уже подходили к злополучной высотке, и я посоветовал открытое место преодолеть бегом. (Ход сообщения так и не был еще прорыт.)

— Волков бояться — в лес не ходить! — пробурчал Кирвенко, хлопывая плеткой по голенищу.

Едва мы прошли несколько шагов по высотке, как где-то за бело-гвардейскими окопами раздался оружейный выстрел. Кирвенко приостановился, прислушиваясь к нарастающему шелесту снаряда. Через минуту он оглушительно крикнул позади нас, в ложбинке.

— Ишь, каналы! Как бы лошадей не побило, — заметил он, не ускоряя шага

Раздался второй выстрел. И на этот раз Кирвенко не прибавил шагу.

Вот, слава богу, и окопчик, в котором, как обычно, бойцы кипятили чай на рогульках: варить-то им больше было нечего.

Мы проходили от окопа к окопчику. Иногда комполка становился на колено, даже ложился, не щадя ни суконных шаровар своих, ни черной рубашки, определяя поражаемость и мертвое пространство.

— Пулеметы, пожалуй, на месте. Но почему нет пулеметных гнезд? — спросил он комвзвода Пунина. — Обязательно устроить!

— Слушаюсь.

— Сами сделаете или саперов прислать?

— А что мы, льком шиты? — не совсем дружелюбно отозвался всегда хмурый пулеметчик Потапов. — Я даже для тяжелых орудий позицию делал. А то пулеметы.

Он явно бахвалился, и комполка посмотрел на него, слегка намхурясь.

— Надо сделать и запасные гнезда. Но не рядом стройте их: запасные — шагов на двести—триста в сторонку, уступом! — сказал мне Кирвенко. — Вот хотя бы там! — указал он рукой. — А связь с кавалеристами держите? — спросил он у Пунина.

— Нет, не держим. Их наблюдатели вот за этой ложбинкой. Только они все время дрыхнут! — пояснил комвзвода.

— А где находится сам Хаджи-Мурат?

— Мы его ни разу не видели и не знаем, где он. Можно у наблюдателей ихних узнать. Они вчера были вот за этой ложбинкой, спали под кустом!

— Хорошо, спросим.

— А мне с вами прикажете?

— Зачем?.. Охраняй свой участок и поддерживай связь с наблюдателями-кавалеристами!

### *Глава одиннадцатая*

Мы отыскивали этих наблюдателей под кустиком. Укрывшись шинелями, они спокойно дремали на соломке. Рядом с ними лежали их карабины и шашки.

— Встать! — крикнул Кирвенко.

— А ты кто такой? — слегка приподнимая голову, хрипловатым спросонья голосом спросил рыжеватый, очень взлохмаченный боец.

Не говоря ни слова, Кирвенко угрожающе поднял над его головой ременную плетку:

— Я вам покажу, как дрыхнуть на посту! Где ваш командир?

Кавалеристы — их было трое — привскочили на ноги, с недоумением

оглядывая нас. И поняв, что перед ними какой-то большой начальник, стали торопливо приспособливать свои шашки.

— Командир наш там... за горкой... в чилаше..

— Я вам пропишу чилаш! — И Кирвенко пригрозил им плеткой.

Мы прошли за горку и действительно увидели большой шалаш. Вошли в него. На бурке, подобрав под себя ноги в брезентовых сапогах со шпорами, сидел уже немолодой кавказец с черными подстриженными усиками, в косматой папахе. На нем был бешмет, подпоясанный узеньким, украшенным бляшками ремешком; на животе висел кинжал, а на груди красовался орден Красного Знамени. Это и был Хаджи-Мурат, командир конной сотни. Рядом с ним на соломе сидели два бойца, тоже в папахах и в сапогах со шпорами. Млея от пота, они пили чай.

— Здравствуй, Хаджи-Мурат! — поздоровался Кирвенко.

— И ты здравствуй! О, тэбэ я знаю: ты камандыр, да?

— Командир.

— И я камандыр.

— Знаю.

— Здравствуй! Садысь, вот бурка. Вина кавказкий нэт, барашка нэт. Чай есть. Будэм чай пить!

— Спасибо. Мы уже пили... А где же твои люди?

— Какой такой люди?

— Отряд твой?

— Зачэм тэбэ мой отряд? Я отряд..

— Но один ты не удержишь фланг, если ринутся белые?

— Удэржу. Одын удэржу! — Он вдруг выхватил кинжал и взмахнул им.

Хаджи-Мурат в прошлом, как рассказал мне позднее Кирвенко, был золотоискателем на Лене. В империалистическую войну служил рядовым и дослужился до урядника. В 1917 году с войсками генерала Крымова наступал на Петроград. Образумленный парламентарями Гатчинского Совета, Хаджи-Мурат отрекся от дикой дивизии своей и перешел на сторону большевиков да еще привел с собой целый эскадрон. После Октябрьской революции с небольшим отрядом он остался в Петрограде, в распоряжении военкома Позерна. В 1918 году его с небольшим отрядом направили на Северный фронт. Человек отчаянной храбрости, он зимой отличился в боях за Шенкурск и был награжден орденом Красного Знамени...

Кирвенко присел на бурку и снова спросил, как мне показалось, очень дружески:

— А все-таки где твои люди?

— Зачэм тэбэ?.. Они там, работают! — указал он на село Городок.— Пусть работают. Скоро зима, надо сено. И барашка будэт. Приезжай кушать шашлык!

— Спасибо, Хаджи... Кстати, ребята твои, наблюдатели, спали в кустах..

— Как спали? Почэму спали? — переспросил Хаджи-Мурат. Он протянул свою плечку стоявшему бойцу:— Буди их, кунак Стэпан! Крепко буди! Каждый час крепко буди!

— Слушаю, товарищ начальник!

— А ты уходышь?.. Будь здоров, камандыр! Нэ горуй: Хаджи-Мурат одын удэржит, да!..

Когда мы отошли от шалаша несколько шагов, комполка сказал мне, хмурясь:

— Командир он безусловно храбрый. Но в нем сидит что-то анархическое: никого признавать не хочет, беспечен и самолюбив... Передай

Добрых, чтоб сегодня же снял взвод с артприкрытия и перебросил его на правый фланг своего участка, поближе к постам Хаджи-Мурата.

Комполка, как ни старался, не очень молодецкато в сравнении с горцами сел в седло и, сопровождаемый ординарцем, поехал к Городку, в свой штаб, а я направился на заставу, к своему сараю, машинально повторяя слова Хаджи-Мурата: «Нэ горуй: Хаджи-Мурат одын удэржит, да!..»

### *Глава двенадцатая*

#### I

Прошло три дня со времени встречи нашей с Хаджи-Муратом. Часов в девять утра нас озадачила стрельба, которая вдруг поднялась за белогвардейскими окопами. Мы вышли из сарая и стали прислушиваться. Стреляли из винтовок. Что бы это значило? Демонстрация, чтобы отвлечь наше внимание? К такому маневру иногда прибегают, когда подготавливают какую-нибудь каверзу. Стоим слушаем, а там, за вражескими окопами, стреляют уже и из пулеметов. Что за черт!.. Комроты запросил штаб батальона. Там тоже ничего не знают. «Пули над нами не звенят, но будьте настороже! — предупредил комбат Епов по телефону. — Чаше проверяйте полевые караулы, особенно часовых!»

Часа через полтора стрельба за окопами прекратилась. Нет сомнения, белогвардейцы предпринимают какой-то маневр. Но какой?..

Часов в пять пополудни комроты приказал мне взять из первого взвода одно отделение и пройти с ним вдоль болота.

— В болото не залазьте, а пройдите бережком, — напутствовал он.

Мы подошли к окопу первого полевого караула. В окопе находилось пять бойцов; двое остальных были в секрете, шагах в пятистах впереди.

— Как тут у вас? Спокойно?

— Спокойно, товарищ командир! — отозвался начальник полевого караула, отделком. И вдруг спохватился: — А вот бежит часовой!

Действительно, размахивая фуражкой, к окопу бежал стоявший на посту красноармеец. Мы поторопились ему навстречу.

— Что случилось?

— Неладно, товарищ командир... Болото чавкает... Голоса слышны... Должно, наступают...

— А ну, подойдем-ка поближе, послушаем.

Отправив подчаска своего с донесением, часовой лежал на бровке за кустиком и, приподняв голову, прислушивался. Увидев нас, он приподнял руку. Мы пошли осторожней.

— В чем дело? — тихо спросил я.

— Идут... Слышите, идут...

Мы тоже прилегли и прислушались. И в самом деле, где-то совсем неподалеку от нас хлупала под ногами болотная вода и слышались негромкие голоса. А спустя несколько минут из болота вылезли трое, как черти грязных, вооруженных белогвардейцев. «Разведка!» — догадался я, выхватил из кобуры наган и крикнул:

— Руки вверх! Ни с места!

Красноармейцы защелкали затворами.

— Товарищи, не стреляйте! — закричал один из белых. — Мы к вам. Мы перебежчики...

— Выходи и бросай оружие!

Они вылезли из болота, мокрые, грязные. Все в зеленом английском обмундировании, в руках винчестеры, которые они тут же сложили на-земь.

— Мы не одни, нас много...

- Где же остальные?
- Лезут по болоту...
- Зови их!
- Эге-е-ей! — закричал солдат. — Выходи-и-и!..

Я тотчас же послал одного бойца с донесением к командиру роты, тот немедленно связался по телефону со штабом батальона; комбат доложил командиру полка. Поднялся целый переполох!.. А перебежчики тем временем один за другим и небольшими группами стали выходить из топи на бровку, отряхиваться и складывать в одну кучу свои винчестеры с широкими штыками, легкие пулеметы «льюис» с заряженными дисками к ним и противогазы, оставляя при себе только белые котелки с крышками да ложки.

Вышло их всего сто одиннадцать человек, и с ними унтер-офицеры, даже один молодой подпоручик в дореволюционной офицерской форме с золотыми погонами на плечах.

Я отвел их шаггов на пятьдесят в сторону, а у сложенного ими оружия поставил отделение красноармейцев.

— Напрасно беспокоитесь, — с невеселой усмешкой заметил подпоручик. — Мы перешли к вам добровольно.

— Так-то оно так, а все-таки...

— Вы, конечно, правы.

Когда подошли командир полка, командир и адъютант батальона, я отдал командиру полка рапорт и заметил при этом, что и подпоручик взял под козырек. Комполка бодро поздоровался с красноармейцами и подмигнул им.

— Так-с. Значит, перебежчики? — спросил он подпоручика.

— Так точно, господин полковник.

— У нас чинов нет. Я только командир полка. Какой вы части, подпоручик?

— Дайеровского стрелкового полка.

— Это что ж за полк? Я о таком не слышал.

— Он недавно сформирован.

— А что значит Дайеровский?

— В память погибшего английского капитана Дайера!

— Ага, понятно... А что заставило вас перейти к нам?

— Меня лично?

— Нет, вообще.

— Видите ли, сегодня утром наш полк должен был сменить передовые части Славяно-Британского легиона.

— Так... Знаю такой легион, только славянского в нем мало: одно название.

— Нет, в нем, кроме англичан, есть и русские солдаты.

— Знаю, знаю. Ну, и что же?

— Солдаты наши в митинг ударились: не пойдем в окопы — и баста!

— Так...

— Им приказали сложить оружие. Среди солдат поднялся ропот, тогда объединенное командование подтянуло резервные подразделения легиона и решило силой обезоружить нас. Одного унтера нашего — фамилия его Карпов — английский офицер ударил плеткой и хотел пристрелить, но Карпов предупредил его: прикладом размозжил ему голову...

— Так-так.

— Среди солдат поднялся мятеж. Они убили трех английских и нескольких русских офицеров. Легионеры открыли огонь по дайеровцам, и пошла перестрелка. Впрочем, какая там перестрелка — пулеметы в ход

пошли. Бой! Настоящий бой! — вскочил с места подпоручик. — Но многие начали колебаться, пошли на переговоры... Я понял, что дело плохо, что мятежников предадут военно-полевому суду, и меня первого...

— Вы так провинились?

— Не я, моя рота. Это все равно. Я решил вывести своих солдат бо-лотом к вашим позициям. И вот, как видите, удалось... Сказать правду, господин командир полка, мы надеялись, что, услышав в нашем тылу стрельбу, вы догадаетесь прийти на помощь нам. Мы помогли бы вам прорвать фронт. Но это не вышло.

— Вы бы заранее предупредили нас.

— Но ведь мятеж не был нами подготовлен, он вспыхнул стихийно...

— Понятно. А восстание, вы полагаете, теперь полностью ликвидировано?

— Точно сказать не могу. Возможно, что договорились о мирном разрешении конфликта, но это вряд ли так. По всей вероятности, восставших обезоружили и будут судить. По крайней мере я так полагаю. Мятеж на фронте — это не шутка!

— Вы правы: не шутка... А что, если бы мы сейчас перешли в наступление? Поддержали бы нас ваши мятежники? — спросил вдруг Кирвенко.

— Право, затрудняюсь ответить. Если бы вчера — иное дело. А сейчас, говорю откровенно, не знаю.

— Вы правы... Вот что, подпоручик: солдат ваших мы сейчас отправим в штаб бригады, а вас попрошу остаться со мной. Командир бригады созывает экстренное совещание комсостава. Думаю, что и ваше присутствие на нем будет иметь смысл. Как вы полагаете?

— Как вам угодно.

— Вот и прекрасно.

Комполка подошел к солдатам-перебежчикам и поздоровался.

— Здра-жла, господин...

— То-то и оно, что не господин... — усмехнулся комполка. — Сейчас отправим вас в штаб бригады. Пройдете верст двенадцать. А там вас накормят, перевяжут, если кто ранен... Может, кто из вас болен и не может идти? Пусть выйдет из строя... Нет? Все могут? Хорошо. Надеюсь, для вас большой конвой не нужен?

— Не нужен. Мы сами, только дорогу указать!

— Вот и хорошо.

— Господин командир! Многие из нас желали бы остаться в вашем полку!

— Нет, ребята, нельзя. И для вас это опасно... Добрых, выделите для конвоя одно отделение с командиром. Пусть он ведет их в штаб бригады... Пойдемте, подпоручик!

## II

Мы рассчитывали провести эту ночь спокойно, уверенные, что после вчерашней кутерьмы белогвардейцы вряд ли станут тревожить нас. Но часов в пять утра в сарай к нам ввалился комбат Епов: он возвращался из штаба бригады. Дежурный телефонист разбудил ротного. Проснулся и я.

— Отдыхаете? — спросил комбат.

— Виноват... устали... и вроде бы спокойнее стало...

— Ничего, ничего. Перед большим делом необходимо отдохнуть... Так вот, товарищи: на совещании решили сегодня же наступать!..

— Как наступать? Без подготовки? — удивился комроты.

— А какая вам подготовка? Поднялся и пошел... Сейчас же соберите роту и к семи утра прибыть на позицию к штабу второго батальо-



на. Знаете, где расположен штаб второго батальона? У дороги, почти возле самых окопов. Остальные распоряжения на месте. Сказать правду, Кирвенко возражал против этого наступления. Говорил, что поздно, что надо было вчера это сделать, когда там мятеж поднялся. Но в бригаде решили так.

Он вышел.

— Ну что ж, голубчик,— обратился ко мне комроты,— одевайтесь. Идите на правый фланг, снимайте людей, пулеметы и всех сюда, к сараю... Ребята! — окликнул он связных.— Бегом по своим взводам! И всех сюда, всех!..

В седьмом часу мы вышли на большак Городок — село Троица и углубились в густой сосновый бор.

— Голубчик, только не горячитесь! — говорил мне комроты Добрых.— Ах, эта война! И не поймешь ее. Иное дело с немцем...

— Товарищ командир! Пожалуйста, не говорите так со мной. Да еще перед боем!

— Нет, голубчик, нет... Что же я? — смутился он.— Я говорю только: поберегите себя. Вы еще молоды, ваша жизнь впереди...

Позади нас послышался конский топот: рысью к нам приближались несколько всадников, сопровождаемых ординарцами. Мы посторонились. Они попридержали лошадей. Мы тотчас же узнали командира полка, который на этот раз был в гимнастерке и в шинели; полкового адъютанта Цветкова в ботинках с обмотками и в приплюснутом картузишке; третьего, кто с ними был, сравнительно молодого, светловолосого, я не знал еще. Он был одет в желтую кожаную куртку.

— Какая рота? — спросил комполка.— А-а, Добрых? А не опаздываете вы? — Он взглянул на часы.

— Нет, товарищ комполка. Как раз ко времени подойдем.

— Поторапливайтесь!.. А почему вы роту ведете прямо по дороге? Демаскируете себя. Сверните на обочины и лесом, лесом. Что мне вас учить? Вы старый офицер!

— Слушаюсь...

Они поехали рысью дальше, а мы свернули с дороги, чтобы зашагать по обочинам.

— А они сами что, разве не демаскируют себя? — тихо проговорил огорченный Добрых.

— Начальство! — согласился я с ним.

— Да, да, конечно.

— Товарищ Добрых, а кто это в кожаной куртке?

— Разве не знаете? Это комиссар нашей бригады товарищ Самодед. Из питерских рабочих. Чудесный человек, скажу вам. Жаль только, что иногда излишне горячится. Ну да ведь и то — служба...

В семь без десяти мы подошли к землянке штаба второго батальона, расположенной у самой дороги, всего в какой-нибудь сотне шагов от окопов. Помимо нашей, здесь, у штаба, находились четвертая рота и учебная команда. Остальные подразделения полка занимали окопы, кроме третьего батальона; третий, еще не укомплектованный, оставался в резерве и стоял на опушке леса, неподалеку от батареи. Поодаль от дороги, в мелком сосняке, стояла конная сотня Хаджи-Мурата. Конники спешились и держали лошадей в поводу.

Кирвенко и Самодед пошли по окопам ободрять бойцов, а собравшиеся тут командиры расхаживали у землянки, переговариваясь друг с другом; среди них стоял очень сумрачный комбат Епов в неизменной телогрейке своей. Он не отдохнул и, видно, был очень утомлен. Рядом с ним беспричинно суетился батальонный адъютант Серебряный в балахоне

своем. Командир второго батальона Бычков, высокий блондин без фуражки, ерошил свои белокурые волосы и хохотал, слушая Хаджи-Мурата. Другие командиры прилегли под соснами и дымили махоркой.

Красноармейцы, переминаясь с ноги на ногу, толкались, словно на морозе; иные лежали или наскоро оправлялись в сторонке.

Наступление предстояло с минуты на минуту, — с минуты на минуту предстояло очень большое и важное дело, связанное с неизбежным риском, с минуты на минуту всем предстояло глядеть своей смерти в глаза. Но люди держали себя так просто, так привычно-буднично, словно все это совершенно не касалось их.

С обхода своего возвратились комполка и комиссар бригады Самодед.

Кирвенко приказал:

— Командиры рот, батальонов и отдельных подразделений, ко мне!

Комсостав обступил его, и он стал подробно уточнять боевую задачу. Комиссар слушал его и морщился:

— Не задерживай!

— Без этого нельзя, товарищ Самодед! Не вслепую же действовать!

— Зачем вслепую? Задача ясна: вперед — на окопы!..

Минут через семь возвратился командир роты и в свою очередь созвал к себе взводных и отделенных командиров.

— Мы наступаем прямо перед собой. В ходе наступления направление уточнится. Слева от нас наступает первая рота. Комвзвода Яковлеву держать с ней связь. Правее — третья рота. Связь с ней держать Боброву! Я буду находиться при первом взводе. Перевязочный пункт — в сорока шагах от этой землянки, вот — вправо от дороги. Командиры, назначьте себе заместителей. От каждого взвода ко мне по два связных.

— Товарищи, что вы тут митингуете? — недовольно спросил подошедший к роте Самодед.

— Я отдавал боевой приказ, товарищ комиссар!

— Становись! — совсем не громко, даже, пожалуй, тихо подал команду Кирвенко.

Красноармейцы быстро вставали на ноги, на ходу приводили себя в порядок и становились в строй.

— Смирно! — скомандовал комполка.

— Товарищи красноармейцы и командиры! — молодо и звучно воскликнул комиссар бригады Самодед.

Стало очень тихо, лишь дятел где-то стучал, взмахивая своей головенкой.

— У белогвардейцев в тылу восстание. Наш долг поддержать восставших. Дружным натиском опрокинем врага, захватим их окопы и пойдем вперед! Не пощадим наших жизней за власть Советов! За Великую Октябрьскую революцию!

Он рванул с себя кожаную куртку, бросил ее наземь и, обнажив наган, крикнул:

— За мной, вперед, товарищи!..

И перешагнул рубеж.

### *Глава тринадцатая*

#### I

Вброд и вплавь мы переправились через речку Тэди, выскочили на противоположный берег и залегли за бугорком, в мертвом пространстве. Наша батарея еще работала, но вроде бы уже приморилась, вроде бы запросила передышки. снаряды все реже и реже взвизгивали над наши-

ми головами и взрывались где-то там, впереди. Но со стороны врага пока не было произведено ни выстрела.

Некоторые из бойцов вздумали просушиться и начали снимать ботинки, гимнастерки. Комвзвода Пунин прикрикнул на них:

— А штаны, штаны? Сымай и штаны!.. Да что вы — сдурели? Сейчас же одевайсь!..

Чтобы осмотреть впереди лежащую местность, я поднялся на бугорок. Колбаса!.. Огромная, блестящая на солнце, слегка покачиваясь, она висела над лесом где-то возле Троицы. С подвешенной к ней корзинки то и знай мигали сигнальные вспышки. «Ага, заметили, всполошились. Сейчас накроют нас шрапнелью!» — подумал я.

Лежа в бинокль оглядываю местность. Прямо передо мной и далеко влево раскинулась широкая луговина, местами поросшая мелким кустарником, а что там, за кустарником, — разглядеть никак невозможно было.

Позади меня послышался шорох. Я оглянулся. На карачках ко мне подползал командир батальона.

— Ну, что, как? — спросил Елов и прилег рядом. Шаровары его, как и телогрейка, были мокры, а лицо в глине.

— Вот... осматриваю местность...

Он взял у меня бинокль (своего бинокля у него, как у многих других командиров, не было). Оглядывая местность, он говорил:

— Ишь, сигналият с аэростата. Как бы шрапнелью не начал... А местность открытая, складок совсем мало... Хотя кустарничек...

— Товарищ комбат! Я все-таки не знаю, какая задача нашей роты?

— Не знаете?.. Вот те раз! Задача общая: сблизиться с противником и атаковать его окопы.

— А направление наше?

— Направление?.. Двигайтесь в общей цепи... Впрочем, вот что: возьмите направление на эту проклятую колбасу! И держать связь с соседними ротами!

В воздухе послышался глухой гул, над лесом показалась эскадрилья гидросамолетов. Развернутым строем она летела прямо на нас. Мы तोпливо начали сползать вниз, под бугорок, и, притаив дыхание, ожидали, что вот-вот начнут гвоздить нас. Но эскадрилья пролетела мимо, не сбросив ни одной бомбы, и потянулась на Городок.

Вздохнулось легче. Но это облегчение длилось всего несколько минут. С левого фланга по цепи вдруг загудело многогласно: «Впе-ере-е-ед!..»

— Главное — связь! — крикнул комбат и, слегка пригибаясь, побежал к опушке леса, в третью роту.

Я поднял бойцов и махнул им: «Вперед!...» Куда вперед — я и сам точно не знал. На всякий случай крикнул:

— Правофланговому держать направление на колбасу!..

Скорым шагом, тяжело посапывая, красноармейцы шли по кустарнику. Шли в полный рост, держа направление на колбасу. Но предательская колбаса покачивалась, и вскоре опушка леса как-то незаметно ушла от нас далеко вправо, и мы потеряли связь с третьей ротой. Прервалась она и с первой ротой, которая почему-то осталась позади.

Мы высочили из кустарника и сразу же залегли. Я приказал бойцам поочередно окапываться теми немногими кирками-мотыгами, которые были у них, и послал двух красноармейцев в соседние роты для связи.

## Н

Я лежал на боку и глядел в бинокль. Впереди чернела канава, а шагах в четырехстах я увидел бугристую насыпь окопа и на левом фланге его — пулеметное гнездо: даже отчетливо различил копошившихся возле него солдат в зеленых френчах. Я ждал, что вот-вот они откроют огонь, но белогвардейцы (или англичане — черт их разберет!) будто и не замечали нас.

Вокруг было тихо, только слышно было, как посапывают да изредка звякнут киркой окапывающиеся бойцы.

На локтях ко мне подполз комвзвода Пунин. Я молча протянул ему бинокль. Он вскинул его к глазам:

— Ничего не вижу...

— Ты подкручивай. подкручивай!

— Ага, вот они!.. Ишь, на левом фланге у них пулемет... Надо в атаку, а я отсюда полосну их из своего «максимки»!

— Подождем: сперва надо наладить связь, а то как бы нас не полоснули свои же!

А время шло. По солнцу можно было определить, что уже далеко за полдень. Небо начало заволакивать облаками. Поднимался свежий ветерок. Мы лежали. Красноармейцы закурили.

Услышав запах махорочного дымка, я почувствовал неотразимое желание затануться хоть разочек, но ни у меня, ни у комвзвода, как ни выворачивали карманы, табачку не нашлось ни пылинки. Спасибо, пулеметчик Потапов отсыпал нам из цветного, украшенного кисточками, но тощего кисета своего на парочку сигарок, и мы закурили. На душе стало как будто легче.

Именно по этой вдруг возникшей легкости я и понял, вернее почувствовал, как все-таки нелегко нам! И сигнальные вспышки на колбасе, и позвякивание кирки — вся эта наступившая тишина до боли, до тошноты сжимала мое сердце. И только ли мое?..

А связных нет и нет.

Ветерок крепчал. С каждой минутой облака становились кучнее, обволакивая солнце. Оно потускнело и еле-еле пробивалось сквозь серую муть, а вскоре и совсем скрылось. Стало прохладнее. Начал накрапывать дождь, и я не без сожаления подумал о своей шинели, брошенной в землянке штаба второго батальона.

На левом фланге, именно во втором батальоне, с которым в наступление пошел комиссар бригады Самодед, вдруг взметнулась красная ракета; до нас донеслось глухое и протяжное: «Ураа-а-а!» И тотчас же застучали пулеметы. Десятки пулеметов противника залились остервенелым брехом, уничтожая перед собой все живое.

Слышалась стрельба и на левом берегу Двины, который оборонял Ижма-Печорский полк, но особого значения этому мы не придали.

### *Глава четырнадцатая*

## I

— Ура-а! — раздалось слева, несколько позади нас, в первой роте.

Я подал команду:

— Вста-ать!..

Красноармейцы быстро поднялись и машинально стали отряхиваться. Дабы преждевременно не выдохнуться, от крика «ура» и продвижения бегом я воздержался и скомандовал:

— На окопы, за мной... впере-ед! — а сам скорым шагом пошел по луговине, не сводя глаз с пулеметного гнезда.

Красноармейцы гулко топали за моей спиной. Мы шли все быстрее и быстрее. Я не чувствовал сейчас ни голода, ни холода, ни страха, только слышал, как усиленно бьется сердце. Мы шли, а поле гудело каким-то диким гулом нескольких сотен человеческих голосов: «А-а-а... А-а-а»... Слева от нас неистово тарахтели пулеметы... Но вот крик на левом фланге как будто стал затихать, вот и совсем захлебнулся, а пулеметы все еще продолжали стучать.

Мы шли, сближались. Шли не останавливаясь, без перебежек. Шли в полный рост. Я ничего не видел, кроме черневшей впереди канавки да надвигающихся на меня окопов с пулеметным гнездом на левом фланге. И когда до него оставалось уже не больше трехсот шагов, я оглянулся на бойцов и крикнул:

— В атаку... ура-а!

— Ура-а-а! — широко разевая зубатые рты, завопили бойцы и, перегоняя меня, кинулись вперед, на окоп. И до чего же отчаянны и страшны солдаты, бегущие в атаку с широко раскрытыми ртами!

Шквальным огнем шарахнули из окопов по цепи. Не добежав до окопа, цепь залегла у канавки. Пули, несметным роем пролетая над головой, вскапывали землю перед самой канавкой.

Укрывшись за насыпью, бойцы, не поднимая головы и не целясь, открыли стрельбу. Куда и в кого они палили — трудно было понять.

В эту беспострелковую стрельбу вдруг врезалась длинная очередь нашего «максимки». Огонь из окопов сразу же ослабел. Я понял, что днем атаковать окоп невозможно, что надо выждать ночь, и, воспользовавшись ослаблением вражеского огня, приказал бойцам короткими перебежками отходить назад, в кустарник, помогая отползть раненым. Но тяжелораненых пришлось перетаскивать волоком. А убитых пришлось оставить в поле, на месте.

## II

Огонь из окопов только ослабел, но не прекратился, и потому красноармейцы не залегли в кустарнике, а отошли дальше, прямо в лес, где должна была находиться третья рота. Но роты в лесу не оказалось.

Тотчас же всех раненых я отправил на перевязочный пункт; тяжелораненых понесли на руках сами же легко раненые да три здоровых бойца (ни одного санитаря при роте не было).

Откуда ни возьмись передо мной встал боец, которого я посылал для связи. Он доложил мне, что первую роту нигде не нашел, что командир нашей роты, товарищ Добрых, ранен в руку и выбыл из строя, а комвзвода Яковлев сидит там (он указал рукой) на пеньке, не знает, что делать, и послал его ко мне. Я растерялся: ни справа, ни слева никого нет, командир роты ранен. Что же мне делать?

— Вот что, товарищ красноармеец, — обратился я к связному. — Сейчас же отыщи комбата. Он где-то здесь, в лесу, позади нас. Отыщи его и доложи, что я с ротой нахожусь на опушке этого леса, против кустарничка, и жду его приказаний. Понял?

— Понял: отыскать комбата и доложить ему, что мы живы, здоровы, находимся тут и ждем приказа отходить...

— Как «отходить»? Кто тебе сказал «отходить»?..

— А все уж ушли.

— Не твое дело. Доложи, что я жду приказаний, — и все! Ладно уж, лучше я напишу донесение.

Я достал полевую книжку, вырвал листок и привстал на одно колено. Написав донесение, передал его связному:

— Вот, отнеси комбату и возвращайся поскорее!

— Мигом!

Со своим расчетом подошел комвзвода Пунин, который отходил последним, прикрывая наше отступление пулеметным огнем. Я очень обрадовался ему:

— Ну, спасибо, брат, выручил! А теперь занимай новую позицию по своему усмотрению. Добрых ранен, ушел на перевязочный. Я остаюсь за него, а ты — моим заместителем... Сейчас пройду на левый фланг роты, к Яковлеву, узнаю, как там.

— А не лучше ли нам сматываться отсюда?

— Без приказа? Нет, это не годится.

— Ну, гляди сам. Мое дело — пулеметы...

Проходя на левый фланг, я натолкнулся на незнакомого красноармейца, который, сняв гимнастерку и нательную рубашку, стоял возле сосны и перевязывал рану. Ранен он был в мякоть левого плеча, возле ключицы.

— Какой роты? — спросил я.

— Третьей. А что?

— Где ранен? Когда?

— А тебе какое дело?

— Я — командир. И спрашиваю тебя: где ты и когда ранен?

— Да вот тут, недалече...

У меня почему-то возникло подозрение:

— А почему кровь здесь, возле сосны?

— Потому как течет она, кровь-то.

— Пойдем, покажи место, где тебя ранило!

— Не могу я итить: вся кровь с меня вышла. Нет сил итить...—

И он осторожно стал опускаться на колени.

Ответ его мне показался неправдоподобным: как он мог быть ранен здесь, в лесу, если тут и стрельбы-то не было?..

— Как твоя фамилия? — спросил я, поднимая его винтовку.

— А тебе зачем это?

— Говори — или я застрелю тебя, как паршивую собаку, из твоей же винтовки!

— Стреляй. Мне теперь все едино. А фамилия моя Бурачков.

Он вдруг побледнел и заохал.

— Дойдешь сам до перевязочного?

— Дойду... Никого мне не надо... Сам дойду...

Я вскинул его винтовку на ремень и пошел дальше, убежденный, что он — самострельщик.

Комвзвода Яковлев сидел на пеньке и переобувался. Он встретил меня усталым, равнодушным взглядом и, натягивая голенища, покрякивал по-стариковски.

— Ну, что, сынок, долго мы будем торчать тут?

— Не знаю. Я послал комбату донесение.

— Дождик-то не унимается, моросит. Продрогли. Как бы не простудиться да не захворать.

— Какие потери у тебя?

— Потери, слава богу, малые: двоих наповал да троих ранило, в том счету и командира роты. В руку его. Да я уж связного посылал к тебе... Проклятые сапоги, совсем раскисли, не натянешь...

— Будем ждать приказа. А пока останемся на месте... Да как же лежат твои бойцы? Поверни их лицом к фронту!

— Эка, вы, сынки! Гляди вперед, а не назад!

## III

Я пошел обратно. Раненого у знакомой сосны уже не застал, но окровавленная рубашка его валялась на траве. «Непременно доложу комбату!» — подумал я.

Связной еще не возвращался; трое бойцов, понесших раненых, тоже не вернулись. Мы стали ждать их, особенно нетерпеливо связного с приказанием от комбата. Прошел час, другой. Дождь то затихал, то снова начинал шуметь. Бойцы стоя жались под соснами, поеживались. Сосны стояли угрюмо и роняли на головы бойцов крупные дождевые капли.

Стало уже темнеть, а связной — будь он неладен! — все еще не возвращался.

— Чего нам ждать? Надо сматываться. Стемнеет — людей расте-рем, — проговорил Пунин.

— Да, это, пожалуй, верно: соберем роту сюда. Посылай связных по цепи!

Когда рота собралась, я построил ее и опушкой леса пошел к речке. Перед фронтом у нас было совершенно спокойно, тихо: ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны. А на левом берегу Двины бой еще не затихал: оттуда доносились пулеметный стрекот и оружейный гул.

Вскоре мы спустились на берег, вброд и вплавь преодолели речку Тэди, поднялись на бугор и подошли к землянке штаба второго батальона. Я подобрал свою шинель.

Начались расспросы. Из землянки вышли командир полка и оба комбата.

— Вторая рота? — спросил Кирвенко и вдруг набросился на меня: — Почему так запоздал? Что задержало вас?

— Я не получал приказаний.

— Как не получал? Комбат Епов, что это значит?

— Иван Степанович, я лично посылаю связного. Правда, он еще не вернулся...

Оказывается, услышав ожесточенную стрельбу, Кирвенко сразу же понял, что белые, как и предполагал он, встретили наступающих сплошным огнем пулеметов, что наступление захлебнулось, и приказал отступать на исходные позиции.

— Большие потери? — несколько мягче спросил он.

— Семь красноармейцев убито и тринадцать ранено, в том числе командир роты товарищ Добрых...

— Э-э, да ты совсем молодец! — воскликнул комбат-два Бычков. — Почти целиком вывел роту. Молодчина!

— А комиссара бригады Самододеда не видели? — спросил Кирвенко.

— Никак нет, не видели.

— Безобразия, потеряли комиссара! Товарищ Епов, занимайте второй ротой правый фланг окопов, вплоть до самого болота.

— Слушаюсь...

Впотьмах мы долго брели вдоль траншей, в которых сидели красноармейцы. Наконец остановились.

Комбат приказал занять окопы, выставить парные посты шагах в двадцати и сменять их через каждые два часа, как в полевом карауле. Ночью не спать. Он сообщил мне новый пропуск и отзыв.

Я успел доложить комбату о подозрительном ранении красноармейца третьей роты, назвавшегося Бурачковым. К моему удивлению, комбат только вздохнул и заметил:

— Позволю врачу... Но один ли такой Бурачков?

К нашему счастью, в окопах оказалось около десятка трехнакатных блиндажиков, вполне прикрывающих от пули и шрапнели. Укрываясь

от дождя, бойцы тотчас же начали забираться в них и присаживаться, тесня друг друга; у кого был табачок, тот закурил, и, как обычно, слышались заказы: «Сорок!.. Двадцать!.. Десять!»

Справившись с делом и отослав с бойцом донесение комбату, я полез в блиндаж, занятый пулеметчиками.

### *Глава пятнадцатая*

#### I

На войне о погибших не плачут и поминок по ним не справляют. Я только передал в штаб батальона именной список на убитых. Тем и завершилась гражданская панихида по ним.

Раненых полагали только временно выбывшими из строя. Их исключали только из наличного состава роты, снимали с довольствия, но в списочном составе они оставались и считались вроде как бы в отлучке. Таким образом, по списку в нашей роте насчитывалось восемьдесят семь бойцов, а налицо их теперь оставалось лишь шестьдесят семь, да и то пятеро из них нестроевые: ротный писарь, повар, два сапожника да каптенармус. А какой с них спрос? Во взводах у нас осталось всего по двадцать бойцов. И это называется рота военного времени и самостоятельная тактическая единица!..

Говорят, и хуже бывает. Но мало ли что говорят. Факт тот, что нашей роте — самостоятельной тактической единице — участок для обороны на фронтальном направлении дан был довольно внушительный — больше версты. Вот тут и держи оборону!

Безусловно, людей мало, требуется пополнение. Но откуда его взять, пополнение это? На других фронтах, где операции ведутся активно, с большими потерями, пополнение нужнее. А наш Северный фронт считается как бы второстепенным; вроде бы мы стоим только на посту, как часовой.

Впрочем, оговорюсь: роту усилили огневыми средствами — нам придали еще один «максим» и два «льюиса». Да вот беда: настоящих-то пулеметчиков не было. Ну, ничего: пулеметчики — не летчики, сами подготовим!

Приказом по полку меня назначили вридом командира роты, а комвзвода Пунина — моим заместителем, «полуротным», тоже временно. Как помощник командира роты, хотя бы и временный, он обязан был помогать мне вести ротное хозяйство, заботиться о питании, обмундировании, снаряжении и всякой другой мелочи, но он категорически отказался от всех этих забот, заявив, что он пулеметчик, что его дело — пулеметы. Ну что ж, пусть так, это даже хорошо. Пулеметы так пулеметы. А с хозяйственными делами я справлюсь как-нибудь и один. Хорошо бы в штат роты ввести старшину. Но он положен только в специальных командах, вроде комендантской.

Потянулись наши дни буднично и уныло, к тому же голодно. Ночи мы обычно не спали, бодрствуя, как сычи, а днем дрыхли под соснами, словно налимь под корягой, благо погода держалась хорошая. Но скучно. Газет получали мало и неаккуратно; книг совсем не было; хотя бы завелась гармонь какая-нибудь...

Но как ни скучно, а без дела мы не сидели: приводили старые окопы в порядок — очищали, углубляли, застилали и маскировали лапником; сделали два новых незатейливых блиндажа — один для бойцов, а второй для ротной канцелярии; его соорудили на правом фланге роты, возле корявой, с перебитым суком сосны-тройняшки, или «трех сестер»,



как мы называли ее; у самого болота вырыли несколько одиночных окопов для стрельбы с колена; расчистили просеки.

Но то ли от усталости, то ли от скуки бойцы работали вяло, нехотя, словно не для себя. И вообще держались они угрюмо.

Бессонные ночи, недоедание, тоска по семьям, по мирной жизни, а тут еще неудачное наступление!.. Но как же рассеять у них эту угрюмость? Рассеять ее необходимо, потому что с таким настроением они все равно что инвалиды!

## II

Накопилась у меня масса неотложных дел: надо было стать на учет в партийной организации полка; выклянчить у завхоза сколько-нибудь пар хоть второсрочных ботинок, а то многие красноармейцы почти совсем обосели, и некоторым бойцам необходимо было заменить гимнастерки, шаровары; добиться для всех бани и смены белья; проверить в ротной канцелярии списочный и наличный состав роты, а то получается какая-то неувязка; надо починить и свои сапоги, а то каблуки уже сбились набок; достать газет. И вообще дел и хлопот накопилось невпроворот. Я отпросился у комбата и пошел в Городок.

Пошел я не ближайшей тропкой, ведущей к Городку, а вдоль окопов: мне захотелось повидаться с Левоу Гомулко, а его шестая рота (из девятой его перевели в шестую) теперь занимала позицию у большака.

Спустя полчаса я уже был у неприступного блиндажа с пулеметным гнездом, обнесенного проволочным ограждением. Здесь, у блиндажа этого, я и встретился с Гомулко. Оба, конечно, были рады встрече: еще бы, столько времени не виделись!

— Нет, у нас тут открыто не стоят,— спохватился Гомулко.— Не ровен час... Залезай-ка в блиндаж!

В довольно просторном блиндаже было оборудовано пулеметное гнездо; два пулеметчика спали, а третий дежурил.

— Три дня назад двоих красноармейцев тут, возле блиндажа, подстрелили. Дураки же: днем вздумали к речке спуститься за водой... Ну, рассказывай! Ты ведь в наступлении участвовал?

— А как же! А ты?

— Наша рота была в резерве. Я просился в бой — не пустили... Да, ты слышал, что командира взвода Ковалева убило?

— Да что ты! Убило?.. Словно предчувствовал он тогда, в дороге: был молчалив.

— А ты как чувствуешь себя? — спросил Лева.

— Да так... Одним словом, неважно.

— Потери большие?

Я сказал.

— О, это пустяки!.. Во втором батальоне человек сто двадцать убыло из строя. Четыре командира, в том числе наш маршевик Ковалев... Вот меня и перебросили сюда, во второй батальон, в шестую роту.

— Знаешь, я о чем думаю: надо бы написать письмо жене Ковалева. Она живет в каком-то селе Плещиницы, в Белоруссии.

— А как звать ее?

— Не знаю.

— Кому же писать? На деревню дедушке?.. Из штаба полка общат: у них точные сведения!..

Лева похвалился, что навещал Анну Федоровну, что она угостила его рыбой и яичницей.

— Жаль, хозяин, свекор ее, все время торчал дома,— вздохнул Лева.

Разговор был мне неприятен, но я ничего не сказал и подвинулся к пулеметчику:

— Дай-ка я посмотрю, какой отсюда обстрел?

— Обстрел великолепный! — похвалился Гомулко.

Пулеметное гнездо находилось на высоте, господствующей над местностью, открытой почти на полверсты. Обстрел вперед действительно был великолепный — не подступись! — но все-таки мне не совсем понравилось расположение пулемета: под самой высотой было мертвое пространство, и довольно большое.

— Во-первых, к самой высоте пулеметчики их не допустят, скосят, — возразил Лева. — А если они и дорвутся сюда, мы их тут штыками!

Мы распрощались.

На всякий случай я пошел обочиной, придерживаясь придорожного кустарника. Но меня, возможно, все-таки заметили. По шелесту над головой я понял, что летят тяжелые снаряды. Они взорвались где-то в кустах. «Вот черт побери! — подумалось мне. — Они и по одиночкам из тяжелых бьют!»

Почти не пригибаясь, из кустарника я быстро перебежал в лес.

Выстрелов больше не было — может быть, стреляли не по мне, а привиделась наблюдателю другая, более значительная цель.

Чтобы попасть в Городок, мне нужно было перейти дорогу перед самым выходом из лесу. Едва я поднялся на придорожную бровку, в глаза мне бросились два лежащих на самой дороге красноармейца.

— Эй, вы! Чего разлеглись тут?..

Они не отвечали. Я подбежал к ним. Оба они подплыли свежей кровью, а неподалеку от них зияли три большие воронки. Мне стало очень страшно, хотелось скорее бежать от этого места. Но один из лежавших вдруг застонал. Я сразу же опомнился, подхватил его под мышки и поволок с дороги в кустарник. Присев перед ним на колени, я приподнял его гимнастерку, расстегнул и приоткрыл шаровары. На ляжках его и животе зияли большие кровотокающие раны. Я достал свой индивидуальный пакет и стал прежде всего накладывать повязку на его живот. Делал я это торопливо, чтобы как-нибудь только приостановить кровь. Другого бинта у меня не оказалось; не было его и у раненого. Я снял свою нижнюю рубашку, разорвал ее и перевязал ему ноги. Он беззвучно шевелил губами. Я догадался: пить. Я оглянулся. Неподалеку блеснула лужица от недавно прошедшего дождя. Я зачерпнул полную фуражку. Он пил медленно, словно нехотя, потом отвернулся. Я вылил остаток воды ему на голову, отряхнул фуражку и, не надевая ее, бегом побежал в Городок, придерживаясь кустарника, который тянулся почти до самых огородов.

Прежде всего я забежал на медпункт. Доктор принимал больных. Под ропот стоявших в очереди красноармейцев я прошел сразу в кабинет — перегороденную половину избы — и сказал доктору, выслушавшему больного:

— Модест Семенович, на опушке, у самой дороги, я только что оставил тяжело раненного осколком снаряда в ноги и живот. Я кое-как его перевязал. И убитый тоже лежит там...

Доктор быстро приоткрыл дверь:

— Петя! Ваня! Ребята, кликните-ка санитаров!

Минуты через две вошли санитары.

— Носилки в руки — и сейчас же на опушку леса. Там на дороге убитого увидите. Оставьте его покамест. А в кустарнике найдите раненого. На носилки его и прямо ко мне. Быстро, ребята!

Он приоткрыл дверь и сказал ожидающим:

— Обождите несколько минут! — Ко мне: — Ну-с, рассказывай, земляк, как, что?..

— Я здоров.

— Очень хорошо. А живешь как?

— Известное дело, в окопах.

— Да, окопы... Окопы, черт бы их побрал! Но что сделаешь?.. Голодаете, конечно?

— Не совсем...

— Вот именно, не совсем. Ну что ж, не смею задерживать, да и у меня пациенты... Вот что, Алеша, может быть, дать мензурочку спирту? Сам-то я не употребляю, а тебе могу.

— Что вы, Модест Семенович. У меня же дело.

— А ты после используй, в окопе своем. Иван Алексеевич, отпусти-те-ка мензурочку!

— Это мы с превеликим нашим удовольствием! — ответил фельдшер, доставая склянку. Он оглянулся на меня и слегка приоткрыл рот. — Ба, знакомый!

Невозможно было не узнать сопровождавшего нашу роту на фронт военфельдшера — уж очень добродушная у него улыбка.

— Право же, напрасно. Лучше дайте мне индивидуальный пакет.

— Пакет само собой. И это тоже пригодится. Ну, до свидания. заходи, когда сможешь. Приятно, вообще говоря, встретить земляка, а тебя, Алешка Бобренок, тем более!

### *Глава шестнадцатая*

#### I

Ротный писарь мой Коваленков, как обычно, оказался на месте и встретил меня почтительно и до того приветливо, что мне стало даже неловко. Теперь я был главный начальник его.

— А я уж собирался завтра идти к вам, в окопы: бумаг много накопилось.

— Давайте посмотрим, что за бумаги... Впрочем, сперва позовите-ка сюда сапожника.

Пришел и сапожник Леонтович.

— О, здравствуй, товарищ командир!

— Здравствуй. Вот, друг, какое дело: надо на скорую руку, по-холодному, подправить мне сапоги, а то каблуки совсем набок съехали.

— О, это можно. Мы сделаем... А вот на левом сапоге надо еще заплаточку положить.

— Ну что ж. Только поскорее, товарищ Леонтович. А то я сижу в одних портяночках. Ну, какие тут бумаги? — спросил я писаря.

— Вот аттестаты на убывших. А вот строевые записки. А это ваш формулярный список. Надо заполнить некоторые графы.

— Формулярный список должен заполняться в штабе полка.

— Они же не знают: женаты вы или нет, а если женаты, то где проживают ваша жена, родители, дети.

— Та-ак. Дальше?

— А вот комиссар полка спрашивает, какие проводятся политзанятия с красноармейцами и какими пособиями пользуетесь для этого...

— Надо ответить комиссару, что политзанятий не проводим, что никаких пособий у меня нет и что проводить занятия никому...

— Это надо вам самим ответить.

— Хорошо... Еще что?

— А еще вот хозяйка спрашивает, в чем остро нуждается рота: сколько требуется ботинок, гимнастеров, шаровар...

— Вот это дело! Ботинок требуется не меньше сорока пар, столько же и комплектов обмундирования. А про белье не запрашивают случайно?

— Нет. Белье ведь меняют только в банный день. А вторую пару про запас не дают: белья не хватает.

— Так. Дальше?

— Боеснабжение просит сообщить о наличии винтовок, пулеметов, патронов к ним и пулеметных лент...

— Все?

— Пока все... Ах, да. Казначей интересуется, где хранятся личные деньги красноармейцев.

— У себя хранят. Где же? И вообще какое ему дело до этого, казначею?

— Не знаю, запрашивает.

— А теперь все?

— Кажется, все.

— Ну, займемся сперва строевой запиской. Где она?

— Вот, пожалуйста.

— По списку у нас числится восемьдесят семь бойцов. Правильно. А в наличии вы указываете семьдесят, когда их только шестьдесят семь...

— Три человека приходится добавлять, товарищ командир.

— Зачем?

— И при товарище Добрых всегда прибавляли. Видимо, не обойтись без этого.

— Я все-таки не понимаю, для чего это делать?

— Чтобы выписать на роту лишние пайки хлеба, сахару...

— А где же эти пайки?

— Да там же и остаются: у каптера и хлебoreза, вроде как расход на усущку, утруску да на крошки... А там, глядишь, начальник какой подвернется. Как не угостить чаем. А к чаю надо же и хлеба и сахару. А где взять?

— Эге, вот что! Так вот, товарищ Коваленков, с завтрашнего дня в строевой записке указывать только фактическое наличие, без всяких прибавлений. Понятно?

— Понятно, конечно, только я боюсь...

— Чего?

— Как бы нам с вами не остаться без пайки.

— Ну, это еще мы посмотрим.

— А то начнут недовешивать. Как их проверишь?

— Посмотрим, посмотрим!

— А я бы на вашем месте плюнул на это: черт с ними!

— Нет, плевать на это не годится... Так-с, покончим с этим. Бумага есть?

— О, бумаги у нас много: целую стопу выдали в хозчасти.

— Это хорошо. Я возьму немного с собою.

— Пожалуйста, сколько угодно. Там, в хозчасти, предупредили, что этой бумаги нам должно хватить до самой смерти! — усмехаясь, добавил писарь.

— Хватит. Может, и после смерти нашей еще останется.

Вошли оба сапожника, и у каждого по сапогу.

— Вот сделали, товарищ командир. Хорошо сделали.

Действительно, сделали хорошо. Я натянул сапоги, пристукнул каблуками и подумал о сапожниках: «Нет, напрасно я считал их дармоедами».

Написал рапорт комиссару полка, ответил на запрос завхоза, заполнил графы в формулярном списке. Вообще сделал все, что можно было сделать здесь же, на месте, и, завернув выделенную мне бумагу в старую газету, ушел.

## II

Из канцелярии своей я пошел в хозчасть полка, подумав о своем писаре Коваленкове: «И его никак нельзя считать нахлебником, дармоедом!»

Хозчасть помещалась неподалеку от штаба, в отдельной большой избе, разделенной дощатой перегородкой. В первой половине стояло несколько столов, за которыми сидели военные писари, обложенные бумагами и счетами. Я поздоровался. Мне еще не приходилось встречаться с самим завхозом, и я спросил:

— А кто из вас заведующий хозяйством полка?

Мне кивнули за перегородку. Я прошел туда, совершенно забыв предварительно постучать, как это положено.

За большим столом на венском стуле сидел моложавый с виду, но с залысинкой на лбу военный — круглолицый, чисто выбритый, с подстриженными по-английски черными усиками. И одет он был великолепно: темно-синие галифе, хромовые сапоги и гимнастерка с иголки, подпоясанная широким ремнем, а через плечо портупея, сбоку наган. Ну, прямо комбриг, и никак не меньше! В сторонке, у стены, стояло несколько стульев — очевидно, для посетителей.

— Вы будете завхоз?

— А в чем дело? Вообще о себе следует сперва доложить, а потом лишь входить. Хотя бы постучались.

— Извините!

— Кто вы?

— Временно исполняющий должность командира второй роты краском Бобров.

— Так-с... А что вам нужно от меня?

— Многое. Но, может, разрешите присесть? — И не ожидая его разрешения, я подвинул стул к самому столу. Что-то мне не понравилось в нем — щеголеватость ли его, залысина ли, или высокомерие, а может, и все вместе.

— Что вам нужно? — переспросил он и предупредил: — Только короче!

— Постараюсь не задержать. Вы запрашиваете, сколько мне на роту нужно ботинок и обмундирования. Нужно пар сорок ботинок и столько же комплектов обмундирования...

— Сейчас ничего нет.

— Хоть что-нибудь отпустите. Многие красноармейцы почти совсем босые.

— Стыдитесь говорить это. У вас два сапожника.

— Ну, а гимнастерок, шаровар?

— Обмундирования пока нет. Но предвидится. Тогда и поговорим. Еще что?

— А хоть одна нижняя рубашка найдется сейчас у вас на складе? Я вот два часа тому назад порвал свою рубашку, чтобы перевязать раненого.

— Сейчас нет. Все белье в стирке. Будет баня, тогда...

— Так что ж, я без рубашки буду ходить?

— Не одна же у вас рубашка. И не сниму же я вам свою?

— Зачем снимать свою? Не может быть, чтобы на складе не было ни одной рубашки.

— Нет. Все?

— Все. Спасибо... Вам бы оказаться в нашей шкуре. Очень желаю вам этого!

— Не грубите! Я доложу командиру полка!

— Я тоже не лишен этого права.

### III

В просторной, в несколько толстых накатах землянке штаба полка я прежде всего встретил Хаджи-Мурата. Он сразу же узнал меня и как-то по-детски рассмеялся, высоко подняв руку, и сразу же позвал «кушать барашка».

Я хотел было в ответ предложить ему мензурочку спирту, но не сделал этого,— жалко, что ли, стало?

Командира полка в штабе я не застал и постучался к адъютанту Цветкову. Он встретил меня радушно:

— А-а, товарищ Бобров! Заходи, заходи! Хвались хорошим, а плохого у нас и своего много.

— Мало хорошего и у меня, товарищ Цветков. Вот был у завхоза. Да что, и разговаривать не хочет.

Я рассказал о своей встрече с завхозом.

— Даже рубашки пожалел? Вот щеголь, коровьи ноги!.. Зайдем к комиссару, он его образумит.

— Нет, зачем же?.. Не стоит ссориться из-за пустяков.

— Пойдем, пойдем!.. Кстати, ты ведь не знаком еще с ним? Фа-милия его Багин. Ничего, хороший человек. Только недавно возвратился из дивизионного лазарета: малярия совсем затрясла.

Багин сидел один в своей каморке за столиком и просматривал газеты. Он был молодой, широкоплечий, но худ и желт лицом.

Взяв под козырек, я представился.

— А-а,— подавая руку, сказал комиссар.— Садись. Рассказывай, каково настроение у ваших бойцов?

— Неважное, товарищ комиссар.

— Почему?

— Много причин: голодновато, с обмундированием плохо, обувь сносилась...

— Да, с обувью и обмундированием сейчас пока туговато, но кое-что выделить можно. Ну, а еще какие причины?

— По дому скучают.

— Ну, это все так. Беседы проводите с ними?

— Почти что нет, некому проводить. И пособий нет. Газет почти не получаем...

— Так... Еще что?

— Неудачное наступление тоже отражается на настроении.

— Да, конечно. Но ведь неудача постигла только наш полк. А соседи, Ижма-Печорский полк, на левом берегу Двины имели полный успех. Захватили пленных и трофеи... Сколько там и чего захватили?— спросил он у адъютанта.

— По сводке штаба бригады, на левом берегу занято село Поминок, в устье реки Солменги; взято двести двадцать шесть пленных, несколько белогвардейских и три английских офицера, десять автоматов, два бомбомета, больше ста винтовок...

— Вот видишь, товарищ Бобров, полный успех. Надо было рассказать об этом бойцам.

— Я и сам не знал про это. Правда, мы слышали стрельбу на левом берегу реки. Но что там и как — никто нам не говорил.

— Да, информация поставлена плоховато.

Кто-то приоткрыл дверь каморки, но тотчас же закрыл ее.

— Князев!.. Василий!.. Зайди сюда!

Вошел белокурый, с вьющимися волосами, голубоглазый, совсем еще молодой и опрятно одетый солдат.

— Вот командир роты обижается, что газет им не выделяете!

— Какой роты?

— Второй.

— А чего же они не присылают за газетами?.. Не могу же я разносить почту по ротам.

— Учти, товарищ Бобров: за газетами, вообще за почтой, присылай своего бойца!

— Слушаюсь. А может, и книгу какую-нибудь можно достать?

— Конечно же.

— Что ж ты не говоришь о рубашке своей? — вмешался адъютант и усмехнулся.

— О какой рубашке? — спросил комиссар.

— Пустяки, мелочь... Зачем это?

Но адъютант подробно рассказал ему о моем разговоре с завхозом. Выслушав его, комиссар проворчал сквозь зубы: «Безобразие!» — и поднял телефонную трубку:

— Мне хозчасть, Кукушкина. Кукушкин? Говорит Багин. Сколько сейчас на складе имеется ботинок, гимнастеров и шаровар? Ага, хорошо. Вот что: двадцать пар ботинок — да пусть хоть и второсрочные, — двадцать пар ботинок и двадцать пять комплектов летнего обмундирования сейчас же выделить для второй роты! Да, завтра придут... И потом, как тебе не стыдно, Кукушкин? Неужели чистой нижней рубашки нет на складе? Есть? Сейчас же пришли ко мне в штаб пару нового белья! Да, можно в счет второй роты. И вот еще что: умерь-ка ты свой бюрократизм! Seriously предупреждаю тебя.

Пока он говорил по телефону, я оглядывал его каморку. На стене тикали ходики; рядом висел портрет Ленина; на одной из табуреток лежала стопка газет, а в углу, за этой табуреткой, в запыленном чехле стояло полковое знамя. Стояло оно одиноко и сиротливо.

— Завтра присылай людей за обмундированием, а пару белья тебе сейчас принесут. Раненый, говоришь, возле дороги остался?

Он снова поднял телефонную трубку:

— Врача!

— Товарищ комиссар! Я врачу о раненом уже говорил. Он послал на место санитаров с носилками.

— Ага, хорошо. Ну, все? Ах, ты на учет?... Об этом ты поговори с политагитатором Князевым. Он и газетами тебя снабдит.

— Благодарю, товарищ комиссар. Имею честь кланяться!

— До свидания.— Он подал руку.— В случае неувязок обращайся ко мне!

— Слушаюсь.

Мы вышли. Адъютант засмеялся и хлопнул меня по плечу:

— Ну вот! А ты еще не хотел идти к комиссару.

Мы дружески распрощались. Я завернул к политагитатору Василию Князеву.

— Ладно, вот тебе газеты твои, только читай, да не один, а вслух, чтобы красноармейцы слушали.

Я невольно усмехнулся такому назиданию. Вообще же этот белокурый парень простотой своей понравился мне.

- А нет ли книг каких-нибудь?
- Есть, да маловато. Вот рассказы Горького.
- Давай!
- Вот роман Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов». Читал?
- Нет. Давай!
- А стихи любишь?.. Вот книжечка стихов Василия Князева.
- Твоя книжка? — удивился я.
- Зачем моя? Я стихов писать не умею. Это пишет тезка мой — петроградский поэт Василий Князев.
- Давай!
- Ну, хватит с тебя пока. Прочтете это, можно будет заменить. Еще какое дело?
- Хочу стать на учет. На курсах краскомов я принят в сочувствующие. Вот справка!
- Ну и справка! Тут же ничего не разберешь. Разве так берегут партийный документ?
- Понимаешь, дождь был, когда мы наступали.
- Вот что: напиши лучше новое заявление. Сколько там стажу? Полгода? Пустяки. Мы сократим срок. Пиши!
- Я написал.
- Ну, вот и хорошо. Вызовем потом тебя, когда разбирать будем... Гомулко знаешь?
- Как же, товарищ мой.
- Его уже будем принимать в члены партии. Ничего он парень-то?
- Безусловно.
- Вот и хорошо... А я готовлюсь к докладу. По международному положению... Значит, все? Ну, прощай, а то, брат, некогда: доклад по международному — это не хаханьки! Совсем он замучил меня.
- Белье все не несли, и я не стал его дожидаться: все равно завтра посылать к завхозу.
- Когда я вышел из штаба, солнце уже переплыло Двину и, покрасневшее, неторопливо опускалось на синеющий вдали лес; было тихо и прохладно. Нагруженный газетами, книгами и бумагой, я торопливо пошел домой, то есть на позицию, в окоп.
- Выйдя на окраину села, я встретил санитаров с носилками и спросил:
- Как он?
- Помер на носилках.
- Не останавливаясь, санитары прошли мимо. Мне захотелось перекреститься, как в детстве, но я только снял фуражку:
- Вечный покой тебе, безвестный товарищ.

### *Глава семнадцатая*

#### I

Хотя ночь я не спал, но едва взошло солнце, набросил на плечи шинель, растянулся под сосной и накинудся на газеты.

Утро наступало свежее, и хотя и туманное, но какое-то звучное, и дышалось легко. Если бы не война...

Но шла война, и утешительного газеты сообщали мало: пал Царицын, на транспорте разруха; в стране все меньше хлеба, рабочим стало еще тяжелее жить.

Правда, под Петроградом наши войска дали отпор белогвардейцам, а на Восточном потеснили Колчака и вернули Пермь. Если бы удалось теперь нанести серьезный удар по офицерским полкам Деникина, стало бы много легче.



Я не услышал, как ко мне подошел комвзвода Яковлев.

— Сынок, часовых снимать? — спросил он.

Глядя на припухшее лицо его, я догадался: «А ведь он спал, хрыч старый!»

— А может, еще рано?

— Да, пожалуй, еще не время: раннее утро так же опасно, как и ночь. Часиков в десять можно будет и снять, но наблюдателей в окопе оставьте на весь день... Вот какое дело, товарищ Яковлев: вчера комиссар полка приказал выдать нам обмундирование для красноармейцев. Возьмешь трех-четырех бойцов, сходишь в Городок, в хозчасть полка, и получишь его.

— А много?

— Нет. Пар двадцать ботинок да двадцать пять комплектов летнего обмундирования. Только рванину не бери. А то завхоз, видно, мастак — может подсунуть. Понятно?

— А нам, комсоставу, ничего не выделили?

— Одну пару нового белья. Мне лично, взамен истраченной на раненого рубашки. А там посмотрим. Да, вот что: сперва зайди в ротную канцелярию и возьми с собою писаря Коваленкова, а потом уже иди к завхозу, да посмелее с ним, а то он — дока!

Отложив газеты, я взял в руки сборничек стихов поэта Василия Князева. Маленькая, скромно изданная книжечка в белом бумажном переплете вызвала у меня зависть: «Эх, хоть бы одну такую книжечку написать и мне!» — подумал я, бережно разворачивая страницы.

Читать было трудновато; стихи показались мне какими-то сбивчивыми, неровными — читаешь, и кажется, что шагаешь то через одну, то через несколько ступенек. Впрочем, я слышал, что стихи надо уметь читать. Видимо, я еще не умею читать революционных стихов, кроме как Демьяна Бедного, а иногда и не совсем понимаю их.

Я вырвал из книжечки страничку с одним стихотворением, которое мне очень не понравилось, и разорвал ее на мелкие кусочки: мне показалось, что там пренебрежительно относятся к жизни наших красноармейцев, считая ненужным жалеть ее, лишь бы эти люди собой «удобряли поля грядущих революций». Потом подложил под голову книги и газеты и, укрывшись шинелью, прилег отдохнуть.

## II

Сон мой прервал комвзвода Яковлев, который, заботясь о том, чтобы я поспал, приговаривал вполголоса:

— Тише, сынки, тише...

Под это приговариванье я проснулся. Неподалеку от меня лежала груда обмундирования, а вокруг него толпились красноармейцы.

— Значит, принесли? Все же пришлось круто этому завхозу?

— Сполна. А на тебя он в обиде: ябедником назвал.

— Щеголь он, коровьи ноги: я не ябедничал, а доложил.

— Товарищ командир, гля: брюки — муки, а носить — просить!

— А мои ботиночки — что картиночки: рот вразвалку, только на свалку!

— Потом, потом, ребята, раздадим после обеда. А теперь расходите по своим местам: нельзя же окопы оголять!

Красноармейцы, толкая друг друга, начали расходиться.

— Ведь вот как немного надо, чтобы люди повеселели, — сказал я.

Комвзвода, покашливая, пошел в свой блиндаж, а я снова прилег под сосной, положив голову на сваленное в кучу обмундирование, и закрыл глаза. Но мне не спалось. Почему-то припомнилось раннее дет-

ство, старая изба, осенний вечер, лампада, чуть мерцавшая в углу, и мать на коленях перед большой иконой Казанской божьей матери, и на душе моей стало грустно и пустынно, как на опустевшем степном полустанке в осеннюю пору. И мне вдруг очень захотелось написать стихотворение. Я достал из планшета лист бумаги, карандаш и начал писать. Писал, зачеркивал, снова писал, пока наконец не вымучил восемь рифмованных строк:

В углу лампадою горящей  
Мрак чуть озарен,  
И над младенцем ниц склонен  
Мадонны лик скорбящий.

О, сколько горя и печали  
В ее святых и грустных очах,  
Как будто слезы упали  
Беззвучно в сумрак ночи...

Я не понимал тогда, что эти строфы не только стихотворно, но и просто грамматически безграмотны. Меня заботило другое. Написал, несколько раз прочел и задумался: а кому нужно теперь такое стихотворение? Что оно дает человеку? К чему зовет его? И решил: ничего оно не дает и ни к чему не зовет. Это просто душевное излияние мое в минуты грустных воспоминаний о чем-то далеком и неповторимом. Нет, если уж писать, то надо писать стихи бодрые, целеустремленные, зовущие на подвиг. Я достал из планшета другой лист бумаги и быстро написал новое стихотворение. Правда, без рифмы.

Там не молния  
И не гром гремит,  
А идет там бой  
За свободу, труд.

Развевается  
Знамя красное,  
А несет его  
Богатырь-боец.

— Эй, кто сильные  
Да могучие,  
Отряхнись, взмахни  
Рукой мощною!

Все деникинцы,  
И колчаковцы,  
И француз болтун,  
И безусый бритт —

Тунеядцы все  
Заграничные  
Полетят от нас  
В пропасть темную!

— Ну, кто сильные  
Да могучие,  
Тот в окоп скорей,  
Мы на помощь ждем!

И пойдем вперед  
Тучей грозною,  
Завоеем мир  
Всем трудящимся!.

Написал, прочел и подумал: «Хоть нескладно и не совсем по-своему, вслед за Кольцовым, зато здорово. Непременно пошлю в фронтную газету».

Подоспела кухня. Привезли и хлеб. Повар стал разливать суп, сваренный из сухих овощей с постным маслом; на двоих — котелок, да и то неполный, а каптенармусу повзводно раздавать хлеб. Взводы получили свои пайки сполна, но одной, именно для меня, не хватило.

— Почему не хватает хлеба? — строго спросил я у каптенармуса.

— Не знаю, товарищ командир. Что мне дали в хлеборезке, то я и привез.

— Ты же знаешь, на сколько человек надо получать!

— У них, в хлеборезке, свой список на каждую роту. Они и выдают по тому списку.

— Если и завтра с хлебом получится такая же история, будешь сидеть в окопе! Понятно?

— Как вам угодно, товарищ командир, но только я тут совсем ни при чем... Лучше я отдам вам свою пайку, только я уж половину съел...

— Зачем же мне твоя пайка?

Казалось бы, мелочь. Но как эта мелочь испортила мое настроение! Ведь назло сделано.

### *Глава восемнадцатая*

#### I

На следующий день с хлебом получилась такая же неувязка, даже хуже: не хватило двух паек. Хлеба на этот раз, по жребии, не получили комвзвода Яковлев и помкомвзвода Петров, временно замещающий командира третьего взвода. Без хлеба они, конечно, не остались: с миру по крошке — голодному пайка.

Каптенармуса Кудрявцева я оставил тут же, в окопе, даже не решив ему сходить в Городок за вещами. И что бы вы думали? Уже на следующий день хлеб мы получили сполна. Но пайки, как мне показалось, стали как будто легче. И не одному мне показалось это. А от комбата принесли приказание, чтобы каптенармуса Кудрявцева отчислить в распоряжение штаба полка. «Нет, дудки, так дело не пойдет!» — решил я и пошел в штаб батальона объясняться.

Протягивая Епову нетронутую пайку свою, я спросил у него на красноармейском жаргоне:

— Чик или недочик?

— Да, как будто маловато. Этак по осьмушечку...

— А может быть, больше?

— Нет, не больше.

— Так вот, не штаб требует отчисления каптера Кудрявцева, а завхоз, которого каптер и хлеборез подкармливают нашим хлебом! Позвольте мне позвонить адъютанту полка!

— Стоит ли, товарищ Бобров? С пайками тут дело сложное: надо бы официально отчислять какую-то толику на усушку, утруску, на крошки, но этого не делают. А какой-то маленький резерв у каптера должен быть, иначе у него всегда будет недостача. Вот он и прибегает к разным махинациям: либо надо приписывать лишних едоков, либо маленько недоवेशивать...

— Позвольте мне все-таки позвонить.

— Стоит ли?

— Стоит. Я не о пайках, а насчет Кудрявцева.

— Тоже не стоит... Я понимаю тебя, товарищ Бобров, но что я могу сделать, раз требует штаб полка?

— Безусловно, мы обязаны выполнить приказание! — солидно заметил адъютант Серебряный и несколько раз мотнул головой.

С тем я и ушел, недовольный ни комбатом, ни собою. В конце концов мне пришлось согласиться с моим ротным писарем Коваленковым.

## II

Июль был уже на исходе. День выдался пасмурный, но не дождливый. Красноармейцы сидели под козырьками своих блиндажиков. В послеобеденную пору в окоп вдруг совсем неожиданно нагрянуло сразу человек семь, и все начальство: командир полка, комиссар, адъютант штаба полка, комбат со своим адъютантом и двое совсем незнакомых мне военных. У одного из них, еще сравнительно молодого, на груди был орден Красного Знамени.

Они шли поверху, иногда спускались в окоп, ложились грудью на бруствер, оглядывая местность.

— Кто этот, с орденом? — тихо спросил я у комбата.

— Комиссар армии товарищ Кузьмин, — так же тихо ответил комбат.

— Что я пулеметов ваших не вижу? — спросил меня комполка.

— Два станковых по флангам, товарищ командир полка. А здесь, у этого блиндажа, стоял легкий пулемет...

— Я переставил его! — выскочил комвзвода Пунин. — Отсюда обстрел плохой, большое мертвое пространство...

— А почему меня не предупредил? — спросил я.

Пунин ничего не ответил.

— Что ж это вы? Один переставляет, другой ничего не знает... Писатели... Не-ет, так не годится! — с явным недовольством проговорил комполка.

Я горел от стыда.

— Соберите-ка сюда красноармейцев! — сказал комиссар Кузьмин. — Можно? — обратился он к Кирвенко.

— Пожалуй, можно... Соберите. Только наблюдателей оставьте на местах, — распорядился комполка.

Когда рота собралась — а собирались бойцы медленно, так как многие спали, — Кузьмин негромко поздоровался и сказал:

— Поздравляю вас, товарищи, с большой победой! Позавчера на Восточном фронте наша армия перевалила Урал и заняла большой город Челябинск. Теперь путь в Сибирь открыт... В Самаре состоялся парад победы. На этом параде принято письмо красноармейцев...

Он достал из нарукавного обшлага шинели газету и стал читать письмо красноармейцев к Ленину.

Закончив, комиссар и другие пошли дальше вдоль окопов.

Когда они прошли занимаемые нашей ротой позиции, я взглянул на комвзвода:

— И не стыдно тебе, Пунин, так подводить?

— Черт ее... Совсем забыл предупредить тебя.

В этот же день из блиндажа пулеметчиков я перешел в блиндаж комвзвода Яковлева.

## III

В военной сводке за 2 августа сказано: «Атака противника на правом берегу отбита...»

Это касается нас, нашего полка. Именно 2 августа на левом фланге полка, во втором батальоне, произошло нечто непонятное.

В то утро, часов в девять, я пошел в Городок: опять предстояло ссориться с завхозом Кукушкиным из-за красноармейского обмундирования, заодно договориться с комендантом о бане. Но завхоза я на месте не застал — он спозаранку отправился на позиции, чтобы лично проверить нуждаемость бойцов в обмундировании и обуви. Пришлось его ждать.

Среди ясного, совершенно безоблачного неба вдруг раздался оглу-

шительный гром, от которого в Городке дома задрожали. Противник стрелял из тяжелых, из легких, из бомбометов; ураганный огонь открыли с канонерок. Лес стонал от непрерывных взрывов. В штабе полка поднялся переполох: белогвардейцы наступают!..

Я выскочил из штаба и напрямик по картофельной ботве и грядкам, перепрыгивая через изгороди, бросился к лесу, думая только об одном: «Как же там наша рота? Что с ней?..»

Вбегая в лес, на самой окраине его я издали еще увидел завхоза Кукушкина. Он бежал, приседал и снова бежал навстречу мне. Он бежал с позиции, а я — на позицию, и мы встретились.

— Куда! — крикнул он. — Назад! Там наступают! — И, не останавливаясь, побежал к Городку. Я ничего не успел ответить и, задыхаясь, побежал к своей роте.

В нескольких шагах от тех воронок, где я недавно подобрал раненого, толпилось человек десять вооруженных красноармейцев. А у самой воронки в окровавленной нижней рубашке стоял один немолодой уже красноармеец и, широко расставив руки, словно преграждая путь, кричал им:

— Куда вы, сволочи? Там за советскую власть умирают, а вы убегаете, предатели? Не пушу!.. Не пушу!.. — Он кричал надрывным, чуть не плачущим голосом: — Опомнитесь! Не пушу! Не пушу!..

Красноармейцы явно опешили и растерянно переглядывались. В бешенстве, нахлынувшем на меня, я выхватил из кобуры наган и крикнул во всю мочь:

— В окоп, за мной — бего-ом!

Они, словно очнувшись, сразу повернули назад, и мы все побежали навстречу рвущимся снарядам.

Но орудийный гул вдруг замер. Он прервался так же внезапно, как и вспыхнул. До боли в сердце бьющая тишина повисла над израненными соснами. Я ждал, что вот-вот у окопов загудит «ура», но его не было слышно. Наступила тишина. Мы невольно умерили бег и пошли скорым шагом.

Мы шли, прислушиваясь и оглядываясь. Тишина не нарушалась. Мы уже подходили к окопам. Густо запахло дымом.

— Товарищи! — обратился я к притихшим красноармейцам. — Расходитесь по своим ротам и доложите командирам вашим, что вы срейфили и чуть не сбежали, но потом возвратились.

— А что нам за это будет?

— По головке, конечно, не поглядят.

— Расстреляют?

— Нет, зачем так?.. Только не лгите!

Красноармейцы нашей роты, находящиеся в окопах, почти совсем уже успокоились, но держались еще настороже, положив снятые с предохранителей винтовки на бруствер; пулеметы тоже были готовы к бою.

Только часа через два стало известно нам, что значил весь этот переполох. Обрушив на ближайший наш тыл шквальный огонь орудий, белогвардейцы перед левым флангом наших позиций зажгли несколько дымовых шашек и под прикрытием дымовой завесы взбежали на высоту, с тылу ворвались в неприступный блиндаж, обнесенный проволочным заграждением, возле которого я встречался с Львом Гомулко; захватив станковый пулемет и двух пулеметчиков, они благополучно ушли, а затем вскоре же прекратился орудийный огонь.

Сколько белогвардейцев участвовало в этом отчаянном налете

среди бела дня, неизвестно, как непонятна для нас была и цель этой операции.

Так и остался для нас загадкой этот странный эпизод, случившийся днем 2 августа на левом фланге нашего полка.

#### IV

Спустя три дня возле нашей батареи я повстречался с другом своим Львом Гомулко и едва узнал его. Он очень похудел, был бледен и выглядел больным.

— Что с тобой, Лева?

Он ничего не ответил.

— Что ж ты к врачу не сходишь?

— Не надо,— тихо проговорил он.

— Да что с тобой? — с беспокойством допытывался я.

— Застрелюсь...

— Ты с ума спятил, что ли? В чем дело?

А дело, оказывается, вот в чем: он, как и те красноармейцы, которых я вернул в окопы, не выдержал внезапного и ошеломляющего артиллерийского налета и, оставив окопы, оставив своих бойцов, бросился бежать и где-то, далеко от окопов, натолкнулся на своего комбата Бычкова; тот привел его в чувство, но по долгу службы доложил об этом командиру полка. За трусость Льва Гомулко разжаловали в отдельные командиры и поставили вопрос теперь уже не о принятии его в партию, а об исключении из кандидатов.

— Если исключат — сразу же застрелюсь. Наган отобрали, так я из винтовки.

— Выбрось ты эту глупость из головы! Ведь ты на фронте впервые. Ты еще докажешь, что ты настоящий краском. Бои еще будут, Левушка. Ой, будут еще бои... Вот и докажи!..

Насколько я успокоил его отчаявшуюся душу, я не знал, но на прощанье он непривычно крепко пожал мне руку и проговорил сквозь слезы:

— Один ты... Один ты... Спасибо!

Вот уж никогда не думал, что так ослабеет мой друг! А что, если попросить комбата перевести его в нашу роту? Впрочем, вряд ли это разрешат, да и для него это, может быть, будет еще тяжелее.

#### *Глава двадцатая*

##### I

Комбат-два Павел Бычков никак не мог примириться с тем, что белогвардейцы захватили у него станковый пулемет и увели с собою двух пулеметчиков, да еще среди бела дня и из неприступного, как он был уверен, блиндажа. Они просто уворовали у него пулемет и людей, как воруют домашние вещи из-под замка... И комбат решил отплатить им за это. В объяснениях с комполка он так и сказал:

— Я им отплачу! Я их измором изведу, я им не дам покоя ни на одну ночь!

Через сутки после налета на блиндаж комбат выслал с наступлением темноты разведку, поставив задачу — осторожно подобраться поближе к белогвардейским окопам, открыть огонь, несколько раз крикнуть «ура» и затем быстро «смотреться».

И впрямь часа в два ночи на левом фланге, где-то впереди наших окопов, раздалось несколько залпов, взорвались гранаты и послышались крики.

Белогвардейцы открыли беспорядочный огонь. Только на рассвете они убедились, что «неприятельская атака отбита», и прекратили огонь.

На следующую ночь — снова тревога. И так несколько ночей кряду.

Комбат Бычков и впрямь изводил врагов, не давая им покоя. Но он также не давал покоя и нам: все эти ночи мы чувствовали себя очень напряженно, с минуты на минуту ожидая ночной контратаки. Неизвестно, сколько еще ночей продолжался бы этот тактический маневр, вернее трюк, комбата Быčkова, если бы разведка не напоролась на белогвардейскую засаду. А она-таки напоролась на нее и не только изрядно поплатилась сама, но стала причиной вспыхнувшей в нашей роте паники. А известно, что такое на войне ночная паника!

В ту ночь я был при втором взводе, на левом фланге своей роты. Вместе с комвзвода Яковлевым мы стояли у блиндажа, где находился станковый пулемет, и прислушивались; из блиндажа, чуть освещенного смрадно горевшим телефонным кабелем, доносился негромкий разговор красноармейцев.

— Э, храбрый ты какой! — возражал кому-то храбрый и боевой красноармеец Громов. — На войне только тому, кто глухой, к тому же еще и слепой, не страшно, кто ничего не видит и не слышит! Правда, Ярославец?

Тот ответил, помедлив:

— Мабуть, никому бы не страшна была война, кабы стреляли овечьими пулями...

— Вот это верно!

Все рассмеялись.

Мы, пригнувшись, полезли в блиндаж, где и без нас было тесновато. Слабый огонек чадил. Пахло жженой резиной и ружейным маслом. Красноармейцы сидели, слегка пригнувшись, держа винтовки между ног; иные дремотно покачивались и позевывали.

— Что, не спите? — спросил Яковлев.

— Как можно, товарищ комвзвода! Все время начеку!..

— Чтой-т сѣдня... а-пчки!.. чтой-та сѣдня присмирели, не слышать, — проговорил Громов и снова чихнул.

Кто-то из бойцов пожелал ему:

— Сто годов жить, двести — на карачках ползать!

Красноармейцы громко рассмеялись и не потому, что смешно, а чтобы в какой-то степени нарушить сонливость.

— Тише! — прервал их Громов и насторожился.

Мы прислушались: и вправду откуда-то издалека доносилась приглушенная залповая стрельба. Мы быстро выбрались по одному из блиндажа. Небо уже серело, предвещая близкий рассвет, в воздухе чувствовались сырость и прохлада.

Близ окопа вдруг послышался громкий оклик:

— Взводный! Где ты, взводный?

Из темноты вынырнул стоявший в секрете боец и, подбежав к нам, волнуясь и сбиваясь, доложил:

— Товарищи... в лесу кто-то ходит: сучья трещат... Должно. .

— Что должно, что?.. — прервал его командир взвода. — Померещилось вам...

— Право, трещит, товарищ командир...

— Пойдем-ка, я сам проверю! Сынки, а ну-ка в окоп, по местам!

— Спокойней, товарищи, спокойней! — ободрил я красноармейцев.

Сам я чувствовал себя далеко не спокойно. — Сейчас все выяснится. Главное — не волнуйтесь!

Стрельба на левом фланге между тем затихала, а вскоре и совсем прекратилась. Ни звука. Минут через десять возвратился комвзвода Яковлев и проговорил ворчливо:

— Правду говорят: пуганая ворона куста боится!..

Стрельба на левом фланге опять вспыхнула, но теперь уже палили вразнобой. В ружейную трескотню врезались пулеметы: это уже отходившая в свои окопы наша разведка напоролась на белогвардейскую засаду.

— Спокойнее, товарищи!.. Без команды не стрелять! — убеждал я красноармейцев, понимая, что достаточно в такую минуту случайного выстрела, чтобы началась сумятица, которую не унять. И этот выстрел раздался. Он раздался в нашем секрете, на правом фланге роты.

Напряжение, которое до сих пор еще сдерживалось дисциплиной, вдруг сразу же прорвалось, будто только и ждало этого выстрела. И пошло!

— Отставить стрельбу! — во все горло орал Яковлев.

— Прекратить огонь! — кричал я.

— Ярославец, пес, куда стреляешь? — вопил отделенный.

Но голоса наши беспомощно тонули в хаосе этой взбунтовавшейся огненной стихии. Мы бегали от бойца к бойцу, хватали их за плечи, трысли, вырывали из рук винтовки и кричали в самое ухо:

— Отставить!..

— Прекратить!..

— Отбито!..

Но минут десять еще длилась эта вакханалия, пока наконец не затухла сама. Высланная за окоп разведка ничего подозрительного не обнаружила, только на правом фланге набрела на убитого лося.

А в штабе полка в это время поднялась настоящая тревога: запищали телефоны, в батальоны поскакали гонцы, в роту к нам прибежал комбат Епов:

— Что такое? В чем дело?

Для меня этот эпизод окончился более или менее благополучно: приказом по полку мне объявили только строгий выговор. Вылазки комбата Бычкова с этой ночи прекратились, мы почувствовали себя спокойнее, и спокойствие это не нарушалось вплоть до 9 августа.

## И

К ночи с 9 на 10 августа погода резко изменилась: с вечера новорожденный и веселый месяц еще прогуливался в облаках, но часам к десяти его совсем спеленали сплошные облака. Начало моросить.

За последние дни на фронте было так тихо, будто и войны не было. Все красноармейцы, кроме стоявших на посту — в секрете или окопных наблюдателей, — забившись в землянки, дремали под усыпляющий шум дождичка, не расставаясь с винтовками; в землянках тускло мерцали светильники, сделанные из патронных гильз и наполненные ружейным маслом, а иногда вместо них жгли вонючий телефонный кабель — запасли его немало, хотя и незаконно.

Мы с командиром роты Добрых сидели в землянке; вместе с нами находился нештатный вестовой наш, молодой зырянин Володя Амосов, который очень мало понимал по-русски.

Комроты только два дня тому назад возвратился из дивизионного лазарета. Рана на левой руке Добрых зарубцевалась, но время от времени ныла, особенно к перемене погоды.

Посреди землянки стоял небольшой столик, а возле него две короткие скамеечки, принесенные из Городка. **Вестовой наш беззаботно спал,**



растянувшись в углу на хвойном лапничке; на столе горела коптилка, сделанная из жестяной кружки и залитая не маслом, а самым настоящим керосином, который раздобыл нам ротный писарь.

По случаю непогоды и мы с Добрых выпили по стопочке разбавленного водю подарка моего земляка-доктора, и я читал ему, первому моему слушателю и критику, свои стихи. Особенно понравилось ему стихотворение о мадонне.

— Да, да, сумерки... дождь, а в углу перед иконой горит лампада... и тихо так, тихо, хорошо... Очень правильно,— замечал Добрых, глядя на огонек.

Прочел я и новое стихотворение, посвященное июньскому наступлению нашему. Я так и назвал его: «Мы наступали».

Мы цепью шли, а лес гудел,  
Как осы, пули пролетали,  
И Север заревом горел:  
Мы наступали!

Вот перешли реку, овраг,  
Приветом сосны закивали,  
Огнем сплошным нас встретил враг:  
Мы наступали!

Уж пали многие из нас,  
Но пулеметы не смолкали..  
И дрогнул враг на этот раз:  
Мы наступали!..

— Да, да, все правильно,— умиленно поддакивал Добрых,— и овраг, и река, и пули, как осы,— все правильно... Только вот враг-то вроде бы не совсем дрогнул, а...

— Даже совсем не дрогнул. Но так надо, для бодрой рифмы. Понимаете?

— Для рифмы, конечно, можно и так. Вот только про комиссара Самодеда вы ничего не написали.

— Ведь неизвестно, что стало с ним.

— То-то и оно, что неизвестно. А по-моему, убит он. Надо бы и о нем упомянуть. Человек он был строгий, горячий, но справедливый. Душевный. Надо бы...

Он вздохнул и перекрестился:

— Царство ему небесное, коли есть оно, царство это... А я гляжу вот на вас, товарищ Бобров, и замечаю, что вы похудели. Очень заметно. Вам бы отдохнуть хоть месячишку. Маленько прихворнуть как-нибудь, что ли, и в лазарет. Там постель, тепло и кормят получше. Доктор, земляк ваш, пусть бы дал вам хоть месячишку отдохнуть. Их уж не учить, докторов!

— Как же я, совсем здоровый, буду проситься в лазарет?

— Здоровый? Это хорошо. Но я говорю к тому, что очень уж вы похудели и не мешало бы вам отдохнуть. А их уж не учить, докторов! — повторил он.

Я глядел на его добрую улыбку и вдруг вспомнил фразу комбата Епова, когда я рассказал ему о самострельщике: «Но один ли такой Бурачков?..» Черт, как это неприятно!

— Да, хорошо,— продолжал Добрых.— Молоды вы, силенка держится. А мне-то уж тридцать с гаком, два ранения в германскую. Я уж стал... меня к отдыху тянет... Ох, война эта, война!

Сидя и вздыхая, он стал дремать. А я решил пройти по окопу, проверить наблюдателей, секреты и, набросив на плечи шинель, вышел из землянки.

Время приближалось уже к полуночи, когда я, вымокший, возвратился в землянку. Добрых, скрестив руки на столике и положив голову на локти, все еще дремал и во сне пошевеливал губами.

Я чувствовал себя в каком-то счастливом расположении духа. Если бы копилка наша горела ярче, я непременно начал бы писать новые стихи. О чем?.. А хотя бы о такой вот морозящей ночи в прифронтовом бору, о солдатах, которые, скорчившись, сидят в землянках и мокнут на дожде, а придется, то и умирают. Но в землянке было очень сумрачно.

Вдруг Добрых быстро приподнял голову и огляделся.

— Спал я, что ли?

— Вздремнули...

Он посмотрел на свои часики.

— Только еще без десяти двенадцать. Ой, длинна ночь. А спать нельзя. Никак нельзя!..

— Я проверил посты. Все в порядке.

— Хорошо, голубчик... Да, в ту, империалистическую, офицерам на фронте вольготнее было. И водочку доставали. Известно, жизнь фронтовая: сегодня жив, а завтра — бог весть. И деньжонки водились, вот и доставали, и пили, и в карты резались. А теперь нельзя, теперь строго. А иной раз и очень надо бы стопочку... Я-то и раньше не особенно увлекался этим, но иногда и выпивал. Случалось...

— Теперь за пьянку расстреливают. На днях я сам читал в газете, что в Великих Луках за пьянство троих приговорили к расстрелу... — заметил я, не придавая особого значения этому, а сказал просто к примеру.

— Нет, нет! — торопливо возразил Добрых. — В газете написано «за пьянство и вымогательство»! А это уж иное, совсем иное. Вымогательство — это преступление. А у нас тут вымогать не у кого и нечего. И выпили мы только по маленькой стопочке...

— Не в нас дело!

— Конечно, конечно... Это я так, к слову. — Он снова посмотрел на часики: — Ровно двенадцать...

## *Глава двадцатая*

### I

Ровно в двенадцать ночи застрочил пулемет.

Мы вышли из землянки. Стреляли из вражеских окопов короткими очередями, с почти равными перерывами. Что бы это значило? То было тихо, спокойно, а то вдруг в ночную пору пулеметные очереди из отдаленных на большую дистанцию окопов! Какой в этом смысл?

— Может, хотят у нас опять вызвать панику?

Добрых ничего не ответил, только прислушивался. К нам подошел пулеметчик Пунин и спросил:

— Что это они вздумали?

Ему тоже не ответили. Вдруг где-то совсем неподалеку раздался оружейный выстрел. Снаряд взорвался впереди наших окопов. Через минуту прогремел второй выстрел. На этот раз, провизжав над нашей головой, снаряд крикнул позади окопов, где-то возле землянки штаба нашего батальона. Выстрелы продолжались с методической аккуратностью — раз в минуту. Снаряды рвались возле самых окопов, делая то перелет, то недолет.

— Не понимаю! — негромко проговорил комроты Добрых. — На всякий случай пулеметы к бою в исправности?

— Пулеметы начеку.

— Товарищ Бобров! Пройдите еще раз по окопу, проверьте посты и ободрите красноармейцев... Пусть себе беляки стреляют, а я пойду в землянку.

Комроты пошел в землянку, комвзвода Пунин — к своим пулеметам, а я — по блиндажам.

Всю ночь, вплоть до рассвета, не умолкал пулемет, стреляя короткими очередями, и всю ночь методически, через каждую минуту, возле окопов взрывался фугасный снаряд, делая то недолет, то перелет...

Начало рассветать. Лес с каждой минутой стало все гуще и гуще заволакивать туманом, который поглощал и окопы, и сосны, и людей. Пулеметы умолкли, но орудия, несмотря на туман, продолжали бухать. Снаряды по-прежнему приблизительно через каждую минуту разрывались, не долетая до окопов, либо за окопами, в ближайшем тылу... А туман, казалось, шипел. В воздухе пахло хвоей, смолой, туманом и чем-то еще неуловимым, но довольно приятным.

В балахоне своем с натянутым на голову капюшоном в землянку к нам торопливо заскочил батальонный адъютант Серебряный. Лицо его было серым, с желтоватым отливом. Он заговорил торопливо и несколько взволнованно:

— Как у вас? Что? Почему вы сидите в землянке?

— А где же нам сидеть? — спокойно спросил Добрых.

— Но стреляют ведь, стреляют!

— Да, стреляют. А что сделаешь? Им не прикажешь прекратить стрельбу.

— Что мне доложить о вас?

— У нас спокойно. Потерь пока нет.

— Черт знает что, такой туман! Я еле нашел вас. А мне нужно в другие роты. Комбат успокоится!

— Вы идите вдоль окопа. Немного поколесите, но не заплугаетесь.

— Хорошо. А комбату я доложу, что на вашем участке спокойно. — И он быстро вышел из землянки.

С наступлением утра подул ветерок, раскачивая высокие кроны и рассеивая туман. Снова из неприятельских окопов короткими очередями полыхнул пулемет. Методически, через каждую минуту, ложился снаряд. В воздухе по-прежнему пахло смолой, хвоей и чем-то приятным.

Вдруг над лесом, оглашая воздух гулом, повисла эскадрилья гидросамолетов. Мы невольно прижались к соснам, ожидая взрыва бомб, но эскадрилья, не обратив на нас никакого внимания, потянула в наш тыл. А спустя несколько минут там, в нашем тылу, где-то возле Городка и за селом, вспыхнула ружейная стрельба; застучали и пулеметы. Батарея рывкнула из четырех орудий шрапнелью. Снаряды ядрено взорвались в воздухе и тоже позади нас, где-то над Городком. И эта вспыхнувшая в нашем тылу стрельба очень и очень встревожила нас.

Мы стояли возле своей землянки. Носовым платком я вытирал глаза, которые от бессонницы начинало пощипывать, и они слезились. «Плохо же я стал переносить бессонницу», — подумал я. Аромат становился все сильнее.

— Откуда это такой приятный запах? Чувствуете?

Комроты Добрых глубоким вдохом через нос втянул в себя воздух и вдруг хлопнул себя ладонями по лодыжкам:

— Газ... Голубчик, нас обстреливают химическими снарядами!..

И, повернувшись в сторону пулеметного гнезда, он громко крикнул бойцам:

— Противогазы! Голубчик, пройдите по окопу, по блиндажам, — сказал он мне. — Всем прикажите надеть противогазы; выводите бойцов

из блиндажей на воздух, в окопы. Поторопитесь, голубчик, поторопитесь!..

Я побежал вдоль окопа и, заглядывая в блиндажи, кричал приказ: — Надеть противогазы! Вылезай!

Красноармейцы торопливо вылезали из блиндажей и торопливо натягивали резиновые маски. В спешке некоторые бойцы забывали открыть дыхательный клапан и, задыхаясь, срывали шлемы. Обучали мы обороне при газовой атаке очень мало.

— Пробку!— кричал я.— Открывай пробку! Не торопись, спокойней!.. Главное, дышите ровнее!— гудел я из-под шлема.

Не берусь судить, насколько мне удалось успокоить бойцов, но паники среди них я не наблюдал. Справившись с противогазами, они становились у бойниц, готовые по команде открыть огонь.

Но враг перед окопами не появлялся, словно он играл в прятки.

## II

Часам к девяти утра пулеметный и оружейный огонь со стороны белых и англичан прекратился. Стало тихо и еще гревожней. Небо после дождя не прояснилось, и в воздухе чувствовалась тяжелая сырость; ветер все настойчивее раскачивал мокрые кроны озябших сосен.

На левом фланге роты показался доктор Модест Семенович. Вот уж кого не ожидали! Он был в сапогах и телогрейке, с повязкой красного креста на рукаве. В сопровождении фельдшера Ивана Васильевича и молодого, уже знакомого мне санитаря Пети (с большой медицинской сумкой за плечами) доктор неторопливо шел по окопу на правый фланг. Меня удивило, что шли они с открытыми лицами, а противогазы их, как обычно, висели на правом боку. Иногда доктор останавливался и принохивался, словно легавый, потерявший след, и шел дальше. Временами он спрашивал какого-нибудь бойца шутливо-ободряющим баском:

— Ну, что, братец, и ты понюхал английских духов? Сними-ка харю! Не бойся, не бойся! Вот так. Как глаза, пощипывает?

— Щиплет...

— Конечно... Вот и покраснение... Но ничего, братец. Скоро пройдет. Красивее, конечно, не станешь, но жить будешь и жениться еще сможешь.

— Снова?

— Вот уж этого не знаю. А харю свою снова надень пока.

Осмотрел он глаза и у меня.

— Тоже нанюхался. И как же ты, Алеша, сразу не догадался? Но ничего, концентрация была небольшая, и очень кстати для нас выдалась сырая погода. Недельку-другую глаза все-таки будет пощипывать, возможно, опухнут и...— Он показал на низ живота.— Да, вот предупреждаю: на слизистых оболочках и вообще на потных местах могут образоваться язвочки. Но полагаю, последствий не останется. Сейчас опасность уже миновала. Противогазы можно снять, если снова не начнут вас обстреливать химическими. А вообще-го — вопиющее безобразие! И еще кричат о международном праве! Ну-с, голубчики, прощайте! У меня там целая очередь.

После этого посещения на душе стало легче, тишина уже не казалась нам предательской и тревоги не вызывала. Можно было и отдохнуть.

## III

Но отдохнуть не пришлось. Едва успел я снять мокрую шинель и для просушки повесить ее на перебитый сук стоявшей у самой землянки корявой сосны «три сестры», в блиндаж к нам вбежал Серебряный. Лицо его было бледно. Переведя дыхание, он проговорил торопливо:

— Комбат приказал немедленно... Немедленно снимать роту и отходить на Городок.

— А что такое?— привставая со скамьи, воскликнул Добрых.

— Нас... окружили...

— Что вы говорите? Как это могло случиться?

— Не знаю. В тылу идет стрельба. Телефонной связи с полком нет. Нет и живой связи: посыльные не возвращаются, наверно, их перехватывают. Немедленно отступайте на Городок, а я побегу в первую роту.

— Голубчик, а дела-то скверны!— сказал мне Добрых.— Рассуждать некогда, побыстрее на левый фланг. Всех бойцов, пулеметы — сюда, к нашей землянке. Быстрее, голубчик. Вот еще беда!..

Я выбежал из блиндажа, в котором уже хозяйничал наш вестовой Володя Амосов, и, не надевая шинели, побежал вдоль окопа, приказывая на ходу:

— Снимайте часовых, пулеметы и все к ротной землянке!

— А что такое, товарищ командир? — спрашивали красноармейцы.

— Немедленно выполняйте!

И побежал дальше, повторяя то же приказание.

На левом фланге у крайнего секрета я задержался. Стоявшие на посту красноармейцы были еще в противогазах и дышали с хрипом.

— Снять противогазы! Разве вам не говорили?

— Никто не говорил, совсем забыли нас!..

— Сейчас же бегом к ротной землянке!

— Куда там бегом!..

Мне буквально пришлось выводить их через окоп... Когда мы подошли к ротной землянке, там уже никого не было: ни командира роты, ни вестового нашего Амосова, ни красноармейцев; не висела и шинель моя на перебитом суку корявой сосны.

Бойцы, которых я вел, категорически отказались идти дальше: у одного «слеза зенки заливает», а у другого «в голове, как в кузнице, и ноги хвицают».

— Останемся тут. А там будь что будет!

Пригибаясь, они полезли в блиндаж.

*Глава двадцать первая*

## I

Совершенно один, черной тропкой, напрямик, скорым шагом я пошел на Городок, надеясь нагнать свою роту. Но я шел и шел, а роты было не видать... О, как страшно при столь неясной обстановке идти одному, не зная, что там впереди. Чувствуешь себя беспомощным... И я шел на Городок, все время думая об одном — только бы скорее нагнать роту!

Я пересек большак Городок—Троица и вскоре вышел к нашей полевой батарее... Батюшки-светы, что такое! Орудия повернуты на сто восемьдесят градусов и жерлами своими глядят в тыл — на Городок. А возле орудий — ни души; валяются только пустые ящики из-под снарядов да стреляные гильзы. Что же это такое?

Я бросился прочь от орудий, снова перебежал большак и, пригибаясь от черт знает откуда несшихся пуль, побежал к болоту. Добежал

до него и оцепенел: на бровке перед бологом сидели и курили человек пятнадцать белогвардейских солдат. Увидев меня, они от неожиданности вроде бы испугались, привскочили, а потом громко захохотали. Мне стало так страшно, что я даже сам засмеялся, просто от страха.

Ко мне спокойно подошел унтер.

— Хе, с наганом!... Знать, из командиров. А ну, расседывайся!

Он сам достал из кобуры мой наган, внимательно оглядел его и вдруг ударил меня наганом по плечу:

— Ишь, морда! Наган-то заряжен. А почему не застрелился, коли заряжен...

Через часа полтора меня привели в Городок, оставили у церковной паперти и разрешили присесть. Я присел на большой обомшелый камень, а один из конвоиров пошел докладывать обо мне.

## И

Против церкви, на склоне оврага, приютился небольшой серенький домик священника; неподалеку от него зияла большая, камнями огороженная воронка, на дне которой мертвенно поблескивала глинистая вода. К этому домику подъезжали конные ординарцы, привязывали лошадей у изгороди, входили в домик, а спустя некоторое время возвращались, торопливо садились в седла и галопом скакали куда-то за село. У крыльца стояли два часовых: белогвардейский солдат в зеленой шинели и шотландский стрелок, одетый во френч, короткие защитного цвета штанишки, не прикрывавшие голых коленок, в тяжелых башмаках и берете с кукишем на макушке. Мимо них то и знай проходили белогвардейские и английские офицеры.

Здесь, в поповском домике, оказывается, размещался полевой штаб объединенной ударной группы. Туда и отправился мой конвоир.

Минут через десять он возвратился вместе с белокурым унтер-офицером с подкрученными усиками. Унтер снял с дверей колокольни замок, раскрыл взвизгнувшую дверь настежь.

— Заходи!

Я вошел в колокольный притвор, уже до отказа набитый пленными красноармейцами.

На дверях, ведущих в церковь, тоже висел большой, как подкова, замок. В притворе было только одно небольшое окно, да и то высоко, и свет едва проникал в помещение. Было сумрачно, сыро и прохладно, с отсыревшего потолка падали редкие тяжелые капли. Пленные сидели, поджав под себя ноги, и тихонько переговаривались.

Медленно надвигались сумерки. Лица пленных расплывались в бесформенную маску. Снова на улице зашумел дождь. Капли с потолка начали падать чаще.

На коленках ко мне подобрался какой-то пленный без фуражки, в опорках и спросил участливо:

— И вы попались, товарищ командир?

Сперва я узнал голос сапожника Леонтовича, а потом различил и облезлую голову его, и мне почему-то стало неприятно, словно он уличал меня в каком-то неблагоприятном поступке, — «попались!»

— Как видишь, — тихо ответил я.

— А ты, дурья башка, насчет командирства полегче, — тихо прикрикнул кто-то на Леонтовича. — Аль забыл, где ты сейчас?

Я узнал голос пулеметчика Потапова и мысленно поблагодарил его. Леонтович рассказывал тихо, даже как будто вкрадчиво:

— Наш писарь Коваленков и сапожник Ванька сбежали, куда — не

знаю. А меня захватили солдаты. И один солдат ударил меня кулаком по голове и сказал, что я — черт паршивый...

— После, товарищ Леонтович, об этом после!

— После так после.

Стало уже совсем темно. Снаружи лязгнул замок. Завизжала дверь, и в колокольню вошел тот же белокурый унтер с лихо подкрученными усиками.

— А ну, выходи!..

Мы вышли на паперть. Нас окружил конвой.

— Оправься! — скомандовал унтер и пошел в домик священника.

Спустя несколько минут оттуда вышли три офицера. Посвечивая карманными фонариками, они подошли к нам. Один из них, в погонах подполковника, проводя фонариком по нашим лицам, спрашивал:

— Ну, сознавайтесь, кто из вас Кирвенко?

Пленные молчали.

— А, боитесь, бестии? Все равно узнаем!

Попридержав свет фонарика над облысевшей головой Леонтовича, который стоял рядом со мною, подполковник воскликнул насмешливо:

— А это что за чудо-юдо? Кто ты? Жид?

— Я холодный сапожник, товарищ командир...

— Слышите, господа, я ему товарищ... Скажи-ка: муха!

— Ну, муха, ну...

— Конечно, жид, коммунист. И еще товарищем называет меня! Ах ты обезьяна облезлая! Я тебе покажу товарища. Платонов!

К нему подскочил белокурый с завитыми усиками унтер и взял под козырек:

— Я вас слушаю, господин подполковник!

— К воронке его! С одной пули.

— Слушаю... А ну, обезьяна облезлая, выходи!

Леонтович, видимо, только теперь начал соображать, что это говорят о нем, что это от него требуют чего-то невозможного, ужасного, и почувствовал, что над его головой, такой нездоровой головой; нависла какая-то тяжелая глыба, которая вот-вот может обрушиться. Ему стало страшно, он засуетился, схватил мою руку и начал дергать ее:

— Товарищ командир! Спаси меня! Скажи им, что я — не коммунист. Скажи им, что я холодный сапожник!

Конвоиры силком вытолкнули его из строя, схватили за руки, закручивая их назад, подвели к воронке. Раздался выстрел.

Все это произошло так неожиданно, так быстро, так безобразно и бесчеловечно-мерзко, что в строю послышался громкий протестующий гул.

— Смирно-о!.. Эть, загудели: тут вам не Совдепия!..

Подполковник направил свет фонарика прямо мне в глаза и спросил:

— Так это ты полковник?

— Нет. Я только помощник командира роты.

— А Кирвенко где?

— Не знаю.

— А не ты это убил капитана Васильева из-за угла, после боя?

— Меня обезоружили в лесу, у болота.

— Ладно. С тобой еще поговорят... Два шага вперед — марш!

Я вышел из строя.

— Платонов! Заведи их обратно в колокольню! — распорядился подполковник.

— Слушаю... А ну, богу молиться в церковь — марш!

— Этого молодчика, поручик Назаров, отведите в штаб, к полковнику Фирсову. Он сам хотел допросить его. А я устал. Я дьявольски устал. Пойду к себе, перекушу и спать, спать! До свидания, господа, до утра!

Когда подполковник отошел, офицеры с нескрываемым облегчением закурили. Один из них, совсем еще молодой поручик, предложил сигарету и мне.

— Покури, чего там! — Он щелкнул зажигалкой. Потом спросил: — А ваши не перейдут ночью в контрнаступление?

— Как я могу знать?

— Слушай, Назаров, а все-таки я не понимаю! — проговорил второй офицер, прапорщик, немолодой уже, с бородкой, и чиркнул спичку, раскуривая загасшую сигаретку. — Не понимаю, ну зачем он сделал это?..

— Просто скотина! — ответил поручик Назаров.

И они повели меня к домику священника, в котором расположился полевой штаб. Поручик Назаров — впереди, фонариком освещая дорогу. Я — за ним, а за моей спиной немолодой уже прапорщик с бородкой.

Возле крыльца, у которого стояли часовые, поручик Назаров стал прощаться.

— Так вы полагаете, что ваши не пойдут ночью в контрнаступление?

— Я не знаю.

— А мне, черг побери, до утра еще торчать тут! — с досадой проговорил прапорщик.

В коридоре стоял часовой. Он спросил:

— Пропуск!

— Ослеп? Не узнаешь?

— Виноват, господин прапорщик!

Прапорщик открыл дверь и ввел меня в просторную комнату, хотя домик снаружи казался небольшим, и передал стоявшему у самых дверей вооруженному солдату.

— Гляди в оба! — строго приказал прапорщик. — После допроса доложишь мне!

— Слушаю.

Прапорщик вышел, а солдат кивнул мне на стоявшую у стенки скамью:

— Садись и дожидайся, пока дойдет очередь и до тебя!

### III

Я устало запрокинул голову к стенке и закрыл глаза, дремотно прислушиваясь к бубнящим голосам, доносившимся как будто откуда-то издали, а потом вдруг ухнул в какую-то мягкую, очень теплую мглу и с необыкновенной легкостью начал плавать в ней, словно по воздуху. Но обезображенный кровью Леонтович схватил меня за руку и закричал: «Товариш командир, спаси меня!..»

Я вздрогнул и приподнял голову. Передо мной стоял часовой и тербил меня за руку:

— Спать нельзя!..

Я взбодрился, стал разглядывать комнату и прислушиваться к разговору сидевших за столом офицеров.

Комната довольно ярко освещалась двумя висячими лампами да большой свечой в церковном, блестящем позолотой подсвечнике, одиноко стоявшем на большом столе; на нем же лежали развернутая карта и



упрямо свивающиеся в трубку схемы. Окна были плотно завешаны одеялами.

За столом на стульях и табуретках сидели офицеры, лица которых я прекрасно различал, даже находясь у самых дверей. По левую сторону от меня на стульях сидели трое англичан во френчах: пожилой, с подстриженными рыжими усиками майор с трубкой в зубах и два молодых лейтенанта, которые переговаривались, чему-то посмеиваясь. А справа сидели трое русских на табуретках: одутловатый, с геройскими усами, коренастый полковник, рядом с ним и выше него на голову — белобрысый, с редкими белесыми усами поручик Киселев, который то и знай разглаживал жидкие усы свои, и чисто выбритый, в пенсне, щеголеватый подпоручик, который с досадой разглаживал сворачивающиеся в трубку схемы. По всей видимости, это был штабной офицер-адъютант.

Русские офицеры спорили, раздраженно матерились; видно было, что главное разногласие было между ними и англичанами. Однако внешне они держались с ними любезно, почтительно.

Как понял я, русские настаивали на немедленном (пока большевики еще не очухались!) совместном продвижении вперед — на Тойму, а там на Котлас, доказывая огромную стратегическую выгоду такой операции; в случае успеха белогвардейцы Севера угрожали Москве и поддерживали побитого, но пока еще не разбитого Колчака.

Щеголеватый адъютант в пенсне, с досадой разглаживая схему, переводил англичанам возражения одутловатого полковника.

— Куй железо, пока горячо! — подкручивая усы, воскликнул полковник. — Понимаете ли вы, что, заняв Котлас, мы открываем себе прямой путь на Москву! А иначе... Иначе какой же смысл в сегодняшней, я бы сказал, весьма удачной операции? Раз полез в драку, так кулаков не жалеи! — с горячностью воскликнул полковник и разгладил геройские усы.

Но англичане не очень-то верили в скорую и легкую победу над большевиками. За год пребывания своего на Севере они в этом убедились, и их не могли разубедить геройские речи и усы полковника. Теперь они уклонялись от суждения о заманчивой перспективе, которую он раскрывал перед ними. В сегодняшней операции они участвовали совсем с иной целью: им нужно было прикрыть на всякий случай начавшуюся эвакуацию своего экспедиционного корпуса, а заодно захватить пленных, особенно командиров, комиссаров и вообще видных большевиков, которые пригодятся им, да еще как!..

— Английское командование не согласно с планом полковника, — переводил адъютант возражения любезно улыбающегося майора, который непрерывно сосал свою трубку. — Двина стала мелка, неглубока и, вероятно, заминирована, канонерки пройти не могут. А наступление одной пехоты, без поддержки ее флотилией, бесполезно и никак не отвечает требованиям тактики!

Английские лейтенанты кивали головами, вполне соглашаясь с мнением своего предусмотрительного майора, а русские офицеры поддерживали геройского полковника своего. Вот и шумели, спорили, как будто судьба операции зависела исключительно от их решения, тогда как все уже было решено и без них где-то там, повыше.

Я сидел и слушал. Меня удивило, что они продолжают спор при мне, пленном, — неужели уверены, что я унесу их тайну в могилу, — удивила меня и скрытая, но несомненно взаимная вражда их. Правда, причин ее я не понимал. Не понимал того, что белогвардейцы ненавидели англичан за их бесконтрольное хозяйничанье на русской земле, за командование, за грабеж края — все это они считали своей привилегией — и притом за непростительное пренебрежение к ним, русским офицерам.

А англичане не любили и презирали русских белогвардейцев за их слабость, за их беспочвенность, за их зависимость от англичан.

В занавешенные окна настойчиво барабанил дождь, в трубе порывисто подвывал ветер, а с улицы доносилась старая солдатская глупая песенка:

Ка-лина, малина,  
Чубарики-чубчики,  
Малина...

Офицеры встали. Священник предложил им чай.

Майор поблагодарил, но от чая отказался. Англичане стали собираться. Адъютант-переводчик пояснил:

— Господин майор считает дальнейшие переговоры ненужными и уезжает в главный штаб.

— Колесом дорожка,— сердито пробурчал полковник.

Из спальни вышла дородная попадья, загасила свечу и одну лампу, сняла одеяла с окон и расставила стулья. В комнате стало темнее, но уютнее.

Полковник разгладил геройские усы свои.

— Подпоручик! А наша русская водочка найдется?

— Найдется, господин полковник... Но здесь сидит пленный. Вы хотели сами поговорить с ним.

— Где он?

— Пленный, подойди к столу!

Я подошел к столу. Он уставился на меня долгим неморгающим взглядом, словно гипнотизировал, и вдруг спросил довольно миролюбиво:

— Жрать, поди, хочешь?

— Благодарю, не хочу.

Священник вдруг так и вскинулся:

— О, это большевик, безбожник! Я знаю его: он хотел церковь разгромить!

— Чем тебе мешает церковь?— спросил меня полковник.

— Батюшка, зачем выдумывать лишнего?— обратился я к хозяину дома.

— По-твоему, значит, поп брешет? Хе-хе-хе!.. Вот что, подпоручик, не стану я в этом разбираться, мне теперь не до него. Сдайте его дежурному, пусть отправит его... Ну, хотя бы туда, за овраг...

## ***Глава двадцать вторая***

### **I**

Один конвоир шел впереди, освещая дорогу карманным фонариком, блуждавшим в ночи, словно волчий глаз; второй шел позади, и я слышал его посапывание.

Ночь пала до невозможности темная, просто черная ночь. Шел дождь, хотя и не сильный, но такой мерзкий, что пробирал меня до костей, и я вздрагивал.

О, нет! Я вздрагивал не оттого, что мне было страшно, а просто потому, что мне было холодно.

Дорога совсем раскисла, ноги вязли в грязи чуть не по колено, часто попадались лужи, и мы, не обходя их, шагали по ним, словно это были совсем и не лужи. Конвоиры молчали, только шагавший позади тяжело, озабоченно посапывал. Хоть бы одно живое слово, хотя бы какая-нибудь ругань — на меня ли, на дождь или на отвратительную дорогу,— только

бы живое человеческое слово! Но конвоиры молчали... Я знаю: они умышленно не произносили ни одного слова, чтобы мне тяжелее было идти куда-то за овраг.

Изредка бухало тяжелое орудие, и снаряд, прошелеств над спящим селом, взрывал ночь где-то далеко, временами раздавалась перекличка бродивших по улицам патрулей.

А почему это поп, как говорится, смудрил про меня: «Хотел разгромить церковь»? Впрочем, разве в нем дело! И разве в полковничьих усах дело, которые так и притягивали к себе мой взгляд? Все это не то, все это мелочи... Главное, почему конвоиры не обмолвятся ни словом? Служба?

Мне так захотелось прервать это давящее безмолвие, что я нарочито громко выкрикнул:

— Куда же вы ведете меня, черт побери?

Впереди шагавший конвоир приостановился и с удивлением поглядел на меня:

— Чего орешь-то!.. Ведем, куда приказано...

Он повернулся и снова молча зашагал, освещая фонариком грязь перед собою... «Туда, куда приказано... Туда, куда приказано...» — билась в моей голове такая простая и такая в простоте своей беспощадная правда.

А если я не пойду туда, куда приказано? А если я стану вот тут, среди грязи, и не сделаю дальше ни шагу? Разве я не могу этого сделать? Могу. И я остановился. Шагавший позади конвоир напоролся на меня и проговорил сердито:

— Чего стал?

— Не хочу дальше идти, вот и стал!

— Приклада захотел?

— А хоть бы и приклада!

Конвоир и в самом деле саданул меня прикладом винчестера по левому боку. Теперь у меня болели оба бока. Болели и кости мои на руках и ногах...

— Еще хочешь? Вот тебе еще!

— Чего дерешься? Устал я.

— Мало ли что устал. Мы тоже заморились, да не ночевать же нам на улице из-за тебя? Пошел!

И я пошел дальше — туда, куда приказано.

Солдаты свернули в переулок, ведущий к знакомому оврагу, через который переброшен мостик с перилами. А за мостиком стоял полуразрушенный сарай, в котором когда-то находилась головная застава нашей роты.

«А что, если побежать? — мелькнула мысль. — Ночь темная, черная, ночь — хоть глаз выколи. Непременно бежать! Через перила и оврагом, оврагом прямо в поле...»

Где-то в переулке замелькал огонек фонаря; был слышен приглушенный говор, а потом женский вой. Он вызывал в моей душе невыразимую тоску, щемящую грусть о чем-то далеком, давно уже позабытом, но теперь вдруг всплывшем в сознании до боли неотразимо. Мне стало жаль чего-то — то ли ушедшего детства, веснушчатой Катюши, лежавшей со мной в одной больничной палате, и куклы ее, то ли первого и прощального поцелуя с Леной Орловой, а может быть, жизни молодой моей жаль мне стало?..

Впереди послышались чьи-то громко чавкающие шаги. А еще спустя минуту из черной ночи выдвинулся человек, показавшийся мне очень широким.

— Ложь, ложь! И смерть и победа — все ложь! — бормотал он.

— Кто идет? — приостанавливаясь, окликнул конвоир.

— Капитан Васильев. А вы кто? А-а, ведете туда?.. Так-с, хорошо... А стоит ли его вести? Может, мы тут попробуем его?.. Отвечай, апостол большевикизма, боишься смерти?

— Я должен быть всегда готов к ней, — тихо, но не от робости тихо ответил я, а потому, что очень устал; еще и потому, что в эту минуту меня охватило какое-то равнодушие к черной ночи, к людям, к жизни, к самому себе.

— Готов? Хорошо, сейчас испытаем!

— Господин капитан! Мы должны доставить его к месту: туда, куда приказано!

Капитан задумался. Минуты две стоял он, покачиваясь и о чем-то упорно думая. Потом махнул рукой:

— Дьявол с вами, лжецы! Ведите туда, куда приказано! — и, пошатываясь, но ускоряя шаги, пошел дальше. в переулок, где мелькал огонек и откуда доносился бабий похоронный вой.

— Отметил победу Васильев! — усмехаясь, сказал передний конвоир. Второй ничего не сказал.

Мы снова пошли молча, прислушиваясь к шорохам черной ночи, к доносившемуся из переулка, тоскливо замирающему в ночи одинокому женскому горю — к горю матери или вдовы солдата.

Где-то совсем недалеко от нас встрепенулся и заорал петух, и тотчас же все село заорало, заголосило благим петушиным криком, словно затрезвонило в колокола...

А до оврага было уже совсем недалеко. А через овраг — деревянный с перилами мостик. А ночь темная, ночь черная, как воронье перо... Вот он, мостик; шагах в десяти уже мостик... Но что это, что? Какая-то темная фигура, какой-то не различимый во тьме человек пробежал, пошатываясь и скользя. И тотчас послышался тревожный окрик:

— Кто идет?

— Свои. К вам ведем.

И я понял — нет, я почувствовал, что все кончено, что бежать мне некуда, что я не убегу и не побегу, а покорно приду туда, куда приказано.

Где-то в овраге, неподалеку от сарая, прогремел одинокий выстрел. Перейдя мостик, мы подошли к полуразрушенному сараю, в котором когда-то размещалась наша застава. Солдат с деловитой неторопливостью открыл ворота. Меня толкнули в сарай, и я полетел в черную ночь.

Споткнувшись обо что-то живое, я упал, но тотчас же приподнялся и, не давая себе ясного отчета в происшедшем, пошел по телам лежавших в глубь сарая. Меня толкали, и, гонимый этими толчками, я шагал по головам и животам. Вслед мне неслись ругательства; кто-то взвизгнул и схватил меня за ногу. Я упал, больно ударившись о чье-то колено. Кто-то пнул меня кулаком в бок и матерно зашипел:

— Не видишь, люди? Прется сапожищами...

Вся копошащаяся масса расплзлась и сжималась, как грязь. Вскоре я сидел на мокром земляном полу, со всех сторон стиснутый навалившимися на меня потными телами.

Гудение голосов, вызванное моим приходом, начало затихать и перешло в шепот. Казалось, что шептались не только живые, но и мертвые, лежащие тут же, и этот полуразрушенный сарай, и грязь, и щели — все шепталось каким-то ползучим шепогом. «Что ж это такое? Что ж это такое?» — думал я, вглядываясь в лица, бесформенные в предрассветных сумерках.

Я понял, что это тоже пленные, что они еще живы, но свалены на дно этой дыры, как вещи, никому больше не нужные, как какой-то живой хлам. Случилось что-то непоправимое. Люди обезличили себя, бросили в грязь свое имя, потеряли чувство товарищества, отдали врагам оружие и теперь, сваленные в кучу, копошились, словно черви, задыхаясь в тесноте и вони.

На мгновение в глазах моих встал красноармеец в окровавленной рубахе, который стоял у воронки с распахнутыми руками и кричал: «Куда вы, сволочи? Там за советскую власть умирают, а вы убегаете, предатели?»

«Предатели!» — словно эхо отозвался в моей душе крик окровавленного красноармейца, стоявшего на дороге, широко раскинув руки...

В щелях тоскливо и однообразно выл ветер; кое-где за сараем перекликались патрули. Сквозь крышу протекали и падали холодные крупные капли.

## II

Совершенно напрасно белогвардейское командование искало потом среди пленных виновников гибели капитана Васильева, который был найден в ту ночь убитым. Никто из нас не был причастен к его смерти.

Как я узнал потом, другие офицеры, служившие с капитаном Васильевым, стали замечать, что он часто задумывается и «психует»: отыскивал какую-то правду, какое-то моральное успокоение и примирение с теми противоречиями, которые возникали в его заплутавшейся в потемках душе.

Поиски этого «успокоения и примирения с собой» и привели его к последней черте.

*(Окончание следует)*



---

Редакция журнала «Новый мир» сердечно поздравляет поэта Кайсына  
Кулиева с присуждением ему Государственной премии РСФСР  
имени М. Горького

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

## ГОВОРЮ С ЖИЗНЬЮ

*С балкарского*

Что можешь ты в упрек поставить мне?  
Ты мной повелевала от начала,  
Сказала: «Будь железом!» — и в огне  
Меня ковала ты и закаляла.

В чем упрекнешь меня? Что преступил?  
В чем отступил от твоего веленья?  
Сказала: «Камнем будь!» — я камнем был,  
И стало каменным мое терпенье.

Какой я не исполнил твой глагол?  
Ты плакала, и слезы лил я тоже,  
Сказала: «Будь волом!» — и я, как вол,  
Тянул арбу, ярмом стирая кожу.

Какой я не исполнил твой зарок?  
Я делал все, что ты мне повелела.  
«Живи!» — твердила ты, я жил, как мог,  
И хоть не мог, но жил и делал дело!

Ты требовала от меня огня,  
Я был огнем — и печью и вулканом.  
Что, жизнь, еще ты хочешь от меня?  
Ты скажешь: «Пеплом стань!» — я пеплом стану.

### *Говорю философу*

Ты твердишь, что мир наш стар и сед.  
Стану спорить я с тобой едва ли,  
Но смотри: звезда бросает свет,  
Озаряя землю, как вначале.

И цветут весной деревья,  
Словно это первое цветенье,  
И чуть слышно на ветвях листва  
Шелестит, как в первый день творенья.

К каждому приходит боль его,  
 Каждый тащит груз своей печали,  
 Будто бы на свете до него  
 Люди вовсе горестей не знали.

К нам приходит радость всякий раз,  
 Как находка, а не как наследство,  
 И приходит к людям смертный час —  
 К молодым и старым — в пору детства.

В старом мире строят новый дом,  
 В класс бегут мальчишки озорные,  
 И вдали на небе летним днем  
 Видит кто-то радугу впервые.

Нету старых слов и старых снов,  
 Ново все, что холодит и греет,  
 И готовность дать бездомным — кров,  
 Дать голодным хлеб — не устареет.

Первый раз на склоне тает лед,  
 В первый раз я слышу птичье пенье,  
 И алеет за горой восход,  
 Озаряя первый день творенья.

### *Мир детства*

Мир детства, голубых вершин соседство...  
 Все живы те, кого уж нет в живых,  
 И реки быстротечные, как детство,  
 Гремят, с вершин стекая снеговых.

Еще дурные вести не шагнули  
 В мой мир, ютящийся у самых скал...  
 Что человека убивают пули,  
 Живя в том мире, я еще не знал.

Среди друзей еще никто не старый,  
 Мне радость все несет: и зной и тень.  
 В том мире каждый счастлив,  
как чинары,—  
 Равно и в знойный и в дождливый день.

Мир детства, с ним навечно расставанье,  
 Назад ни тропок нету, ни следа,  
 Тот мир далек, и лишь воспоминанья  
 Все чаще возвращают нас туда.

\* \* \*

Не ради славы ищут кровью,  
 Без платы конь летит вперед,  
 Пока его не остановят  
 Или пока не упадет.

Мгновенна слава все равно,  
Как ветер, что стучит в окно.

Без платы соловей весною  
Поет, всему земному рад,  
Течет река и поле поит,  
За это не прося наград.  
Жизнь — истина, а слава — вздор,  
От ветра гаснувший костер.

Без платы зацветают дали  
Цветами каждую весну,  
Белеют горы, хоть регалий  
Им не дают за белизну.  
Жизнь — истина, а слава — прах,  
Снег, на день выпавший в горах.

Тот не бесславен, не бездарен,  
Кто без корысти спину гнул,  
Кто камню теплоты прибавил,  
Жизнь в слово мертвое вдохнул.  
А слава — эхо среди скал:  
Звук повторился и пропал.

*Перевел Н. Гребнев.*





---

---

И. ИСАКОВ

★

## КОК ВОРОНИН

**В** этом рассказе описаны два самостоятельных эпизода, не связанные — ни временем действия, ни местом. Один из них можно было бы назвать «Устойчивость симптома», а другой — «Неистребимая любовь к морю».

Нужно ли было помещать их рядом и стоило ли вообще публиковать — пусть решает читатель. Что же касается автора, то он считает необходимым заверить, что в обоих рассказах не выдуманы ни фабула, ни основные детали и имена.

1

Осенью 1914 года, в один из ненастных петербургских дней, когда сырой и пронизывающий ветер гнал со стороны Финского залива низкие и лохматые обрывки штормовых облаков, мне с моим дядей пришлось идти в сторону Васильевского острова, мимо Института для благородных девиц<sup>1</sup>.

Уговорились, что на Николаевском мосту мы распрощаемся, так как дяде — неугомонному «охотнику 44-го драгунского Нижегородского» — сегодня же необходимо было выехать к своему полку в Тифлис, а племяннику надо было поспешать на трамвае в Гавань, в Дерябинские флотские казармы, чтобы не просрочить увольнительную со всеми вытекающими последствиями.

— Как жаль, что мы в форме, — досадливо сказал дядя, — а то заглянули бы на прощание к «Донону»... Так кавказцы не прощаются, уходя на войну!

Когда мы поравнялись с роскошным портиком дононовского ресторана, прямо на нас неожиданно шагнул хорошо выютюженный флотский офицер с погонами старлейта.

Еще мгновение — и вместо уставного шага и приветствия началось взаимное похлопывание по плечам и обмен традиционными: «Сколько лет!.. Сколько зим!»

— Ты, собственно, куда?

— К полку, на Кавказ. Вот, не вытерпел... и, несмотря на возраст, пошел охотником!.. В такие дни сидеть в конторе — совесть не позволяет!.. А ты?

— Как видишь — призвали из запаса и благословили «воспитателем»! Ха-ха... в Морской корпус. А это что за нештатное пополнение флота с тобой?

— Мой племяш!

— Вижу по погонам, что из студентов.

---

<sup>1</sup> Ныне Дворец Труда.

— Из студентов!

— Ну-ну!.. Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента морского министра и Государственной думы...

Несмотря на незначительность разговора и случайность встречи, во время которой мне пришлось почтительно молчать, ясно было, что старлейт абсолютно трезв, однако нервничает и чем-то очень озабочен.

И еще я заметил, что дядя порывался о чем-то предупредить меня, но из-за настороженности старлейта ограничивался только многозначительным подмигиванием. А старший лейтенант, продолжая рьяно защищать идею сословности для флотских офицеров, в то же время так часто и мрачно поглядывал на рваные тучи штормового неба, как будто ему предстояло выводить из устья Невы большой фрегат с парусным вооружением прошлого века.

— Ты далеко, Шлиппе?

— Да нет... Мне надо на Остров... в Морской корпус!.. Будь он трижды проклят!

— Тогда даю тебе ординарца в качестве попутчика, ему тоже на Остров, но значительно дальше — в Дерябинские казармы... А может, вам взять извозца?..

Но лицо Шлиппе исказилось кислой гримасой. Ничего не ответив, он сделал белой перчаткой салютующий жест и рванулся в сторону набережной. Дядя обнял меня, на прощанье успев шепнуть:

— Ничему не удивляйся!.. Он не кусается... Перечти о гибели адмирала Макарова!

Я повернулся, чтобы следовать за офицером. Он был уже на два десятка шагов впереди, но, к моему удивлению, не на ближайшей панели, идущей вдоль чугунной решетки, а в середине проезжей части моста, лавируя между встречными и обгоняющими экипажами.

Грохот стоял неопиcуемый. Свист свежего ветра в конструкциях и перилах Николаевского моста, мчащиеся в обе стороны с гиканьем ломовики, пролетки, фаэтоны...

В общий гомон вплетался металлический скрип и резкие звонки трамвайных вагонов.

Все это было относительно привычно. Но абсолютно необычным являлся вид шикарного морского офицера, быстро шагающего по лужам воды и грязи по середине моста.

Он шел торопливо, немного петляя, уставившись прямо под ноги и, казалось, ничего не видя впереди.

Нелепо говорить в данном случае о каком-то профессиональном товариществе или долге хотя бы потому, что я абсолютно не понимал, в какой мере и чем мог бы оказать помощь старлейту. И все же было невыносимо смотреть на происходящее с парапета моста. Полегчало сразу, как только, сам не понимая почему, я бросился в гущу извозчиков, шлепая по лужам в кильватер за воспитателем флотской молодежи.

Когда Шлиппе достиг часовенки, которая тогда стояла у разводного пролета моста, со стороны островного берега Невы, он сдернул фуражку и, истово перекрестившись, ринулся бегом, словно хотел махом преодолеть последнюю часть моста. Настичь его удалось только на середине площади, перед 6-й линией, где было почти тихо, так как потоки транспорта расходились в разные стороны, да и ветер не так шумел.

Старлейт, еще немного возбужденный, но явно уже приходящий в себя, был занят чисткой своего забрызганного великолепия, когда же он выпрямился, произошло удивительное преобразование. Передо мной стоял, улыбаясь, совсем другой человек.

Вы знаете этот особенно нежный румянец здоровых и светлых блондинов, который появляется на свежем воздухе, после физических упраж-

нений? Так вот, посреди улицы возвышался флотский душка-офицер. Пользуясь девственно чистым носовым платком, он счищал с щегольско-го черного пальто навозные пяточки.

Исчерпав возможности носового платка, он стал орудовать белыми перчатками, потом осторожно, жестом хирурга, окончившего операцию, свернул их в комок и, не оглядываясь, небрежно швырнул через плечо.

Во время чистки (пока я тоже приводился в порядок) он продолжал небрежно выговаривать, не глядя на собеседника:

— Неужели у вас в роду не нашлось какого-либо захудалого дво-рянника, за которого можно было бы зацепиться, чтобы поступить в корпус?.. Наконец можно же было подать прошение на высочайшее имя?!

Не хотелось рассказывать этому типу о всех безуспешных попытках дognать свою мечту. Слишком большой вопрос — для одного из нас, и абсолютно никчемный — для другого.

Молчание младшего по чину, по-видимому, было принято за выражение почтительности, и Шлиппе, сделав ручкой отпускающий жест, зашагал, не оглядываясь, в сторону бронзового капитана Крузенштерна, возвышавшегося прямо против главного входа в *alma mater*, из которой вышли многие не только отважные, но и ученые моряки России.

Самым неожиданным и примечательным оказалось то, что, шагая по панели кварталов Васильевского острова, Шлиппе стал совершенно неузнаваемым. Этаким хотя и не молодой, но подтянутый моряк с высоко поднятой головой; совершенно игнорирующий неутихающий ветер с взморья; не без игривости провожающий взглядом встречных красавиц; жизнерадостный и бодрый, как и подобает офицеру в начале войны, о которой меньше всего известно, чем она может закончиться.

## 2

Новое знакомство при своеобразных обстоятельствах не выходило из головы.

Явившись в роту, я сразу же окунулся в привычную суету, но успел заметить, что дежурным офицером по Отдельным классам с вечера вступает лейтенант Данишевский. Абсолютно безразличный к службе, к будущим флотоводцам и, как можно было догадываться, ко всему на свете, кроме себя, адмиральных жен и опереточных красоток,— он жил не ссорясь с нами, являя собой образец флотского дендизма и полной беспринципности. Всегда безукоризненно одетого и приглаженного, его можно было в любое время найти (конечно, после ухода начальства домой) в дежурной комнате «при шарфе и кортике», с карманным зеркальцем и набором маникюрных пилочек, ножниц и щеточек, занятого подравниванием коротких усиков или полировкой ногтей.

Одни старались подражать красавчику, другие его презирали, особенно после того, как началась война, а наш «арбитр элантиарум» даже не ускорил темпа шлифовки ногтей. Однако все сходились на одном: «С ним жить можно»,— он не придирился к мелочам, не «цукал» и только в очень редких случаях накладывал взыскания. С ним иногда можно было поговорить о внеслужебных делах, особенно если хотелось узнать, где можно купить лучшие замшевые перчатки или получить разъяснение, почему мужчине, и в частности офицеру (но не гардемарину!), следует употреблять духи только марки «Шевалье Д'Орсэ».

Выпросив в офицерской библиотеке интересующий меня том истории предыдущей войны, я занялся учебными делами, терпеливо рассчитывая, когда обстановка позволит, выполнить наказ дяди — наивного патриота и драгуна, охотника с младенческой душой, который сейчас, наверное, уже мчался в сторону станции Бологое.

Пока все наши не уgomянутся, пытаться читать было абсолютно безнадежным делом. Казарма всегда казарма, даже если ее взводы состоят из бывших студентов.

Мне повезло.

Дело в том, что ночным дежурным оказался унтер-офицер нашей полуроты старший гардемарин Абрамович, который в отличие от остальных взводных унтер-офицеров, начавших службу на год раньше, не был фанфароном или служителем культа строевой дисциплины.

Не понятно только, почему этого долговязого, небрежно одевавшегося и без всякой выправки гардемарина начальство сочло наиболее подходящим для воспитания в молодых питомцах строевого и воинского духа. Обычно он манкировал своими обязанностями и регулярно появлялся только перед сном, так как по уставу обязан был спать в одном помещении с воспитуемыми.

Его койка стояла крайней, в ранжире первого ряда, через две от моей. Вот почему, с постоянством хода морского хронометра, каждый вечер, после возни и гама, связанного с приготовлением ко сну целого взвода, мне приходилось быть свидетелем того, как Абрамович, появляясь из умывалки и абсолютно не обращая внимания на свою паству, начинал раздеваться. При этом он довольно громко провозглашал, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот!.. Еще один день к такой-то матери!

После этой тирады первая ступень иерархической лестницы флота валилась в койку и быстро засыпала. Отчасти из уважения к его сану, а больше оттого, что обычно к вечеру все уставали до изнеможения, наступала относительная тишина, тем более что выключалось нормальное освещение.

Еще полчаса шепота между смежными койками и несколько зевков и вздохов, потом все затихало при свете лампы под огромным портретом Николы-угодника и одной тусклой («ночной») лампочки под потолком. С этого момента начинал ленивыми галсами прохаживаться ночной дневальный из числа гардемарин своей роты, оберегая их сон и сам находясь под присмотром дежурного унтер-офицера. Последний обычно садился за чью-либо конторку в смежном помещении (отделенном от спальни сводчатыми арками) и, прикрыв настольную лампу газетой, читал увлекательный роман или зубрил что-либо из недозубренных «навигацких» наук.

Еще не сняв голландки, я рискнул подойти к Абрамовичу, ожидавшему с кислой миной, пока все не уgomянется и он сможет углубиться в роман Стивенсона.

— Разрешите обратиться, господин старший гардемарин?

— Обращайтесь.

— Мне надо перечесть один эпизод из русско-японской войны, но днем это почти невозможно... Понимаю, что просьба моя противоречит уставу... но если бы вы разрешили тихо посидеть за конторкой... ну, хотя бы полчаса...

— Валяйте! Только тихо! Если нарветесь при обходе дежурного офицера — вдохновенно врите, что не успеваете по мореходной астрономии, для чего учебник держите на товсь!.. Но за это вы по окончании мне доложите, что именно так заинтересовало вас из этой гнусной войны. И почему именно.

И вот наконец я сижу полураздетый перед своей конторкой. Поджимая ноги от ледяного асфальтового пола Дерябинской казармы, листаю толстый фолиант.

Не знаю, что повлияло на настроение? То ли шум штормового ветра, доносящегося ночью с взморья, несмотря на двойные рамы; то ли тишина сонного царства, прерываемая гидравлическими ударами в трубах отопления; то ли недавнее прощание с дядей, которого, возможно, не увижу больше никогда? Или просто сказывалась настороженность от опасения быть накрытым дежурным офицером? Не знаю.

Но на душе тревожно.

К тому же Никола-чудотворец, написанный маслом — до пояса в натуральную величину, — следит сквозь арку дортуара с каким-то непонятым упорством, во всяком случае внимательнее, чем Абрамович, а отсветы и колеблющиеся блики от света лампы делают его суровое лицо почти живым.

Старик видел немало свалок, боев подушками и много пикантных сцен, не краснея от забористого мата с завитушками, которым так же часто, как и бессмысленно швырялись будущие капитаны (конечно, в отсутствие дорогих наставников). Обычно его не замечали. Но почему-то в эту ночь я ему не доверял и изредка оглядывался.

Быстро листаю объемистый том — «Русско-Японская война 1904—1905 гг.»<sup>1</sup>. Девственно белые листы меловой бумаги отвратительно громко хрустят. Сразу становится ясно, что мало кто заглядывал в эту официальную версию трагической летописи.

Мелькают красивые названия китайских островов, окрещенных британскими гидрографами, и до волнения знакомые имена кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры, которые так бесцельно погибли даже в тех случаях, когда сражались с исключительным, чисто русским героизмом.

Наконец на странице 543-й нахожу: «Утро 31 марта (13 апреля) 1904 года».

«...Неприятельская эскадра продолжала стоять... на горизонте.

Расстояние... уменьшалось, как вдруг, около 9 часов 39 минут утра, «Петропавловск» неожиданно взорвался.

Со страшным взрывом, напоминающим залп 12-дюймовых орудий, над броненосцем мгновенно вырос громадный... столб черно-бурого дыма и пламени...

Первоначальный взрыв произошел перед носовой башней, причем из-под палубы «Петропавловска» выкинуло клуб черного дыма.

Следующий взрыв... завершивший гибель броненосца, произошел секунды через 3—4... и сопровождался вылетевшей из середины корабля массой огня с желто-зеленым и бурным дымом. Силою второго взрыва были сорваны носовые башни, фок-мачта, мостик...»

(...вот он — мостик, место адмирала в бою!)

«...труба и часть кожуха, причем мачта всей своей тяжестью обрушилась на развороченный мостик.

Броненосец быстро накренился на правый борт и быстро стал погружаться носом...»

(Уже нет спальни, нет казармы. Вместо полумрака — перед глазами солнечное утро... сверкающая рябь Пе-Джи-лийского залива... и этот гигантский страшный клуб дыма, поднимающийся к небу...)

«...Когда купол дыма и пламени несколько рассеялся, вся носовая часть, мостик... уже были под водой. Высоко поднявшаяся корма, вся объята пламенем, быстро погружалась. В это время произошел третий взрыв, по-видимому котлов, так как за ним показалось густое облако пара.

Машины продолжали еще работать; вышедшие наружу винты про-

<sup>1</sup> «Работа исторической комиссии при Генморе», книга первая. СПб. 1912.

должали рассекать воздух, калеча и размалывая тех немногих из команды, которым удалось выбраться наверх и сгрудиться на корме.

Через полторы-две минуты броненосец скрылся под водой, оставив медленно расплывающееся облако дыма... и черное пятно на воде с несколькими десятками плавающих людей, хватающихся за обломки.

В 9 час. 41 мин. «Петропавловска» уже не существовало...»

Утомление, сказавшееся к концу трудного дня, прощание с близким человеком, настороженность из-за опасения быть застигнутым в неурочное время и, конечно, эта штормовая ночь, бушевавшая за окном,— сделали свое дело. В иных условиях, возможно, прочитанное произвело бы не такое сильное впечатление.

...Трудно поверить, но до сего дня не могу спокойно перечитывать эти две страницы, несмотря на то, что с той ночи прошло пятьдесят лет и сам я прошел четыре войны.

Не знал я тогда, что наступит время, когда мне лично придется самому наблюдать не менее драматическую гибель линейного корабля «Слава»<sup>1</sup> и много других батальных (или «маритимных?») картин в натуре.

...Исчезли классы, Абрамович и мысль о дежурном офицере. За конторкой сидел с широко открытыми глазами маленький человечек, замороженный трагической панорамой, которая разворачивалась перед ним, как в синемаатографе.

Удивительная и иногда очень тягостная для меня способность зрительной памятью воспроизводить читаемое — в виде своеобразных живых картин в мозгу — целиком завладела сознанием. Однако это не было простым воспроизведением текста. Перед глазами четко вырисовывался рисунок из французского журнала «Illustration» за 1904 год, подобными картинками щекоктавшего нервы своих подписчиков.

Именно эта корма, вздернутая к небу, и гигантская мясорубка, которую рисовальщик очень эффектно сделал из гребных винтов броненосца, очевидно, являлись главной сенсацией очередного номера журнала.

Десять лет назад школьник, мечтавший о кораблях и морской службе, не мог не задержаться на рисунке француза, тем более что гибель Макарова, Верещагина и самого «Петропавловска» — хотя и по-разному — переживала вся Россия. Изображение, для эффектности которого автор не поскупился на обилие пламени, дыма, обломков и на количество трупов, произвело настолько сильное впечатление, что теперь собственное воображение отказывалось воспроизводить иную версию и упорно копировало в памяти журнальную композицию, хотя она во многом расходилась с только что прочитанным описанием исторической комиссии. И это несмотря на то, что француз бесцеремонно искажал перспективу и масштабы людей, пушек и кораблей, лишь бы вогнать в ужас читателей.

Когда сила первоначального наваждения ослабла, я сообразил, что главного еще не знаю.

Макаров!

Где и как погиб Макаров? Этот солидный и такой симпатичный бородач с умным и добрым лицом, без всякого следа наигранного величия, портреты которого знали почти во всех странах.

Что он погиб — давно известно, но — как именно? Лихорадочно читаю дальше.

«...В момент первого взрыва все корабли застопорили машины и начали спускать шлюпки для спасения погибавших людей броненосца... Через четыре минуты подошли... с палубы «Полтавы» были сброшены все наличные буйки и все дерево, которое оказалось под руками...

<sup>1</sup> В Рижском заливе в 1917 году.

...Ими были спасены: великий князь Кирилл Владимирович, командир броненосца капитан I ранга Яковлев, лейтенанты Унковский, Иениш, мичманы Вл. Шмидт, Яковлев, Шлиппе..»

(Вот! Наконец-то он — Шлиппе!.. Теперь я понял тебя, дорогой дядя; однако черт с ним, с этим типом, пока не прочту все об адмирале.)

«...Шлиппе и 73 нижних чина».

(Эх вы, горемыки безымянные, помещенные после мичмана Шлиппе! А сколько же вас погибло?)

«...Спасение было весьма затруднено зыбью; последняя была настолько сильна, что захлестнула катер с «Полтавы» и он пошел ко дну.

Часть поднятых были уже мертвы...

Однако ни тонущих, ни трупов больше найдено не было.

Среди поднятых вещей оказалось лалыто адмирала Макарова... сверток карт и др. ...

Кроме адмирала Макарова, художника Верещагина и начальника штаба контр-адмирала Моласа, погибло 8 офицеров штаба, 18 офицеров броненосца и около 620 человек...

В 12 часов дня все вошли в гавань.

Неприятельская эскадра продолжала до 15 часов держаться на горизонте... после чего скрылась на SO...»

Читать дальше охота пропала. Сказывалась сильная усталость в этот долгий и полный впечатлений день.

Мелкая дрожь, скорее озноб корежил все тело. То ли асфальтовый пол казармы (а я сидел без ботинок), то ли воскресшая из прошлого картинка журнального баталиста были тому причиной, но я почувствовал себя совершенно больным. И вдруг понял, что Абрамович давно читает из-за моего плеча и — обычно такой далекий и циничный — обнимает мои плечи одной рукой...

— Брось ты эту горечь прошлого!.. Но раз взялся за гуж, то привыкай тянуть брасы и бурундуки! Еще насмотришься не на такие пейзажи. А сейчас — марш в койку!.. И постарайся заснуть.

Он довел меня до железной койки, с грубой ласковостью заставил раздеться и лечь, после чего — под неусыпным оком Николы-чудотворца — прикрыл мою конторку, предварительно погасив в ней свет.

Голосом бывалой няньки, так ему не подходившим, Абрамович приговаривал, укладывая по инструкции снятое с меня обмундирование:

— Разве забыл народную мудрость, что золото тонет, а дерьмо всплывает? Может, эта поговорка родилась давным-давно, но особую популярность приобрела применительно к гибели старика Макарова и к купанию августейшего Кирилла... Море — оно иногда разборчиво и г.... не принимает. Так оно в жизни бывает. И ничего тут не поделаешь.

Затем, оборвав свои назидания, совершенно не верноподданная нянька одним бесшумным прыжком очутилась вне ряда коек, и я понял, что открылась входная дверь. В сопровождении дневального соседней роты появился лейтенант Данишевский, для проформы обходивший дортуары с строгой, но скучающей физиономией.

Унтер-офицер Абрамович подошел к нему с рапортом (уставным шагом, но стараясь не шуметь) и вполголоса доложил:

— Господин лейтенант! За время моего дежурства особых происшествий не случилось... Разве только, что еще раз взорвался броненосец «Петропавловск»... При этом пострадал только один гардемарин. В спе-

<sup>1</sup> Команда, отдаваемая на парусном корабле при выравнивании реев или при повороте на новый галс.

циальной помощи не нуждается. Само пройдет... Но думаю, что контузия — на всю жизнь.

— Опять паясничаете, Абрамович!.. Боюсь, что это у вас тоже на всю жизнь... — пшютовато грассируя, ответил дежурный по роте и, лениво скользнув опытным глазом по лежащим рядам, двинулся к выходу. Удивляться нелепому рапорту или расспрашивать, в чем дело, не позволяли каноны снобизма.

## 3

Понадобилось немало лет, чтобы упомянутые лица еще раз к концу войны сошлись на одной площадке, которую Вильям Шекспир называл подмостками (или сценой) жизни.

Абрамович демобилизовался после первой мировой войны и уехал в качестве гидрографа в полярно-сибирскую экспедицию. Благожелатели рассказывали, что из-за вечно мокрых или обмороженных ног он пристрастился к неразведенному спирту.

Неблагожелатели твердили, что он пошел в северную экспедицию именно потому, что в ней можно было бесконтрольно потреблять неразведенный спирт. Так или иначе, в печати появились его книги и статьи в журналах («Морской сборник»), причем относительно не плохие<sup>1</sup>.

Великий князь Кирилл Владимирович сперва пил по поводу получения георгиевского оружия, за всплытие с мусором «Петропавловска», потом уехал лечиться с 1905 по 1908 год на юг Франции, затем выпивает за производство в контр-адмиралы по тому же поводу (в 1915 году), а во время февральской революции нацепил в петлицу большой красный бант и во главе матросов гвардейского экипажа ходил в пешем строю к Таврическому дворцу, чтобы принести присягу Временному правительству. Однако гвардейцы, возвращаясь через площадь у Исаакиевского собора, вспомнили, что их предки именно здесь стояли насмерть — «в день восшествия» 1-го Николая Романова. Получилось как-то неаккуратно (исторически), почему Кирилл Владимирович загодя отбыл для лечения во Францию. Первое время о нем не было слышно, кроме как в фешенебельных кабаках Парижа. потому что для их содержателей настоящий русский Grand Duc был превосходной рекламой.

Однако покойный Николай II так путанно, а может быть, хитро, распорядился своим хозяйством, большая часть которого в валюте и ценных бумагах предусмотрительно оказалась размещенной в английских, французских и швейцарских банках, что получить это наследство было трудно даже подлинному великому князю.

Попутно выяснилось, что чертовски неудобно иметь целый выводок сестер, как родных, так и объявивших себя родными! Одна из последних, нарекая себя Анастасией, по сей день блюдет семейные традиции и никак не может в совершенстве овладеть английским языком, на котором она воспитывалась в «доме Романовых». Но сестры мечтали о счетах в банках, а не об империи, почему Кирилл в конце концов в одном из отелей Франции объявил себя царем. Вернее, местоблюстителем престола, так как большевики никак не хотели освободить ни Зимнего, ни Аничкова, ни Мариинского дворцов в Санкт-Петербурге, ни передать большой Екатерининский — в Москве.

Мой дядя погиб где-то на Великом Армянском нагорьи не от турецкого клинка или пули, а от более страшного — сыпного тифа.

Моя фортуна, о которой я мечтал с малых лет, сделала из меня

<sup>1</sup> С. И. Абрамович-Блэк Записки гидрографа. Издательство писателей. Ленинград. 1934; Невидимый адмирал. Роман. Изд. 2-е. «Советский писатель». 1937.



морьяка и довольно быстро продвигала по служебной лестнице. Однако казалось, что она мчалась быстрее, чем нужно, и, очевидно, боком, так как за каждый бросок вперед, за любое достижение мне приходилось расплачиваться слишком дорогой ценой.

Не ожидая выстрела «Авроры», я вступил в число красных моряков, только-только закончив драку с кайзеровским флотом в Рижском заливе.

«Ледовый поход» и борьба с бело-эстонско-английским флотом, блокировавшим Кронштадт синхронно с генералом Юденичем, рвавшимся к Петрограду, стали содержанием моей новой жизни.

Кампания 1919 года почти заканчивалась, когда Балтфлот понес тяжелую потерю.

Как сейчас помню гнетущее состояние души у всех у нас на сторожевке «Кобчик», когда, пропустив через входные боны целехонького «Азарда» под командой Н. Н. Несвицкого, мы узнали судьбу остальных кораблей дивизиона.

Первая официальная версия дошла из лаконичного рапорта командира: «...Доношу, что согласно приказа 20 октября эскадренный миноносец «Азард» засветло вышел с 60 минами заграждения на Большой Кронштадтский рейд. В 2 часа 21 октября по сигналу с «Гавриила» снялся с якоря и вступил в кильватер «Константину», оказавшись в строю концевым.

В 4 час. 19 мин. прошли шаровую вежу, повернув на курс 208°. Большая волна, свежий ветер SW, видимости никакой... размахи качки до 20 градусов.

В 5 часов 45 минут около параллели «Долгого носа» увидел впереди на «Гаврииле» сноп огня, за которым последовал сильный взрыв. На впереди идущем «Константине» последовал второй и третий оглушительные взрывы, и все обволокло густым паром... Вызвал по радио «Свободе», ответа не получил. В 6 час. 20 мин. лег на курс 8°. В 6 час. 30 мин. повернул на Ост...

Несвицкий.  
Комиссар Винник»<sup>1</sup>.

Как просто выглядит эта трагическая картина почти мгновенной гибели трех кораблей, в полной темноте исчезнувших в ледяной воде почти со всеми командами.

Официальные протоколы следствия мало что добавили сверх изложенного Несвицким. Разве только то, что в несколько минут погибло 28 наших командиров и 433 матроса, что к утру прибило к берегу свыше 100 трупов и что одна шлюпка попала в плен, отнесенная ветром и волнением в сторону противника. В конце концов выяснилось, что всего спаслось 19 человек. Также очевидно стало, что на одном из эсминцев сдетонировали все мины, находившиеся на верхней палубе, почему он вслед за получением пробоины разлетелся на мелкие осколки, и физически было невозможно ожидать спасения с него хотя бы одного человека.

Если недостаточно грамотного офицера пугало сокращение ДОТ а<sup>2</sup> почти наполовину в момент, когда белые уже обошли форт Красная Горка, то у меня были и личные мотивы для уныния. На «Гаврииле» погиб лучший из офицеров В. В. Севастьянов, по образу которого я старался строить свою жизнь. Правда, мне было слишком далеко до него даже в игре на гитаре, которую я впервые слышал в Гельсингфорсе. Кроме того, в числе нескольких десятков офицеров погиб мой однокашник Нел-

<sup>1</sup> Рапорт командира «Азарда» 21 октября 1919 года. «Балтфлот». Партиздат. М — Л. 1932.

<sup>2</sup> ДОТ — сокращение: действующий отряд Балтфлота.

лис — замечательно скромный и честный человек, сын миллионера Неллиса, главного управляющего всеми делами фирмы Нобель в России.

Отец, выхлопотавший сыну заграничный паспорт и визу, проклял его, собираясь ехать через Финляндию со всем семейством в весьма комфортабельных условиях. Но не думайте, что отказ сына был одним из случаев социального прозрения богачей. Просто Неллис влюбился в чудную, скромную девушку Наташу, которую все мы знали, и в результате перешел в наши ряды всерьез и окончательно, не оставив себе ни одного цента или эрэ, и служил скромно и старательно вплоть до самой гибели в волнах Капорского залива. Это был подлинный моряк-викинг, ставший беспартийным большевиком.

Не очень хочется признаваться в том, что горечь боевой и личной утраты усугублялась еще одним обстоятельством.

Ко мне в каюту вошел, постучав, но не ожидая разрешения, старший комендор Ваня Капранов (как называла его вся команда).

— Слышь, Иван Степанович! Ты без особой надобности на верхней палубе не показывайся, а что касается берега — то не смей суток трое четверо выходить.

Без объяснений Капранов вышел. Однако их и не требовалось.

Не надо было служить даже молодым мичманом, чтобы не сделать выводы из таких сопоставлений: красные миноносцы скрытно, ночью, выходят к району фланга армии, а сами нарываются на минное заграждение англичан как раз в том месте, где собирались ставить мины по плану штаба флота; было допущено много ошибок при подготовке к операции — не были соблюдены главные условия конспирации, в то время когда в наших рядах находились провокаторы и шпионы от белых и от британцев; выяснилась беспечность со стороны опытных командиров, как и некомпетентность стоящих над ними старших комиссаров.

Было бы удивительно, если бы враги не использовали таких богатых возможностей.

Следственная комиссия не нашла виновных и отнесла трагическое происшествие к трагическому совпадению.

После опубликования протоколов и проведения нескольких митингов в Кронштадте появилось воззвание:

«Товарищи моряки!

В самый тяжелый момент... погибли 3 стальных гиганта с одной душой, с одним желанием уничтожить врага трудового народа... Мы скажем нашим безвременно погибшим товарищам... Великое дело, за которое вы положили свои молодые жизни, мы доведем до конца. А вы, погубившие их... дрожите, так как час расплаты близок. Скоро настанет день великого торжества...

Вечная память погибшим героям!

Беспощадная месть палачам-белогвардейцам!»<sup>1</sup>.

Наконец для меня и других бывших офицеров наступил день, когда можно было свободно разгуливать не только по палубе, но и на берегу.

Конечно, все мы оставались под впечатлением поведения командира «Азарда» — Н. Н. Несвицкого.

Застопорив ход с момента первого взрыва и понимая, что находится на вражеском минном поле, он с нечеловеческой выдержкой дал задний ход, строго следуя обратно по курсу подхода всего дивизиона, оставаясь на нем около шести-семи минут. Затем «Азард» стал вызывать по радио «Свободу» (так как гибель остальных, несмотря на кромешную тьму,

<sup>1</sup> «Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне» Редакция А. К. Дрезена Партиное издательство. М.—Л. 1932, стр. 243.

была ясно видна). После бесполезного ожидания плавающих на воде, которых относил через минное заграждение (прожектора открыть он не мог, а активность вражеских прожекторов, шаривших по заливу, усилилась даже с финского берега), Несвицкий в 6 часов 20 минут развернулся и пошел в Кронштадт, строго выдерживая курсы и точки поворотов, зафиксированные штурманом при подходе к месту катастрофы.

Странички опроса спасшихся из этого ада людей (помня прочитанное о гибели «Петропавловска»), в том числе и кока Воронина, производят большое впечатление, хотя эти показания не всегда последовательны и иногда допускают ошибки в опознавании названий кораблей, что вполне естественно для таких тяжелых условий.

Вот несколько строк, сохранившихся в ВМАрхиве в делах следственной комиссии:

«Я спал, но, услышав взрыв, выбежал на палубу... Командир кричал на «Константин», чтобы дали полный назад, что взорвался «Гавриил» .. чтобы держались спокойно... Через минуту-две последовал новый взрыв у нас с левого борта под машиной... Побежал на ростры спускать четверку, в которой нас уместилось 6 человек... Только успели отойти — миноносец накренился по палубу...»

«Когда мы отошли от «Свободы», то видел, как «Константин» переломился пополам, складываясь палубой носа и кормы, и когда он стал таким образом тонуть, на нем последовал еще один взрыв».

«Могу добавить, что «Свобода» тончила накренившись... причем нос был поднят, на котором видел команду...»

«Со шлюпки видел, как «Гавриил» как будто переломился пополам и быстро пошел под воду...»

«На «Гаврииле»... командир приказал брать койки и спасательные средства, а его помощник отдавал распоряжения затопить правый борт... чтобы выровнять крен...»<sup>1</sup>.

«Раздался сильный взрыв... в правой машине... такой чувствительный, что некоторые свалились с рундуков... шкапчики повалились. Электричество сразу потухло».

«Когда мы были еще на корабле, услышали за кормой глухой взрыв на «Свободе». Отваливши от корабля, мы услышали сильный взрыв, клубы дыма и огня — это был «Константин».

«В момент взрыва был в кочегарке № 2... Наверху увидел, что команда, в общем, оставалась вполне спокойной. Когда же миноносец повалило на борт, я перешел на ростры и начал вываливать шестерку. С тонущих миноносцев были слышны крики «ура». После «ура» послышался сильный взрыв с «Константина». Когда дым рассеялся, то на воде ничего не было видно».

Надо помнить, что эта страшная гибель произошла в решающие дни борьбы за Петроград, когда белогвардейские банды, громко именуемые северо-западным корпусом, авангардом которого командовал генерал Родзянко, уже готовивший виселицы и белого коня для церемониального въезда в столицу, развивали так называемое «второе наступление Юденича».

Обстановка еще накануне казалась настолько критической, что Реввоенсовет Балтфлота докладывал в Москву:

«...беспомощное положение гарнизона форта Красная Горка удручающе действует на состояние духа личного состава, и член РВС Бара-

---

<sup>1</sup> Позже спасенные с «Гавриила» свидетельствовали, что, отдав все приказания командир его В. В. Севастьянов поднялся на мостик, откуда раздался револьверный выстрел.

нов передал с форта общее мнение о том, что если наш флот не придет на помощь — форты, вероятно, не удастся отстоять.

Нач. морских сил А. П. Зеленой.  
Член Реввоенсовбалта В. Зоф».

Вот почему резолюция, вынесенная на общем собрании команды «Азард» 25 октября, звучит не как банальная митинговая продукция и не кажется составленной из привычных фраз и знакомых определений.

«...Товарищи!

Не упадок нашего духа о погибших наших товарищах, а клятва верности революции!

Мы потеряли славных борцов. Но никакие потери нас не устршат. С болью в сердцах мы будем помнить о братьях-товарищах, поклявшись отомстить.

Не будем проливать слез, а еще теснее сплотим поредевшие ряды и дружным натиском сметем всю белогвардейскую сволочь...

Вечная память погибшим...

Да здравствует коммунистическая революция во всем мире!..

Председатель общего собрания Петрунин.  
Секретарь Волков».

Так оно и случилось — белогвардейская сволочь действительно была сметена. Если 20 октября части Юденича заняли Павловск и Детское Село, а остатки нашей 7-й армии вынуждены были отойти к Пулковским высотам, причем штабу 6-й стрелковой дивизии пришлось вжаться в город и разместиться в районе Балтийского вокзала, то через один-два дня после гибели трех эсминцев на фронте произошел перелом. 23 октября полки и отряды 7-й армии освободили Детское Село и Павловск, 26-го — захватили Красное Село, а 31-го числа уже освободили город Лугу. Для белогвардейцев это уже был «драп».

Еще через две недели Красная Армия заняла город Ямбург, и белогвардейский корпус перестал существовать.

Что же произошло в критический момент успешного наступления белых, когда англичане скрытно выставили минные заграждения на путях движения наших кораблей, а монитор «Эребус» с пятнадцатидюймовой артиллерией, специально присланный из Англии, обстрелял наши форты, и в частности Красную Горку?

Гибель трех лучших эсминцев с самыми опытными моряками, которые составляли почти половину боевого ядра нашего ДОТа в момент захвата подходов к Питеру, казалось бы, должна была вызвать тот самый упадок духа, о котором беспокоился Военсовет Балтфлота.

Но на войне, если бойцы знают и верят в то, что они дерутся за правое дело, бывают моменты, когда вступают в силу факторы, не подлежащие арифметическому «соотношению сил». Накопленная ненависть, сознание необходимости победы и невозможности отдать врагу колыбель революции делают чудеса. И вот на радиовопль Юденича о помощи финское правительство ответило ему, что оно будет сохранять нейтралитет, а буржуазное эстонское правительство «гуманно» разрешило остаткам белогвардейского северо-западного корпуса перейти на левый берег пограничной реки Нарвы, с тем чтобы затем разоружить солдат, насильно мобилизованных «спасителями России» в деревнях Петроградской губернии.

Шквал революции настолько начисто смыл бывших офицеров, мечтавших о реставрации, что я никогда уже не видел лейтенанта Шлиппе, даже не слышал о нем, пока наконец совсем не забыл.

Но оказывается, что жизнь бывает занимательнее выдуманных и невыдуманных рассказов. Спустя несколько лет мне неожиданно пришлось снова вспомнить о старлейте Шлиппе, который после гибели «Петропавловска» и вынужденного купания в океане до того стал страдать водобоязнью, что не мог заставить себя ходить по мосту возле перил, а бегал по лужам середины Николаевского моста, лишь бы не видеть ненавистной воды. И виновником этого, сам того не зная, оказался кок Воронин.

После знаменитого Ледового похода — из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт — в уцелевшем флоте не хватало квалифицированных офицеров и специалистов. И если бы В. И. Ленин не уловил момента для всенародного вооруженного призыва под руководством партии большевиков, то молодой мичман Исаков тянул бы ляжку вахтенного командира или в лучшем случае помощника командира на старом угольном эсминце.

А тут вдруг, достаточно неожиданно, я оказался назначенным командиром на турбинный эсmineц «Изяслав», вводимый в строй после так называемого «долговременного хранения».

Сразу же навалилась самая ответственная задача — комплектование экипажа.

Просто решился вопрос со старшим механиком, главной фигурой для механизмов восстанавливаемого корабля. Где-то на судостроительной верфи удалось отыскать инженер-капитана 2-го ранга Жедёнова, который уже служил на «Изяславе» со дня его закладки не то в 1914-м, не то в 1915 году. О лучшем кандидате нельзя было и мечтать.

Единственно, что меня смущало — как механик отнесется к молодому командиру, которого он должен был помнить в качестве Петьки<sup>1</sup>, то есть желторотого мичмана, прибывшего с маленьким чемоданчиком еще в бухту Копли, около Ревеля, на судостроительный завод «Беккер и К°».

Чтобы с этим вопросом покончить, скажу, что все обошлось прекрасно. Его ум и такт, с одной стороны, моя внимательность и осторожность, с другой, с первых дней помогли нам прекрасно сработать. Больше того, как это часто случалось во время гражданской войны, вслед за ним появились машинно-котельные ветераны «Изяслава»: хозяин первой турбины Митя Злыднев, кочегар Крастин, машинист Дук, Вербицкий, Цыганков, Марчук, Моторин, минно-машинный старшина Корнюшин и многие другие. Гражданская война приучила работать с теми, кто был испытан в переделках и внушал доверие.

Человек шесть или семь из команды, плававшей со мной на сторожевом корабле «Кобчик», во главе со старшим комендором Иваном Капрановым выразили желание перейти на «Изяслав». Конечно, я дал согласие и, естественно, не показал вида, что меня распирает от гордости и радости. Вообще не верьте ни одному командиру, если он делает равнодушное лицо, выслушивая просьбу матроса следовать за ним на другой корабль. Не надо забывать, что если корабельный устав имеет одинаковую силу на любом корабле, то, переходя на новый, матрос теряет не только привычную койку, но и привычных дружков, иначе говоря — коллектив, к которому он привык и который ему самому стал привычным, вроде настоящей флотской семьи. Конечно, в подобных случаях надо критически исключить отдельные случаи фаворитизма или какого-либо конфликта с предыдущей командой.

---

<sup>1</sup> «Петькой» назывался, по традиции, самый молодой офицер в данной кают-компании.

Чертовски много значит, с кем придется переживать шквалы, штормы, перестрелки с вражескими кораблями или «последний и решающий бой». Мерило взаимного понимания и взаимоуважения определяется в подобных случаях не «неизбежными в море случайностями» или инструкциями и уставами, частично перешедшими по наследству от царского флота, а взаимной выручкой в бою и той выдержкой во время скучнейших и рутинных дней учений и тренировок, которые только очень бывалому матросу представляются необходимыми по личному опыту, а всем молодым кажутся никчемной «петрушкой» или «волынкой».

Существует такое береговое учреждение, именуемое Отделом комплектования, которое обычно имеет в своем распоряжении при полуэкипаже выпущенных с гауптвахты по суду, вытщенных с погибших кораблей и из госпиталей; списанных с кораблей, идущих на слом за ветхостью; отставших от дальнего похода «по случаю непроспания в срок» и т. п.

Иногда среди дельных моряков дожидаются своего назначения на корабль красавцы с немислимым клешем и длинными ленточками на бескозырках, с аляповатой татуировкой для иллюстрации девицам расказов, начинающихся со случаев: «Когда мы шли из Сингапура в Сочи...» или: «Помню Норд-Вест-тен-Вест южной широты, когда налетел... чистый Цейлон!» и т. п.

В зависимости от качества и количества ожидающих назначения авгуры из Отдела комплектования могли помочь, но они же могли испортить жизнь на несколько лет.

Вот почему телефонный звонок одного из знакомых «комплектовальщиков» меня сильно насторожил.

— Не можем же мы «Изяслав» укомплектовать только новичками... Твой рапорт перевести с «Кобчика» шесть человек начальство утвердило. Но вот тут в полуэкипаже «залежалось» около десятка «утопленников» с трех погибших эсминцев.

При этом воспоминании я вздрогнул.

— Соглашайся! По анкетам — орлы, прошедшие огонь, воду и медные трубы. У одного — ха-ха! — Воронина, даже в графе «специальность» записано: «Офицерский повар»! Каково, а? Смехота!.. Правда, сейчас из пшенной крупы и воблы особых деликатесов не состряпаешь, но зато лестно! Только у тебя на дивизионе и будет «офицерский повар»!.. Ну как, согласен?

Я оглянулся на военкома М. А. Степанова.

Телефонная трубка была в руке, и я не принял еще никакого решения, когда мозг пронзило одно слово: «Шлиппе»!

Перед первым выходом и освоением корабля получить сразу около десятка Шлиппе?!

На повторное понукание в телефон пришлось ответить:

— Ладно!.. Присылай «утопленников». Посмотрю, поговорю. но оставлю за собой право отослать обратно в полуэкипаж тех из них, которые мне не покажутся подходящими.

«Изяслав» стоял кормой к Кронштадтской стенке. Командир мог бы принять ветеранов прямо у схода на берег, я же нарочно стал под полубаком, чтобы видеть, как они будут шествовать вдоль длины всего эсминца. Довольно скользкая дорожка минных рельсов отделялась от забортной воды весьма тонким стальным леером на стойках. Путешествовать по этой дорожке было нелегко даже опытным матросам минной дивизии.

Хитрость не удалась. Вернее, ничего не дала. Все шесть кандидатов привычно прошли почти всю длину корабля гуськом и, отрапортовавшись, предъявили документы.

Первым шел коренастый старший электрик Семен Качкин, а замы-

кал шествие невзрачный, скромный матрос, не без любопытства оглядывавшийся с такой привычной уверенностью, что даже не смотрел под ноги. Им-то и оказался по старой номенклатуре «офицерский кок» Николай Воронин.

Кандидатов в Шлиппе не оказалось.

У всех — по документам и расспросам — оказались такие богатые и солидные биографии, особенно по специальностям, что я недоумевал, почему до сих пор никто их не выкрал из полуэкипажа? Ларчик открывался просто. Оказывается, они, выйдя из воды около форта и зарыв в братскую могилу покойников, отданных морем, поклялись служить дальше только вместе. От приглашений в одиночку они отказывались. С «Изяславом» же получилась другая картина — требовалось сразу до сотни человек, причем с хорошим опытом или раньше плававших на нем.

Небольшая заминка получилась с Ворониным... На что же мне нужен «офицерский повар», когда вся команда и офицеры едят из одного котла, а коком может работать любой матрос?

Воронин, стоя скромно в углу командирской каюты, не проявляя желаний бороться за свою судьбу, однако Вербицкий, Цыганков и другие стали за него стеной:

— Так он из воблы может тульский пряник сделать... а если хотите... то... бланманже!..

— Берите, командир, не пожалеете! Слово «гавриильца»!

Так как документы «утопленным» доверили на руки, то не потребовалось никакой волокиты, и скоро «Изяслав» пополнился ветеранами, а они заняли свои койки и рундучки.

## 5

Никого так своеобразно и причудливо не раскидывает жизнь по белу свету, как моряков.

На редкость спаявшийся и сильный в политическом и военном смысле коллектив советских моряков «Изяслава» постепенно стал обновляться, а сам корабль не случайно получил новое, почетное имя «Карл Маркс». В 1941 году он с честью погиб в бою с фашистскими самолетами при защите Таллина.

К этому времени нас всех так разбросало и вверх и в стороны, что никто из иностранных моряков, не понимая существа советской государственности, не может себе представить подобного прохождения службы.

Старший электрик (бывший «гавриилец») Семен Качкин, страстный книголюб, дорвался до них и ушел на пенсию в звании полковника с должности начальника фундаментальной библиотеки Морской академии.

Хозяин правой турбины, некогда старший унтер-офицер Митя Злыднев, окончив Морскую академию, стал уполномоченным кораблестроения (то есть вице-адмиралом) и, умирая от рака, за несколько часов до смерти написал несколько прощальных строк бывшему командиру, которые я бережно храню.

Исчезнувший на время из виду Федор Марчук неожиданно объявился генерал-майором юстиции.

Веселый и задорный Василий Цыганков ушел на пенсию не как-нибудь, а с почетом — с должности начальника цеха одного из гигантов ленинградской машинной индустрии.

Конечно, не все дослужились до званий генералов или адмиралов, но большинство нашло свое место в жизни (включая Виктора Михайлова, Филимона Дука, Алексея Вербицкого, Николая Новикова — начавшего юнгой, Георгия Моторина, Михаила Крастина, Даниила Корнюшина,

боцмана Игнатия Кудзелько или Семена Карпова и многих других). Одни из них получили среднее, другие высшее образование; все как один прошли самую высшую школу гражданской войны и борьбы с интервентами, плавали до последнего дня обязательной службы, а часть отслужила «сверхсрочную», никогда не теряя связи между собой, со стармехом (ставшим заведующим энергосистемами одной из столиц) и с бывшим командиром «Изяслава», забравшимся почти на предельные ступени служебной лестницы, хотя и не без помощи костылей, без одной ноги, оставленной в боях под Туапсе.

Корабельное родство и дружба, скрепленная совместным пребыванием в партии, оказались прочнее всего.

Почти вся команда ветеранов до сего дня поддерживает связь перепиской или периодически встречается в «Астории» с командиром и комиссаром.

Возможно ли что-либо подобное в капиталистических флотах?

Только два человека из этой морской семьи, из оставшихся в живых, выпали из традиционного курса «прохождения службы» и сохранили свои звания.

Михаил Крастин, кочегар первого котла «Изяслава», еще с закладки на ревальской верфи так и остался кочегаром. Подготовив себе несколько смен из молодежи, он ушел в береговую кочегарку Кировского завода и во время блокады Ленинграда, будучи ранен осколком, не покинул своего поста, пока ему не нашли смену.

Вместе с кочегаром Крастиным с гордостью носит медаль «За оборону Ленинграда» и бывший изяславский кок Воронин. Однако до этого надо рассказать кое-что из его прошлого, ибо до сего дня он остался для меня своеобразным «анти-Шлиппе».

Познакомившись с Ворониным поближе, я узнал о его приключениях на море до «Изяслава».

Получив высшую квалификацию ресторанного повара в старом Петербурге, он, крестьянский сын, родившийся в Ярославской области, всю свою юность мечтал о службе на море. И только после смерти отца сумел устроиться в 1912 году в офицерское собрание 2-го Балтийского экипажа.

За тягу к кораблям и кулинарные таланты был взят поваром на эсминец «Пограничник» (при командирах Кедрове, Колчаке, Рудневе, Щастном и других не менее известных морских капитанах, показавших себя, однако, неграмотными в политике).

Так Воронин провоевал всю первую мировую войну на одном из самых активных (вернее, «задиристых») миноносцев Балтийского флота, ни разу не отлучаясь с корабля, только лишь за продуктами, включая и период Моонзундской операции, когда уже большевизировавшийся флот решил не пропускать кайзеровскую эскадру из Рижского залива в Финский.

В 1918 году он был назначен на эсминец «Свобода», на котором после года боевой службы в трагическую ночь 1919 года с ним случилась в Капорском заливе на английских минах (как он пишет, избегая громких фраз) «первая неприятность».

Когда его вместе с Крастиным и другими дружками назначили на «Изяслав», гражданская война вскоре окончилась и служба казалась не такой уж интересной. Вот почему я не обиделся, когда Воронин пришел ко мне с просьбой о демобилизации и переводе в погранфлотилию сурового Баренцева моря, где чаще штормило; Гольфстрим приносил сорванные мины, и бывшие «союзники» проявляли усердное внимание к нашим берегам.



Так на сторожевом корабле «Т-15» в Баренцевом море объявился новый кок в составе Северной погранфлотилии (командир Л. П. Лазинский).

В 1927 году «Т-15» погиб, выброшенный прибоем на камни в районе Йоканги («вторая неприятность»). Воронина спасли, но служба в столовой ГПУ показалась ему настолько скучной, что, поступив в Северное Архангельское пароходство, Николай Алексеевич последовательно плавал на пароходах «Яков Свердлов», «Искра», «Крестьянин» (с знаменитым полярником Ф. И. Ворониным) и других.

Ходил на пассажирском пароходе «Кооперация», на линии Ленинград—Лондон, затем на «Папанине», знаменитом «Ермаке» и на других судах, где требовался опытный повар-полярник и моряк.

Но могла ли ограничиться только упомянутыми «неприятностями» жизнь такого универсального моряка, скромного и тихого, который сам всегда шел навстречу буре?

Конечно, не могла.

## 6

В захарканной конторе Мурманского пароходства к концу 1939 года в отделе найма и труда за высокой балюстрадой сидели чиновники дальнего плавания уже не призывного возраста и скребли перьями то по бумаге, то по макушке собственной головы.

Стекла, перекаршенные бумажными иксами на клейстере, лампочка вполнакала и машинистка в дальнем углу комнаты, стукающая одним пальцем,— все эти косвенные признаки показывали, что война с белофиннами коснулась и этого института транспортного флота. Значит, пожилые конторщики из неудачливых симэнов<sup>1</sup>, очевидно, были призваны и впервые качались на холодной зыби, из глубины которой появляются то мины, то торпеды, а то и перископы фашистских подлодок.

По эту сторону балюстрады вдоль стен стоят длинные и тяжелые банки<sup>2</sup>, на которых в довоенное время часами высиживали матросы, выбивавшие о края свои носогрейки, отставшие по пьянке от рейса или мечтавшие найти на другом шипе более легкую жизнь.

В общей половине конторы оживленно, накурено и так шумно, что помощник заведующего с регулярностью судовых склянок вскакивал и громко орал:

— Тихо! Если не перестанете горланить, то всех выгоню... Опять же «слова»! Ведь тут же человек вроде женщины сидит... а вы выражаетесь, будто в кубриках! В последний раз предупреждаю!

Точный, как склянки, он методично, через каждые полчаса, предупреждал в последний раз. И так — до вечернего закрытия отдела. В интервалах он подходил на звонок стенного телефона и громко, не стесняясь присутствующих, тем же истошным голосом горланил:

— Боцманов — нет! Машинистов — нет... Говорю вам: нет!.. Вообще, кроме инвалидов, пропойц и морских бродяг, никого у меня нет!..— После чего долго давал многозначительный отбой, вертя ручкой аппарата, и опять усаживался на свое место. Речь шла о срочном комплектовании «Байкала» (капитан Степанов), идущего на Шпицберген.

Конторка бывшего старого помощника была покрыта пылью, а его фамилия стояла одной из первых на большом плакате в ряду столбиком выписанных имен моряков, докеров и служащих Мурманского пароходства под особо красивым заголовком:

### *«Отдавшие жизнь за наше море!»*

<sup>1</sup> Симэн — морской человек, моряк (*англ.*); термин, перешедший в портовые жаргоны всего мира.

<sup>2</sup> Банка — простая скамейка без спинки; перешло с английского.

Тем же шрифтом, отступя к нижнему краю, было начертано:

*«Вечная слава погибшим за Родину»*

От этого скромного мемориального плаката веяло не только печалью и грустью. Невольный трепет возникал при взгляде на белые места, предусмотрительно оставленные автором плаката для следующих кандидатов.

И все же в конторе не было того привычного шума и гама, к которому привыкли еще в довоенное время. Немногие из сидящих на дубовых банках вполголоса обменивались последними новостями. Сообщения, подхваченные с иностранных судов, шли вне очереди. Менее критически оценивались те, источником которых служили очевидцы с наших рыболовных траулеров, несших службу сторожевых кораблей или мотавшихся в резерве в качестве противолодочных.

У некоторых горластых были марлевые повязки или полукостыли, демонстрирующие их вклад в борьбу с фашизмом, хотя госпитальные документы эта категория пострадавших показывала очень неохотно. Что присутствующие способны служить исключительно на берегу, свидетельствовали не только «липовые» справки, водочный перегар и запросы из прибрежных холодильников, пакгаузов, с подъемных кранов и... от всех, кого накануне удалось подпойть смесью керосина, спирта и витаминной хвойной настойки («для заправки в смысле запаха и вкуса»), неизменно называвшейся виски.

Все это было хорошо известно помощнику заведующего, но приходилось, соблюдая подобие очереди, выслушивать по несколько раз настырных инвалидов и столько же раз направлять их «на предмет пересвидетельствования».

Неожиданно привычная картина нарушилась своеобразным инцидентом.

Возвратясь с доклада от начальника конторы, его помощник в сердцах хлопнул папкой о конторку и, отведя свою душу в большом морском загибе (так, что пишущая машинка застучала со скоростью подвесного моторчика), в сердцах сказал:

— Ну неужели же из вас всех не найдется хоть одного, который бы согласился плавать?

Последовала томительная пауза, во время которой духовные наследники старлейта Шлиппе, морщась (очевидно, от боли), поправляли свои бинты или выставляли клюшки на видную позицию. В это время самый крайний моряк, заглянувший сюда впервые и ставший в конце очереди, с виду пожилой и какой-то помятый, встал и, скромно продвигаясь вперед, спросил:

— А какая специальность нужна?

— Специальность? — с досадой и долей издевки выкрикнул помощник. — Та самая, когда надо и палубу швабрить, и на штурвале постоять, и прибраться в каютах, и команде обед сготовить!.. И сотни чертовых авралов отработать!.. Когда бы ты на маленьком шипе поплавал, где команды всего ничего, то знал, как каждый должен за все специальности оборачиваться... — Выдохнув свою досаду вместе с этой назидательной тирадой, наставник плюхнулся в старенькое плетеное кресло.

— Я согласный!

— Что?.. — опять выкрикнул от неожиданности помощник и, приподнявшись, не то с недоверием, не то с жалостью посмотрел на тихого моряка.

— Я согласен!.. Пишите коком!

Момент был настолько неожиданным, что машинка заглохла так же, как и глотки инвалидов-артистов.

— Да ты хоть плавал когда-нибудь?

— Приходилось.

— Давай мореходную книжку и документы с последнего судна!

— Так!.. Значит... кок Воронин?! А чего они все у тебя будто склеенные?

— Не просохли еще.

— А с последнего судна?

— Оно на грунте. Не успел.

Помощник заведующего отделом сгреб все, что дал ему Воронин, и пулей скрылся в кабинете начальника.

Воронин стоял как стоял, немного смущенный общим вниманием. В это время у него за спиной один из инвалидов-симулянтов делал другому жест (сверля себе пальцем висок), означающий, что, очевидно, у этого кока не все шарики на месте.

С треском распахнулась дверь, и в ее проеме показался почтенный заведующий в форменной тужурке капитана, с брюшком, поперек которого висела позолоченная когда-то якорная цепь.

— Воронин, черт!.. Вот уж не думал, что доведется встретиться!.. А я полагал, что с той ночи на «Малыгине» ты к обсушке<sup>1</sup> близко не подходишь! Особенно после того, как застрелился командир «Руслана» — капитан Ключев... Постой, постой!.. Так ведь тебе как пострадавшему при кораблекрушении да еще от фашистской торпеды — тебе полагается месяц отпуска!

— Да куда я его дену... этот месяц?.. Нет! Уж лучше списывайте на корабль. Там и отдохну.

Высоченный капитан сгреб Воронина на манер грейферного крана и перенес его в свой кабинет, успев крикнуть помощнику:

— Оформляй на «Байкал», да не копайтесь вы все, как трюмные крысы... а что до рекомендации с последнего судна, то я самолично ему напишу.

Дверь в кабинет захлопнулась.

Вслед за этим один из зрителей описанной сцены улизнул на переосвидетельствование в одну из малин, которые негегально содержали бойкие бабки в расчете на долговязых англичан, торговавших ямайским ромом (из Глазго) и сладковатыми сигаретами, которые шли в качестве обменной валюты.

Ускользнувший не видел продолжения импровизированного спектакля. А жаль!.. Не успел он выйти, как самый крепкий из оставшихся снял повязку с руки, аккуратно сложил ее и спрятал в карман, затем, сделав несколько упражнений для разминки долго бездействовавшей руки, тоже подошел к балюстраде и рывкнул:

— Пиши!.. Матрос первого класса. Пиши рулевым. Страсть как соскучился по штурвалу. Фамилию?.. Правильно! Надо и фамилию. Значит — Колпаков Захар Иванович. Документы все в порядке!.. Ну, кроме этой самой медсправки, насчет вывиха руки. Ее-то мы отцепим от книжки, а что касается прогула больше месяца, так ты, товарищ начальник, так подправь арифметику, чтобы меня военком в дезертиры не завербовал.

Остальные наследники Шлиппе сидели, подавленные двумя необыч-

<sup>1</sup> Та часть береговой полосы, которая оголяется (осушается) при отливе и затопляется во время приливов. Речь идет о посадке на камни «Малыгина» (капитан Филатов) в 1934 году в районе Баренцбурга.

ными сценками, только что прошедшими на их глазах. Затем, стараясь не шуметь, почти на цыпочках они начали исчезать из конторы. Надо было крепко обдумать происшедшее.

К моменту закрытия конторы уборщица нашла три или четыре ключики или костыля, забытые деликатными, не желавшими шуметь инвалидами.

Так как Воронин пошел еще раз в плавание, увлекая за собой и других, и попал в очередное кораблекрушение.

Вот небольшая выписка из письма Н. А. Воронина относительно очередной «неприятности» в конце 1939 года:

«...Рейс «Байкала» (капитан Сергеев или Степанов) был на Шпицберген. Не доходя Баренцбурга миль 60, напоролась на камни. Тяжелая была картина. Полярная ночь уже наступила. Мучались недели две. Пришла помощь — спасатель-буксир «Память Руслана», «Лидке», участвовал Эпрон.

К нам было не подойти, кругом камни, близко берег, ледяные горы. Во время работ разыгрался шторм, и его переломило пополам, половина осталась на камнях, половина затонула, но не глубоко, надстройки были над водой. Шторм утих, и нас сняли на шлюпках...»

Как будто на одного человека достаточно чрезвычайных происшествий? Но оказалось, что на этом перечень неприятностей Воронина не кончается.

## 7

К моменту нападения гитлеровцев на Советский Союз Н. А. Воронин служил уже в латвийском пароходстве на Балтийском море и во время трагического перехода Балтийского флота в Кронштадт из Таллина наш кок оказался на судне «Аусма», в которое 29 августа попало три фашистские бомбы. Подобрал его из воды, раненого, «морской охотник», и не погиб Воронин только потому, что на нем был надежный спасательный капковый бушлат.

После доставки в Кронштадт и короткого лечения опытного кока, который в воде не тонет и в огне не горит, назначили коком-инструктором спецрадиокурсов, на этот раз впервые на берег, так как многократное купание в студеной воде наших морей оставило неизгладимые следы в легких. Надо помнить, что кок-инструктор родился в 1894 году и ни разу за всю свою флотскую жизнь не отказывался ни от одного рискованного предприятия.

Курсы переводят в Ленинград. Участвуя в обороне города-героя, Воронин демонстрирует все свое искусство кулинарии для дистрофиков, за что получает специальные поощрительные дипломы и медаль «За оборону Ленинграда», которой гордится как высшей наградой — до сего дня.

Однако истощение и многократные «купания» в ледяной воде с годами дали себя знать, почему после прорыва блокады города Ленина Н. А. Воронина мобилизует медицинская комиссия с мрачной резолюцией о двустороннем туберкулезе в тяжелой форме — и как следствие — с отстранением от работы коком.

Он отдал морю и флоту всего себя. Отдал, не считая своих трудов и «неприятностей».

Переписываясь с ним, я никогда не упоминал о всем старом знакомом Шлиппе. Зачем не только сравнивать, но даже сопоставлять этих людей, если в одном из последних писем старого ветерана и инвалида флота есть такие строки:

«До сих пор люблю море! Часто летом езжу в гавань, и всегда море меня успокаивает! Остаюсь с искренним приветом. Ваш Н. А. Воронин».

Что сказать в заключение?

Перед нами два моряка русского флота почти одних лет. Один — из остзейских дворян, другой — из крестьян Ярославской губернии.

Как не похожи они друг на друга.

У одного — непреодолимая тяга к флоту даже после многих перенесенных аварий и катастроф. У другого — все признаки хронической водобоязни после первого же вынужденного купания во время взрыва корабля.

Автор понимает, что рассказанные случаи обобщать нельзя. Болезнь лейтенанта Шлиппе, так же как и близкого ему Кирилла, вызвана психическим шоком, относительно которого на матросском диалекте прежде имелось специальное определение: «У их благородий кишка тонка». В подобной коллизии медицина помочь не может. Помогали Шлиппе друзья из Главного штаба, которые всегда переводили его на береговые должности, когда угрожала необходимость плавания.

Не случаен тот факт, что Шлиппе, поселившись на Шпалерной улице и избегая приближаться к мостам и набережным, благополучно прожил с 1904 по 1914 год, и, если бы не империалистическая война, он так бы никогда и не увидел нового моста через Неву.

Но кое-что поддается сопоставлению. А именно — что ни один матрос, спасшийся с трех погибших эсминцев, не заявлял о своей неспособности служить на море.

Остается добавить, что ко мне не раз обращались литераторы и журналисты с просьбой указать на какого-либо замечательного моряка для замечательного сюжета.

Несколько раз приходилось давать адрес и записку к Воронину в Ленинград, по улицам которого он гуляет на старости лет, изредка выезжая в гавань. Но ничего из попыток изобразить старого марсофлота или выжать из него необычные «морские истории» так и не вышло. Пришлось отказаться от подобных попыток.

Скромный и немногословный Воронин никогда не был замкнутым или необщительным человеком — это хорошо знают «изяславцы». Такое впечатление могло создаться только у поверхностных собеседников, возможно, потому, что Николай Алексеевич не имел ни охоты, ни умения рассказывать о самом себе.

Невольно вспоминается восточный афоризм: «Тот, кто говорит, не знает! Тот, кто знает, не говорит!»

А ленинградцы могут гордиться тем, что по их улицам спокойной, старческой походкой прогуливается флотский инвалид, могут гордиться им, не добываясь от него эффектных рассказов о пережитых «неприятностях».



---

---

ВАДИМ ШЕФНЕР

★

## МИРНАЯ НОЧЬ

Не пойму, со мною рядом  
Или где-то за стеной  
Кто-то стуком, мерным ладом  
Тихо спорит с тишиной.

Не мое ли сердце это?  
Или капли за окном?  
Или то звучит планета,  
Как блокадный метроном?

Тихий звук почти не слышен,  
Вроде бы его и нет,—  
Но крылом летучей мыши  
Машет ночь ему в ответ.

Где-то близко, под удобным  
Изголовием моим  
Мир тиктакает, как бомба  
С механизмом часовым.

### *Ответ*

Я не в обиде. Мне отраднo  
Идти с мечтой наедине  
По теневой, по непарадной,  
По ненаградной стороне.

От мира глаз не отрывая,  
Всю жизнь шагаю я по ней.  
Друг,  
    с теневой  
            и тeneвая  
И солнечная мне видней.



---

---

Б. ЗОЛОТАРЕВ

★

## НЕВЕСТА

Рассказ

I

— Эмма, у нас будет гость...

Мама вошла в кухню с неестественно спокойным выражением и сообщение о госте сделала мимоходом и таким бесстрастным голосом, что я сразу поняла: «гость» — очередная попытка выдать меня замуж.

— Позвольте полюбопытствовать, Елизавета Вениаминовна, кто он на этот раз? — Я перестаю есть и говорю с патетикой в голосе и вульгарной улыбкой, которая появляется на моем лице всякий раз, когда мама заводит речь на брачную тему. В такие минуты я становлюсь себе омерзительна, но ничего поделать не могу и лишь благодарю обстоятельства, что никто еще, кроме мамы, не видел такую «тихую Эмму» и не слышал от нее этих банальных тирад. — Итак... Что же вы молчите? Или на этот раз жених — нечто из ряда вон выходящее? Бросив Симону, к нам едет свататься сам Ив Монтан, моя старая любовь!

— Эмма!

— Нет, почему, Елизавета Вениаминовна, вы никак не привыкнете к мысли, что ваша дочь — старая дева? Разве в этом есть что-нибудь оскорбляющее материнское достоинство? Уверяю вас, я не печальное исключение. Читайте наконец экономическую литературу. Двадцать семь процентов женщин СССР в возрасте от тридцати пяти до тридцати девяти лет не состоят в браке... Это утверждаю не я, а всесоюзная перепись. Все женихи погибли на войне — объективная причина для одиночества.

Наступает молчание. Я сижу за кухонным столом возле газовой плиты и ковыряю вилкой оставшийся на сковороде кусочек мяса. Почему-то с мамой мы никогда не едим в столовой. Утром в спешке не хватает времени снести туда посуду. Вечером... Кончаем мы в разное время, и маме, наверно, просто не приходит в голову, что мне даже одной было бы приятно посидеть за большим столом под нарядной скатертью и есть не со сковороды, а с папиного сервиза — тяжелого золоченого фарфора.

Если бы писатель желал найти место жительства своим героиням — пожилой вдовушке с незамужней дочерью под тридцать пять, — он не сыскал бы ничего лучше нашей квартирки в бельэтаже старого ленинградского дома. О ней я могу рассказывать долго, подробно касаясь места и значения каждого предмета. Единственное, что раздражает меня, это обилие замков. В общей сложности охраняет нас пять стражей разных возрастов и систем. Один старомоден (ставили еще при отце),

но настолько хитер, что как-то моя приятельница полдня не могла преодолеть его упорства, даже обладая ключом. Мне всегда казалось, что нам вполне хватало бы этого корифея, к тому же множеством ключей не всегда удобно иметь с собой. Но замки — область маминого влияния, она не желает расстаться ни с одним, хотя в доме не помнят случая кражи.

Большая прихожая с цементным полом служит нам и кухней и ванной. Над кухонным столиком возвышаются ряды голубых жестянок с изображением решетки Летнего сада и надписями: «рис», «гречка», «мука», «кофе». Мама уверяет, будто эти банки делают только в Ленинграде, и они давно уже стали такой же нашей достопримечательностью, как Медный Всадник или Адмиралтейская игла. Из кухни выходит узкий — не шире метра — коридор; сразу же налево — моя комната, тоже узкая с очень высоким потолком (такие бывают только в старых ленинградских домах) и с высоченным окном. Стены, как и полагается теперь, окрашены в разные тона: оранжевый, золотистый и кирпичный. Я нахожу эту моду очень оригинальной, а мама идет мне навстречу во всем, что модно, не желая, чтобы родительский консерватизм стоил дочери одиночества. Касаясь же материальной стороны жизни, скажу, что, несмотря на скромную зарплату, мы с мамой редко испытываем затруднения; меня одевают она по-царски, как и подобает одевать невесту, отложено у нее и на черный день. Одним словом, быт наш с финансовой точки зрения убедительно доказывает преимущество скромного женского общежития перед мужским, склонным к употреблению спиртных напитков и другим неоправданным тратам.

Узкая девичья кушетка, трюмо и пуфик у самой двери завершают обстановку моей обители. Рядом с трюмо в дерматиновой рамке — черно-белая фотография с рисунка, сверху аляповато раскрашенная наиболее популярными цветами: красным и синим. Изображена на картинке комната, по скудости обстановки и зашарпанности, наконец по маленькому окошечку, расположившемуся под самым потолком, напоминающая тюремную. В середине стоит девочка с пышными локонами, но каким-то болезненным румянцем (печать стараний раскрашивателя!) и держит на руках отвратительную куклу-уродца, лишённую ноги. От волос уродца остался лишь свалевшийся клок, кажется, мгновение — и из уродца посыплется опилки пополам с пылью... Но девочка верна привязанности, нежно прижимает куклу к щеке. Одним словом, ситуация эта вполне рождает мораль, зафиксированную у ног девочки безупречным каллиграфом: «Любовь слепа».

Мама, вспоминая свою жизнь с отцом (он умер пятнадцать лет назад), часто повторяет: «Шла замуж по расчету, а вышло по любви». Эти слова нужно понимать не в том смысле, будто отец не оправдал ее меркантильных надежд, — мама говорит, что всегда была довольна его работой. В словах этих — непоколебимая уверенность, что семейное счастье образует лишь рожденная в терпении привычка. Раньше, когда у нас чаще случались открытые разговоры, мать со страстью доказывала, что длительная жизнь с женщиной превращает его в глазах женщины из скупого в щедрого, из некрасивого — в «не хуже, чем другие», из робкого — в смелого и производит сотни других самых неожиданных метаморфоз, поскольку «мы, женщины, вынуждены всему находить объяснение, расстаемся со спесью».

Мама ужасно хочет видеть меня замужем. Это желание, продиктованное боязнью, как бы я в течение всей жизни не повторила ее одинокий финал, давно уже приняло болезненный характер. Не проходит и месяца, чтобы она не находила мне кандидата. Несколько раз мы ссорились, с неприятными словами, криками, обе плакали, но в конце



концов мирились, решая, что пусть все будет как будет и что мать не станет больше за спиной моей проделывать унижительную процедуру подбора жениха. И все же три или четыре раза в совершенно неожиданных местах — то на новогоднем обеде у большой бабки, матери отца, то в театре, а однажды даже в сберкассе — встречала я своих потенциальных мужей, косноязычных, рыхлых и некрасивых.

Как-то еще девчонкой в книге по физиологии я прочла, что женщине нравятся в мужчине черты, которых она лишена сама. Что же я могу поделать, если это наверняка кем-то оспариваемое положение целиком справедливо в отношении меня! Я знаю, что не полюблю, а значит, и не выйду замуж за человека неталантливого. Талантливость соединяет в моем сознании физическую и нравственную красоту мужчины. Правда, представляется она мне шире, чем многим: я вижу ее в каждом человеке, способном работать самозабвенно. Если бы мужчины хотели иметь по-настоящему любящих жен, им следовало бы чаще брать их к себе на работу и, погрузившись в дела, делать вид, что не замечают... Впрочем, кто знает, сколько на свете семейств счастливо лишь благодаря тому, что их отцы с помощью этого небольшого кокетства заставили жен уверовать в свою незаурядность.

Миная дверь моей комнаты, коридор наш делает четыре ступеньки вниз и приводит к столовой. Благодаря столь странной идее архитектора неестественная высота лишает ее жилого вида. Неуютность эту мать почему-то любит подчеркивать. На длинной медной трубке метрах в трех над головой висит матовое стекло, напоминающее больничное. Лишая предметы теней, оно придает им бесстрастность. Однако я заметила, что в маминой комнате как-то особенно удаются нечестные наши званые обеды. В присутствии людей здесь все — и старый славянский буфет, и платяной шкаф, и посуда, и даже угощения — кажется необыкновенным.

Все-таки самое примечательное в нашем жилище — его недружба с солнцем. Окна выходят на дно восьмизэтажного каменного колодца, единственный выход из которого закрывает на ночь старинная решетка с тяжелым замком. Когда сосед заводит во дворик свою «волгу» и в наличии все пять мусорных бочек, на улицу приходится протискиваться. Из-за такого расположения зимой светает у нас лишь в двенадцатом часу, в три уже темно, и приходят большие счета за электричество.

Лишь столкнувшись в мыслях со словом «электричество», я заметила, что сижу в темноте. Эта мамина рассеянность! В середине разговора она может уйти, забыв о твоём существовании и даже повернув выключатель. Но непременно через мгновение слышишь отодвигаемый стул, «ой» и «прости, Эмма, я задумалась», и запыхавшаяся мать появляется в дверях с виноватой доброй улыбкой. Улыбка преобразует ее жесткое мужское лицо, кажущееся таким из-за выдвинутого подбородка и припухших надбровий. Она заставляет оторваться от этих неприятных черт маминого лица и увидеть ее совсем другой — высокой, удивительно стройной, с девичьими движениями и красивыми (как у всех некрасивых) молодыми черными глазами. Вот и сейчас она стоит, зябко стягивая длинными пальцами поднятый воротничок халата, а мне не верится, что ей шестьдесят два и что она уже не на шутку боится всякого нездоровья.

— Эмма, ты помнишь сына Любы? — спрашивает мама и привычным движением головы откидывает со лба крашеную черную прядь.

— Ты ведь знаешь, ма, что я никогда не видела этого шалопа. Помню лишь его многочисленные похождения по Любиным письмам. Странная женщина. Впервые вижу, чтобы матери доставляли удовольствие сыновние романы...

Я делаю вид, что меня совершенно не интересует сын Любы, и начинаю собирать со стола. Но как назло, падает вилка, я излишне поспешно нагибаюсь за ней, и, наверное, мать думает, что я волнуюсь. Но волноваться мне не с чего. Правда, когда я была девочкой, Любин Юра тревожил мое воображение. Мама регулярно сообщала о его победах, которые одерживал он сразу на трех фронтах: был чемпионом по волейболу, в двадцать один год окончил юридический факультет и не без успеха занялся журналистикой, и наконец женщины, женщины без конца. Этой стороне жизни сына Люба уделяла особенно много места, так что постороннему представлялся конфетный жен-премьер.

— Люба пишет, что сын стал совсем другим,— прервала мои размышления мать.— Да и надо думать: неделю назад ему исполнилось тридцать семь.— Тут мать начала читать письмо: — «По-прежнему пишет. В малоинтересном журнале; редакционная спешка его задергала. Юрочка говорит, что от одного сознания, что журнал должен выходить каждый месяц, ему становится нехорошо...»

— Ему стоит перейти в Большую энциклопедию. По-моему, ее тома появляются несколько реже...

— Оставь, дочь!

Мать продолжает читать Любино послание чутко, глубоко сочувствуя каждому слову, а я думаю: «Что соединяет этих подруг, не видевших уже десять лет и почти столько же не писавших друг другу?» Мать перестает читать вслух, но я и не настаиваю, а мысленно вместе с ней дочитываю московские излияния, дохожу до того места, где говорится про Юрочкину одинокость, и до воспоминаний обо мне, сопровождаемых для вида вопросом: «Не замужем ли она?» — и восторгами, какая у тебя, Лиза, скромная и хорошая дочь. Затем, забыв про «не замужем ли?», Люба намекает на возможный союз...

— Когда он придет? — в моем голосе звучат прежние нотки; мать чувствует их, прерывает чтение и начинает издаലെка и просительно:

— Люба только просит разрешения. Юра давно не был в Ленинграде и думает подъехать сюда как-нибудь на денек. Ты ведь знаешь — теперь это не проблема, всего шесть часов — и у нас. Наконец мне было бы неловко не принять сына Любы.

— Так когда же он придет?

— В субботу. Сегодня понедельник, думаю, что мой ответ они получат в среду, и Юра сумеет до субботы собраться.

— Я тоже думаю, что он соберется, тем более что об этом ясно пишет Люба. Ведь она даже пишет, в каком вагоне придет ее чадо. Не правда ли?

Мама краснеет, недоверчиво смотрит на меня и делает вид, словно что-то вспоминает. Оказывается, она вспоминает, как звали Любиного мужа. Геннадий, Георгий... Выясняется, что Григорий. Итак, добро пожаловать, Юрий Григорьевич!

## II

Без пятнадцати семь. Вылетая к нам с поворота, трамвай калечит тормоза, но через мгновение, чувствуя тихий нрав нашей улицы, лишенной переулков, проездов и пешеходных дорожек, вновь припускается что есть духу, унося с собой стремительное гудение и мой сон. Начинается утро. По привычке я заглядываю на дно «колодца» — белым-бело. Снег в апреле... Олимпиада Ивановна, моя сослуживица, уборщица, говорит, что это к хорошему лету.

Слушая минут двадцать я сижу на пуфике перед трюмо и пристально разглядываю себя. Сердась, мама говорит, что при виде моей физиономии хочется спать. Действительно, с моего лица редко сходит пе-

чать вялости. Эту пагубную для женщины черту хранит весь мой облик. Высокая тонкая шея почти всегда безвольно опущена, пышные соломённые волосы набегают на лоб, усугубляя это впечатление, большой рот малоподвижен. Малоподвижны и большие мои серые глаза, так что уж если глядят на что-нибудь, то не скоро оторвутся. Правда, от матери перешли ко мне высокий рост и стройность, и я не раз замечала на улице, как мужчины, плененные моим модным силуэтом, забегают вперед. Скользнув взглядом по моему лицу и не найдя подкрепления своим надеждам, они обычно делают вид, что читают вывески или интересуются номером проходящего трамвая.

За такими невеселыми размышлениями застает меня проснувшаяся мать. Она начинает охать, что уже без двадцати восемь, а я не причёсывалась и не завтракала, и спешит на кухню. Ровно в восемь я выхожу из дому. На мне черное букле с рыжей лисой, рыжий «сугроб» на голове и высокие сапожки на каблучках — дань сегодняшней моде. Но заряд скептицизма, полученный от смотрения в зеркало, делает свое дело: кажется, что наряд этот на мне — как на корове седло. Я начинаю ненавидеть свою семенящую, как у матери, походку домохозяйки в поисках мяса подешевле, презирать зябко поднятые плечи и руки, провинциально уткнувшиеся, словно в муфту, в противоположные рукава пальто.

Работаю я в бюро информации научно-исследовательского института. Считаю меня и уборщицу Олимпиаду Ивановну, здесь пятнадцать сотрудников. Располагаемся мы в третьем, верхнем, этаже старого дома на канале Грибоедова. Продукция наша — сборник в семь печатных листов, выходящий раз в три месяца. Я прихожу на службу за десять минут. В приемной сидит с вязанием Олимпиада Ивановна — бойкая маленькая женщина пятидесяти четырех лет, дотягивающая до пенсии. Благодаря вниманию к младшему персоналу, ставшему у нас традицией, каждый праздник, и притом единственные в бюро, мы бываем отмечены приказом и небольшой премией «за инициативу и исключительную добросовестность». Правда, в последнее время Михаил Карпович Ткач, наш начальник, начав посещать философский семинар, изменил формулировку. Подписывая с месяц назад традиционный текст мартовского приказа, Михаил Карпович вычеркнул слово «исключительную», поставив на полях знак вопроса. Вообще я стала замечать, что постижение диалектики вылилось у Михаила Карповича в боязнь употреблять слова превосходной степени. Вопрос, на который я, очевидно, никогда не найду ответа, состоит в следующем: «Зачем этого добросовестного начальника литейного цеха сделали начальником бюро информации?» Кресло бумажного руководителя за шесть лет переродило человека. Он стал сочинять собственную терминологию, призывные словосочетания. Он научился говорить одинаково витиевато и пусто по любому поводу и однажды сам почувствовал неловкость, открыв панихиду по умершему сотруднику словами: «Сегодня мы имеем возможность проводить в последний путь нашего дорогого...» Меня коробит и его фамильярность. К женщинам обращается он не иначе, как «дорогая», хотя почти всегда имеет при этом деловое настроение и выговаривает «дорогая» так же казенно, как «гражданин». Это человек по-своему даже чуткий, хотя и здесь «чужое кресло» дает о себе знать, превращая хорошие порывы в глупость. С некоторых пор, уверовав в свою всесильность, Михаил Карпович считает, что разговор с ним по душам способен совершить самое потрясающее действие. Как-то, узнав, что от сотрудника ушла жена, он вызвал его к себе, предложил отпуск, рассказал, что и ему семейное счастье нелегко далось, а потом выразил готовность переговорить с беглянкой, надеясь изменить ее решение.

Материалы на машинку сдает сам Ткач. Делает он это ровно без десяти минут девять. Михаил Карпович выходит из кабинета отлично выбритый, сдвинув на кончик носа очки в золотой оправе, в синей нейлоновой куртке на молнии, которая очень идет к его высокой, не потерявшей подтянутости и в пятьдесят шесть лет фигуре заводского человека. Он улыбается, показывая крепкие зубы, трогает меня за плечо и говорит:

— Эмочка, дорогая, это нужно к одиннадцати часам.

Потом он подходит к Олимпиаде Ивановне, которая, сунув вязание в сумку, начинает торопливо разрезать полученную почту, трогает за плечо и ее, ласково говорит: «Ну, труженица!» — и скрывается за тяжелой дверью.

Мне нравится моя работа. Когда отпечатано страниц пятнадцать, я люблю разложить все в стопки по экземплярам; поглаживаю их и подолгу могу разглядывать, любуясь ровными отступами абзацев, стройностью переносов и оконечных строк.

После обеда к начальнику проходит заместитель и, как бы между прочим, со смехом, чтобы не показаться кляузником, ставит в известность о проступках сотрудников. Самуилу Марковичу под сорок. И сегодня я ловлю себя на мысли, что невольно сравниваю его с Любиным Юрочкой. Впрочем, какое же может быть сравнение: разве заместитель играл когда-нибудь в волейбол, писал статьи, ухаживал за хорошенькими женщинами?

Остальные сотрудники кажутся мне малопримечательными. В основном это пожилые неудавшиеся литераторы, уходящие все дальше и дальше от своей профессии, тихие и исполнительные. Здесь, на перекрестке гуманитарного и естественного, доживают они до пенсии, лелея мечту еще потрясти мир романом.

О наших с мамой вечерах можно было бы написать тома. Все в них подчинено тщетно скрываемому друг от друга желанию сделать как можно более занятым наш одинокий быт. Каждый раз, например, когда я прихожу с работы, мать вспоминает, что в доме нет хлеба. Я ругаюсь, говорю, что хлеб покупали вчера и, если не хватает, значит нужно брать его больше. Но мать хочет хлеб свежий, и я отправляюсь в магазин покупать — стыдно сказать! — четвертушку буханки. Хождение отнимает с полчаса ежедневно. Затем с какой-то потрясающей провинциальностью мы с мамой бегаем на все премьеры в театры, кино, концерты и на выставки; вечно куда-то записаны, где-то вот-вот должна подойти очередь. Третья статья траты времени — поиски дефицитных вещей — мамина страсть. Чтобы купить капроновую щетку для посуды или вешалку последней системы для моего платья, она способна обходить в течение месяца десятки магазинов. Однако благодаря этой маминой черте быт наш хорошо налажен и даже можно говорить о комфорте.

— Не раздевайся! — кричит мать, едва я появляюсь на пороге. — Быстрее в Гостиный двор: Люся оставила кусочек на платье. Помнишь, та салатная тафта, что тебе нравилась? Как ты думаешь, сколько нужно ей дать? — На мамином лице выражение вдохновения, неизменно сопутствующее ей в предчувствии удачной покупки.

Через мгновение мы бежим в Гостиный двор и едва успеваем дозакрывать. Люся — достойная представительница племени продавщиц универсальных магазинов, — хрупкая крашенная блондинка, встречает нас кроткой улыбкой:

— Тридцать шесть рублей в кассу...

Мать бросается к кассе. Потом она спорит со мной, чтобы дать Люсе на рубль меньше, в конце концов соглашается — не стоит из-за рубля терять нужного человека, — сует деньги под лежащий на прилавке

деревянный метр, забирает сверток и с заговорщическим видом, будто уносит дневную выручку универмага, направляется к выходу. Идя за мамой, я чувствую иронический взгляд подведенных Люсиных глаз: «Детка, тафта выходит из моды!»

Я и сама чувствую, что время тафты прошло. Почему-то в своем стремлении идти в ногу с модой мы с мамой всегда, особенно в одежде, от нее заметно отстаем. Дома мама расстилает материал на своей широкой тахте, отступает к двери и умиленно повторяет:

— Ну смотри, Эмма, он действительно очень мил! И золотая нитка очень пойдет к тебе. Что ты молчишь?

Я тоже улыбаюсь, но мать начинает дуться: мол, улыбаюсь я как-то не так, наверное, но очень довольна покупкой. Я шутя отталкиваю ее со словами: «Ну что ты, ма» — отправляюсь к себе. Мать начинает кому-то звонить. Я закрываю дверь и залезаю с ногами на кушетку. Часика два можно почитать. Чтение у нас тоже проходит по обязательной программе, его нельзя затягивать. Со следующей недели, например, мы начинаем слушать в филармонии «Греческий цикл», и сейчас в спешном порядке нужно овладевать ветхими шедеврами. Я снимаю с приемника толстую книгу и с досадой констатирую, что за три дня не продвинулась дальше шестнадцатой страницы. Коварны эти греки! Требуют к себе напряженного внимания: пропустишь строчку — и уж все начинай сначала.

Прометей. Меня прискорбно видеть и врагам.

Хор. Не сделал ли ты больше, чем сказал?

Прометей. Я от предвиденья избавил смертных.

Хор. Каким лекарством их у врачевал?

Прометей. Слепые в них я поселил надежды.

Хор. Большую пользу этим ты принес.

Тут я вспоминаю Михаила Карповича и думаю, что он не поддержал бы подобной оценки прометеевского деяния. «Слепые в них я поселил надежды»... Пока живу — надеюсь... Я начинаю соображать, где же истина: «надеюсь — поэтому живу» или «живу — поэтому надеюсь». Но философский голос Ткача спрашивает меня: «А диалектичен ли подобный поиск?» Я оставляю высокие материи, но все же думаю, что и слепые надежды не избавляют людей от предвидения очевидного...

— Сейчас придет Анастасия Михайловна. Она говорит, что сделает платье дня за два...

Я никак не могу приучить мать стучаться перед тем, как входить. Она считает, что если я одна или с подругой, а не с молодым человеком, то и стучаться незачем.

— Чего такая спешка? — спрашиваю я, не отрываясь от книги, но вдруг сознаю, что нужно спешить; и тафта-то подгадана как раз к Юрочкиному приезду. Я хочу сердиться, но не нахожу в себе раздражения. Наоборот, мне кажется, что сегодняшний день прошел по-особенному. Уже пятое апреля, скоро май, а там — мой отпуск в июле. Лето, уверяет Олимпиада Ивановна, будет жаркое, потому что еще и сегодня идет снег. А жених... Пусть приезжает, тихая Эмма встретит его с подлинно петербургским гостеприимством!

Эта перемена настроений совершается во мне, разумеется, скрытно от мамы. Я продолжаю лежать, уткнувшись в греков, а она, словно поняв, что вот так просто мне неудобно соглашаться, заговаривает о свадьбе моей приятельницы Лены в четверг, о том, что мне не в чем идти и что если очень попросить Анастасию Михайловну, то все еще может устроиться.

Анастасия Михайловна приходит спустя четверть часа, долго смотрит на материал и на меня, справляется об его ширине, но потом все

же мерит сама, проделывает для солидности еще ряд непонятных процедур с салатовой тафтой и наконец обращается ко мне с вопросом:

— Так что же, Эмма, вы хотите шить? Юбка, как всегда, прямая и «как можно уже». Это мне понятно. Ну, а что верх?

За меня отвечает мать. Верх должен быть притален, рукав вшивной, короткий, а вырез мысиком.

— Мысиком? — удивляется Анастасия Михайловна.

— Да, да, мысиком, — настаивает мать. — Это начинает быть модно.

Я понимаю, что мысик нужен для того, чтобы поместить старый золотой медальон с большим изумрудом — свадебный подарок отца, но не спору. Мать очень довольна моей сговорчивостью, целует меня в щеку и садится с Анастасией Михайловной на тахту обсуждать детали моего туалета. Из своей комнаты я слышу про английские перламутровые туфли на низкой шпильке, про перламутровый обруч в волосы, который можно перекупить у приятельницы Анастасии Михайловны...

Около одиннадцати звонит Тамара, моя подруга еще со школы. Она жалуется, что проболталась с Кирой весь вечер в магазинах, но ничего не нашла для Ленки.

Нас было четверо первоклашек: Тамара, Кира, Лена и я. Мне кажется, что прожили мы эти двадцать семь лет тоже похоже, во всяком случае до последнего месяца были одиноки. В четверг мы выдаем Ленку. Свадьбу собирают в середине недели, потому что веселиться особенно нечего. Муж Лены — Александр Иванович — болен туберкулезом и сейчас, весной, не очень-то хорош. К тому же от умершей три года назад жены осталось у него два мальчика, и в одной комнате молодоженов не слишком разгуляешься большой компанией.

Проболтав полчаса с Тамарой, мы решаем дарить сервиз, договариваемся, что в четверг возьмет она свободный день и с утра отправится на поиски. Все-таки на сорок рублей можно купить приличную посуду.

### III

Спасибо морозу. К вечеру он подскочил до двадцати, и даже не верилось, что пережита мартовская слякоть. Разнородная свадебная компания заговорила о погоде и быстро почувствовала себя коллективом. Юный физик, Тамарин спугник, имеющий такое выражение, будто за успешное освоение космоса все должны быть благодарны именно ему, начал даже поторапливать с выпивкой. А Лена затыгивала приглашение к столу, украдкой смотрела на часы и выглядывала из окна своего первого этажа. Я знала, кого она ждет. Не было Кости — Лениного рыцаря с трехлетнего возраста, первого ее мальчика и первого мужчины. Костя — «балерун», танцевал сегодня в первом акте «Щелкунчика» вместе с женой — заслуженной артисткой Галей, имеющей кондитерскую фамилию Бисквитная. Я встречала его на всех Лениных праздниках, но не могла простить женитьбы «не на Лене», считала позором и не понимала, что заставляет этого красавчика бывать здесь.

...Нас было четверо первоклашек: Тамара, Кира, Лена и я. И сейчас, глядя друг на друга, мы не чувствуем эти двадцать семь лет, промелькнувшие, как новогодние каникулы — и с шумными елками, и с послепраздничным сидением дома, и со смехом, и со слезами. Всякий раз, как я думаю о подругах, они представляются мне девчонками дивных пионерских лагерей.

Возьмем винтовки новые.  
На штык — флажки!

Кира начинает песню, делая ударение на каждом слове, так что и барабана не нужно под левую. Длинноногая, идет она впереди отряда, гордая своим главенством, повелительно поворачивая к нам свое серьезное смуглое лицо, когда положено подпевать.

И с песнею в стрелковые  
Пойдем кружки!—

помогает Кире наш первый ряд: Тамара, Лена и я — самые высокие девочки отряда.

Короткие — выше колен — брюки, которые сейчас в возрасте старше десяти лет считается носить неприличным, и два цвета: красный и голубой — мне не нужно других красок, чтобы воскресить самые восхитительные картины довоенной отрядной жизни!

И вот наша Беляночка — хрупкая Лена в коротеньких штанишках, с красным галстуком на белоснежной блузе, прикрыв глаза, подставляет губы склонившемуся над ней с бокалом в руке незнакомому мне мужчине.

— Горько!!

Рядом с Беляночкой и человеком с трагическими глазами — два аккуратных мальчика в белых рубашечках, наверное, из младшего отряда. Через мгновение я понимаю, однако, что не существует больше никакой Беляночки, и даже вспоминаю, что Миша и Алеша, сыновья Александра Ивановича, сегодня получили по пятерке — один в первом, другой в третьем классе. И все-таки не могу избавиться от мысли, что это, действительно — видение, а нелепое, представлявшееся мне только что, — явь.

Гаснет верхний свет, зажигается лампа на столике у радиолы, и комната наполняется тихой, несвадебной музыкой. Сладкий женский голос просит стать таким, каким он придумал своего героя. Я вспоминаю картинку в моей комнате и думаю, что мать сказала бы: «Зачем ему-то стараться? Ты ведь уже сделала из него героя. А это — главное...» Мне странно, что за какие-то несколько часов наша Лена завела сразу двух сыновей. Дети Александра Ивановича укладываются в кровать молодых, и я слышу, как, целуя Лену, младший, Миша, спрашивает: «Мамочка, а можно я не пойду завтра в школу, на улице такой мороз!» Лена делает строгое лицо, потом бодает Мишу в грудь своей красивой головой и, смеясь, шепчет: «Можно, можно!» Она пододвигает спинками к кровати три стула, чтобы ребятам не мешал свет, садится здесь же и застывает, глядя на малышей.

Ко мне подходит Кира, говорит, что на заводе пробуют завтра новый станок и им, конструкторам, нужно быть к семи. Я молчу. Только Кира способна в такие минуты вспомнить о работе. Правда, она всегда была серьезнее нас. Неожиданно Кира обнимает меня, целует и начинает извиняться, что она вот такой сухарь. По ее острому лицу катятся слезы, она шепчет, что очень рада за Ленку, уверена в ее счастье: Александр Иванович — порядочный и талантливый человек (конечно, слышала о нем; ведь работают они в одной системе!), и дети (это видно каждому) полюбили Ленку... Я слушаю Киру и думаю: какими бы хорошими друзьями ни были люди, у каждого своя жизнь, и, если сам человек не хочет сделать ее приятной, никто ему не может помочь. Как незаметно у Тамары, Киры и Лены появились свои дела! Кире завтра — на завод к семи, пробовать станок; Лене — собирать Алешу в школу и думать, с кем пристроить на день Мишку (ведь нужно же сдержать обещание оставить дома!), а потом бежать на свою трикотажную фабрику, где она бригадир какой-то передовой бригады. Когда-то после школы Лена стеснялась своей работы и говорила, что я счастливее на

своих курсах машинописи и стенографии. А теперь на фабрике ее носят на руках, и наша Лена — депутат райсовета. Вот только нравится ли ей работа? Становится страшно от мысли, что я не помню, чтобы кто-нибудь из девчонок рассказывал мне о своей работе. Почему? Может быть, думают, что мне неинтересно? Впрочем, вот Кира что-то говорила. Завтра в семь пробуют станок. Что за станок? Почему его нужно пробовать и какое отношение имеет к этому наша Кира? Кира — инженер-конструктор. Так что же, она придумала станок? И вообще: чем занимаются конструкторы?.. Затем думаю я о Тамаре, районном библиотекаре. Она как-то говорила, что работать в такой конторе после филологического факультета — кошмар. Но если кошмар, отчего она пропадает там все свободное время и даже, по-моему, ведет кружок западной литературы? И хотя завтра я тоже пойду на работу, мне начинает казаться, что у меня нет дела.

Девчонками мы любили устраивать секреты — выкапывали ямки в маленьком сквере напротив школы, заполняли их пестрой чепухой: бутылочными осколками, обрывками фольги, пуговицами, одной-двумя монетками — накрывали все это стеклом и засыпали землей. В любое время можно было ее раскопать, прояснить пальцами кусочек стекла и долго смотреть в таинственное подземелье, сверкающее на солнце упрянтанными в него богатствами; можно было наконец снять стекло и долго деловито перебирать содержимое ямки, добавить что-нибудь новое. Заботы о секрете были неотъемлемой частью нашей жизни, потому что в стремлении оделать свой секрет самым хитроумным и красивым каждая из нас напрягала все свои старания и все время пребывала в беспокойстве, как бы не померкло ее детище перед предприимчивостью подруг.

Сейчас же у меня такое чувство, будто в жизни не нашлось места для моего секрета, а если и нашлось, то вышел он у меня каким-то блеклым и скучным. Я тру пальцами его стекло и вижу свое бюро для престарелых, в котором работаю уже тринадцатый год, цифру «шестнадцать» на заложенной странице у греков и салатovou тафту. Мама считает теперь лишним маскировать свои намерения и сегодня, когда Анастасия Михайловна принесла мое новое платье, сказала, что на свадьбу к Лене можно пойти и в бордовом, а это оставить «на... май».

Глядя на танцующих, я задумываюсь над своими оценками. Костя лысеет со лба. Мама говорит, что так лысеют только хорошие люди. Ему не очень-то весело, рассеянному Лениному рыцарю, но он лихо отплясывает с Тамарой, отплясывает по-заводскому, непрофессионально поднимая при каждом па плечи и по-школьному отведя руку далеко в сторону. Раньше мне виделось в этом кокетство, желание побравировать своей обыкновенностью в танце. А теперь я смотрю на низкого Костю с красивым, не по возрасту морщинистым лицом и сочувственно слушаю Киру: мол, даже с его способностями при таком маленьком росте в балете трудно продвигнуться. Потом, глядя на удивительно крепкие, невысокие Галины ноги с полными икрами, я вспоминаю рассказанную Леной историю заслуженной артистки: сирота, еле выжила в блокаду, девчонкой-токарем получила орден где-то на Урале, куда увезли ее с крайней дистрофией, в театр пришла из самодеятельности. Что-то осталось в ней и сейчас от заводской девчонки. Это злоупотребление косметикой в праздники, умение быстро находить со всеми общий язык и привычка говорить на «ты» со сверстниками, даже и незнакомыми... Я вижу прильнувшую к мужу Леночку, и мне становится стыдно за свои сомнения относительно их любви. Когда, почему появилась во мне привычка процеживать сквозь сито недоверия даже то, что говорят мне самые близкие люди?



— Эмма, вы — очаровательная девушка.

Это приглашает меня Тамарин физик. Он стоит передо мной без галстука, в расстегнутой сорочке, с уверенным выражением, какое всегда бывает у красивых мальчиков, когда они разговаривают с женщинами, приближающимися к бальзаковскому возрасту. Еще минуту назад я не согласилась бы, но сейчас заключаюсь в объятия Алика и думаю, что ему наверняка нет и двадцати четырех.

Потом я сажусь к столу и впервые в жизни выпиваю рюмку водки с Аликом и Александром Ивановичем. Александр Иванович хвалит меня, вспоминает мою тезку — сестру из их санбата, которая пила стаканами — и ни в одном глазу... У меня уже — в обоих. И вообще со мной происходит какое-то превращение. Но не от выпитого же вижу я все в ином свете, не от выпитого же замечаю улыбку Кости и улыбаюсь ему, отрезаю пирог Гале и завязываю галстук Алику, которого не слушаются пальцы. Я подхожу к Тамаре и, смеясь, начинаю стыдить, что связалась с младенцем. Она смотрит с тревогой — никогда я не заговаривала на подобные темы, но, видя, что я в порядке, начинает уверять, что Алик просто занимается в ее кружке. Я толкаю Тамару в плечи, с криком: «Совратительница!» — валюсь с ней на диван, и мы обе смеемся.

#### IV

Определенно — прожитая неделя оказала на меня благотворное действие. Я просыпаюсь позже обычного, не слышу скрежета трамвая, и даже у зеркала невеселые размышления оставляют меня. Я думаю о том, что скоро мамин день рождения и нужно непременно достать что-нибудь необыкновенное. Потом вспоминаю про Кирины дела, досаую, что забыла узнать, как прошли испытания, и решаю позвонить Кире, едва приду на работу. Сегодня — суббота. Юрий Григорьевич будет уже около двух; оказывается, в субботу у него «творческий день» и он выезжает утренним поездом. Первый раз после смерти отца не одна только мама будет ждать моего возвращения со службы. Вчера я облачилась во все новое и даже расцеловала маму, найдя, что туфли под перламутр и такой же обруч в волосы очень хороши. Немного смущает меня старомодный медальон в мысике. Но мама просит оставить, уверяя, будто мне, как и ей, медальон принесет счастье. Мамино счастье... Неужели правда, я вот так собираюсь пойти замуж? А если нет, для чего все это? Зачем платье с мысиком, эти туфли и обруч, зачем неделя ожиданий? И я успокаиваю себя, что приезд Юрия Григорьевича для меня, да и для мамы — просто один из нечастых праздников. А к праздникам ведь полагается готовиться. Я представляю удивленные взгляды соседей, видящих, как сын Любы ведет меня под руку, улыбаюсь и думаю, как бы сегодня одеться, чтобы показаться дома в приличном виде.

На кухне мать гладит мою кофточку. Я обнимаю мать за плечи, но она делает сердитый вид, ворчит, что с этим приездом у нее все идет вверх дном: придется отпрашиваться с работы — нужно же приготовить обед на два дня, ужин; и Юрию Григорьевичу тоже кто-то должен открыть дверь — об этом ее дочь, конечно, не подумала. Она спрашивает, покупать ли к обеду вино, и вспоминает про полбутылки портвейна, оставшиеся еще с мартовских праздников, когда у нас собирались ее сослуживицы. Чтобы сделать маме приятно, я говорю, что этой полбутылки вполне достаточно, а если Юрочке покажется мало, то пусть и покупает сам: на них, мужчин, не напасешься. И все же мы ссоримся: я хочу надеть новые туфли, а мать говорит, что пропадет вещь — разве можно шлепать по грязи в такой обуви. Я называю ее «деревенщиной», издеваюсь над плебейской привычкой надевать нарядное лишь раз в

год, а остальное время щеголять невесть в чем и остаюсь непреклонна. Мать кричит мне вслед, что я еще пожалею, а затем выбегает на лестницу и просит не задерживаться — и так сегодняшний день ей будет стоить много здоровья.

Олимпиада Ивановна встречает меня вопросом:

— Никак наконец-то собралась замуж?

Я улыбаюсь и неожиданно для себя отвечаю:

— Может быть.

Через несколько минут весть о моем замужестве обсуждается во всех комнатах. Сразу после двенадцати меня вызывает Ткач и, чувствуя щекотливость предмета, начинает издали:

— Какая, дорогая, вы сегодня нарядная; если у вас семейное торжество, то не обязательно сидеть до конца, можно уйти пораньше: ни я, ни Самуил Маркович, разумеется, препятствовать этому не будем.

Я благодарю Михаила Карповича, отвечаю, что торжество крайне незначительное и поэтому необходимости уходить раньше нет, тем более послезавтра срок сдачи сборника в типографию и сегодня может случиться срочная передиктовка.

Днем апрельское солнце заявило о себе. Стало таять. Я пробираюсь сквозь шумный субботний поток Невского, стараясь выбирать места посуше и не промочить ноги. Многие уже без шапок. Я тоже запикиваю в сумку свой «сугроб» и прислушиваюсь к давящей боли в груди — боли приятного ожидания. Оно, уверена, будет самым необычным во всей истории. Я даю себе обет суточного веселья, клянусь не анализировать характер Любиного сына, не копаться в своих переживаниях и вообще превратиться на сегодняшний вечер и завтрашний день в нормального человека. Но, едва я подхожу к нашей улице и вижу хитрую решетку нашей подворотни, у меня начинается приступ раскаяния. Юрочкин приезд предстает в моем обычном свете, я ощущаю пошловатый привкус встречи и нарочно мучаю себя заляпанными туфлями (сразу поймет, что надела специально). Я уже хочу уехать на вечер к Лене, но вспоминаю мать и заставляю себя идти, но идти с таким видом, чтобы гость сразу почувствовал — его пустили только смотреть Ленинград.

Пока я иду через крохотный дворик, мне кажется, что провожают мою спину тысячи глаз изо всех окон. Я поднимаюсь к нашей двери, решительно звоню, чтобы передать свою усталость и нежелание кем-то заниматься, и слышу мужской голос: «Вот и Эмма, Елизавета Вениаминовна! Вы напрасно беспокоились». Навстречу ступают тяжелые шаги, и я загадываю: «Корифей не поддастся! Или...»

Дверь несколько раз дергается: четыре замка капитулируют, но корифей упорствует. А ну-ка, Юрий Григорьевич, перехитрите корифея! Однако Юрочка даже не пытается налечь на дверь. Он еще пару раз пробует повернуть ключ и сдается.

— Елизавета Вениаминовна, справиться с замком не в моих силах! — смеется мужской голос, и я слышу приближающуюся маму.

...Сын Любы смотрит на меня выжидающе, с улыбкой родителя, встречающего набалованного ребенка и пребывающего в неведении, какую штучку выкинет его дитя на этот раз. Я понимаю, что ни одна из моих выходов его не смутит, он примет все как должное, и даже не исчезнет эта улыбка.

— Здравствуйте, Юрий Григорьевич! — как старому знакомому говорю я. — Как добрались?

Не дожидаясь ответа, я склоняюсь у вешалки в поисках домашних туфель. Ноги мои совсем мокрые. Конечно, Юрочка это видит. и нужно выходить из положения.

— Действительно, ма, я напрасно тебя не послушалась. В этих туфлях сегодня явно не по погоде! — кричу я матери, которая в столовой гремит приборами.

Она не отвечает. Я чувствую, что Юрочке тоже неловко стоять вот так, ожидая, как подачки, слов от хозяйки, и делаю движение в сторону умывальника. Юрочка понимает его.

— Ну, не буду мешать, вы только с работы, — говорит он и уходит в мою комнату.

Смущение гостя меня успокаивает. Я слышу, как он то садится на кушетку, то встает, подходит к приемнику и курит; потом направляется к двери, но останавливается, так и не решаясь появиться. Мать и словом не обмолвилась со мной о Любином сыне и лишь через полчаса сказала, чтобы я звала Юрия Григорьевича к столу.

Юрий Григорьевич появляется со свертком:

— Это просила передать мама.

Потом он оглядывает накрытый стол, извиняется и через минуту возвращается с водкой, шампанским и шоколадными конфетами в красивой коробке:

— А это к обеду!

Мать причитает, что Люба потратилась, журит и Юру (ведь он позволит так называть себя старой тетке, знавшей его еще в пеленках?) и приглашает садиться. В комнате — сумрак. Я выхожу зажечь свет и заодно ставлю долгоиграющую пластинку Лоретти.

«Аве Мария»... Это наша с мамой старая привычка — в субботу и воскресенье обедать с музыкой — кажется, будто мы не одни. Я представляю себе наш обед сверху, как иногда любят показывать в кино, и вижу картину вполне в английском духе: маленький белый круг, три неестественно прямые фигуры, вынужденные высоко поднимать приборы, и наконец ухаживание вперегонки.

— Юра, вы не взяли селедки!

Это говорит мать.

— Не беспокойтесь, Елизавета Вениаминовна, здесь так много всего, что до селедки просто не дошла очередь. Эмма, разрешите вашу рюмку.

Это Юрий Григорьевич ухаживает за мной. И я, поддаваясь общему настроению, в свою очередь вполне искренне справляюсь у мамы, нужна ли ей к холодцу горчица. После такого вступления Юрий Григорьевич предлагает тост за тех, кто сейчас думает о нас. «Да, за Любу!» — несколько опрошает, но конкретизирует мама слова Юрия Григорьевича, и мне сразу становится ясно, за кого пить, — мгновение назад я не могла представить, что найдется такая душа... Рюмка шампанского сделала обед непринужденнее. Юрий Григорьевич по маминей просьбе стал рассказывать про Любу, про то, что она ужасно мнительна и не дает житья агенту госстраха и книгоноше живописанием своих болезней. Мать интересуется, на какую сумму застрахована Люба, и, как и следовало ожидать, замечает:

— Вот видишь, Эмма, а мы не догадались!

Она слушает податливо, время от времени отвечая на свои мысли покачиванием головы, и, видно, думает: вот оно, свидетельство их с Любой старости — этот Юрий Григорьевич.

Теперь я понимаю, что он был действительно очень красив. Большие карие глаза смотрят понимающе, будто заранее прощают вам самую скверную выходку. У Юрия Григорьевича длинные прямые ресницы, тонкий острый нос, но лицо уже начало полнеть и из овального превращается в округлое, обещая приобрести выражение полной умиротворенности. Пока же оно обладает той особенностью, что одному и

тому же человеку в зависимости от настроения может и нравиться, и казаться антипатичным. Сегодня оно мне нравится...

Настает черед матери. Она с большей откровенностью, чем следовало бы, вспоминает многочисленные их с Любой похождения, погибшего Юриного отца, Григория Александровича, человека тихого и образованного; вспоминает свои нечастые визиты в Москву и как четырехлетний Юрочка, когда ему купили ружье и спрашивали: «В кого, Юрочка, ты будешь стрелять?» — отвечал, что будет стрелять в соседей. Я же смотрю на Юрия Григорьевича и ругаю себя за свои глупые мысли у двери час назад, за привычку видеть все в хмурых тонах. У меня такое чувство, словно уже очень давно знаю Любиного сына; эту его привычку со вниманием поворачивать голову в сторону начинающего говорить и поощряюще смотреть на рассказчика, будто уверяя: «Вы рассказываете удивительно интересные вещи». Уже половина шестого, мать собирает посуду, а мы с Юрием Григорьевичем отправляемся слушать Лоретти.

— По вполне аутентичным сведениям, Лоретти предлагали кастрироваться, — сообщает Юрий Григорьевич, переворачивая пластинку. — Чтобы сохранить голос... — Он улыбается, садится рядом со мной на кушетку. — Давайте играть в слова, а? Возьмем для начала хоть это — «аутентичный».

Ужасно стыдно не знать значения этого слова, но я соглашаюсь и даже уверяю, будто слово на редкость удачное для игры — есть почти все гласные.

— Люблю подсматривать в чужую тетрадь, — предупреждает Юрий Григорьевич. — Безопаснее будет повернуться ко мне лицом.

Слово, как назло, оказывается неудобным, всего три согласных. На бумагу лезет примитивщина: «Тина», «туча», «тент», «унты».

Я недовольна. Мне нравятся сложные, красивые слова. Вот, осеняет: «ученый», «титан», «тиун», «анты».

Но больше всего я горжусь «инеем». Интересно, напишет ли его Юрий Григорьевич? Мы подводим итоги: у меня — девять, у Юрия Григорьевича — одиннадцать. «Тина», «туча», «тент», «унты» — есть и у него. А «ученого», «титана», «антов», «иней» давят большинством «аут», «чета», «чин», «чай», «учет», «тын» и «чан».

— А вы изобретательны. — В голосе Юрия Григорьевича сквозь усмешку звучит уважение. — Но мать успехов — простота. Не нужно задуривать себе голову. Когда-то и я старался писать необыкновенно, но потом пришел к выводу, что печатают не лучшее, а более профессиональное, привычное, и теперь трачу на материалы значительно меньше времени и сил... Человек — как ухо. Оно не улавливает ноту, в которой менее пятнадцати вибраций в секунду, и ноту, в которой больше сорока двух тысяч...

На это я замечаю, что диапазон все же достаточно широк.

Юрий Григорьевич улыбается, смотрит на часы и спрашивает, не пойти ли куда-нибудь посидеть. Я зачем-то краснею и отвечаю с готовностью, тоном, будто только и делаю вечерами, что хожу куда-нибудь:

— Пойдемте!

...В «Северной Пальмире» не оказывается свободных мест и приходится ждать больше часа. Наконец в щель между приоткрытой дверью и ругающимся швейцаром мы проскальзываем в вестибюль. Здесь действительно роскошно. Юрий Григорьевич помогает мне снять пальто, затем оглядывает с неизменной своей улыбкой, восклицает: «О-о!» — и мы поднимаемся по широкой лестнице наверх, где за стеклянной дверью сиреневый полумрак. Зал огромен. Сиреневый свет, проникающий

сквозь вмонтированные в стены светильники, не достигает потолка — высоту не чувствуешь, и пространство благодаря этому кажется необъятным. Столики стоят редко, нет представлявшей мне ресторанной суеты, и, едва мы садимся, я забываю, что нахожусь в шикарной «Северной Пальмире». Официант уносит от нас два пустующих стула. Юрий Григорьевич уверяет, будто так и должно быть, и протягивает мне кожаную папку с золотым тиснением. Я сознаюсь, что ничего в этом не смыслю. Мой кавалер берется самостоятельно составить кулинарную программу вечера.

Тем временем я впитываю эту необычную обстановку; мне легко, и даже чай-то голос осведомляется, неужели так немного нужно для Эмминого хорошего настроения. Я смотрю на склоненную лысеющую голову Юрия Григорьевича, почему-то представляю себе Любиного сына в своем бюро — Михаил Карпович отчитывает его, — и мне хочется сказать Юрию Григорьевичу что-нибудь доброе. В центре зала вспыхивают огни. Там — несколькими ступеньками ниже уровня пола — круг для танцев. К потолку тянутся от него гирлянды ламп, и кажется, будто круг — озеро света, из которого бьет тысяча разноцветных огней. Играет музыка.

— Шикарно! — Юрий Григорьевич кладет свою руку на мою.

Я смотрю на него и согласно киваю. Он встает, широкий, полнеющий, и делает жест, чтобы я прошла вперед. В танце Юрий Григорьевич преобразается, ведет удивительно легко, превосходно чувствуя ритм. Я набираюсь смелости и, смеясь, замечаю ему, что у него несовременные туфли, широкие брюки и слишком узкая головка галстука — теперь такие не носят. Юрий Григорьевич обещает в следующий раз появиться у нас в блеске...

— Добрый вечер, Эмма Аркадьевна!

Я готова провалиться сквозь землю. Рядом с хорошенькой брюнеткой танцует заместитель — Самуил Маркович. Склонившись к ней, он сложил пополам свою долговязую фигуру и развязно вихляет узкими бедрами.

— Муся!

Любин сын и заместитель одновременно бросаются друг к другу. Партнерша Самуила Марковича улыбаясь отходит на край круга, а я отправляюсь к своему столику. Отсюда мне видно, как Самуил Маркович о чем-то беседует с Юрием Григорьевичем, похлопывает по спине и улыбается, записывает что-то на пачке сигарет.

— Оказывается, Муся — ваш шеф! — говорит Юрий Григорьевич, возвращаясь. Он извиняется, что оставил меня, и уверяет, будто не видел сокурсника ровно пятнадцать лет.

— Плохой человек, — неожиданно для себя говорю я про Мусю. Но Юрий Григорьевич, кажется, не слышит меня, а продолжает мыслить вслух:

— Надо же, стервец, женился на молоденькой девочке! Это его жена. Заком в каком-то бюро... Кстати, что это за бюро, Эмма?

Я в двух словах рассказываю о своей работе. Юрий Григорьевич пьет коньяк и серьезнеет.

— Вы устали... — тихо констатирую я.

— Да... — Юрий Григорьевич тяжело смотрит на меня, будто не видит, и неожиданно вспоминает знакомую мне историю про способного мальчика, про его кажущуюся удачливость, про то, как месяц спустя после окончания института он изменяет своей профессии, публикует материалы в газете, проходившие, в сущности, без следа, а все по привычке говорят про писательский успех...

— И я взялся за прозу.— Юрий Григорьевич пододвигает ко мне мой пунш и продолжает: — Адашкин — в Москве это величина — как-то прочел две мои вещи и сказал: «Молодой человек, вам нечего мне рассказывать... Но писать вы сможете, правда, при одном условии: у вас должно появиться это самое, «о чем рассказывать». На прощание, глядя на мою физиономию, он заметил, что роль любимчика судьбы — неподходящая роль для писателя. Не думайте, однако, что я сразу же стал собирать чемоданы, отправляясь в путь за байками для Адашкина. «Писать вы сможете» — тогда этого было для меня достаточно. Да и сейчас я уверен, что можно изъездить всю страну, вернувшись ни с чем, и набрать материал на рассказ, сидя в «Северной Пальмире».

На всякий случай я возражаю Юрию Григорьевичу: мол, если речь идет об одном человеке, то все-таки первая поездка даст ему значительно больше впечатлений... Но эту реплику Юрий Григорьевич оставляет без внимания. Он рассказывает, как играл в пузырь, ездил по границам и как спортивное руководство было довольны, что в сборной есть интеллигентный человек... Потом ему исполнилось тридцать, а повести и романы так и не были написаны. Его по-прежнему считали околелитературным молодым человеком, но теперь это амплуа раздражало, напоминая о несостоятельности. И тогда стало ясно, что уже нечего от себя ждать.

Потом Юрий Григорьевич говорит про современную литературу — что ее создают умные, верно чувствующие «литературное», но неталантливые люди, и поэтому техника письма высока, а содержание первобытное: без талантливости нельзя! Я незаметно посматриваю на танцующих и утешаю себя, что в тафте не одна, и медальоны, кажется, тоже носят... Глядя на мое начавшее киснуть лицо, Юрий Григорьевич неожиданно вспоминает реплику в адрес Мусы:

— Вы сказали, что Муся — плохой человек. У вас были из-за него неприятности?..

Я качаю головой, но говорю, что не в том дело, что лично у меня неприятностей не было.

— У вас (ради бога, не обижайтесь!) какие-то детские оценки, Эмма. Хороший человек, плохой человек! Это чересчур общо, неконкретно. Сейчас такие представления устарели. Но если все же ими пользоваться... Не могу сказать, чтобы я пылал к Мусе безумной любовью, но ведь и плохого он мне ничего не сделал, и я готов утверждать и, заметьте, утверждаю, что Муся — Самуил Маркович — хороший человек. Не усложняйте себе жизнь, оставьте эту привычку сочинять сложные слова, ей-богу, вам будет легче.

Проходя мимо нашего столика, с нами прощаются хороший человек Муся и его молоденькая (кто бы мог подумать!) жена. Юрий Григорьевич смотрит на часы и спрашивает, не пора ли и нам. Пожалуй, пора. На улице Юрий Григорьевич берет меня под руку, всю дорогу шутит, и даже не верится, что полчаса назад он говорил серьезно.

Я думаю над рассказанным Любиным сыном и отмечаю, что вялость в характере — не моя собственность. Пожалуй, этой болезнью мы заражены в одинаковой степени. Правда, с разными перспективами. Меня, уверяет мать, нужно только растормошить. А Юрию Григорьевичу это как мертвому припарки. «Кто сгорел, того не подожжешь».

Уже около двенадцати, и никто не видит, как Любин сын проводит меня через дворик. На лестнице он медлит, видно, вспоминая, зачем приехал, пытается меня обнять; но я чувствую, что это без желания, и легонько отстраняюсь. Юрий Григорьевич не настаивает.

Мама встречает улыбкой, и я живо представляю: вот так она будет встречать нас с мужем, если вечером мы где-нибудь задержимся.

## V

Утро воскресенья серое, в окнах долго гуляют сумерки, и просыпаясь мы только в начале одиннадцатого. Я принимаюсь за уборку и, когда очередь доходит до моей комнаты, с улыбкой отмечаю, что галстук на трюмо, переполненная пепельница на стуле, наконец накрепко прижившийся запах табака быстро лишили ее монашеского облика. Появляется выбритый Юрий Григорьевич, но, не желая мешать, остается в дверях. Я чувствую его взгляд, кажется, даже мысли: «В конце концов это не самый худший вариант... Во всяком случае спокойный. Хозяйственна, скромна, от разных пикантных неожиданностей брачной жизни ты застрахован определенно!»

Я понимаю, что сейчас Юрий Григорьевич постарается наверстать упущенное вчера в разговорах о высоких материях, и оказываюсь права. Он входит в комнату, останавливается посредине и несколько раз, когда мне нужно к приемнику, трюмо или к окну, сторонится с неохотой, ожидая, что я остановлюсь перед ним, невинно вскину ресницы и будет повод, заключив меня в объятия, начать наконец деловую часть визита. Но я не даю ему этого повода.

Через четверть часа мы едим мамины оладьи с вареньем и обсуждаем план культурных мероприятий.

— Не забывайте, уже около одиннадцати! — говорит Юрий Григорьевич. — Нас учат, что всякий план должен основываться на реальных возможностях. У вас, Эмма, завтра не свободный день, и нужно отдохнуть.

Единогласно (при одном воздержавшемся — мама) принимаем программу-минимум: Эрмитаж и Исаакиев, оттуда можно будет посмотреть на город сверху.

В Эрмитаж — не пробиться! Около часа мы стоим в толпе гардероба, держа в руках пальто, и каждый думает, зачем это спутник делает вид, словно здесь нельзя не побывать. «Слушайте, Юрий Григорьевич, разве, не заглянув в сокровищницу мирового искусства, вы не сможете спокойно отбыть в Москву?» — мысленно спрашиваю я и слышу такой же ответ: «Эмма с ее привычками все усложнять, конечно, не так поймет мое нежелание торчать в этой очереди».

Я плохо запоминаю художников, до сих пор в разговоре боюсь спутать авторов «Монны Лизы» и «Сикстинской мадонны», поэтому предпочитаю молчать, когда речь заходит о живописи. У одного современного писателя я прочла, что в ней нельзя искать и ценить литературу. Наверное, я нахожусь на самой низшей ступеньке понимания живописи, так как прежде всего обращаю внимание на ситуацию и мне очень нравится, если это знакомая ситуация.

...Из этого галопа по залам ничего, кроме усталости, вынести нельзя. Раньше, правда, я уставала больше, потому что старалась на все обращать внимание. Но со временем в каждом зале у меня появились одна-две картины, с которыми что-то связано. К ним мне приятно приходить. У кого-то из итальянцев мне нравится «Оплакивание Христа». Я останавливаюсь рядом, но опять забываю запомнить автора. Плачущая богородица поднимает голову сына; у ног мертвого Христа рыдает Магдалина, а чуть поодаль стоит улыбающийся ангел. В этой улыбке — очень человечно выраженная скорбь; я всегда вспоминаю, как, узнав о смерти отца, бросилась домой, как встретилась дома с мамой и как, не находя слов утешения, мы тихо улыбнулись друг другу.

— Интересно! — говорит Юрий Григорьевич, когда я по дороге в Исаакиев рассказываю ему об «Оплакивании». — Но большинство, я ду-

маю, воспринимает эту улыбку как сознание того, что Спаситель отмутился на грешной земле. Вы хорошо помните отца?..

— Да,— отвечаю я,— хотя прошло пятнадцать лет. Но у нас с мамой они прошли без больших изменений, память совсем чиста.

— Я был пятнадцатилетним пацаном, когда отец ушел на фронт,— говорит Юрий Григорьевич,— но тем не менее, не будь столь шумной юности, наверное бы, тоже хорошо его помнил. Служил отец бухгалтером в несколько юмористическом заведении — профсоюзе рабочих вино-водочной промышленности. Говорят, что из двадцати сослуживцев он один не пил и поэтому пользовался уважением. Его всегда выставляли вперед, как ширму. Чуть что — позвать Григория Александровича! Потом — война. В профсоюзе митинг, посвященный записи в добровольцы. Шеф напустует и просит начинать записываться. Отец, как всегда, сидит на первой скамейке. «Ну, Григорий Александрович!» — говорит шеф и улыбается. Отец, конечно, направляется к столу и записывается. Когда уходил из дому, сказал: «Бегай, Юрка, в школу, учись. Только спеси не набирайся...» Какая уж тут спесь: служить бы рад, прислуживаться тоже.— Юрий Григорьевич смеется, но, не замечая у меня веселья, говорит: — А все-таки, когда я пишу свое, у меня даже почерк становится лучше...

Потом мы смотрим с колоннады Исаакиева на Ленинград. Бодрый голос из репродуктора просит пройти то на запад, то на восток, показывает университет, Петропавловку и промышленный Васильевский остров, с которого и в воскресенье поднимается дым, как пар от работающего на холоде человека... Голос обращает внимание на центр города: дома здесь тесно прижались друг к другу — дает знать о себе земельная рента,— и многие ленинградцы, чьи квартиры выходят в каменные колодцы, лишены солнечного света. Почувствовав мрачноватый оттенок последних слов, голос спешит заверить, что при социализме земельной ренты не существует, и новые дома города строятся с большими благоустроенными дворами.

— В сравнении с Москвой Ленинград поражает черными крышами,— замечает Юрий Григорьевич.— У нас их красят в коричневый.

Вместе мы ищем мой дом. Но безуспешно. К тому же начинается снег. Здесь, на высоте, его бросает в лицо большими липкими хлопьями. Мы спускаемся с колоннады в залы. Но пока вслед за Юрием Григорьевичем я иду по бесконечной винтообразной лестнице, меня взрывает его старческая привычка ощупывать ногой каждую ступеньку. Я начинаю негодовать на себя, на мать с таким кандидатом, ощущаю необыкновенную усталость; хочется скорее скинуть эти норвежские сапожки на каблучках, тяжелое пальто, бросить где-нибудь своего спутника. Юрий Григорьевич же, как назло, чувствуя, что время уходит, а нет никакой определенности в наших отношениях, начинает обещать приехать и на майские праздники. Мне хочется крикнуть: «С чего это? Кто вас звал?» — но я сдерживаюсь, а он жмет мой локоть, не зная, что мне гадко.

Когда я хочу восстановить в памяти великолепие собора, я вспоминаю его экскурсовода — юношу лет двадцати двух с вдохновенным обликом Бонапарта. Это было так неожиданно, что критические настроения тотчас оставили меня и снова появилась субботняя легкость.

— Прощу сюда! — говорит Бонапарт и повелительно трогает указкой полу элегантного пальто с поднятым воротником. Строго говоря, Бонапарт не очень-то походит на себя. Это болезненный блондин, чуть выше среднего роста, с короткой прической и большими серыми глазами. Но стоило ему очутиться во главе толпы, как черты его стали жить



другой жизнью, повторяя облик гениального француза. Ноздри чутко вздрагивают и отличаются необычайной подвижностью, в глазах — выражение неистойой веры в себя, подкрепленной сознанием, что масса не может смутить вопросом серьезнее того: «Сколько весят двери собора?» И наконец желание просветить, добыть для вас истину. Кажется, все в соборе — и мраморные колонны, и своды со степенными лицами святых и фресками из Ветхого и Нового заветов, и иконостас — создано специально, чтобы помочь Бонапарту в его подвижнических целях. Он говорит ясно и вдохновенно, редко, но с удовольствием пуская в дело указку, так что хочется ее подержать.

— Итак, конкурс на лучший проект реконструкции собора! Архитекторы проводят бессонные ночи у колыбели будущего гиганта, обещающего стать третьим в Европе после Собора святого Петра в Риме и лондонского Собора святого Павла... Борются направления, сталкиваются идеи архитектуры. Иные убеждаются, что создание подобного проекта — задача непосильная, и, как принято говорить в спорте, выбывают из соревнований. Когда же срок истекает, известный архитектор Монферран поражает собратьев по искусству, представляя сразу двадцать четыре проекта реконструкции, каждый из которых рассчитан на вкус определенного оппонента. Одна из идей Монферрана и была положена в основу начавшихся работ, занявших в общей сложности сорок восемь лет.

Конечно, Монферран — один из фаворитов Бонапарта, идею его он излагает очень подробно и убедительно. А я люблюсь им и думаю, что Бонапарт и в пятьдесят лет не будет щупать ногами ступеньки и советовать не задуривать голову сложностями.

— Прошу сюда, направо. Это — главный алтарь. Дальше женщинам путь закрыт. — Бонапарт серьезен. Он трет пальцем переносицу и продолжает: — Так требует религия. Те из вас, кто не боится нарушить ее законов, могут пройти и осмотреть!

Бонапарт прислоняется к колонне, ищет в толпе молоденьких женщин, но не находит и задерживает взгляд на мне. Он изучает и моего спутника, стоящего возле, вновь смотрит на меня и, кажется, знает про недельные приготовления, про то, что Юрий Григорьевич хлюпает за супом и не желает уезжать без моего согласия...

— Что же вы стоите? — обращается Бонапарт ко мне. — Разве так страшно однажды согрешить? Но ведь известно: не согрешишь — не покаешься. А не покаешься — не спасешься! Не так ли? — последний вопрос Бонапарт адресует к сморщенной старушке, уже выходящей из алтаря. Она крестится и отвечает, что так.

— Какая превознесенная гордыня! — восклицает Юрий Григорьевич, когда мы выходим из собора. Это — про Бонапарта. — Я замечаю, Эмма, что выше всего вы цените в мужчинах вдохновение, талант! Ха! — Юрий Григорьевич устал, а я знаю — ничто лучше усталости и голода не снимает с человека маску. Даже глаза Юрия Григорьевича кажутся воспаленными, нездоровыми. В движениях у него тоже появляется что-то мужское, грубоватое. Он чуть отстает, и некоторое время я несу его взгляд, взгляд человека, сделавшего покупку и теперь открывающего в ней множество раздражающих дефектов. Мне даже хочется кричать Юрию Григорьевичу, что он совершенно свободен и никто не будет препятствовать его сегодняшнему отъезду.

— А я вам скажу: никакого таланта не нужно! Нужно умение — замечать, я употребляю слово из области ремесла — и нужна беспринципность. Возьмите Монферрана. Двадцать четыре проекта сразу! Вы и ваш герой видите здесь, конечно, талант! А я — беспринципность спо-

собного человека. Вы и своего героя-экскурсовода считаете талантом,— продолжает Юрий Григорьевич,— уверяю вас: талантом там и не пахнет. Помимо всего, мальчику не хватает добросовестности, знания предмета.— Юрий Григорьевич настаивает, будто Бонапарт сказал, что распятие Петра вниз головой — свидетельство жестокости палачей, тогда как на самом деле они лишь пошли навстречу его желанию: Петр считал себя недостойным быть распятым так же, как его великий учитель...

— Почему вы во всем видите плохое? — спрашиваю я, и становится неловко, что еще недавно считала эту привычку своей второй натурой.— Меня не нужно учить сомневаться — я сама сомневаюсь во всем... Уличить Бонапарта в незнании Священного писания, поверьте, самое легкое... — голос мой срывается, как у плохой актрисы,— впрочем — вы ведь сторонник простоты!

Юрий Григорьевич растерянно смотрит на меня и спрашивает, при чем тут Бонапарт.

...Скоро семь, через два часа его поезд. Он вспоминает, что не купил папирос, и, едва мы входим в наш дворик, отправляется в магазин.

— Что у вас с Юрием Григорьевичем? — спрашивает мать, дождавшись, пока я сниму пальто.

— Ничего... — отвечаю я и прохожу в столовую.

— Но ведь я вижу, Эмма.

Всем своим видом я даю понять, что не намерена продолжать разговор, и берусь за греков.

Мать стоит в дверях, и лицо ее постепенно бледнеет.

— Не устраивайте сцен.— Я лежу с книгой на тахте и говорю это между прочим, не глядя в сторону матери.— Постарайтесь в следующий раз найти что-нибудь более юное. Даже не в смысле возраста. Заметьте, я облегчаю вашу задачу.

— Ты посмотри на себя.— Мать пытается говорить спокойно.— Посмотри на себя, дочь! И подумай, чего ты хочешь? — Мать дергает к себе стул с моими вещами, бросает их в сторону и кричит: — Но тебе непременно нужен красавец, уродина! Ты не думаешь, что матери скоро шестьдесят три, что у нее ночами ломит руки от этой проклятой машинки и что на работе ее называют скрягой, считая, будто она из-за себя не хочет идти на пенсию, которая и меньше-то всего на двадцать семь рублей тридцать четыре копейки...

Мое лицо заливает краска.

— Замолчи! — кричу я матери.— Замолчи! Ты будешь жалеть, что говоришь мне это...

— Пусть я буду жалеть. Конечно же, я буду жалеть,— продолжает мать уже тише,— но я должна сказать. Ты говоришь «юное даже не в смысле возраста». Но разве ты сама заботишься, чтобы быть такой? Откуда же ты найдешь их, «юных»? Вспомни, за эти пятнадцать лет, что умер папа, тебе даже в голову не пришло пойти учиться. А ведь ты могла бы быть инженером, как Кира. Ты двенадцать лет сидишь в этом сонном бюро и не слышишь меня, когда я предлагаю перейти к нам, где много молодежи, и работа, конечно, будет тоже интереснее... Сделала ли наша, пусть малочисленная, семья за эти пятнадцать лет что-нибудь по твоей инициативе, кроме того, что выкрасила в разные цвета стены твоей комнаты?..

Мать начинает плакать, горько, как плачут в отчаянии, часто оставаясь, а затем, будто вспоминая другую обиду, начиная с новой силой. Как долго и скрытно копила она эти обиды!

— Прости, ма,— говорю я.— Не будем ссориться. Ты права: у тебя действительно плохая дочь.

Раздается звонок. Как не вовремя этот Любин сын! Я открываю и тут же возвращаюсь обратно. Кажется, Юрий Григорьевич чувствует, что был скандал, и частично из-за него. Он молча направляется в мою комнату и сидит там тихо, как мышь. Мать у зеркала приводит себя в порядок и идет к нему. Я сажусь на тахту, дергаю веревочку бра и вдруг представляю себя на месте матери и начинаю прикидывать, какие еще радости ожидают меня в жизни. Потом, словно на страничке личного дела, вижу свои тридцать четыре года, вспоминаю, что всегда желала думать о людях и, чем только могу, помогать им; но на страничке той не нахожу и в этом отношении ничего примечательного. И мне становится горько. Я уверяю себя, что изменюсь, что непременно брошу эту работу, пойду учиться и, может быть, как Кира, стану инженером...

Я слышу, как за стеной мать разговаривает о чем-то с Юрием Григорьевичем. Потом они ставят Лоретти. «По вполне аутентичным сведениям, Лоретти предлагали кастрироваться...» Меня мучит это неприятное слово — даже не лень слазить на шкаф, где лежит словарь иностранных слов. Вот, кажется, здесь.

«Аутбридинг — спаривание животных, принадлежащих к одной породе, но не состоящих в близком родстве между собой».

Это как я и Юрий Григорьевич... Дальше идет искомое:

«Аутентичный — длинный, действительный, верный, основанный на источнике».

Итак, «по вполне верным сведениям, Лоретти предлагали кастрироваться...» Проще надо выражаться, Юрий Григорьевич. Вы же любите простоту.

Я нахожу, что и следующее слово небезынтересно.

«Аутизм», оказывается, — «болезненное состояние, симптом шизофрении, выражающийся в погружении больного в собственные внутренние переживания».

Разве во внутренние переживания погружаются только шизофреники? Смотри, Эмма, у тебя неважные перспективы!

— Юрий Григорьевич, вы забыли ночные туфли! — кричит мать из кухни.

Я смотрю на часы и собираюсь на вокзал. Известие об этом мама встречает с удивлением, а Любин сын, кажется, с радостью. Глядя на него, растерянного и постаревшего, я понимаю, что и «жениху» не по себе. Для чего-то он открывает чемодан, начинает перекладывать вещи. Потом смотрит на часы, говорит: «Ну!..» — и мы ступаемся надевать пальто. Мать прощается суховаты — даже немного неловко. Я же, убедившись, что Юрий Григорьевич действительно уезжает, стала к нему более терпима. Даже появилось чувство, будто он что-то вроде моего старшего брата, который не причиняет неприятностей, а просто живет не так, как мне этого бы хотелось, — вот и вся его нехорошесть.

— ...А я знаю, о чем вы думаете, — говорит Юрий Григорьевич, когда мы выходим на улицу. — Вы думаете о том, что я рано постарел.

Я вижу, что Юрий Григорьевич недоволен собой, и хочу ободрить, сказать «хорошие слова». Но они не получаются у меня.

— Да, вы постарели, Юрий Григорьевич, — говорю я, мысленно проклиная себя. — И дело не в прожитых годах, не в том, что вы польсели и... не играете в волейбол. Вы довольны собой и по-прежнему хотите, чтобы вас любили слепо и преданно. Но за что же?

— Да, я не талант!.. — смеется Юрий Григорьевич и как-то по-хорошему сжимает мою руку. Он все понимает, этот Любин сын, и мне становится неловко за свою театральную тираду.

Нам нечего сказать друг другу на прощанье. Поэтому мы несколько минут смотрим на висящее в вышине светящееся слово «Ленинград», и на наши лица падают снежинки.

— До свидания, Эмма,— говорит Юрий Григорьевич.— Простите, я представлял вас другою и, кажется, так и не смог перестроиться. А Бонапарту верьте. Наверное, это не так плохо — верить в подобную чепуху...

— До свидания, Юрий Григорьевич!

— Спасибо, что обошлись без этого «прощайте»...— Он заранее входит в вагон, боясь, как бы не тронулся поезд.

А я стою в перронной суете и делаю вид, что кто-то там машет и мне и никак не желает отпустить.



---

---

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ГОВОРЯЩИЙ ПРАВДУ

Уже немолод, суетлив, небрит.  
Привстал — сутулится. Бледнеет.

Возражает...

Не видел я, как женщина рожает,  
но как мужчина правду говорит,  
я видел.

Это не было красиво,  
хоть и прекрасно было — оттого,  
что некая естественная сила  
в собрание этом выбрала его.

Понадобился этот сиплый голос  
и свойство — редкое, особое — души,  
чтоб лопнули железные тяжи  
и небо на две тучи расколосось.

Слова ему трудны и речь тесна  
и смыслом взломана...  
А как свежа природа,  
как на изломе празднично светла  
свободы черная работа!

\* \* \*

И ветвь оставила сучок,  
свое прямое продолженье,  
и вбок продолжила движенье.  
Образовался тупичок.

В него не попадает сок,  
избравший непрямое русло,—

и глазу безотчетно грустно,  
что прям сучок, что он высок...

Какие силы изгибают  
стволы, ломают ход ветвей,  
что даже соки избегают  
коротких и прямых путей?

Какой идее крона служит,  
когда, не зная топора,  
так расточительно щедра,  
она свои же ветви сушит?

---

Владимир Леонович родился в 1933 году в Костроме. Работал литсотрудником в газетах Кемеровской области Красноярского края. В «Новом мире» печатается впервые.



---

ПАУЛ МИХНЯ

★

## ЖЕЛУДЬ

*С молдавского*

Он даже и не скрипнул под ногою,  
Когда я — слепо — на него ступил,  
Чуть не упав... Как будто желудь был  
Могучим замком, башней крепостною,  
Гранитной крепостью того ствола,  
Что в нем — еще спеленутой — спала.

Так я сказал себе, его заметив,  
И увидал: просвечивает в нем  
Могучий дуб. Не маленьким ростком,  
А великаном в несколько столетий,  
Обхвата в три... Захватывало дух:  
Тьма желудей — и в каждом брезжил дуб.

Лес бесконечный, без глазка лужайки,  
Шумел и пел у желудя внутри...  
Казалось: желудь — ларчик для утайки  
Грядущего — сам говорил: «Смотри!»,  
Для вечности беспечно созревая,  
О вечности — и не подозревая...

Огромным кладом в крохотном ларце  
Спала себе, не бредя вознесеньем  
(Как дремлет нива в колосе осеннем),  
Слепая вечность в желуде-слепце;  
Так, вечностью слепою не замечен,  
Я видел вечность. Пусть я сам — не вечен.

И ничего таинственного нет;  
Не зряча вечность, а минута зряча.  
И если я лишь миг, — кто больше значит,  
Кто в самом деле вечен наконец:  
Я — миг, бессмертье видящий, ступая  
По вечности, или она — слепая?

*Перевела Новелла Матвеева.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН

★

## НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

1

**Г**ода два тому назад я был в Михайловском и снова — в который раз — порадовался, что окрестная природа сохранилась в неприкосновенности, как будто нарочно, чтобы показать воочию всю вещественность пушкинской поэзии.

В Петровское мне не удалось попасть, и директор заповедника С. С. Гейченко, деятельная любовь которого к Пушкину широко известна, рассказал к случаю, что окрестные колхозники не очень-то жалуют бывшее имение Ганнибалов.

— Почему?

— Да уж так.

— Давно ли?

— А вот с тех пор, когда им там приходилось туго, — сказал, усмехнувшись, Гейченко. — Дурная слава долго живет.

Я подумал, что он шутит: прошло двести лет с тех пор, как крестьянам в Петровском приходилось туго. Но он подкрепил свое мнение примерами не только из психологической, но и хозяйственной жизни района, так что мне осталось только подивиться силе народной памяти, так долго не забывающей ни хорошего, ни дурного.

Это был не единственный случай, заставивший меня задуматься над кажущейся непрочностью событий, на первый взгляд лишь промелькнувших, однако на поверку оставивших глубокий след. В истории советской литературы таких событий много. И хотя они еще нигде не отражены, не записаны, это вовсе не означает, что они забыты или должны быть забыты. Легко себе представить, как терпеливо и тщательно будут когда-нибудь изучены все стороны нашей литературной истории.

Появление в печати все новых воспоминаний — факт не только обусловленный, но и практически необходимый. Еще Герцен писал, что надо «спасти молодое поколение от исторической неблагодарности или даже исторической ошибки... Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивают своих стариков» («Былое и думы»).

Нижеследующие страницы обязаны своим возникновением просьбе «Нового мира»: написать о впечатлениях, связанных с Первым съездом писателей. Но, задумавшись о том, что представлял собой Первый съезд, я невольно стал размышлять и над тем, что же представлял собою я сам, один из делегатов этого съезда.



2

Мне было двадцать четыре года, когда я стал читать лекции на Курсах техники речи в Ленинграде. Многие слушатели были старше меня. Один из них, опоздав на первую лекцию, принял меня за студента, развлекавшего товарищей передразниванием преподавателя, и громко выразил свое неодобрение.

Первая лекция была подготовлена тщательно. Я убедился в этом, найдя ее конспект в своем архиве. В молодости сложность кажется содержательностью — вероятно, поэтому лекция была сложна: «Установка линии Ремизов — Белый, выдвигая на первый план движение чисто словесных масс, диалектически обрисовала противоположный конструктивный принцип фабульной прозы».

Не думаю, что мои слушатели были подготовлены к подобному пониманию стиля. Среди них был, помнится, усатый комендор, только что уволившийся из флота, который на мой вопрос — читал ли он «Мертвые души» — ответил, не задумываясь: «Ну как же, товарищ преподаватель»:

«Тятя, тятя, наши сети  
Притащили мертвеца».

Почти все студенты были начинающими писателями или журналистами, и теперь мне кажется странным, что, едва взяв в руки перо, я пытался учить их литературному искусству. Думаю, что этому искусству вообще нельзя научить. Во всяком случае оно требует внутренней общности между учителем и учеником — той, которая была между Флобером и Мопассаном, — частых встреч, переписки, глубокого взаимного уважения, всматривания в творчество друг друга. Все это редко встречается в литературных вузах, которые играют заметную роль в деле образования, тоже очень важном, но лишь косвенно связанном с работой создателя художественных произведений.

Должно быть, уже и тогда, еще совсем молодым человеком, я догадывался об этом, потому что от души обрадовался, получив предложение перейти в Институт истории искусств. Он помещался на Исаакиевской площади в известном «Зубовском доме».

Мне был поручен семинар по советской прозе. Одновременно Николай Тихонов стал вести подобный же семинар по поэзии. Случалось, что мы с ним устраивали совместные обсуждения, полезные не только для слушателей, но и для нас. На одном из них присутствовал Осип Мандельштам, и обычные занятия вдруг вспыхнули, превратились в спор, запомнившийся, потому что в нем отразились существенные черты тогдашней литературной жизни.

Это было в 1926 году, и Тихонов, недавно отказавшийся от «голой скорости баллады», был под ударами критики, утверждавшей с сожалением, что «золотая цепь его творчества порвалась». Он часто со смехом цитировал эту фразу.

Мог ли он ожидать, что его новая позиция, рельефно сказавшаяся в «Дороге», встретит противника в лице Мандельштама? Гордо закинув голову, полузакрыв глаза, Мандельштам возражал против «бумажной поэзии», против голого смысла, равного кратчайшему расстоянию между двумя точками: «в то время как это расстояние — бесконечность». Это была защита права поэзии на пророчество, на разговор с вечностью.

Я слово позабыл, что я хотел сказать.  
Слепая ласточка в чертог теней вернется...

«Слепые ласточки» то и дело взлетали в его вдохновенной речи.

Жилистый, красный, худой, даже какой-то вогнутый, затянутый по солдатски, Тихонов отстаивал свою позицию уверенно, с глубоким знанием классической и современной поэзии. Он не отрицал колеблющегося, идущего на ощупь поэтического слова, но предпочитал меткость, отчетливость развертывающейся мысли, не нуждающейся в изысканности отгадок.

Они схватились друг с другом перед студентами, впрочем, не находившими ничего исключительного в этом споре. Свидетелями подобных схваток они бывали не раз...

Принимаясь за эту статью, я со странным чувством перелистал толстую школьную тетрадь, содержащую заметки о работе моего семинара. Студенты читали рефераты, посвященные только что появившимся книгам Горького («Мои университеты»), Эренбурга («Лето двадцать пятого года»), А. Толстого («Хождение по мукам»), Олеси («Зависть»), Тынянова («Кюхля»), Шкловского («Третья фабрика»), Форш («Современники»), Катаева («Растратчики»), Федина («Братья»), Леонова («Вор»). Обсуждались и произведения ныне незаслуженно забытых Константина Вагинова и Леонида Добычина — писателей оригинальных, страстно отрицавших — каждый по-своему — стихию мещанства.

Школа, позиция — вот что занимало всех. Принадлежность к направлению не только отчетливо ощущалась, но была невидимым центром множества важных и второстепенных факторов, из которых складывалась литературная жизнь.

Занятия продолжались около четырех лет (1925—1929), и редкий доклад обходился без попытки наметить эти направления и оценить их перспективную роль.

В докладах об Андрее Белом определялось понятие «орнаментализма» как принципа, выдвигающего на первый план проблему стиля: из стиля вырастают герои, стиль преобразует материал, стиль, приобретая самодовлеющее значение, ведет к фабульной неподвижности, к статике сюжета. Влияние ритмической прозы Андрея Белого на творчество Пильняка, Иванова, Замятина было предметом горячих споров.

Что такое «авторское я» — названное и неназванное? Я попросил Юрия Тынянова выступить на одном из заседаний семинара, и он прочел лекцию, которая остро запомнилась мне, может быть, потому, что это была импровизация, развернувшаяся свободно и стройно. Он думал, что в наше время каждая книга становится шагом, поступком, а отсутствие поступка неизбежно приводит к отсутствию книги. Речевая интонация смещается в прозе, но продолжает упорно стремиться к воспроизведению живой, разговорной речи. В дальнейшем развитии интонация связывается с жестом, а жест подсказывает лицо, персонаж, характер. (Впоследствии я не раз был свидетелем практического воплощения этой мысли: работая, Ю. Тынянов «превращался» в Кюхельбекера, Булгарина, Грибоедова и даже Нессельроде.) Как ни далека художественная проза от устной речи с ее бесчисленными оттенками интонаций, все равно в конечном счете каждая книга становится «говорящим лицом», то есть обращена к читателю как речь, и требует отклика, ответа. Личность писателя, его судьба интересна и важна для читателя, как важна судьба собеседника, современника.

Что касается Козьмы Пруtkова или конан-дойлевского бригадира Жерара, то придуманная литературная личность является как бы моделью подлинной, подобно модели в экспериментальной физиологии. Первоначально Козьма Прутков воспринимался как пародия. Разносторонность жанров, в которых он выступал, придала этой пародии реальные черты — отвагу поучительности, невозможность увидеть себя

со стороны и другие признаки реального существования вплоть до портрета.

Мы думали, что лекция кончена, тем более что и звонок уже давно прозвенел, когда Тынянов заговорил о Горьком как писателе, личность которого сама по себе — литературное явление.

В ту пору появились «Мои университеты» — книга новая по форме, разбившая традиционное представление о замкнутом мемуарном жанре, и он быстро, острыми штрихами дал ее теоретический контур. Это — «вещь на границе», сильная независимостью от самого понятия жанра — черта, которая, в сущности, всегда была характерна для русской литературы. Кажущаяся внелитературность, мимолетность придает запискам Горького свежесть новизны. Это — предсказывающая, заглянувшая в будущее книга.

3

Может быть, стоило бы подробнее рассказать о наших занятиях, но едва ли возможно в границах этих заметок очертить круг вопросов, которыми мы тогда занимались. Здесь и проза поэтов (Белого, Сологуба, Пастернака), и проблема исторического романа, и классические традиции в современной прозе. Рассказать о занятиях семинара трудно еще и потому, что мы пользовались сложной терминологией, которую в наше время пришлось бы, пожалуй, расшифровывать, как письменность забытого языка. К литературе мы относились как к предмету науки, и мысль о вдохновении, внезапности, восторге открытия, вероятно, показалась бы на наших занятиях странной или банальной. Эталоном было не вдохновение, а постижение. Но в глубине этого постижения всегда была идея поступательного процесса. Вот откуда эти постоянные упреки в застое, кризисе, самоповторении, звучавшие почти в каждом докладе и кажущиеся теперь забавными, потому что они относились к быстро развивавшейся литературе. «Кризис сюжетной прозы», «Падение семейного романа», «Стилизация как принцип отношения к слову» — строгие, беспощадные оценки встречались на каждом шагу.

Да, мы были требовательными молодыми людьми, изучавшими литературу самозабвенно, неустанно, свято! Наука лежала рядом с литературой, а иногда и переплеталась с нею. Многие мои слушатели, так же как и я, писали повести, пьесы, романы. Переход от науки к литературе был хотя и не прост, но возможен и соблазнителен, потому что хорошо подготовлен — теоретическим изучением, да и общим образованием. Об этом хорошо написала в своих воспоминаниях о Юрии Тынянове его ученица Л. Я. Гинзбург: «Все студенты литературного факультета Института истории искусств писали стихи (некоторые и прозу, но это было менее обязательно). Нам казалось, что это естественно, и даже казалось, что историк литературы, изучающий стихи, должен иметь практическое понятие о том, как это делается. Нам казался тогда нормальным путь от литературы (хотя бы от неудавшихся опытов) к истории литературы или, наоборот, из истории литературы — к литературе... Среди сочинявшихся от случая к случаю куплетов студенческой песни был и такой:

И вот крадется, словно тать,  
Сквозь ленинградские туманы  
Писатель лекцию читать,  
Профессор Т.— писать романы».

Была и другая черта, важная для понимания того, что происходило в те годы в советском искусстве: охват всей картины в целом. Любо-

пытно, что дар предвидения участвовал в этом охвате. В конспекте одного доклада я встретил стройную систему доказательств, что на мировой литературной магистрали в ближайшее десятилетие окажется социальная фантастика, а в другом — доказательство, что литературу отраженной действительности заменит невыдуманная литература документа, факта.

Не думаю, что мы ясно видели всю картину современной литературы. Мы видели ее с пустотами, заполненными воображением, — с пустотами в тех местах, где чувствовалась необходимость новых жанров. «Литература — это то место, на котором ты стоишь, утверждая, что именно оно-то и является литературой, — сказал мне Виктор Шкловский, заглянувший случайно на одно из занятий нашего семинара. И добавил, подумав: — А интересно все-таки, какие из вас вырастут баобабы?»

Направление, школа, законы, самим писателем «над собою признанные» (Пушкин), — вот что интересовало всех.

## 4

Не могу вспомнить, было ли это весной или осенью 1929 года. Представители РАППа приехали в Ленинград и пригласили «попутчиков», как мы тогда назывались, в «Европейскую» гостиницу, где остановился Леопольд Авербах.

Я видел его в Москве месяца за три до этой встречи и удивился перемене, замеченной не только мною. Он был маленького роста, в очках, крепенький, лысый, уверенный, ежеминутно действующий — трудно было представить его в неподвижности, в размышлениях, в покое. И сейчас, приехав в Ленинград, чтобы встретиться с писателями, которые существовали вне сферы его активности, он сразу же начал действовать, устраивать, выполнять. Но теперь к его неутомимости присоединился почти неуловимый оттенок повелительности — точно существование «вне сферы» настоятельно требовало его вмешательства, без которого наша жизнь в литературе не могла обойтись.

В номере были М. Зощенко, Вяч. Шишков, Н. Никитин, М. Козаков и, кажется, М. Слонимский. Потом я узнал, что с Ю. Тыняновым говорили отдельно.

Зачем же пригласил нас генеральный секретарь РАППа? Он был не один, и первым выступил Ю. Либединский — неопределенно, но дружелюбно. Все же стало ясно, что встреча устроена для «завязывания связей», как тогда полуграмотно выражались. Козаков горячо заговорил о необходимости ленинградской литературной газеты, и это как будто легло в «завязывание», хотя и не очень. Потом Шишков заговорил о крайностях «сплошной» коллективизации. Это, естественно, «не легло», хотя и было встречено снисходительно, как будто Шишков был не многоопытный пожилой писатель, в прошлом инженер-мелиоратор, исходивший и изъездивший всю страну вдоль и поперек, а запальчивый шестнадцатилетний мальчик.

Как в пьесах Чехова, каждый говорил о своем, но почти никто — я впервые наблюдал это в кругу писателей — о самой литературе.

Потом выступил Авербах, который и прежде бросал реплики, направляя разговор, не всегда попадавший на предназначенный, по-видимому, предварительно обсуждавшийся путь. Сразу почувствовалось, что он взял слово надолго. Я не запомнил его речи, хотя он говорил энергично, связно, с настоятельной интонацией убежденного человека. Ее и невозможно было запомнить — она состояла из соединения пустот, заполненных мнимыми понятиями, которым он старался придать весо-

мость. Но впечатление, которое произвела на меня его речь, я помню отчетливо, без сомнения по той причине, что это было совершенно новое впечатление. Новое заключалось в том, что для меня литература была одно, а для Авербаха — совершенно другое. С моей литературой ничего нельзя было сделать, она существовала до моего появления и будет существовать после моей смерти. Для меня она, как целое, — необъятна, необходима и, так же как жизнь, не существовать не может. А для Авербаха она была целое, с которым можно и нужно что-то сделать, и он приглашал нас сделать то, что он собирался, вместе с ним и под его руководством. Прежде всего необходимо было, по его мнению, откозаться от лефовской идеи, что писатель — это кустарь, далекий по своей природе от коллективного содружественного гурда. Общность формально-художественных взглядов этого кустаря с другими превращает писательские группировки в замкнутые интимные кружки, сказал он. А это не помогает, а напротив — мешает развитию литературы. Последыши литературной богемы упорно держатся за разнообразные и взаимно-противоречивые взгляды. Опыт РАППа неопровержимо доказывает, что будущее принадлежит именно этой особой литературной школе, не исключаящей, впрочем, оттенков творческой мысли.

Он говорил, приподнимаясь на цыпочки, поблескивая очками, и я вспомнил Селихова из бунинской «Чаши жизни»: «Самолюбивый, как все маленькие ростом».

Такова была критическая часть его речи. Но была и положительная. Когда различно думающие и различно настроенные литераторы соединятся под руководством РАППа, литература быстро придет к неслыханному расцвету.

— Нам нужны Шекспиров, — твердо сказал он, — и они будут у нас.

Как и полагалось генеральному секретарю РАППа, Авербах замахнулся широко. Его соратники были скромнее.

— Мы хотим писать, как Федин, — сказал один из них на большом литературном собрании. — И мы будем писать не хуже, чем он.

Не стал бы я вспоминать эту встречу, кстати сказать, особенно тягостную для меня, потому что она совпала с первыми моими попытками отказать от комнатности, книжности, замкнутости. Но это необходимо, потому что теперь, почти через сорок лет, я вижу в ней черты тех явлений, которые впоследствии сказались в нашей литературной жизни. Знаменитая формула «незаменимых нет» позже стала повторяться на газетных страницах, но впервые — в несколько иной форме — я услышал ее в речи Авербаха. Он не называл имен — кроме Маяковского. Но личность писателя, его «лицо» — он отзывался об этом понятии с каким-то необъяснимым, но как бы само собой подразумевающимся пренебрежением. О, как теперь стало ясно нам, что незаменимые есть, что неповторимость гения, тайна его несходства — это гордость страны, ее счастье!

Другое явление, тоже получившее билет дальнего следования, можно назвать ожиданием чуда. Литературные течения не нужны, вредны, их на основе опыта РАППа следует заменить «единой творческой школой», и тогда появятся — не могут не появиться — Шекспиров. Эта черта была перенесена впоследствии в лингвистику, в медицину, в физиологию. Т. Лысенко позаботился о том, чтобы в биологии она получила поистине фантастическое развитие. Открытия, едва ли пригодные даже для посредственного научно-фантастического романа, становились Законом с большой буквы, символом веры, который предлагалось принять без сомнений, без колебаний.

Третья черта, в особенности поразившая меня, касалась поведения самого Авербаха, добивавшегося власти в литературе. Он вел себя так,

как будто у него, посредственного литератора, автора торопливых статей, написанных плоским языком, была над нами какая-то власть.

Надо ли доказывать, что подлинная власть в литературе — власть над духовным миром читателя — возникает лишь в тех редких случаях, когда на мировой сцене, соединяющей исключительность и повседневность, появляется Гуров, впервые замечающий на ялтинской набережной даму с собачкой, или Левин, который в измятой рубашке мечется по номеру перед венчанием с Кити?

Отвратительное ощущение вмешательства, скрытой угрозы и, главное, невысказанного права на эту угрозу окрасило вечер «завязывания связей», проведенный, как уверяли, любезно прощаясь, хозяева, с большой пользой для дела.

Вышли вместе, но на углу Невского расстались, и я пошел провожать Зощенко, который жил на улице Чайковского. Он хорошо выглядел, что с ним случалось редко, был в новом модном пальто и в пушистой кепке с большим козырьком — он любил пофрантить. Было поздно, но вечернее гулянье по Невскому еще не кончилось. Его узнавали, провожали взглядами — он был тогда в расцвете славы и очень любим. У Авербаха он не проронил ни слова и теперь, когда я заговорил о встрече, неохотно поддержал разговор.

— Это антинародно,— сказал он.— Конечно, все можно навязать, но все-таки, я думаю, не удастся. Это все-таки сложно с такой литературой, как наша. А может быть, и удастся, потому что энергия адская. К ней бы еще и талант! Но таланта нет, и отсюда все качества.

Я сказал, что был поражен обидной снисходительностью, с которой Авербах говорил о Маяковском.

— Ну-с, а с Владимиром Владимировичем плохо,— сказал Зощенко.

— То есть?

Он сложил в виде револьвера и приставил к виску свою смуглую маленькую руку.

## 5

Впервые я увидел Маяковского в Москве в «Кафе поэтов», когда, случайно заглянув на вечер «Искусство или агитация», он прочел свои «150 000 000».

Все было неожиданно в нем. И то, что он нарочно перепутал Когана и Айхенвальда, сидевших друг против друга на эстраде и споривших о назначении литературы. И его голос, и рост. И обманчивая непроницаемость. И меткость его остроумия. И его погруженность в поэзию — легко было догадаться, как много он думает и говорит о ней. И отчетливое ощущение, что его стихи должны быть произнесены, что без голоса, без произношения они в какой-то мере будут напоминать нотные знаки. И боязнь непонимания, которое он переносил тогда еще терпеливо.

Это первое острое впечатление неизменно подтверждалось впоследствии. Так, зимой 1921 года я случайно встретился с ним у Виктора Шкловского в Доме искусств. Помню, что он был с Л. Ю. Брик — неторопливой, с нежным овальным лицом, точно сошедшей со старинного портрета. Я боялся и ее и Маяковского, однако не сводил с них глаз и старался не проронить ни слова.

Заговорили о стихах — точно начали с полуслова. Это был, без сомнения, почти не прекращавшийся разговор, который Маяковский вел, в сущности, всю свою жизнь.

Все поэты двадцатых годов писали о поэзии, но никто не писал так много, так беспокойно и страстно, как он,— быть может, и частица раз-

говора, который я услышал (спорили до хрипоты об ассонансах), нашла в стихах Маяковского прямой или косвенный отблеск.

Не стану приводить цитаты, давно омертвевшие от неумеренного употребления. Напомню, что и «Владимир Маяковский», и «Флейта-позвоночник», и «Человек» написаны о поэзии и проникнуты изумлением перед неисчерпаемостью этой темы.

Я редко пропускал вечера Маяковского и всякий раз вглядывался в него с волнением. Все было пронизано ощущением новизны в те годы, но он еще и защищал эту новизну, рыцарски ручаясь за её благородство.

Мне хотелось поговорить с ним. Мешала застенчивость, но однажды я все-таки решился.

Вернувшись из Америки, он приехал в Ленинград и выступил в филармонии с докладом о своей поездке. В перерыве я осторожно прошел мимо администратора, не сомневаясь в том, что толпа слушателей ринулась к Маяковскому, едва он сошел с эстрады. Толпы не было. Между горками сложенных пюпитров, насвистывая «Чижика», мрачно шагал Маяковский. Отступив за колонну, я с бьющимся сердцем долго смотрел на него. Мне удавалось преодолевать застенчивость, если в этом была острая, настоятельная необходимость. Тогда точно что-то переставлялось в душе, и я становился не то что застенчив, а едва ли не дерзок. Но другое чувство приковало меня к месту в эту минуту. Я был поражен одиночеством Маяковского, его полной закрытостью, в которой чувствовалось лихорадочное возбуждение. Невозможно было узнать в нем уверенно державшегося знаменитого человека, который только что в ответ на глупый вопрос какой-то девушки, не понявшей его иронического замечания, ответил: «К сожалению, человеческая речь не имсет кавычек. Разве вот так?» — и, подняв руки, согнутые в локтях, он показал кавычки. Я так и не подошел к нему.

Кажется, это было зимой двадцать седьмого года, когда Маяковский приехал в Ленинград и пригласил к себе в «Европейскую» Ю. Н. Тынянова. На другой день Юрий Николаевич рассказал мне об этой встрече.

На столе стояла ваза с крушоном. Маяковский расхаживал из угла в угол, был непривычно весел, изящен при всей своей огромности, остроумен и мил. Подавая Тынянову пальто, он сказал: «Извините привычку старого дворянина». Речь шла о ближайшем участии автора «Кюхли» — романа, который нравился Маяковскому — в «Новом Лефе». Участие состоялось, а ближайшее — нет. «Литература факта» с ее отрицанием искусства была не с руки Тынянову, который только что перешел от науки к художественной прозе. К факту как таковому и даже документированному факту у него никогда не было ни малейшего уважения. Его интересовал знак историзма, превращавший факт в явление, а явление — в литературный факт.

В последний раз я встретил Маяковского у Тихонова осенью двадцать восьмого года. Это было после какого-то публичного диспута, кажется, в Институте истории искусств. Среди гостей мне запомнился Константин Вагинов, по-своему повторивший Мандельштама и написавший о себе:

Да, я поэт трагической забавы.  
А все же жизнь смертельно хороша.

Трудно представить себе что-нибудь более далекое от Маяковского, чем поэзия Вагинова, похожая на грустный, ночной разговор с самим собой, прерывающийся воспоминаниями о прочитанном и пережитом. Да и сам он — маленький, с печатью недолговечности в грустных гла-





когда, прощаясь (мы наконец нашли извозчика, дремавшего на козлах где-то на углу Пушкинской), Маяковский пожал мою руку и сказал:

— Не сердитесь на меня, я еще буду читать ваши книги.

Повторяя здесь некоторые эпизоды из моих прежде опубликованных воспоминаний о Маяковском, я дополнил их новыми в надежде, что они окажутся не лишними для нашей литературной истории.

6

Предшествующие и сопутствующие обстоятельства смерти Маяковского изучены с достаточной полнотой — не стану к ним возвращаться. Самоубийство — всегда тайна, и попытки разгадать ее почти неизбежно обречены на неудачу. Отмечу лишь, что, может быть, самая страшная по своей беззвучной выразительности сцена рассказана Игорем Ильинским в его воспоминаниях. Последний раз он видел Маяковского после провала «Бани» в театре Мейерхольда: «Он стоял в тамбуре вестибюля один и пропустил всю публику, выходящую из театра, прямо смотря в глаза каждому проходящему. Таким остался он у меня в памяти».

Когда случилось несчастье, Зощенко напомнил мне о своем предсказании, которому я не придал никакого значения. Антокольский через несколько дней после похорон написал мне письмо, в котором была попытка взглянуться в мертвое лицо поэта.

Никто из друзей не мог — да и не пытался — вообразить всю огромность причин, заставивших Маяковского решиться на этот шаг. Но, оценивая всю несправедливость гибели в тридцать шесть лет, все говорили о той лежавшей рядом причине, которую невозможно было скинуть со счета.

На днях я перелистал трехлетний комплект журнала «На литературном посту» (1928—1930). В наше время — это изысканное по остроте и изумляющее чтение. Все дышит угрозой. Литература срезается, как по дуге, внутри которой утверждается и превозносится другая, мнимая, рапповская литература. Одни заняты лепкой врагов, другие — оглаживанием друзей. Но вчерашний друг мгновенно превращается в смертельного врага, если он переступает волшебную дугу, границы которой по временам стираются и снова нарезаются с новыми доказательствами ее непреложности.

Журнал пропит ненавистью. Другая незримо сцепляющая сила — зависть, особенно страшная потому, что в ней не признаются, ее, напротив, с горячностью осуждают. Множество имен, мелькнувших, едва запомнившихся, ныне прочно забытых, — эти пригодились для макета литературы. Над другими производится следствие и выносятся приговоры. Осуждается Блок — за «отсутствие осознанной связи с коллективом» (И. Гроссман-Рошин). Среди подозреваемых, обманувших надежды, не заслуживающих доверия — Маяковский.

В фантастическом театре Евгения Шварца Тень не может простить человеку, что она была его тенью. Она рвется к власти. Не только потому, что возможность захвата открыта перед ней — стоит только подписать два-три приказа. Нет, Тень доказывает, что этот захват разумен, логически обоснован. В самом деле, разве она не выше человека? Она может «тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время, — способен он на такую гибкость?». Она умеет «лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняют ей ни малейшего вреда, — а он мог бы так приспособиться к местности?». Вот почему Тень требует, чтобы человек лежал у ее ног. Но жизнь сложнее, чем это кажется Тени с ее двухмерным мышлением, с ее чувствами, распластанными на плоскости. Когда человека приговаривают к смерти и казнят

за то, что он остается самим собой,— голова слетает с плеч и у Его Величества Тени.

Читая «На литературном посту», я спрашивал себя: откуда взялась эта подозрительность, эта горячность? Чем была воодушевлена эта опасная игра с нашей литературой, у которой новизна была в крови, которая была психологически связана с революцией и развивалась верью и быстро? От возможности захвата власти, от головокружительного соблазна, о котором, впрочем, говорится на страницах журнала с деловой последовательностью, что теперь кажется немного смешным.

Не раз случалось мне встречать людей тонких, глубоко понимающих искусство, которые отрицали значение Маяковского для нашей литературы. Одни сердились за то, что его поэзию надо объяснять, другие утверждали, что его монологический стиль однообразен. Более того, я знаю глубоких поэтов, решительно отказывающихся признать его стиховые открытия.

Помню, как однажды за праздничным столом мой друг Д. Н. Журавлев упомянул, что он включил в программу своих чтений Маяковского, и вспыхнул спор — очень пылкий, хотя его участником был более чем сдержанный Н. А. Заболоцкий. Он не отрицал значения Маяковского, но ему была чужда поэзия, рассчитанная на резонанс и властно требующая голоса, произнесения. Журавлев горячо возражал ему, а я молчал, думая о том, что в молодости Заболоцкий многому научился у Маяковского и что оба поэта близки к Державину с его высоким одическим строем.

Вокруг его имени и в наши дни часто вспыхивает спор. Это очень хорошо, потому что он и был человеком литературного спора. Но напостовцы судили и приговаривали его не за угловатость, не за сложность, а за то, что революционная тема его поэзии была бесконечно глубже и искреннее тематических предписаний, согласно которым торопливо строилась рапповская литература.

Предсмертное письмо Маяковского полно горечи.

В картине его последних месяцев и дней многое заставляет негодовать, возмущаться. Не странно ли — по поводу событий, происшедших тридцать пять лет тому назад и, казалось бы, давно отступивших перед другими, не менее трагическими, окрасившими нашу литературную жизнь? Но это волнение не придуманное, естественное. «В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые» (Гоголь).

## 7

В ту пору я бывал в доме Николая Александровича Морозова, известного народовольца и последнего русского помещика, как он, смеясь, говорил о себе. Из уважения к его заслугам советское правительство оставило ему наследственное имение Борок в Ярославской области. Ученый, отрицавший подлинность древнего мира, перестроивший по-своему историю человечества, он двадцать четыре года провел в Шлиссельбургской крепости (а всего в заключении около двадцати девяти). Едва ли не каждый день он уверял Веру Фигнер и других соратников по «Народной воле», что они (и он) будут освобождены завтра, а когда это наконец произошло, сказал с торжеством: «Ну-с, так кто же оказался прав?»

И крупно прожитая жизнь, и естественность его доброты, и спокойная непреклонность, руководившая им, когда он был членом террористической группы «Свобода или смерть», весь внутренний мир его друзей и знакомых — особая тема. Сейчас о другом.

Николая Александровича нельзя было назвать чудачком. Его из ряда вон выходящие идеи были связаны между собой в иррациональной, но по-своему логической конструкции. Они естественно соединялись с его детскими глазами, с его седой бородкой, бесшумной походкой, с неизгладимыми чертами тюремного одиночества, со всем его обликом мечтателя, упряма и истинного революционера. Но в его доме бывали и настоящие чудачки. Один из них всю жизнь рисовал закаты и однажды показал свою коллекцию Николаю Александровичу и мне, оказавшемуся в этот вечер у Морозовых. Не помню, какую цель преследовал художник. Уж не предсказывал ли он согласно народным приметам погоду ближайшего дня по виду заката? Мы дружно удивлялись проворству, с которым он успевал запечатлеть краски неба при скрывающемся солнце. Некоторые этюды, напомнившие нам о возникновении мифов, привели в восторг автора «Откровения в грозе и буре». Но вот художник объяснил, что по причине быстроты, с которой меняется натура, он придумал остроумный способ не писать, а составлять этюды — и стал энергично расстегивать ремешок, которым были затянuty куски вечернего, заранее раскрашенного горизонта. Николай Александрович помрачнел.

— Э, нет,— сказал он сурово.— Что вы там составили, этого мы смотреть не будем, а лучше пойдём-ка пить чай. Если бы вы хоть краешком прикоснулись к истинной живописи — вы бы ничего составлять не стали. А если вы составляете или даже только пришли к подобной идее — следовательно, и не коснулись.

Аппликация — почтенное занятие. Некогда им увлекались одинокие женщины, главным образом в провинции и в девятнадцатом веке. Теперь оно перебралось в мастерские профессиональных художников и, кажется, занимает там почтенное место. Но в литературе оно всегда казалось мне бесполезной тратой времени и сил. Между тем иные из тех, кто в журнале «На литературном посту» неоднократно рекомендовался как «будущие гегемоны», занимались именно аппликацией.

Знали ли авторы многочисленных очерков и рассказов, посвященных новой деревне, о глубоком переломе векового крестьянского уклада, который задел миллионы судеб, о размахе строительства, устремившегося к нетронутым богатствам нашей страны? Без сомнения. Но писали они об этом с той мнимой определенностью, которая была сродни полной неразличимости, и понять по этим произведениям, что происходит в Советском Союзе, было почти невозможно.

Впрочем, я откликнулся на приглашение моего товарища из Харьковского института рационализации управления поехать на Днепрострой вовсе не потому, что нескромно оценил собственные силы. Я просто чувствовал необходимость посмотреть на всю эту бурю перемен собственными глазами. Только что был вчерне закончен роман «Художник неизвестен». Я понимал необходимость вторжения повседневности в эту книгу, да и в другие, давно задуманные, но отложенные, потому что у меня не было уверенности, что, принимаясь за них, я найду новое в собственной работе.

Из записных книжек поездки на Днепрострой в 1930 году у меня сохранилась только одна. Очевидно, ирония по поводу произведений, прочитанных накануне отъезда, заранее определила жанр, потому что первая ее страница открывается фразой: «Начать с пародии на производственный, фальшиво-патетический очерк». Но в разгаре записей, вслед за попыткой «представить себе, что я собираю материал для исторического романа о тридцатых годах двадцатого века», идут размышления, отразившие остроту увиденного мною уже в первые дни.

Поезд еще в Ленинграде был набит до отказа. За двое или трое суток до Александровска он стал напоминать поезда времен гражданской войны своей спрессованностью, своим висевшим в воздухе ощущением неведомой судьбы, опасно зависящей от станции назначения.

Кого только не было в нашем вагоне! «Вся Россия с места спрунулась», — сказал мне старый мужик, приехавший откуда-то из Забайкалья, чтобы проведать сына, и не нашедший его в Ленинграде.

— Кто ж его знает? Он теперь большой человек. Может, адрес напутали или уехал куда.

Два брата, лежавшие под углом друг к другу на второй и багажной полках, сцепились, едва тронулся поезд.

— Э, брось-ка агитировать! Нас житным кормят, а ленинградские небось белый жрут.

Едва останавливался поезд, парень в красной сатиновой рубашке вылетал на станцию, чтобы попробовать воду. «Горная, легкая», — говорил он, возвращаясь с кружкой и предлагая соседям отведать. Или: «Душная, лесная». Вдруг он ввязался в спор между братьями и стал страстно доказывать, что агрономия нужна, необходимо нужна, и что механизация без агрономии угробит сельское хозяйство в два, много в три года.

Какой-то странный человек в поддевке, несмотря на жару, рассказал, неприятно посмеиваясь, как поповские дети заставили отца расстричься:

— Житья ему не давали. Вплоть до угрозы, что покончат с собой. Что делать? Пошел поп к секретарю ячейки. «Помогите», говорит. Секретарь посмеялся: «Не по моей епархии, батя». Поп согласился расстричься. «Но после рождества. Доходное время». И верно, после рождества — собрание в клубе. Все село пришло. «Есть ли бог?» — «Нету». И пошел честить. А на другой день удавился.

Каждый говорил о своем. Но о чем бы и кто бы ни говорил, за любым словом возникало и наплывало новое, настоятельно и беспокоящее требовавшее ответа. Как будто жизнь всей страны была взброшена вверх и, позволяя лишь мельком увидеть себя, опускалась, чтобы устроиться в каком-то еще неизвестном порядке.

Об этом-то порядке с горячностью, от которой у меня кругом пошла голова, сразу же заговорил встретивший меня в Харькове мой старый товарищ А. Р. — ученый-психолог, сотрудник Харьковского института рационализации управления.

Мне всегда казалось, что поэтическое отношение к действительности полно здравого смысла и ведет к обозримой цели. Таков был А. Р. Мы дружили с гимназических лет. Человек неистовой, воинствующей доброты, он никогда и ни во что не ставил собственное благополучие. В прошлом левый эсер, он увлекся в начале тридцатых годов социалистической реконструкцией управления. Будущее показало, что он не преувеличивал значимости этой идеи. Занимаясь экспериментальным изучением способностей человека, он умел перекидывать мост от опыта к самому отдаленному его воплощению. Со слезами восторга показывал он мне красные флажки ИРУ — знак учета на первых комбайнах, убивавших пшеницу в совхозе «Гигант». Впоследствии Институт рационализации управления был закрыт — не знаю, по каким причинам.

Как добрый, но требовательный хозяин, он принялся показывать мне все, что открывалось перед нами — сперва в дороге, а потом на Днепрострое. Он и в самом деле видел больше, чем я, если не считать, что подчас мы оба не видели за деревьями леса. Но он еще и считал

своим долгом обратить мое внимание на все, что казалось ему существенным по своей новизне,— и моя записная книжка запестрела заметками, черновыми набросками, всем торопливым инвентарем наблюдений.

Я впервые попал на большое строительство, и с первого взгляда его кипящая, развертывающаяся панорама напомнила мне мейерхольдовский театр — путаница подмостков над почти нетронутой, но как бы испуганной рекой и прощупывающаяся конструкция будущей плотины. Но сходство мигом исчезло, когда мы поднялись на эту конструкцию и оказались в глубине театра, под длинными лапами подъемных кранов, среди наплывов дыма, в котором показывались женщины в платочках и грубых сапогах и полуголые, взмахивающие кирками мужчины.

На Днепрострое много говорили о том, что проект плотины впервые был предложен полтора столетия назад, едва ли не Иваном Ползуновым, и весил со всеми объяснительными записками около пятисот пудов. Об этом с гордостью и презрением рассказал мне кривоногий крановщик, перебравшийся на Днепрострой со Сталинградского Тракторного после того, как он увидел первые прошедшие испытания тракторы.

— И здесь буду работать, пока не закончим,— сказал он.— А после еще куда-нибудь. Теперь такая жизнь еще долго будет, лет сто. А писать трудно?

— Трудно.

— И я бы писал, кабы семилетку кончил.

Ночью мы отправились на дно среднего протока, где под светом прожекторов все синее казалось голубым, а все голубое — серым и где шла такая же не прекращающаяся ни на минуту громоподобная, трещащая работа.

О ней-то я и думал все свои недолгие дни на Днепрострое. Именно она окрашивала новизну во все цвета творческой осознанности, пылкости и воли. Она на глазах приобретала опыт. Стремительный поворот от проекта, пролежавшего десятилетия в пыли канцелярий, к его пульсирующему воплощению был только началом. И прав был крановщик, сказавший, что такая жизнь лет на сто.

О том, как труден был этот поворот, каких он стоил жертв и усилий, я думал и потом, когда мы с А. Р. поехали по совхозам.

9

Может быть, нескромно упоминать о своих книгах, изданных много лет тому назад и не привлечших запомнившегося признания. Но невозможно обойти некоторые из них, рассказывая о своей многолетней работе: для меня они были свидетельством поворота, формулой перехода. К ним относится «Пролог» — книга, которую я написал, вернувшись из совхозов.

Хлебниковский эпиграф к ней был взят не случайно: «О, сами приникните трепетным ухом к матери сырой земле! Не передоверяйте никому: может быть стар, может быть глух, может быть враг, может быть раб».

Этот отказ от «передоверия» должен был служить порукой подлинности того, о чем я рассказал. Однако книга была не только осуждена, но даже, что случалось редко, высмеяна в карикатурах. Я удивился. Более того, был глубоко огорчен.

Для меня эта поездка была двойным открытием: открытием людей, невесело, но решительно распахивающих тракторами кладбища, на которых лежали их отцы и деды,— и собственной возможности писать об этих людях. Я стремился отказаться от «литературности», в которой

меня справедливо упрекали. Быть может, поэтому я ничего не написал о Хлебникове в этой книге, проникнутой духом его внимания и небоязни.

Между тем он стоял перед моими глазами весь жаркий конец лета, который мы провели в «Гиганте» и в будущем Зернограде.

Я видел его бредущим по сероватой, ровной, как бы припудренной степи, на которой то и дело встречались каменные бабы, добрые, с большими отвислыми грудями и тонким сохранившимся пунктиром украшений на выщербленных шеях. Кто, если не он с его бескорыстием, с его страстью к математическому пророчеству, нашел бы свое место в любом таборе — так назывался в ту пору в «Гиганте» совхозный участок. Ему не пришлось бы привыкать к походному образу жизни, к тесным, полутемным фургонам, в которых жили рабочие, — ведь он считал, что человечество должно жить в комнатах,двигающихся непрерывно. Как и они, он ходил бы в соломенной пастушеской шляпе, без рубахи, босой. Поэт, зорко и пристально заглянувший в древнюю Русь, он, может быть, нашел бы исконные черты в этом новом кочевье.

Я еще не знал, буду ли я писать о том, что увидел в те дни, но, спасаясь от жары под фургонами, я перелистывал совхозную газету «Трактор», заносил на карточки (они сохранились) все, что поражало меня своей новизной, начиная с известия о том, что американцы, работающие в «Гиганте», вызывают на соревнование своих соотечественников — инструкторов по комбайнам, и кончая новой пословицей: «Годи робыть худобой — сидлай трактора».

Никто не правил корректуру в этой газете, знаки препинания встречались редко, зато повторения — на каждом шагу. Кавычки отсутствовали, за газетными шаблонами внезапно угадывалась живая интонация редактора украинца. Учетчик жаловался, что в посевах встречается много волков, которых приходится гонять, вместо того чтобы заниматься учетом. В шахматном матче между совхозными чемпионами партия откладывалась до первого дождливого дня.

На хуторе, носившем странное название «Злодейский», А. Р. познакомил меня с итальянцем, механиком Джино, отрекомендовав его как воплощение холодного, но трезвого отношения иностранного специалиста к Советскому Союзу. Ночью этот трезвый иностранец, мертвецки пьяный, вполз ко мне в палатку на четвереньках, страстно шепча, что «он — никто, кроме мещанин и жалкий буржуа есть». Я не очень удивился неожиданному признанию. Удивительно было, что Джино удалось обойти сухой закон, соблюдавшийся в «Гиганте» довольно строго. Впрочем, он нарушался, когда бабы из окрестных деревень слетались в хутора к очередной получке.

## 10

В живописи известно художественное исследование, приучающее глаз к бесчисленному количеству оттенков. Яйцо на белой скатерти требует пристального всматривания — одни видят фиолетовую, другие синюю тень. Так пишет — белое на белом — Владимир Григорьевич Вейсберг, один из группы молодых — впрочем, уже не очень молодых — мастеров, весной показавших свои работы в выставочном зале на Ленинских горах.

Я подумал об этих опытах, наткнувшись в записной книжке на подчеркнутую строку: «Новое на новом». Она требует пояснений.

Летом тридцатого года А. Р. работал в Магнитогорске, в экспериментальной лаборатории, связанной — не помню как и почему — с Харьковским ИРУ. Триста девочек и мальчиков (среди них было много еврейских детей) приехали в Магнитогорск, чтобы поступить в школы рабо-

чей молодежи. А. Р. написал мне, что лаборатория занимается определением их будущих профессий: то была пора увлечения тестами, психологическим испытанием сообразительности и воли, — и контур будущей книги возник передо мной с обманчивой простотой.

Мне представилась фигура юноши, в котором все еще только начинается — самостоятельность мышления, первые воспоминания и, может быть, первая любовь, та, о которой рассказали Шекспир и Тургенев.

Этот черновик характера мне хотелось написать на фоне ошеломляющей новизны Магнитогорска. Я сам был молод и за жизнью своего героя намеревался следить годами.

Я встретился с А. Р. и провел несколько дней в его лаборатории. Чем-то сказочным было отмечено ее существование в городе, который насчитывал едва ли полтора года и в котором каждое движение и слово были устремлены к строительству громадного комбината. Мальчики и девочки проходили передо мной — будущие слесаря, токаря, бездельники и поэты. Они должны были разобрать и собрать какую-то довольно сложную машинку и быстро выбраться из лабиринта, искусно начертанного на черно-белом картоне.

Прежде всего я испытал себя: разобрал (и не собрал) машинку и с трудом выбрался из лабиринта, заставив А. Р. заметить, что он не понимает, каким образом тупость соединяется во мне с необходимым для писателя воображением. Потом я принялся наблюдать, как решают эти загадки дети.

Говорят, что глаза — зеркало души. Нет, руки! В иных коротеньких, толстеньких пальцах детали довольно сложной машинки складывались сами собой, словно стремясь друг к другу, а в иных, привыкших, должно быть, лишь перелистывать страницы, гайки, болтики и шестеренки разлетались в разные стороны, как будто под влиянием центробежной силы. Хорошенькие, розовые девочки проваливались одна за другой — о чем они думали, с отвращением держа машинку в тоненьких пальцах?

Я записал несколько биографий и, подчеркнув в блокноте название «Монгольский мальчик», принялся бродить по Магнитогорску.

Не помню, кто из великих итальянцев спросил у художника, прошившегося к нему в мастерскую:

— Что вы умеете?

— Писать фон.

— Я был бы счастлив, если бы мог сказать это о себе.

С этой мыслью — увидеть фон — я переехал из лаборатории А. Р. в один из барачков, образовавших несколько длинных улиц. Было очень жарко, и рабочие, спасаясь от духоты и клопов, спали не в бараках, а под окнами, подле рукомойников, где попало. Кого только не было среди них! Подобно гигантскому вакууму, Магнитогорск втягивал в себя все профессии и все поколения. Не было только детей — по этой-то причине и появились в будущем городе подопечные моего А. Р.! Впрочем, родильный дом был уже заложен.

Уже в первые дни жизни среди строителей я понял, что мой замысел схематичен: «фон» оказался не только необъятно сложным, но и неожиданным в своих контрастах и сочетаниях.

Установившееся впоследствии сравнение фронта с обстановкой строительства, сжатого в предельные сроки, как нельзя лучше выражало атмосферу Магнитогорска, — чтобы убедиться в этом, достаточно было, утвердившись на лесах любого здания, взглянуть на некрасивую, подернутую поволокой шапку горы Магнитной, а потом на ежедневно меняющуюся, кипящую панораму строительной площадки. Как и следо-

вало ожидать, фронт был недоволен тылом: «Думают, что о ни везут, живут припеваючи, чиновники, мухи из крыловской басни».

Я попытался разделить строителей на тех, кто, начиная здесь свои биографии, видел опору перед собой, в перспективе, и на тех, кто опирался на прошлое, на жизненный опыт. Но и эта «рабочая гипотеза» мало помогла пониманию простого и одновременно недоступного по своей социальной сложности мира.

Я встречал людей, сохранивших все черты гражданской войны, давно снявших военную форму и всегда готовых «выхватить шашку из ножен».

Я разговаривал со странниками — как иначе назвать тех, кто всю жизнь бродил по русской земле, нигде не работая более полугода, и вдруг уходил куда глаза глядят без всякой причины?

Молодой инженер повесился, потому что его бригаде не удалось выполнить какую-то важную долю работы в строительстве домны. Накануне я случайно познакомился с ним, и он только сумрачно усмехнулся, услышав, что мне нравится изобретение местной газеты, которая вместо общепринятого календаря стала вести счет дней, оставшихся до пуска домны. Ночью до меня донесся разговор между комсомольцами, лежащими валетом на соседней койке: «На веревке повесился?» — «Да уж не на соломе!»

Почему-то в числе первоочередных зданий строился цирк. Неподалеку от цирка я однажды встретил изящного, свежевыбритого, напудренного старика в кокетливой кепке. На черном шелковом шнуре он нес нотную папку с головой Рубинштейна. Это был, как я узнал, учитель музыки — явление неожиданное, но, может быть, не такое уж странное для города, в котором строительство одной из самых больших домн в мире, цирк и экспериментальная психология начинались одновременно.

Седые, загорелые, молодежавые американцы возвращались по вечерам в свой удобный поселок для иностранных специалистов. За рекой Урал еще стояли крепкие казацкие избы, а в избах сидели суровые мужики — те самые, о которых Заболоцкий писал:

Нехороший, но красивый,  
Это кто глядит на нас?  
То мужик неторопливый  
Сквозь очки уставил глаз.

Я разговорился с одним хозяином — кстати, он и точно был в старинных железных очках, — и он вдруг сказал, метнув быстрый злобный взгляд в сторону строившегося комбината: «На глиняных ногах».

Как в первый день творенья, все дымилось, сталкивалось, клочковато укладывалось, поражая непривычной реальностью и предвещая еще бог весть какие муки и радости рождений и потрясений.

## 11

На Днепрострое, в Магнитогорске, в совхозах — везде, где я побывал, жизнь была сплетена из множества необыкновенных событий, и я продолжал искать жанр, который мог помочь мне изобразить их связывающую силу.

Десятки биографий, вынесенных за пределы устойчивого, привычного существования, на моих глазах кончались трагически — в «Прологе» я рассказал только об одной из них («Последняя ночь»). Я увидел неизвестную, полную напряжения, продутую, как сквозняком, лихорадочной целеустремленности жизнь и не мог, разумеется, остаться к ней равнодушным. Но именно это-то и было встречено в штыки — не только в



критике, поразившей меня своей незначительностью, но даже иными близкими друзьями. Один из них, придя ко мне после чтения «Пролога», долго молча сидел, повесив свой длинный добрый нос.

— Не перековался,— скорбно сказал он мне, уходя.

Другой мой друг, никогда не интересовавшийся наблюдением как основой жизненного опыта, необходимого для искусства, после «Пролога» проговорил со мной шесть часов. Но об этом разговоре, в котором для меня впервые воплотилось то, что, может быть, следует назвать психологической деформацией, следует рассказать немного подробнее.

То, что он мне предложил, было не ново для меня, но оглушающе ново потому, что я услышал это от него. Он, несомненно, говорил одно, а думал другое, и так как эта трещина была непривычна для уха, я услышал ее так же ясно, как если бы постучал пальцем по надтреснутой чашке. Но как бы ни была ничтожна эта трещина, она уже стремилась укрыться от света дня, она требовала к себе известного отношения. И он выбрал это отношение — легкости, почти беспечности, смотрения сквозь пальцы, что он посоветовал и мне — совершенно искренне, потому что я был ему дорог. Он не предлагал мне покаяться. Но он доказывал, что мне ничего не стоит написать десять строк о том, что недостатки книги «Пролог» не преднамеренны и произошли лишь от моего неполного знания жизни. Впоследствии, когда я узнаю ее, она, без сомнения, предстанет именно такой, какой ее хотят видеть авторы критических статей, утверждающие, что они говорят от имени народа.

Статьи назывались: «Литературный гомункулус», «Эпигон формализма» и др. Авторы доказывали, что картина совхозной жизни искажена, потому что я показал ее с классово чуждой точки зрения.

Я не согласился со своим другом и не написал этих десяти строк. Отложил в сторону задуманную книгу о Магнитогорске, в которой мне хотелось изобразить не розовую, а грозную, драматическую, «стронувшуюся» Россию, я вернулся к роману «Художник неизвестен». В первой редакции он представлял собою нечто вроде трактата о живописи, написанного тщательно, но холодно и скупо.

Теперь впечатления и размышления, вызванные моими поездками, вошли в эту книгу, как, впрочем, и в другие, написанные в более поздние годы: я заставил героя-рассказчика встретиться с героями в «Гиганте», в местах, «лишенных иллюзий». Главное здесь было не в новизне материала, а в позиции автора. Это отнюдь не было «потоком сознания» и, еще менее, системой логических доказательств, ведущих читателя к познанию добра и зла. Я просто пошел по пятам за своими героями, составляя из осколков картину скрытых от меня отношений. В эту картину вошел и поразивший меня разговор, о котором я рассказал,— в фигуре моего друга было нетрудно изобразить опасность «утилитарного искажения», нависшую над нашим искусством. Но опасность была крупной, чем он, следовательно, и разговор, который проходит через весь роман, надо было написать с большей сосредоточенностью и глубиной. Меня не интересовала ни мнимая беспечность, ни дальновидное смотрение сквозь пальцы. Воинствующий утилитаризм не только честен в моем романе, но искренен и романтичен. Этой «романтике расчета» противопоставлена деятельность художника, который ничего не боится и ничего не требует — кроме доверия.

Впрочем, разговор о десяти строках остался в моей памяти и по другой, не менее значительной причине. Он был первым свидетельством перемен, происходивших с некоторыми близкими мне людьми. Все отчетливее видел я ту трещину, то «почти», которое извилисто пробежало между правдой и ее всякого рода подобиями в литературе.

Заметил ли художник, советовавший мне беспечно взглянуть на это «почти», когда, в какой день и час уменьшилась шагреновая кожа его дарования? Едва ли. Не задумываясь над необходимостью равновесия между истиной и искусством, он продолжал писать, обходя то, о чем — ему казалось — можно было и не писать. Можно еще многое: можно делать вид, что все обстоит благополучно, и писать об этом благополучии, почти не ссорясь с теми, кто видит жизнь иначе.

Но призвание писателя обязывает в наше время, как никогда, и за малейший допуск в пригонке деталей нравственности он расплачивается тоже, как никогда. Неполнота правды деформирует искусство, а так как писатель и есть то, что он создает, — деформирует и сознание. Ложный шаг надо оправдать прежде всего перед самим собой — и находятся доводы, придумываются оправдания. Надо как-то уладить этот шаг перед женой, детьми и друзьями. Удастся и это. Так начинается лепка двойника, создание второй, литературной личности, которая, в сущности, почти уже отделилась от первой, хотя и настаивает подчас на безусловном тождестве и единстве. Работа сложная, деликатная, с каждым годом требующая все больше сил, времени и внимания! Не художество, не самоотдача, не воспроизведение жизни, а воспроизведение самого себя во все разрастающихся размерах. Тысячи обусловленностей врываются в жизнь, и самая важная из них — положение. В книгах, если они еще появляются, — нет голоса, и они отзываются, лишь если кому-нибудь придет в голову шелкнуть по пустой оболочке.

Что касается шагреновой кожи, то она, как известно из знаменитого романа Бальзака, уменьшалась с каждым исполненным желанием. Химики, зоологи, механики пытаются остановить необратимый процесс, но «все молнии науки» отступают перед загадочным талисманом.

Впрочем, драма Рафаэля, который умирает в объятиях возлюбленной, сжимая в ладонях последний лоскуток шагреновой кожи, ничем не напоминает устроенную судьбу, о которой я рассказывал. Талант заменяется воспоминанием о таланте. Это воспоминание можно поддерживать, украшать, даже награждать. При умелом использовании он может служить еще годы и годы. Самое понятие почтенной старости является во всеоружии, чтобы поддержать значительность этого воспоминания.

А книги? Ну что же, и с книгами все обстоит благополучно. Новых терпеливо ждут, а старые осторожно, бережно переносятся на сцену театра или полотно экрана.

## 12

Несмотря на кажущуюся фантастичность превращения в собственную тень, опасность приобретает конкретные черты, когда писатель садится за стол и принимается за свое, «в сущности, несвойственное мужчине», как заметил М. Зощенко, занятие.

В начале тридцатых годов, работая над романом «Исполнение желаний», я столкнулся с этой опасностью вплотную. Внутренний редактор, о котором впоследствии верно написал А. Твардовский, тайком прокрался в мою маленькую, заваленную книгами комнатку на Петроградской и попытался, пока еще осторожно, водить моей рукой. Студенты отправляются в пивной бар под «Европейской» гостиницей (это был известный в те годы центр ночной жизни Ленинграда). Но попадают они туда лишь после того, как не удается достать билеты в Большой Драматический театр. Это — мелочь, но характерная. Это — затрудненность дыхания, которая мешает увидеть живые черты за сеткой заданной нравственной чистоты и предусмотренных обстоятельств. Так написан один из главных героев (Карташихин).

Но откуда взялась эта затрудненность дыхания? Ошибка заключалась в том, что самой фигуры Карташихина не было в первоначальном плане. Мне хотелось написать историю Трубачевского, талантливого студента-филолога, который попадает в круг фарисейской логики, ведущей к предательству и политической смерти. Трагедия воли была душой плана. Контраст между подлинным и мнимым определял композицию книги. Но этого мне показалось мало. Центральная фигура раздвоилась. Я дополнил Трубачевского Карташихиным — молодым человеком, лишенным шатких головных умозаключений, награжденным судьбой и историей за определенность и трезвость. О, сколько сил было отдано упорному стремлению вдохнуть жизнь в эту привлекательную (во что бы то ни стало) фигуру! «Клятва верности четвертому сословию» (Мандельштам) повторялась в сознании, когда я писал ее, а ведь клятвы начинаются, когда человеку перестают доверять. Достаточно было искренности, чтобы написать этот характер, а я помножил искренность на исторический и психологический инвентарь и обставил ее доказательствами, в которых она не нуждалась.

Это была и технологическая ошибка: художники знают, что, изображая контрастные предметы, нельзя писать их отдельно, поочередно. Работая над одним, надо видеть и другой — лишь тогда оба начнут существовать в единой цветовой атмосфере.

Едва я принялся за работу, как получил предложение напечатать роман в одном из московских журналов, и немедленно согласился. Между Москвой и Ленинградом были тогда счеты в литературе, я обрадовался возможности показать свою независимость от этого спора. О моем намерении узнал один из руководителей ленинградского РАППа. Случайно встретив меня в Михайловском саду, он сказал, что, по его мнению (с которым он советовал посчитаться), я должен напечатать роман в Ленинграде.

Это был человек, гордившийся своей грошовой «революционностью» так же, как неизвестно откуда взявшейся возможностью говорить со мною решительно, почти грубо. Не было ничего удивительного в том, что я от него услышал. Факт появления моего романа в Ленинграде был важен для каких-то местных ленинградских отношений между «попутчиками» и РАППом. Удивительным было ощущение зависимости от этого человека. Я боялся его. Но еще острее этого ощущения было то, что, может быть, следовало назвать чувством страха перед собственным страхом.

Вероятно, эта минута покажется незначительной и даже ничтожной, если взглянуть на нее глазами последующих грозных событий, которые не мог еще различить самый острый и пронизательный взгляд. Но и до сих пор я помню ее, потому что это была минута, когда я остановился перед самим собой с неприятным чувством неузнавания.

Был ясный апрельский день в любимом мною Михайловском саду. Был Ленинград, радостно круживший мне голову с первого дня моего в нем пребывания. Была молодость, тридцать лет, и сила, и азарт работы, и разбег перед новым барьером душевного развития. Но все это было отравлено теперь неуверенностью.

Я убедил себя в том, что надо напечатать роман в Ленинграде. Была и практическая причина: в те годы одна черта литературной жизни заключалась в том, что журнал, не сомневаясь в авторе, начинал печатание полного произведения, когда оно было еще далеко не закончено. «Исполнение желаний» я отдал в «Литературный современник», когда были готовы два-три листа, и печатал из номера в номер.

Лихая дама-критик опубликовала пространный неодобрительный

отзыв, едва появились первые главы романа. В известной статье «Литературные забавы» Горький отозвался об этой ее поспешности с недоумением художника, глубоко понимающего значение доверия.

## 13

Месяца четыре тому назад студия ленинградского телевидения обратилась ко мне с просьбой рассказать десятиклассникам о знакомстве с Горьким.

— Вы не представляете себе, в какой броне рисуется он перед ними на уроках литературы, — сказал мне редактор. — Это уже не просто памятник, а памятник, обнесенный высокой чугунной решеткой.

Я согласился. Но, рассказывая, и я почувствовал, что невольно отступаю перед лавиной всех слов, прежде сказанных о Горьком, всех похвал и признаний, в которых он не нуждался (кстати, в своем выступлении на Первом съезде писателей он очень просил не произносить имени Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д.).

Для меня знакомство с ним было окрашено с самого начала чувством исключительности. Почему с такой серьезностью откликнулся он на мои детские видения, рассказанные почти без языка, искренно, но неясно? Откуда взялось это обязывающее доверие, которое было оказано мальчику, едва взявшему в руки перо?

Я рассказал десятиклассникам о первой встрече в 1921 году, когда Горький впервые пригласил к себе «серапионовых братьев». Картина вдохновения, а не ложной старательности, естественности, а не мнимого правдоподобия встала тогда перед нами в тревогах неустанного труда.

Но я ничего не рассказал о его любви к необыкновенным историям, о его сложных отношениях с собственной славой. О его лихости, вдруг прорывавшей толщу неслышанной начитанности и артистического самовоспитания.

— Украсть! — сверкнув глазами, однажды сказал он при мне, когда речь зашла о драгоценных пушкинских бумагах, увезенных некогда в Париж. Владелец упорно отказывался продать их Советскому Союзу.

Не рассказал я и о наших последних встречах. Едва вернувшись в Советский Союз, он пригласил к себе «серапионовых братьев». Оживленная, недавно опубликованная (не полностью) переписка с нами объясняет эту поспешность: ему хотелось поскорее узнать о тревогах литературы, ее заботах и надеждах.

Я спорил в ту пору с Б. Л. Пастернаком (в письмах), защищая абстрактное искусство, которое я называл «метафорическим лаконизмом», и встречая с его стороны возражения, казавшиеся мне старомодными. Опираясь на самые общие черты искусства, присущие всем временам и народам, я настаивал на праве художника положить их в основу новой, независимой от вседневности живописи, архитектуры, литературы. Пастернак с его невообразимой образованностью возражал, кажется, только по своей столь же невообразимой доброте. Он был против абстракций, по меньшей мере в литературе. Для него было ясно, что мой «метафорический лаконизм» — естественное следствие молодого стремления высказать себя как можно скорее. Абстракция, с его точки зрения, не только ничем не напоминала лаконизм, но была ему прямо противоположна. Для его понимания литературы был важен вкус и запах времени, а взаимопроникновение поэзии и прозы (с ее обыденностью) далеко не абстрактно оплодотворяло ту и другую.

Помню, что, идя к Горькому, я был полон этой перепиской. Как в первые «серапионовские» годы, мне хотелось поскорее рассказать о ней и

Горькому и «серапионам». Но разговор сразу же ушел в сторону. Вслед за нами явился Леонов, подаривший Алексею Максимовичу только что вышедшую новую книгу. Потом Горький, не помню, по какому поводу, заговорил об эмигрантской литературе. Картина жизни русских писателей, оказавшихся за границей, была почти неизвестна мне. Он тонко и беспристрастно рассказал о них, выделив тех, кто сумел издалека оценить богатое десятилетие советского искусства. Кто-то поразился его начитанности, и он в ответ неожиданно пожалел, что у нас не выходит «Энциклопедия весельчака», которой он некогда увлекался. Из присутствующих только я знал о ней, да и то потому лишь, что в моей библиотеке был один из многочисленных томов этой энциклопедии, представлявшей собою собрание исторических анекдотов. Впоследствии я послал этот том Алексею Максимовичу.

Потом вместе с А. Б. Халатовым, директором Госиздата, пришли незнакомые мне московские писатели, и разговор уже за столом стал напоминать статью некогда знаменитого О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса), которым я тогда занимался: «искусство образованной или изящной беседы состоит в том, чтобы каждый говорил о себе, но так, чтобы другие этого не примечали».

Не знаю, чем я был расстроен, уходя от Горького и прощаясь с провозжавшей меня прелестной, приветливой Надеждой Алексеевной Пешковой,— неужели тем, что так и не сказал за весь вечер ни слова? Или невидимой, но прочной завесой, которая отделила Горького от ленинградцев, чувствовавших себя не очень уверенно в атмосфере вечера, не похожего на прежние скромные встречи?

## 14

Недавно журнал «Вопросы литературы» опубликовал ответы писателей на вопрос: «Что они ждут от Четвертого съезда?» Тридцать девять из сорока трех выразили надежду, что Четвертый съезд будет посвящен литературе. Это выглядит парадоксальным. О чем же и говорить на съезде писателей, если не о литературе? На съезде химиков говорят о химии, на съезде металлургов — о металлургии. Но на съезде писателей можно, оказывается, говорить не о литературе, а о том, что широким или узким кольцом охватывает литературу. А чего только нет в этом узком или широком кольце!

«Двенадцать дней я из-за стола президиума вместе с моими товарищами вел со всеми вами безмолвный разговор. Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Двенадцать дней объединяло нас ошеломляющее счастье того факта, что этот высокий поэтический язык сам собою рождается в беседе с нашей современностью, современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого» (Б. Пастернак. Из речи на Первом съезде).

Я убежден в том, что в наши дни съезд писателей, не говорящий на «языке поэзии», не дорожающий остротой литературного спора, выглядел бы анахронизмом, в котором, как в тусклом зеркале из жести, отразилась бы лишь настороженность, встречающая прямой и откровенный разговор о нашей литературе. Эта настороженность далеко не нова. Не раз случалось мне встречать почти необъяснимую холодность, едва я заговаривал в кругу литераторов о профессиональной стороне работы. Сдержанная скука, естественная, когда говорят о неизбежном, но давно потерявшем право на внимание, устанавливалась медленно, но неотвратимо.

тимо. И я невольно начинал чувствовать себя старомодным ценителем искусства вроде бальзаковского кузена Понса.

Перелистывая свой послевоенный архив, я наткнулся на заметки, относящиеся к началу пятидесятих годов. К. Г. Паустовский был тогда председателем секции прозы, а я — одним из его заместителей. Редкие выступления не напоминали старинную игру в фанты: «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте». Случалось, что иной оратор, разбежавшись, как на коньках, подлетал к подлинным фактам, исказившим нашу литературную жизнь, подлетал и стремительно откатывался назад, к мнимым, показывающим новый литературный взлет. О том, что взлета нет, что самый литературный язык мертвеет, задыхаясь от плоскостей и канцеляризма, говорил только К. Г. Паустовский. Его не слушали или не слышали — у него слабый, хрипловатый голос. На некоторых лицах было написано выражение неловкости, как в хорошем обществе, когда в интересах приличия стараются не замечать странного поведения уважаемого человека.

На Первом съезде о живых особенностях литературного дела, о ссорах с самим собой, о позиции писателя говорили почти все. И многие с тонкостью, благородной уже потому, что она одна свидетельствовала об отсутствии личных побуждений.

Но как написать об этом съезде, о чувстве счастья, когда я увидел у Дома Союзов серьезные, молодые лица студентов, собравшихся, чтобы увидеть писателей — нас?! О полной уверенности в том, что глубокий разговор невозможен, когда собираются писатели, говорящие и пишущие на пятидесяти двух языках, и об изумлении, когда этот разговор состоялся?

Помню минуту, когда, сидя в первом ряду, я оглянулся на аудиторию — ища знакомые лица, — и с внезапно толкнувшимся сердцем почувствовал необыкновенность события, происходившего в эти дни в Доме Союзов. Здесь надо было вглядываться пристально не только друг в друга — в живую суть собственной работы.

Мне кажется, что о содержании съезда можно рассказать — и то в самых общих чертах, — лишь воспользовавшись геометрическими понятиями и представив его в горизонтальном и вертикальном разрезах: одни выступления были посвящены литературе как искусству, другие — долгу писателя, его позиции в литературе. В большом докладе Горького, открывшего съезд, эти темы объединились. Доклад общеизвестен. Напомню лишь, что Горький говорил о значении фольклора, о мещанстве, в котором видел нравственную основу «вождизма». Он не ждал, подобно рапповцам, появления Шекспира: «Не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обманываться — наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его». Социалистический реализм он определил как многостороннюю форму жизнеутверждения, отметив среди других задач необходимость «разнообразия направлений».

Десятки писателей, слушавших речь Горького, были связаны с ним прямо или отраженно, и не только передо мной нарисовался в этот день смысловой контур этих отношений.

Неосторожная надежда Горького — «5 гениальных и 45 очень талантливых» — нашла отражение в речи Михаила Кольцова: «Я слышал, что... уже началась дележка. Кое-кто осторожно спрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проект: ввести форму

для членов писательского союза... Писатели будут носить форму... красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков. И значки ввести: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт».

Знал ли Кольцов, что И. Ф. Богданович, автор «Душеньки», предложил Екатерине II учредить «Департамент российских писателей»? Должности в его проекте соответствовали званиям, а иерархия подчинения повторяла в общих чертах иерархию других департаментов и коллегий. Проект не был утвержден, и Богданович один заменил целый департамент, сочиняя пьесы, поэмы, повести в стихах, подписи для триумфальных ворот, занимаясь переводами с французского и редактируя «Санкт-Петербургские ведомости». Если не ошибаюсь, проект этот был перепечатан в «Литературном Ленинграде» в 1934—1935 годах.

Но вернемся к содержанию съезда: кто же из мастеров выступил с речами значительными, отразившими позицию писателя или состояние литературы? Мне запомнилась речь Тихонова, сказавшего, что «молодые поэты должны искать и жить рискуя, а не приbedняясь». Настоятельно требуя опытов над стиховым словом, он призывал учиться у Пастернака искусству богатой образности, стремительной искренности, непрерывного дыхания. Поэтические портреты Маяковского, Есенина, Багрицкого, Бориса Корнилова были уверенной рукой очерчены в его докладе.

Тициан Табидзе и Егише Чаренц, не повторяя уже вполне отстоявшуюся к тому времени формулу о братстве народов, говорили о братстве риска, о братстве открытий, поисков, откровений.

Фадеев высказал опасение, что плоское понимание социалистического реализма может привести к «сусальной» литературе.

Эренбург говорил о том, что неудачу художника нельзя рассматривать как преступление, а удачу как реабилитацию. Цифры в искусстве не равнозначны цифрам в индустрии: «Для статистики «Война и мир» — всего-навсего одна единица».

Он мог бы повторить свою речь в наши дни, не изменив почти ни одного слова.

Доклад А. Толстого напомнил мне лекцию Тынянова, прочитанную на моем семинаре в Институте истории искусства. Толстой говорил о жесте как основе художественного языка, доказывая свою мысль с образительной силой: «Нельзя до конца прочувствовать старинную колыбельную песню, не зная, не видя черной избы, крестьянки, сидящей у лучины, вертящей веретено и ногой покачивающей люльку. Вьюга над разметанной крышей, тараканы покусывают младенца. Левая рука прядет волну, правая крутит веретено, и свет жизни только в огоньке лучины, угольками спадающей в корытце. Отсюда — все внутренние жесты колыбельной песни».

Мне понравилась речь Андрэ Мальро, выступившего от имени писателей Запада. Он говорил, что сила доверия создала новую женщину, свободную от тысячелетней косности быта, и превратила беспризорников в пионеров. Мораль доверия к писателю и поэтические открытия — вот две силы, которые способны высоко поднять значение советской литературы.

Отчетливое сознание вины послышалось в болезненно-острой речи Олеси. Это был рассказ о преследовавшем его образе нищего, в котором он отказывался видеть себя и который невольной нарисовался передо мною. Олеша робко упрекал критиков, заставивших его усомниться в себе. И, слушая его, я думал о том, что не только он, мы все почему-то должны чувствовать вину — в чем, перед кем? Гражданский долг? Как будто не исполнялся он во весь размах, без назойливых настояний плос-

кой и прямолинейной критики. Да и возможно ли в русской литературе серьезно работать без таланта гражданской ответственности, которая так счастливо отличает ее от других литератур мира.

За год до съезда я был у Олеси. Он жил почему-то тогда у Мейерхольда, и острый, узкоплечий, летящий, ни на кого не похожий, магический Мейерхольд вбежал с чемоданом — он вернулся из какой-то поездки — и закричал на нас, что мы ничего не видим, ничего не знаем, потому что мы ходим в страну, как в театр, а нужно в театр ходить, как в страну. Он скрылся в ванной комнате, потом вдруг явился в длинной развевающейся рубашке и крикнул мне, что я пишу плохо. Он читал. Очень плохо!

Олеша засмеялся.

— Каверин, зачем вам писать? — с любопытством спросил он. — Ведь вы уже научились.

Мы заговорили о «Зависти», и он грустно сказал:

— Так вы думали, что «Зависть» — начало? Это — конец.

Съезд продолжался две недели. Я не передал и сотой доли этой никогда более не повторившейся встречи. Много было лишь предсказано, перечислено, указано. Могли ли мы тогда вообразить, что Бабель, напряженно шутивший на съезде над своим молчанием, вскоре замолчит навсегда? Что мы больше никогда не увидим неистового Чаренца, бюст которого со склоненной головой стоит у школы его имени в Ереване?

Заканчивая, я чувствую, что и мой «геометрический разрез» едва ли помог мне нарисовать законченную картину съезда. Хочется еще рассказать о том, как размеренный, официальный характер его переломился во второй половине. Этот перелом был не только замечен, но подхвачен, точно все только и ждали, когда же кончатся наконец доклады и приветствия. Доклады по необходимости носили слишком общий характер — кому было под силу в течение часа рассказать настоящее и заглянуть в будущее украинской, грузинской, белорусской, узбекской литературы? Приветствия были воплощением трогательной надежды на нашу литературу, но им было отдано слишком много времени и внимания.

Помнится, поэты были застрельщиками перелома. Кирсанов, защищая необходимость изучения стиховых форм, доказывал, что преодоление инерции в поэзии невозможно без борьбы направлений. Тициан Табидзе сказал, что рядом с Маяковским, имя которого часто произносится на съезде, должен быть поставлен Александр Блок. Первомайский связал поиски новой поэтической формы с судьбой своего поколения — поколения двадцатисемилетних. Мало сделано: в этом возрасте погибли Лермонтов и Петефи. Не изысканная рифма, не волшебная музыка слова, а молнии духа, пробегающие между ними, — вот истинная стихия поэзии.

Пастернак попытался дать ее определение: «Что такое поэзия, товарищи, если таково на наших глазах ее рождение? Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е. факта с живыми последствиями. И конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или умудрится испортить».

Когда съезд приветствовали метростроевцы, он кинулся из-за стола президиума, чтобы снять с плеча одной из работниц отбойный молоток. Она не позволила — молоток входил в картину приветствия, — и он, смущенный, вернулся на свое место. Это происшествие отразилось в его



речи: «Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Он закончил свою речь предостережением: «При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».

Можно смело сказать, что поэты с редким единодушием поставили съезд перед вопросом: «Как писать?» — и спор выплеснулся из зала, разбежался по кулуарам, перебросился на улицы Москвы и в номера гостиниц... На съезде было много иностранных писателей, и среди них Арагон, Фридрих Вольф, Мартин Андерсен-Нексе. Добросовестно и с вдохновением они приняли участие в разгоревшемся споре. Незвал, один из лучших чешских поэтов, изложил свое кредо, пользуясь словом «сюрреализм». Далеко не всегда сложный поэт виновен в том, что он недоустан. Чем интенсивнее скрытый смысл, тем сильнее действует он на культурного человека.

То отраженно, то с режущей глаза реальностью вспыхивало в речах революционных деятелей Запада и Востока политическое напряжение. Японский режиссер Хиджикато оказался пером, в кругах императорского двора были ошеломлены его выступлением, и токийские газеты сообщили, что по возвращении на родину он будет немедленно арестован.

## 15

Это кажется странным, но я редко остаюсь наедине с собой, и даже если в комнате нет никого, кроме меня, это еще не значит, что я способен увидеть себя, свое дело и свое прошлое спокойно и беспристрастно. Лишь в последние годы мне удавалось время от времени добираться до самого себя. Нужно многое, чтобы пробиться через жалость к себе, через легкость самооправдания, но зато, если это удается, и выигрываешь многое. Полузнание или даже четвертьзнание самого себя — одно из самых неодолимых последствий пережитого.

Какие только доводы и поводы не придумывались в прошлом, чтобы заслонить себя от внутреннего взгляда! Это было не явлением, а процессом, происходившим то медленно, то быстро. Сомнения, доходившие подчас до отчаянья, смягчались сознанием железной необходимости или исполненного долга. Так, речь Юрия Олеши, о которой я упомянул выше, была не чем иным, как искренней попыткой заслонить себя от себя самого, редкая по своей доказательности, потому что перед слушателем, как на черно-белом экране, появились тогда два Олеши, не очень искусно разделенные им самим, но уже успевшие отойти на порядочное расстояние. Первый из них еще отбрасывал тень.

Можно ли писать других, видя себя издалека? Да, в самых общих контурах, безуспешно стараясь понять сокровенную сущность явлений. От общего контура до схемы — только шаг, а от схемы не так уж далеко и до «схемы». Это не каламбур. Нечто аскетическое, слепое, восторженно укладывающееся в правила литературного поведения подчас чудилось мне при чтении иных давно и справедливо забытых произведений. Я знаю опытного, талантливого писателя, который, вернувшись в наши дни к своей многократно переиздававшейся книге, сократил ее

на двенадцать печатных листов — это много, если вспомнить, что в тургеневских «Отцах и детях» меньше восьми.

Книга выиграла, потеряв прежнюю розовую стройность, хотя она-то и стоила больше всего времени и труда.

Но были и другие писатели, которые, оставаясь собой, никогда не переставали прислушиваться к музыке призвания. Ничто не могло заставить их переоценить свою связь с революцией и потерять уважение к этой внутренней связи.

«И если бы Вы этого даже не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана, — писал Б. Пастернак своим друзьям Т. и Н. Табидзе в 1936 году. — Не обращайтесь к благотворительности, мой друг, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом, без страха и пощады, но в себя, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, даже если бы мы и не знали искавших по-другому. Разве их мало? И плоды их трудов налицо».

Не пушкинское «И с отвращением читая жизнь мою» повторялось в душе, когда я принялся за эти воспоминания. В прошлом — ошеломляющее, почти нетронутое богатство лиц и картин, небывалых по своей остроте и значению. Можно ли, не всматриваясь в себя, не освободившись от взгляда «поверх вещей», рассказать о них убедительно и правдиво?

В настоящем — собственный голос жизни, подчас еле слышный, полузаметный, однако сумевший отменить прежнюю риторику и мнимое благополучие. Уже после войны прозвучали первые свежие голоса, отразившие всеобщность и глубину испытания, объединившего всех в чувстве сознательного долга. Но никогда молодая литература не была так сильна своей молодостью, как в наши дни, когда искусственность перестала считаться обязательным условием искусства. Ложный расчет с действительностью миновал ее, она началась, когда к изображению жизни перестали подходить на ходулях. Вот почему молодые литераторы с такой естественностью пишут о том, что в недавние годы считалось незначительным, не заслуживающим внимания, а на деле всегда было источником нового и еще небывалого в искусстве.

Да, и об этом надо думать, пристально вглядываясь в себя, неустанно и беспощадно испытывая память! Ведь память приводит в движение совесть, а совесть всегда была душой русской литературы.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. БОДЯКШИН

★

## ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

**Предисловие.** Собирая материалы для книги о создании советского государственного аппарата, я заинтересовался случайно попавшей мне на глаза в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС папкой. На ней значилось: «Дело № 552. Бодякшин. Воспоминания. Из недавнего прошлого». Внутри хранились исписанные карандашом и чернилами, сшитые вместе длинные узкие полоски бумаги, к которым была приколата записка: «Т. Бубнов! Согласно объявления в «Правде» шлю на Ваше имя свою статейку об октябрьских воспоминаниях,— просьба напечатать в каком-либо из журналов или из газет.

Где будет напечатано, сообщите по адресу: г. Александровск, Запорожский Губком, Завагитпропом Бодякшину. С тов. приветом Бодякшин. 23.IX.22 г.».

Рукой А. С. Бубнова — тогдашнего заведующего агитпропом ЦК РКП(б) — на записке была начертана резолюция: «Т. Михайлов, т. Лепешинский. Для Окт[ябрьского] сборника».

Воспоминания Бодякшина остались ненапечатанными и более сорока лет хранились в партийном архиве. Они привлекли внимание одной весьма интересной деталью, придавшей им историческую ценность<sup>1</sup>.

Дело в том, что, родившийся в бурной обстановке первых напряженнейших дней социалистической революции, исторический ленинский Декрет о земле не сохранился ни в рукописном подлиннике, ни в копиях, предназначавшихся для напечатания в газетах, передачи по радио и телеграфу. Этот один из первых знаменитых декретов советской власти известен нам только по газетам тех дней. Но при сопоставлении его текста в разных центральных советских газетах обнаруживается, что редакции его в различных изданиях несколько отличны, хотя декрет был опубликован одновременно — 28 октября (10 ноября) 1917 года. Разночтения эти таковы: слова «Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется», напечатанные в «Правде» и «Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» (так назывался официальный печатный орган Совета Народных Комиссаров) в виде особого 5-го пункта декрета, расположенного за 4-м пунктом и перед крестьянским наказом, в «Известиях ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» помещены после наказа и служат заключительным абзацем 4-го пункта декрета. Кроме того, один и тот же текст декрета, в одних случаях значащийся как его 5-й пункт, а в другом случае — как заключительный абзац 4-го пункта, был напечатан к тому же еще и в трех различных вариантах: «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются» (в «Известиях»); «5) Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется» (в «Правде») и «5) Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется» (в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства»).

Как же могло так получиться?

До недавнего времени это было совершенно необъяснимо. В воспоминаниях же Бодякшина как раз и содержатся новые существенные сведения, которые помогают восстановить историю создания Декрета о земле, названного В. И. Лениным законом мировой важности. Бодякшин, рассказывая о заседании большевистской фракции II Всероссийского съезда Советов 26 октября, на котором обсуждался проект Декрета о земле, называет три предложенные им поправки к проекту, которые были приняты В. И. Лениным. Исключительная важность сведений об этом неизвестном ранее нашим историкам факте совершенно очевидна.

Кто же он, этот Бодякшин? И насколько достоверен его рассказ?

<sup>1</sup> Об этих воспоминаниях я уже писал в своей книге «Создание советского центрального государственного аппарата. Совет Народных Комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917 г.— январь 1918 г.». М.—Л. 1966, стр. 283—286.

Сын малоземельного крестьянина села Першеево Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Иван Харитонович Бодякшин, окончив церковноприходскую школу и сдав экстерном экзамен на звание учителя начальной школы, учительствовал на селе, когда началась первая мировая война. На фронте рядовой Бодякшин был ранен, затем, окончив военное училище, стал прапорщиком. Февральская революция застала Бодякшина в Ржеве, в 70-м пехотном запасном полку. Вступив в марте 1917 года в партию большевиков, он стал одним из руководителей большевистской организации гарнизона и города, был избран в полковой комитет и в городской Совет рабочих и солдатских депутатов, стал членом его исполкома. Вместе с Ш. С. Иоффе (тоже большевиком) И. Х. Бодякшин был направлен трудящимися Ржева делегатом на II Всероссийский съезд Советов. Он активно участвовал в работе съезда и его большевистской фракции. Вернувшись в Ржев, Бодякшин стал одним из организаторов советской власти в городе и районе, первым редактором газеты «Ржевская правда». Впоследствии он участвовал в работе III Всероссийского съезда Советов, был делегатом V, VII и VIII Всероссийских съездов Советов, вел партийную и советскую работу в Твери, Иваново, Мордовской АССР, на Украине. Последние годы жизни И. Х. Бодякшин работал в Наркомпросе, затем преподавал в различных вузах Москвы.

События, о которых он пишет в своих воспоминаниях, действительно имели место. Обратившись к газетным отчетам<sup>1</sup> о втором заседании съезда (26 октября), нетрудно установить, что после голосования и принятия проекта Декрета о земле съезд перешел к рассмотрению и обсуждению поправок по принятому закону. «Прапорщик с места (его фамилия, как и фамилии ряда других выступавших на съезде, осталась тогда невыясненной.— М. И.) предлагает вычеркнуть из принятого закона пункт о дезертирах, так как таких в русской армии не было, а были лишь солдаты, которые в силу обстоятельств должны были покидать фронт для обработки полей. Дезертирами оратор считает тех, кто откупался от воинской повинности, монахов, попов и пр.»<sup>2</sup> Это же выступление описано и присутствовавшим на съезде Джоном Ридом: «На трибуну поднялся изможденный, оборванный, красноречивый солдат. Он протестовал против той статьи наказа, в которой говорится, что дезертиры лишаются земельного надела. Сначала его встретили шиканьем и свистом, но под конец его простые и трогательные слова заставили всех замолчать. «Несчастный солдат, насильно загнанный в окопную мясорубку, весь бессмысленный ужас которой вы сами признаете в декрете о мире,— кричал он,— встретил революцию как весть о мире и свободе. Мир? Правительство Керенского заставило его снова наступать, идти в Галицию, убивать и погибать. Он умолял о мире, а Терещенко только смеялся... Свобода? При Керенском он увидел, что его комитеты разгоняются, его газеты закрываются, ораторов его партии сажают в тюрьму... А дома, в родной деревне, помещики борются с земельными комитетами и сажают за решетку его товарищей... В Петрограде буржуазия в союзе с немцами саботировала снабжение армии продовольствием, одеждой и боеприпасами... Солдат сидел в окопах голый и босый. Кто заставил его дезертировать? Правительство Керенского, которое вы свергли!» Под конец ему даже аплодировали»<sup>3</sup>. И «прапорщик с места», и «изможденный, красноречивый солдат», вне всякого сомнения, одно и то же лицо, которым и был прапорщик 70-го пехотного полка И. Х. Бодякшин.

Достоверность сообщения Бодякшина о поправках к ленинскому проекту Декрета о земле подтверждается и тем, что об этом эпизоде Бодякшин, как теперь выяснилось, упомянул еще в ноябре 1918 года в своей статье «Работа в Советах», напечатанной в газете «Ржевская коммуна». Да и воспоминания, которые публикуются ниже, были им написаны и присланы в Москву в 1922 году, то есть еще при жизни В. И. Ленина.

Одна из поправок Бодякшина («а» — вставка слова «рядовых»), видимо, действительно была учтена В. И. Лениным при окончательном редактировании проекта Декрета о земле. Внесение ее в проект и объясняет, почему именно этот текст декрета был опубликован в трех различных вариантах, а также и то, что крестьянский наказ в разных газетах был помещен по-разному. Неподдельно искренний и взволнованный, порой сбивчивый, «непричесанный» рассказ И. Х. Бодякшина — очевидца и активного участника героических октябрьских событий, которые были для него тогда действительно «недавним прошлым», — представляет, как нам кажется, не только исторический, но и чисто человеческий интерес.

Воспоминания И. Х. Бодякшина публикуются с сокращениями. Стилистика подлинника сохранена.

**М. Ирошников,**  
кандидат исторических наук.

<sup>1</sup> Приглашенные для ведения протоколов работы съезда стенографистки Петроградской городской думы вместе с меньшевиками и правыми эсерами ушли с первого же заседания съезда 25 октября. Поэтому основным источником для воссоздания хода работы съезда являются отчеты, помещенные в газетах того времени.

<sup>2</sup> «Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д.». М.—Л. 1928, стр. 77.

<sup>3</sup> Дж. Рид. 10 дней, которые потрясли мир. М. 1959, стр. 125.

**Т**о было так недавно, как будто только вчера, но с тех пор прошло пять лет — это со дня Красного Октября 1917 года.

Передо мной и сейчас еще вереницей проходят лица и фигуры принимавших деятельное участие в этом великом деле переворота. Я до сего времени, несмотря на множество событий, переживаний и т. д., не могу забыть имена членов своей партийной организации — уездной и губернской, где мне приходилось в те дни работать. А многих уже и среди живых нет. Отдали свою жизнь за дело рабочего класса. Сколько сил, сколько порыва, революционного пыла было у нас. Я помню себя тогда еще совсем молодым, но годы борьбы, с одной стороны, закалили меня, с другой — и состарили.

А сколько нам давала радости, счастья, энтузиазма каждая победа нашей партии?..

Организация не жила, а кипела, бурлила через край, пенилась вовсю. Веселые и радостные были времена, только нет времени о них писать и вспоминать. Работа протекала в те времена в сутки целых 24 часа, в Совете работали, в Совете обедали, в Совете спали, в Совете дежурили.

Я в те времена работал в г. Ржеве, был членом партии большевиков, членом горсовета, исполкома, членом и председателем нескольких комиссий. Между прочим, непосредственно числился в 70-м пехотном полку на должности младшего офицера, кажется, 9-й роты.

Солдаты как своей роты, так и всего полка и гарнизона всегда и всюду представляли мою кандидатуру первым. Уж больно большая у меня с ними была дружба, но не об этой дружбе я буду вспоминать, а о тех действиях, где мне приходилось участвовать.

В первых числах октября мы получили извещение о том, что в Питере на 22—25-е октября созывается Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов...

Всколыхнулось наше солдатское море гарнизона, вспыхнули ярким огнем и рабочие города Ржева.

Заседание горсовета. Выборы делегатов. Дружным хором, как эхо революционного Питера, который звал нас на съезд, выступали члены нашей партии: Алексеев, Горнов, Яковлев, Щербина, Платор, Орлов, Люляк, Тимофеев, Поздняков, старик Жигунов, — нам вторили анархисты Волнухин, Булаев, Кончиц. Резко нападали на нас плехановцы — Гимельфарб, Андреев, Козьмин, Циперпилер, а равно и эсеры Бодейко, Сирота, Кудрявцев, Статьев и прочие. Но мы победили. Делегатов решили в Питер послать, избранными оказались: я и т. Иоффе, оба большевики.

Но перед Питером нужно было ехать на 2-й губернский тверской съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Тут тоже избрали нас с Иоффе, плюс еще избрали одного меньшевика из «диких», как он сам себя именовал.

15 октября — Тверь. Собрался съезд, на съезде большинство коммунистов.

Руководили съездом: Вагжанов, Криницкий, Баклаев, Макаров, Богданов, Александров со стороны местных большевиков. Со стороны левых эсеров — Абрамов, Синицын, Шиганов, со стороны правых — Вольский, Алексеева, Стругомницкий и прочие, со стороны меньшевиков — Забелин, Панов, Пухальский, Сходин, Лейкарт. Силы наших противников были крупные, говорили все по-ученому, ибо среди них большинство были врачи и адвокаты.

Но мы победили. Нас сказало большинство. Временному правительству вынесли недоверие и решили послать делегатов на 2-й Всероссийский съезд Советов в Питер. На съезд всего поехало человек пять: из Твери Богданов и Александров, из Ржева я и Иоффе и один, кажется, из В. Волочка.

В Питер мы с тов. Иоффе прикатили 19 октября, прямо направились в Смольный институт.

Смольный кипел. Жизнь была ключом вокруг Смольного. Автомобили, броневики, пулеметы, орудия, матросы, рабочие, солдаты. Сверху донизу день и ночь

Смольный был переполнен. Делегаты с фронта приходили в полном походном порядке, с винтовкой на плечах и при патронташах. Рабочие тоже — или с винтовкой, или с наганом.

Весь Питер из себя представлял огромный митинг. На улицах, на площадях, в трамваях, в учреждениях, в театрах, в клубах, в цирках, в казармах, в университете, в библиотеках, во дворцах, на судах и на пароходах, на фабриках и на заводах, в рабочих кварталах — везде и всюду люди собирались и говорили о революции, о свободе, о воле, о равенстве, об Учредилке, о земле, о фабриках и заводах, о 8-часовом рабочем дне, о четырехдневке.

Шумели газеты, работали без усталы редакции.

Весь Питер был форменным образом разделен на два лагеря и середины не было.

Вечером — заседание пленума Питерского Совета со всеми представителями воинских частей.

20-го решено устроить день Советов — митинги в воинских частях, на всех фабриках и заводах в пользу передачи власти в руки Советов...

В день Советов я был послан для доклада на митинг в Патронный завод, где от нас, большевиков, выступало двое, я и еще один молодой товарищ (фамилию коего забыл), от левых эсеров выступал Спиро, от меньшевиков — не помню кто. Предложение большинством принято наше: «Вся власть Советам». Меньшевики остались с носом, правых эсеров даже и не было, Спиро поддерживал нас.

На заседании фракции накануне переворота появился т. Ленин, без всякой растительности на лице и на голове. Гром аплодисментов сыпался со стороны аудитории. Мне на первых порах т. Ленин показался совсем молодым, но потом подошел ближе к столу, чтоб лучше посмотреть на дорогого вождя пролетариата...

Вся аудитория горела верой в свое дело...

Я за этот период уже успел несколько раз побывать в цирке «Модерн» на Петроградской стороне, послушать лекции... Троцкого, Каменева, Луначарского, М. Рейснера, анархистов Карелина и Поссе. Цирк «Модерн» был в то время высшей революционно-политической школой. Ежедневно 10-тысячная масса рабочих и солдат черпала там точные политические сведения о событиях.

Наканец Октябрьская ночь, историческая, с 25-го на 26-е.

Дан певуче, отвратительно-надоедливо сказал, что 2-й Всероссийский съезд собрался, признал его официально. Вслед за этим приветствия, клятва солдат защищать только революцию, но не фронт. Постыдное бегство Мартова, Дана, Абрамовича и прочих. Падение Керенского совместно с отрядом Бочкаревой.

Трудно забыть некоторые подробности. Речь Дана во время открытия съезда тянулась часа два, уж он молол, молол, чего-чего только не наговорил. Ему и кричали: «Долой!», и звонили — все делали, но ничто не помогало.

В президиум вошли только коммунисты и левые эсеры.

Приветствия: вереницей выступали представители из армий. Эсер Сидякин выступил из фронтового комитета, что армия стоит за Временное правительство, но его обрезал вслед за ним выступавший фронтовик этой же армии т. Кривошапов — коммунист.

Выступали с приветствиями и с наказом со всех армий, и у всех была одна мысль и одно желание: «Долой войну!», «Да здравствуют Советы!»

Но горячие головы Мартова, Дана, Гоца и прочей компании это не учли и со съезда ушли.

Крестьянин Питерской губ. Пьяных, по-видимому кулачок, выразил свои чувства Временному правительству, Керенскому, Чернову и Авксентьеву, а делегат крестьянин Тверской губернии т. Жигунов передал привет и поклон от тверских крестьян съезду, т. Ленину... и всему президиуму, сказал: «Спасибо за доброе дело!»

Ночи напролет шли в заседаниях и совещаниях. Все время сведения неслись: «Керенский отдал приказ развести мосты и потушить электричество», «Мосты в

наших руках!», «Временное правительство арестовано», «Керенский сбежал», «Зимний дворец пал!»

Воистину была ночь бессонная, тревожная и горячая. Делегаты съезда, матросы, Красная гвардия, рабочие, солдаты шли стеной на Зимний дворец, на юнкеров. Крейсер «Аврора» дал два выстрела, и Зимний дворец замолчал. Впечатлений, переживаний море.

Помню заседание фракции, обсуждается наказ о земле. Оглашает его... Каменев, масса вносится поправок.

Оглашают Декрет о земле. Я вношу три поправки:

а) вставить слова «рядовых крестьян», где говорилось «земля крестьян и казаков не конфискуется и не отбирается»;

б) выбросить пункт, где говорится о том, что дезертиров лишают земли, и

в) выбросить пункт об отдаче под суд за растаскивание имущества помещиков крестьян [ами].

...Каменев спросил мнение Владимира Ильича, Владимир Ильич против моих поправок не возражал. Поправки мои приняты.

На пленуме я выступал против слова «дезертир» в наказе... Каменев уверил, что его выбросят, президиум редактирует. Но против моего предложения выступил кто-то из эсеров — очень был огорчен, что я задел Керенского в своем выступлении. Я же на сей счет директиву получил от т. Володарского.

Заседание кончилось поздно ночью или утром. Трамваи нас дежурили. Мы располагались на Питерской стороне в госпитале.

Кончается съезд, все мы разъезжаем по разным городам. Я был в Твери, в Н. Новгороде, в Лукоянове, в Ржеве и Москве. Везде власть перешла в руки Советов.

Интересно приехал после этого съезда я к себе в деревню, село Першеево, Нижегородской губ. Лукояновского у. Сколько у меня было рассказов.

Мой родной дядя был председатель сельского Совета (или тогда еще староста). Сходки, сходки, каждый день сходки. Сегодня берут землю помещиков Пушкина и Нефедьева, вчера взяли церковную и нескольких кулаков — Даняевых, Давидовых, Надежкиных. Весело сейчас в деревне. Из соседней лесной дачи все возят и сколько хотят — лесу. Деревня проснулась, она ожила.

Меня избрали на 1-й уездный съезд Советов в город Лукоянов. Я там был единственный большевик и наделал дебош, перепутал все карты эсерам, Тяпкину и К°. Все мои резолюции и предложения проходили. Эсеры готовы были драться, но солдаты, прибывшие уже с фронта, были на моей стороне...

При мне в селе происходили выборы в Учредительное собрание. Крестьяне все спрашивали моего совета и опускали в урну за большевиков. Мой отец был председателем комиссии. Местные эсеры готовы были повеситься, что победа на нашей стороне.

Деревня рада была Октябрю. Она власть установила свою на местах. Полиция пропала, милиция Керенского только пьянствовала. Да попы частенько в церквях громили и анафеме предавали большевиков.

А хутора и усадьбы помещичьи все растаскивались и растаскивались. Захват был произведен полностью. Ну и был Октябрь денек! Есть о чем вспомнить!

После 2-го съезда Советов и поездки домой во Ржеве я создал газету «Ржевские известия», затем был избран председателем уездной земской управы, что [вскоре] тут же постановили ликвидировать.

Затем в скором времени я поехал в Питер в Комиссариат внутренних дел, [к] т. Смирнову насчет денег для земства.

В это время происходил 3-й съезд Советов. Съезд происходил уже в Таврическом дворце. Как раз попал я на заседание вновь избранного ВЦИК, рассматривавшего земельный вопрос. Тов. Ленин огласил работу комиссии. Камков от левых эсеров все время вел саботаж. Маняша Спиридонова все время истерично кричала. Анархист Ге нас приглашал к себе на квартиру, но мы отказались. Он ругал всех, ему аплодировали, мы смеялись.

Яков Михайлович Свердлов то и дело призывал к порядку сибиряка старика крестьянина, который без очереди любил брать слово и митинговать. Старик был высокий, с большой седой бородой, в белой холщовой рубахе, в лаптях, волосы длинные, постриженные в кружаву...

Затем Брестский мир

Из Питера центр перенесен в Москву, куда я попал на 5-й Всероссийский съезд и на 5-й областной съезд. Этот съезд также исторический: восстание левых эсеров, убийство Мирбаха.

Помню, в зале Большого театра мы ждали до 11—12 часов ночи, но заседание не открывали. Все ходили встревоженные, говорили шепотом, в чем дело? Я не знал. Говорили разное. Мария Спиридонова созывала, как курица своих цыплят, левых эсеров на заседание фракции.

Поздно ночью через сцену повели и нас на заседание фракции на Малую Дмитровку, в партшколу (б. клуб)...

После этого — разбили нас по районам, и мы ночью разбрелись по Москве.

А со стороны гостиницы «Дрезден», от Страстного монастыря пушки все время палили по восставшим левым эсерам. Утро воскресенья. Почтамт отряд венгерцев из рук левых эсеров отбил. Левые эсеры скрылись.

Конец съезда уже без левых эсеров. Но интересен маленький эпизод. Помню, я сидел во втором ярусе лож в Большом театре, шло заседание. Вдруг выстрел. Паника. Делегаты встревожились. Кто-то пустил слух, что эсеры стреляют. Давка, некоторые бросились бежать, кто начал прыгать сверху вниз. Только спокойный Яков Михайлович Свердлов твердил, звонил звонком: «Товарищи, товарищи, успокойтесь, ничего не произошло». Оказывается, разорвалась граната у часового в коридоре театра, от детонации взорвалась и другая. Часовой-красноармеец тяжело ранен.

Пятый съезд трудно забыть.

Дальше я попал на 7-й и 8-й Всероссийские съезды. Владимир Ильич все так же на этих съездах громит эсеров и меньшевиков... Вместо т. Свердлова съезды уже открывает Михаил Иванович Калинин.

За этот период успел побыть равно и на 9-м партсъезде в Кремле.

Трудно описать подробности об этих съездах. Но лица и фигуры наших дорогих вождей в памяти запечатлелись навеки...

Как много прошло событий за пять лет, как мало прожито времени. За этот период я успел побывать членом на 2-м Всероссийском съезде, в качестве гостя на 3-м съезде, членом на 5-м, 7-м и 8-м съездах Всероссийских, на 5-м Московской области, на 9-м партсъезде и на последней партконференции. А сколько на уездных, на губернском и на волостных!

Даже трудно вспомнить.





---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Г. КОЗЛОВ, М. РУМЕР

★

## ТОЛЬКО НАЧАЛО

*(Заметки о хозяйственной реформе)*

1

С о времени появления документов сентябрьского Пленума ЦК КПСС прошло немногим больше года. Программа действий, намеченная в этих документах, рассчитана на срок куда более долгий. Дело ведь не только в том, что освоение новой экономической системы требует пересмотра большинства прежних экономических категорий, и не только в том, что нужно установить новые хозяйственные связи между предприятиями, дать возможность укрепить новой системе управления. В этом долгом сроке сказалась мудрость организаторов реформы, понимающих, как не просто изменить десятилетиями сложившиеся представления о производстве, взаимоотношениях между начальником и подчиненным, как сложно развязать хозяйственную инициативу.

Итак, вернемся к октябрю минувшего года. Еще действуют совнархозы, еще документы Пленума служат в основном материалом для пропагандистов, а в Московском городском комитете партии собрались двадцать восемь директоров различных предприятий с тем, чтобы обсудить возможности перехода на новую систему планирования и экономического стимулирования производства.

Нам немало доводилось бывать на самых разных деловых совещаниях, проходивших остро и кончавшихся порой драматично, но с такой напряженной обстановкой, с таким накалом страстей встретиться пришлось впервые. Ведь речь шла о понятиях, с которыми люди только-только познакомились, прочитав решения Пленума, и первое, что дошло до глубины их сознания. — было ощущение невероятной возросшей директорской ответственности перед коллективом и перед государством.

Вопросов уйма, а кому их задавать? В министерствах только еще комплектуют штаты, совнархозы пакуют архивы, — к кому же обращаться? В Госплан? Вот и стоит работник Госплана на трибуне, сжимая в руке ворох записок, стоит под градом реплик, выкриков, вопросов. И ни на один вопрос не может прямо сказать — ни да, ни нет.

Люди, собравшиеся сегодня в этом зале, порядки которого — жесткий регламент, спокойный тон, сосредоточенную тишину — они привыкли уважать, ведут себя, как на деревенской сходке. Перебивают докладчика, перебивают друг друга, вступают в перепалку, спорят еще и после конца совещания.

А ведь собрались здесь руководители крупнейших и самых известных московских предприятий. Директора предприятий группы «А», производители средств производства, не знающие отказа ни в новых станках, ни в капитальных вложениях. Директора предприятий группы «Б», гордые тем, что они одевают и обувают всю страну, и вместе с тем несколько лимитированные и в станках, и в капитальных вложениях. И у всех этих людей были, конечно, свои человеческие достоинства и недостатки — собственное честолюбие или честолюбие по отноше-

нию к «своей фирме», уверенность в себе, либо тайные в себе сомнения, и одни из них, уходя с совещания, утвердились в решимости идти до конца, другие колебались: а так ли уж необходимо первым лезть в воду, не зная броду; третьи ушли с убеждением: нужно повременить.

Именно эту последнюю истину многие руководители московских предприятий усвоили куда раньше. Один из них, который не присутствовал на совещании, сказал нам в доверительной беседе: «Я не спешу. Посмотреть надо, что у других получится».

В этой реплике сказалась естественная осторожность и осмотрительность бывшего руководителя, пережившего на своем веку не одну перестройку. За долгие годы хозяйствования он научился приспосабливать производственный организм своей фабрики ко всем несообразностям и неожиданностям старой системы планирования и, познав до конца механизм ее действия, сумел добиться для предприятия прочного положения и относительного экономического благополучия. Но вместе с тем его знания внутренних законов, по которым развивается производство, хватило, чтобы понять: здание, сложенное им по кирпичику, не имеет фундамента, который устоял бы при новой системе. Такой фундамент надо создавать заново.

Большинство из присутствовавших настроилось оптимистически. Но даже и в этом оптимизме были свои оттенки. У одних он происходил от привычки к безоговорочной дисциплине, к слову «надо». Важно начать, выступить первым, стать инициатором. А там — и поддержка в доме, массивную дверь которого он только что закрыл за собой, и доброжелательное внимание министерства, и дополнительные фонды... Словом, инициатору всегда легче.

Но немало насчитывалось в числе двадцати восьми и оптимистов другого рода. Они тоже многолетними трудами строили при старой системе здание своего успеха. Начинали с фундамента, и покоился тот фундамент на трех китах современной экономики — хозрасчете, рентабельности производства, высоком качестве продукции. Они вопреки всем трудностям создавали внутри предприятия как бы макет будущего поля действия реформы (ведь не на пустом же месте она родилась!) — к тому времени у них уже был хозрасчет в цехах, не только инженер, но и рабочий знал, что такое отдача от основных производственных фондов и что значит сокращение оборачиваемости оборотных средств. Они уже тогда умудрялись за счет собственных скромных ресурсов и автоматизировать производство, и платить премии — пусть крохотные, но только за хорошие хозрасчетные показатели. И они тоже понимали, что инициатору — почет, но вместе с тем видели предстоящие трудности и по нелегкому своему опыту знали, как их преодолевать.

Впрочем, никто из присутствовавших на совещании не сказал в тот день ни решительного «да», ни решительного «нет». Но когда три месяца спустя был обнародован список сорока трех предприятий, которым предстояло с 1 января 1966 года начать работу в новых условиях, в их числе было только тринадцать московских, и в числе тринадцати не оказалось многих из участников того памятного совещания. Зато появились новые названия, новые имена.

За эти месяцы страсти поутихли, и началась работа. Экономическим анализом занимались технологи и мастера, партийные работники и начальники цехов и, уж конечно, экономисты, плановики, бухгалтеры. Предстояло дать самим себе отчет в том, что же происходит на предприятии, воссоздать истинную картину положения дел, как бы ни была она пестра. И, кроме того, надо было убедить межведомственную комиссию, состоящую из людей бывалых, компетентных, насквозь знающих производственный механизм, в том, что коллектив может работать рентабельно, получать прибыль, вовремя и полностью сбывать продукцию в новых условиях.

Члены комиссии ясно отдавали себе отчет в том, что от первого шага реформы будет зависеть не только благополучие предприятия, прокладывающего путь другим, но и судьба всего дела, — ведь именно на первом этапе легче всего скомпрометировать новое. Получилось так, что некоторые из предприятий, казавшие-

ся надежными, не выдержали испытания, отсеялись. И нашлись другие, занявшие их место.

Отсеялся завод «Динамо».

Прошел пищекомбинат.

## 2

— Мы динамовцы, — поддразнивает инженеров завода Константин Дмитриевич Петухов. — У нас революционные традиции... Работать надо!

Сам Петухов директорствует на «Динамо» немногим более двух лет. А до того был и министром, и председателем Московского городского совнархоза, и опять министром. Умнейший и острый человек Константин Дмитриевич. Самые сложные и запутанные ситуации, возникающие в производстве, он распутывает с непостижимой быстротой, оценивает со всех точек зрения: и с экономической, и с политической, и с технической, и с человеческой.

Экономическая реформа застала К. Д. Петухова на втором году хозяйствования на «Динамо». К тому времени и Петухов знал завод, и завод знал Петухова. И потому никто не удивился, когда месяц спустя после сентябрьского Пленума на «Динамо» вышел типографским способом размноженный график-приказ о подготовке завода к переходу на новую систему планирования.

Это был документ, подготовленный по всем правилам производственной стратегии, в котором решения Пленума получили конкретное, четкое истолкование применительно к условиям завода — каждого его цеха и каждого отдела. Разумеется, техническим и экономическим службам предстояло провести немалую исследовательскую и аналитическую работу. И в графике были определены сроки ее окончания — две-три недели со дня выхода в свет приказа. Таким образом, к декабрю в экономическую реформу вступал сразу весь коллектив — от заводоуправления до бригады.

Приказ вышел во второй половине октября. Он лег на столы начальников цехов и служб вместе с другим приказом, согласованным с завкомом профсоюза и объявлявшим очередное воскресенье рабочим днем, вместе с длинными списками деталей, которые срочно нужно прогнать через поточные линии завода по «штурмовому» графику, вместе с перечнями изделий, выпуск которых на грани срыва. И в захлестнувшей завод штурмовщине сроки директорского приказа вызывали у многих руководителей лишь недоумение. Однако на тех, кто пытался возражать, спорить с Петуховым, обрушивалась вся сила директорской логики, поток хорошо продуманных аргументов, и воля к сопротивлению сокрушалась более сильной волей. Тем более что возражавшие знали — есть на заводе бригада. Бригада эта в тех же условиях, что и все динамовцы, имеет хозрасчетные показатели и выполняет их.

Об этой бригаде, как и о приказе-диспозиции Константина Дмитриевича Петухова, знала вся Москва. На завод приезжали представители других московских предприятий. Они знакомились с приказом, отдавая должное логике его параграфов, почти военной четкости мысли и лаконизму изложения, спускались в цех, приходили в ту самую, известную бригаду, беседовали с ее руководителем Леонидом Никоновым — человеком толковым, мыслящим. Видели: да, есть хозрасчет в бригаде; видели: по-новому работает никоновская «великолепная семерка» — ребята как на подбор: все студенты, все спортсмены... Но не могли не видеть и другого: штурмовщины, бесхозяйственности, брака. А потом узнавали — в остальных бригадах до хозрасчета, как до Луны, и до осуществления сроков директорского приказа тоже не близко.

У каждого предприятия свои трудности, у каждого директора свои заботы. Когда динамовцев упрекают в том, что они который год не вылезают из авралов (в нынешнем году до шестидесяти процентов месячной продукции выпускали в третьей декаде), они отвечают: «У нас две тысячи поставщиков и потребителей. Один вовремя не поставил, другой вовремя не оплатил — вот и летит все к чертям!» В самом деле, сложная кооперация у «Динамо», но поди найди в стране

промышленный коллектив с простыми производственными связями. Чем глубже специализация, тем шире кооперация. Завод малолитражных автомобилей сугубо специализированное предприятие — выпускает только один автомобиль «москвич», — а участвуют в его производстве несколько сотен поставщиков; одних резиновых деталей на машине около четырехсот наименований с двадцати пяти заводов.

— Когда сейчас речь заходит о том, что предприятие получило право хозяйствовать самостоятельно в рамках государственного плана, то мне невольно хочется выйти за ворота комбината, — говорит директор Московского пищекомбината Борис Иванович Георгиевский. — Ну, разумеется, в переносном смысле. Потому что, мне думается, подлинная хозяйская самостоятельность заключается не только в том, как организованы дела на собственном производстве (не так-то уж и мало было у нас прав раньше), но главным образом в том, как складываются взаимоотношения с поставщиками и потребителями продукции.

Тут, кстати, вспомнилась история, подробности которой мы слышали на комбинате от разных людей. История и в самом деле примечательная.

Несколько лет назад в Славутский райисполком явилась небольшая, но представительная делегация. Здесь были несколько московских пиццевинов, а вместе с ними очень уважаемый местный агроном.

— Мы предлагаем вам новую форму содружества города и деревни, — дипломатично начали гости.

Председатель райисполкома насторожился. Не появились ли у славутцев новые богатые и влиятельные шефы? И это действительно были шефы. Но не те, которые с большой помпой дарят колхозу устаревший станок или посылают на уборку урожая людей. У этих шефов были иные намерения. Они их изложили коротко и решительно:

— Хотим предложить вам сеять цикорий.

— Почему же цикорий, — улыбнулся многое повидавший председатель, — а не, скажем, кенаф или кок-сагыз?

Но москвичи сохраняли полную серьезность. Они объяснили, что цикорий здесь особенно выгодно сеять, и сослались на мнение агронома, который подтвердил, что цикорий всегда рос на Украине и всегда давал обильный урожай и хороший доход земледельцам.

— А кто покупать его будет? — уже серьезно спросил председатель. — Ведь есть же план заготовок.

— План вам изменят.

И москвичи сказали, что они явились сюда не только в качестве посланцев столичного пищекомбината, но и как представители центральных планирующих органов. Дело в том, что цикорий до недавнего времени покупали за границей на золото. И, конечно же, лучше купить за золото, скажем, завод химических удобрений, чем сырье, которое прекрасно растет у нас в стране и будет давать удвоенный урожай на удобренных полях. Это, так сказать, с общегосударственной точки зрения. Но у гостей был и свой собственный интерес. Пиццевикам нужна была собственная сырьевая база, и государство давало им деньги на закупку семян за границей последний раз.

— Ну, хорошо, — не сдавался председатель. — Цикорий, предположим, мы вырастим. Его ведь нужно как-то предварительно обрабатывать? — обратился он к агроному.

— Да, сушить, — кивнул агроном.

— Так где сушить?

Оказывается, гости и это предвидели. Они уже присмотрели старую кузню, где после ремонта и переоборудования можно организовать сушилку.

Москвичи шли на риск. Об этом было прямо сказано председателю и в райкоме и в обкоме. Деньги на создание сушильного завода давал банк, — давал на короткий срок, под проценты, так что договариваться предстояло на строго деловой основе.

— Мы вам гарантируем сбыт, а вы нам — урожай. Иначе поедем искать других поставщиков.

— Зачем искать, — сказал председатель, — уже нашли. Давайте расчеты.

Так началась цикорийная эпопея, в которой было все — и длинные объяснения с неподатливыми правлениями колхозов, и заботы о поставке семян, о правильной агротехнике, и столкновения с местными стронтелями, которые переделывали старую кузню под завод. Сейчас об этом на комбинате вспоминают с удовольствием. Не только потому, что ссуду вернули вовремя. Славутский филиал снабжает цикорием Московский пищекомбинат и другие предприятия. Теперь цикорий уже продают за границу, так что затраты на семена давным-давно окупилась. Чтобы закончить эту историю, нужно сказать, что славутский завод с каждым годом поставляет комбинату наряду с цикорием все больше сушеных овощей. А овощное производство развивается опять-таки за счет ссуд Госбанка.

Впоследствии поездку за цикорием называли коммерческим подвигом. Правда, называли не без улыбки, но имели все же в виду весьма серьезные перемены в сознании коллектива. Создание славутского филиала как бы вновь открыло в людях забытую черту — деловую хватку. Теперь уже банковскую ссуду хотели получать все — и технолог (нужно 137 тысяч на организацию производства кукурузных палочек), и механик (автоматы для изготовления насыпных концентратов окупятся за месяц), и начальник транспортного цеха (присмотрел новые электропогрузчики)...

Вот о подобных «выходах за ворота» и говорил Борис Иванович Георгиевский:

— Чтобы обеспечить себя сырьем и оборудованием, мы выходили на дорогу, ведущую к поставщикам, а теперь надо идти и на другую — к потребителю. Нам нужны прочные связи с торговлей. В новых условиях основной показатель — реализация продукции...

Именно это предприятие — Московский пищекомбинат — оказалось лучше других подготовленным к реформе. Подготовлено экономически — налаженный сбыт, относительно устойчивое снабжение, полная загруженность оборудования. То есть, иными словами, говоря языком экономики, и основные и оборотные фонды использовались полноценно. К моменту перехода на новую систему производство на комбинате было в хорошем состоянии — завершена в основном техническая реконструкция, продукция выпускается ритмично, качество ее особых нареканий не вызывает. Наконец коллектив был подготовлен психологически, в нем исподволь развивались деловая хватка, умение вести счет деньгам, разумная предприимчивость. Люди уже перешагнули невидимый психологический барьер реформы — первый из многих барьеров, которые им приходится и еще придется преодолевать на протяжении ряда лет.

Пищекомбинат оказался не единственным предприятием, как бы создавшим модель вновь возникающих производственных отношений. Нашлись и другие.

Техническое перевооружение производства за счет ссуд Госбанка провел завод «Электросчетчик». Почти полную систему хозяйственного расчета в цехах ввел Кунцевский игольно-платиновый завод, стремясь повысить надежность своих приборов; финансировал и организовал производство новых материалов у поставщика завод «Манометр». Вот из таких-то предприятий, утвердившихся на здоровой экономической основе и обладающих духом предприимчивости, и выбирались кандидаты.

На пищекомбинате, как и на других предприятиях, переходящих на новые условия хозяйствования, тоже издавался приказ-диспозиция, подписанный директором. Но этот приказ возводил в закон то, что было уже сделано раньше, или то, чему было положено прочное начало.

Теперь вот и пришла пора поговорить о директорском приказе, о личности директора, о его многотрудной работе и общественном положении. Начнем с азбучной истины: директор — единоначальник. И это его единоначальние мы рев-

ностно и неукоснительно оберегали на протяжении многих лет. Так сильно оберегали, что директор стал непререкаемым авторитетом у себя на предприятии и лицом, единолично ответственным за все. Какое бы решение ни принял главный инженер, главный конструктор, главный технолог — словом, любой «главный», оно не будет решением, пока директор не скажет «да». И эта законодательная сила директорского «да» объясняется отнюдь не только личными волевыми качествами того или иного руководителя. Кто бы ни ошибся, а выговор — директору. За бракованное изделие, ушедшее на экспорт, за нехватку мест в детском саду или душевых рожков в бытовом корпусе, за дюжину пьяниц, зарегистрированных в вытрезителе, — словом, за все спрос с директора.

Подумать только, сколько цифр, фактов, имен должна удержать директорская память, каким долгим должен быть его день, чтобы до всего дойти самому и во всем самому разобраться! Это, конечно, не хуже нас с вами понимали и в вышестоящих хозяйственных организациях. И порою, когда речь шла, скажем, об освоении новой техники или капитальных вложениях, спрашивали у главного инженера или заместителя. Но если те, не дай бог, на вопрос не ответили, — поднимают с места директора. Встань и отвечай.

И отвечает. Один старый, уважаемый московский директор, дополняя отчет своих специалистов, обязался выпустить столько невероятно сложной и трудоемкой продукции, что те только ахнули. Но цифра названа и зафиксирована в документах. Многократно повторенная, она замелькала в печати. А завод не дал цифру. Хотя она все-таки не была, как говорят, потолочной. Кто-то, а он, директор, знал, как велики резервы его завода, и думал, что сможет мобилизовать эти резервы, поднять, как встарь, коллектив на штурм, зажечь в нем энтузиазм. Потому что был у директора в этом деле еще с первых пятилеток накоплен изрядный опыт. Расчет не оправдался. Но не потому, что не удалось поднять коллектив, а потому, что первый его порыв не был подкреплен организационной системой управления производством. В штурмовые дни последних декад месяца директор пропадал в цехах, инженеры становились к станкам, мастера развозили заготовки, работники управления проталкивали детали сквозь «узкие места» технологических потоков. А между тем в их опустевших кабинетах лежали неотправленные заявки на материалы и непроверенные чертежи, раздавались звонки с заводов-поставщиков и заводов-потребителей, из совнархоза, из главснабов. И постепенно рушилась перспектива нормальной работы в следующем месяце.

В то время уже нельзя было работать, как встарь. И потому цифра-павлин вышла второй раз в свет изрядно общипанная. А директор стал рядовым инженером главка. Он взял все на себя и за все сам ответил.

История эта давняя. Но и сейчас дела на заводе идут далеко не блестяще. А когда спрашивают, в чем дело, работники предприятия говорят сокрушенно: «Да что может быть хорошего, если скоро год, как работаем практически без директора».

Вот что значит сегодня директор на предприятии. Можно соглашаться или не соглашаться с таким его значением, но против факта возражать не приходится. Решения сентябрьского (1965 года) Пленума и XXIII съезда партии намечают демократизацию управления производством. И не только декларируют ее, но самой новой экономической системой делают невозможным волевое правление директора на предприятии. Те из директоров, кто понял это, перешагнули через психологический барьер и первыми вышли на дорогу экономической реформы.

### 3

В кабинете директора Второго часового завода Николая Николаевича Волкова тишина. Ни пачек бумаг, ждущих подписи, ни телефонных звонков, ни посетителей, прерывающих беседу и словно бы напоминающих о дорогой цене директорской минуты. Волков как будто не заботят текущие дела. В тот час, когда мы находились в его кабинете, начальник производства проводил у себя планерку.

Директор на нее не торопился и селектор у себя не включал. Мы поняли из беседы с Николаем Николаевичем, что его волнуют прежде всего перспективы завода, строительства корпусов, новые заказы. Словом, то, что будет решать судьбы производства завтра и без чего станет невозможно работать в новых условиях. А как сейчас идет реформа?

— По этим вопросам — к главному экономисту Александру Андреевичу Привезенцеву, — говорит директор. — Он у нас главный теоретик, и практик тоже главный.

Должность главного экономиста учреждали года четыре назад. И не просто учреждали, а думали о том, кто должен на ней находиться и какими качествами следует обладать такому человеку. Спорили о его правах и обязанностях, говорили о месте, которое предстоит ему занять в жизни предприятия.

Место это определилось не сразу, не в один день. Казалось бы, обо всем четко сказано в положении, в приказе совнархоза. Главный экономист обязан координировать деятельность заводских экономических служб, быть заместителем директора по экономике, а значит, его правой рукой, его главным хозяйственным советником. Но что значит координировать? У начальника каждого отдела свои четко обозначенные обязанности, свои заботы. У главбуха — учет, у плановика — план, у финансиста — банк, финансы. Люди все опытные, чаще всего седые уже, на местах своих сидящие не год, не два, советов и указаний им не требуется — сами кого угодно научат. Да и директор привык обращаться прямо к ним непосредственно через голову заводов. У него с начальниками отделов полный контакт и понимание с полуслова.

И получалось на первых порах: у плановика, у главбуха, у начальника отдела труда — в комнатах всегда люди, невпроворот дел, а главный экономист — в пустом кабинете сидит над инструкцией. Правда, у него есть свой, только ему подчиненный аппарат — лаборатория экономики и организации производства, и у лаборатории немалый объем исследований. Но легко себе представить, как смотрят на производстве, где люди сугубо деловые, своего рода прагматики, на исследования, не дающие немедленной и ощутимой отдачи.

Надо сказать, что многим из обитателей тех спокойных кабинетов такая жизнь приходилась не по нутру. Люди они чаще всего заводские, не пришлые, не «варяги», а те же вчерашние плановики, бухгалтеры, секретари парткомов, а иногда и начальники цехов, технологи. На некоторых заводах считали, что назначать главным экономистом следует не опытного в планировании специалиста, привыкшего к существующему порядку вещей и смирившегося с недостатками хозяйственной системы, а человека как бы со стороны — технолога, механика, пусть и без специального экономического образования, но обладающего свежестью взгляда.

Потому и организовали сразу же учебу для главных экономистов. На добрых полгода они выбывали из заводской жизни, и, надо сказать, без особого ущерба для производства.

Прошло четыре года. Первые же месяцы экономической реформы, изменив многие устоявшиеся заводские представления, выдвинув на передний план то, что раньше казалось второстепенным, показали, сколь важна и значительна была та незаметная, ведущаяся исподволь в тихих кабинетах работа экономических лабораторий, главного экономиста. Теперь эта работа становилась как бы опорой реформы, несла частицы опыта, которому нет цены в нынешних условиях, — за которым приезжали издалека.

На Кунцевском игольно-платиновом заводе оказались разработанными простые и удобные карты для индивидуального хозрасчета, введены элементы такого расчета. Там же экономическая лаборатория ввела специальные экономические паспорта на оборудование, с помощью которых легко считать уровень рентабельности.

На шинном заводе внедрили технические нормы, рассчитанные так точно и четко, что всякое их перевыполнение без ущерба качеству почти невозможно.

На автомобильном заводе имени Лихачева уже после того, как технологи заказали станкостроителям автоматические линии, да и не только заказали — записали их освоение в обязательства, после всего этого подсчитали экономическую эффективность от внедрения этой техники и пришли к выводу, что часть линий не нужна — можно обойтись агрегатными станками. И разгорелся спор, в котором экономисты победили, доказали свою правоту с цифрами в руках.

Так постепенно, шаг за шагом, главный экономист со своей лабораторией обретал место в жизни предприятия. Но подлинная проверка всего его опыта, знаний, всех его сил и способностей началась с наступлением реформы. Тут все пригодились — и свежесть взгляда, и учеба, и связи с наукой. Пришло его время.

Нет сейчас более беспокойного места на любом московском заводе, чем комнаты лаборатории экономки и главного экономиста.

И у Александра Андреевича Привезенцева времени было в обрез. Главный экономист Второго часовой завода собирался в Углич, на родственник завод. На конференцию — делиться опытом. Не в первый раз за этот год ему предстояло делиться опытом; в частых публичных выступлениях рассказ его успел приобрести четкую композицию. Начинать он привык со «встречного» плана.

— Что ж, давайте поговорим о «встречном»...

Как и остальные сорок два предприятия, первыми перешедшие на работу по новой системе планирования, Второй часовой завод в начале года ходатайствовал об увеличении плана выпуска продукции. Уже в самой добровольности подобной просьбы была новизна особого толка.

В середине лета предприятия всех отраслей промышленности получили контрольные цифры развития производства на пятилетку. Эти цифры предстояло соразмерить с возможностями каждого завода, а потом надо было сообщить министерству, в состоянии ли завод справиться с плановыми заданиями. И тут отчетливо проявилась разница в подходе к плану. Нам рассказывали в министерствах, что предприятия, работающие на основе старой системы, как и встарь, заявили: контрольные цифры завышены. Предприятия, начавшие осваивать принципы реформы, потребовали увеличения плана.

Здесь есть простая и ясная закономерность. До реформы предприятие поощряли за перевыполнение плана, после — за выполнение. Чем больше план — тем выше поощрение. Вот и все. А поди привыкни, когда ты десятилетиями приучен зажимать резервы, держать их про запас для перевыполнения... Потому и начинает Александр Андреевич, как и другие его коллеги, свой рассказ со «встречного».

Но формирование «встречного» плана, выявление для него резервов было делом, в общем, обыденным. Не нашему хозяйственнику, переживавшему, бывало, за год раз по пять поправки к плану (и по случаю ошибки в совнархозе, и по случаю праздника, и в ознаменование крупных событий), привыкать к этому напряжению. Главные трудности начинались уже после того, как план был принят и обеспечен внутренними резервами.

Надо было внедрять хозрасчет.

Хозрасчет. Нет более популярного и часто произносимого термина, чем этот. Он появился в обиходе нашей промышленности без малого сорок лет назад. Еще в постановлении ЦК ВКП(б) «О реорганизации управления промышленностью», принятом в декабре 1929 года, говорилось с необходимостью внедрения хозрасчета. Между тем проблема актуальна и сейчас. До сих пор отдельные предприятия сообщают о том, что у них в цехах началось или идет внедрение хозрасчета.

Но попробуем прежде всего определить термин.

Хозрасчет — это основной метод социалистического хозяйствования, основанный на принципах окупаемости затрат предприятия и обеспечении прибыльности его работы, на материальной ответственности предприятия за выполнение плана, с одной стороны, и материальной заинтересованности коллектива в результатах работы — с другой.

Уже само подобное определение, заимствованное из учебника экономики.



показывает, какие трудности подстерегают предприятие на пути освоения хозрасчетных методов работы. В истории внедрения этих методов в известной мере отразилась история нашего государства.

Начавшись на рубеже тридцатых годов, хозрасчетные отношения в предвоенное время охватывали целые группы предприятий. Но пришла война, а вместе с ней — методы волевого руководства, не считавшегося ни с затратами, ни с убытками. Ведь производство подчинялось одной цели. Цель была достигнута, а методы остались на долгие годы. И когда промышленное производство снова стало, если можно так сказать, многоцелевым, волевое планирование вошло в противоречие с принципами хозяйственного расчета.

По сути дела первой победой этих принципов были решения сентябрьского Пленума с их мероприятиями по усилению использования экономических рычагов, возрастанию роли прибыли, созданию фондов поощрения.

Но, расширяя права предприятия, давая ему возможность строить свою деятельность на взаимовыгодных по отношению к государству началах, партия требует, чтобы подобное совпадение интересов происходило и внутри самого предприятия, чтобы принцип поощрения по труду — строго по труду — осуществлялся на всех этапах производства: в цехе, в бригаде, по отношению к каждому рабочему. Только таким путем можно в нынешних условиях мобилизовать резервы производства, добиться подъема его эффективности. Таковы идеи, диктующие необходимость внедрения полного внутризаводского хозрасчета.

Главная трудность внедрения заключалась в том, что предстояло создать заново такие производственные отношения, при которых интересы механических цехов совпадали с интересами сборочных, основных цехов — со вспомогательными, всех цехов — с заводоуправлением, а интересы каждого работника, даже самые эгоистические, — с интересами цеха, завода, государства.

Государство покупает у предприятия продукцию по оптовым ценам. Оптовая цена вмещает — во всяком случае должна вмещать — все затраты на производство изделия и на расширенное воспроизводство. Значит, и цех должен сбывать свою продукцию соседнему цеху по стоимости, составляющей часть оптовой цены.

Деталей в часах сотни. Законченная деталь может стоить доли копейки. Но эта стоимость возникает постепенно, по мере движения крошечной оси или зубчатого колеса, от операции к операции, от станка к станку. В расценке этих мизерных деталек должны отразиться затраты на купленный заводом металл, на машинное масло, на инструмент. В них сотыми долями копейки следует учесть зарплату станочника и механика, ремонтировавшего станок, заточника, который точил инструмент, и бухгалтера, считавшего все эти затраты. Повторяем: деталей — сотни, людей — тысячи, и надо выделить вклад каждого из них в общий котел заводских затрат. Не выделить нельзя, потому что главный принцип хозяйственного расчета — каждому по труду, строго по труду.

Значит, нормировщикам отдела труда и зарплаты надо садиться и заново пересчитывать все нормы, чтобы на какую-нибудь операцию не вышло лишней или не достало минуты, потому что наша точная оптовая цена может вырасти и снизиться на десятые доли копейки. А инженерам отдела главного механика следовало оценить стоимость, производительность, меру износа каждого станка и машины, потому что за основные производственные фонды надо теперь платить, и эта плата также должна вмещаться во внутризаводские оптовые цены. И нужно, кроме того, сосчитать стоимость услуг ремонтников, потому что и эти услуги тоже должны отражаться на цене. Словом, не было заводской службы, которая в течение четырех месяцев не занималась конкретной и элементарной экономикой собственного производства. А между тем завод не стоял и были еще текущие дела. Заводские службы работали вдвойне, постепенно постигая все тонкости реформы.

Обо всем этом Привезенцев рассказывает обстоятельно. Дело сделано добротнo, надежно, сомнений хозрасчетная система не вызывает. Но вот он отложил одну пачку бумаг, взял другую и оживился. Бумаги в его руках внешне ни-

чем не отличались от тех, что он только что отложил, — та же подслеповатая печать **рогапринта**, графы, цифры: инструкции по премированию. Лишь по ходу его рассказа стало понятно, почему он заговорил об этих инструкциях с особой горячностью.

Правда, действующую и поныне систему оплаты труда никто не собирался отменять. Она проста и понятна каждому. Если ты, как говорят на заводе, сдельщик, значит есть у тебя тарифная ставка — оклад и норма выработки. Выполнил — к окладу прибавка, перевыполнил — прибавка больше. Допустил брак — вычли строго определенный процент. И так, поощряют за количество и наказывают за брак. Но издревле известно: наказание — не лучший метод воспитания. Мету наказания придумал один человек, но сотни людей ищут, как обойти ее. И случай штрафа за брак — происшествие на заводе чрезвычайное. А о браке говорят как о деле обыденном и беде неизбежной.

Брак браку рознь. Есть неисправимый, тот, что в утиль, в переплавку. А есть исправимый, что идет на доделку. И он-то самый страшный. Как ни стараются уловить деталь с изъянцем, она все равно проскакивает, словно бы между пальцами контролеров, на сборку, попадает в готовые часы, принося заводу рекламации и создавая дополнительную нагрузку мастерской гарантийного ремонта. На заводах создают целые бригады, участки, которые только и занимаются исправлением исправимого. Потому что поди разбери в многомиллионном потоке деталей, какие сделаны Сидором Ивановым, а какие Иваном Сидоровым. Потому что и того и другого за явный брак наказывают, а за хорошее, устойчивое качество (каждая деталь микрон в микрон, по чертежу) не поощряют.

Для Второго часового завода не существует понятия «первый сорт», «второй сорт». Часы могут быть только годными или негодными, а в эту вторую категорию они попадают даже из-за пустяковой царапины на корпусе. Вот почему Александр Андреевич Привезенцев с нескрываемым торжеством демонстрирует преимущества своей нынешней системы премирования, которая не только наказывает за брак, но поощряет высокое и устойчивое качество продукции.

Механизм таков. За каждый процент снижения возврата часов с контрольно-испытательной станции сборщик на конвейере получает полтора процента своей тарифной ставки в виде премии. Рабочему механического цеха выплачивают премию за сдачу продукции ОТК с первого предъявления. А это и есть та самая продукция, которую доделывать не надо.

Таким образом, уменьшаются затраты на производство, сокращается количество рекламаций, завод создает хорошую репутацию своим часам.

Конечно, улучшение качества благотворно сказывается на заводском бюджете. Однако в бюджете есть и другие — прямые — статьи доходов и расходов. Скажем, рабочие трех механических цехов, обтирая тряпками станки и руки, тратят семьдесят пять тысяч рублей в год. Эти тряпки, называемые «обтирочными концами», числятся у главного экономиста в графе «вспомогательные материалы». Надо, чтобы люди бережно относились к этим материалам. И Александр Андреевич Привезенцев демонстрирует «Положение о премировании рабочих за экономию основных и вспомогательных материалов и покупных полуфабрикатов».

Здесь тоже принцип действия предельно прост. Сэкономил инструмент, металл, уменьшил расход эмульсии, смазочного масла и тех самых обтирочных концов — половину их стоимости получишь как премию.

У начальника цеха, у мастера, у цехового механика — у всех, кого именуют ИТР, — и сфера влияния на заводские дела шире, и соответственно система премирования сложнее. Мы думаем, что читатель поверит нам на слово: у Александра Андреевича Привезенцева и эта система гоже продумана до мелочей.

#### 4

А потом мы пошли в цех. И, выйдя за порог кабинета главного экономиста, вступили в иной мир, где все его четкие экономические построения причудливо преломляются в сознании людей, еще не ощутивших на себе никакого влияния

хозяйственной реформы, где строй логических и математических формул разрушается своеобразной логикой хаотически организованного производства. И пусть не покажется читателю парадоксальным это неожиданное сочетание слов.

То, что мы увидели и услышали в цехе, ни в коей мере не расходилось с нашим представлением о цехах старых московских заводов. Переуплотненные («Тележку с деталями везут — обязательно заденут за станок и что-нибудь сломают»), заставленные попеременно безнадежно устаревшим и самым новейшим оборудованием («Подали бумажку на склад: тридцать четыре станка лишние. Только кто их купит?»), простаивающие и шгурмящие («Две недели стоит поточная линия — нет металла. С ремонтом не поспеваем — в ремонтном цехе токари работают на металл по программе»). И всем этим хаосом руководит железная и неумолимая логика: план производства, составленный в единственном оптимистическом варианте, должен быть выполнен любой ценой.

Короче говоря, то, что мы увидели в цехе, всем существом годами устоявшегося порядка вступило в яростное противоречие с новой системой планирования и экономического стимулирования производства. Соблюдались лишь «спущенные сверху» правила игры.

«Руководящие, инженерно-технические работники и служащие основных цехов, — трактует инструкция, — премируются по результатам своей работы за выполнение и перевыполнение плана по товарной продукции и рентабельности...» И поясняет: «Для определения уровня рентабельности принимается балансовая (то есть вся полученная заводом. — Г. К. и М. Р.) прибыль за вычетом платы за производственные основные фонды и оборотные средства...»

Итак, «прибыль за вычетом платы за производственные основные фонды». Иными словами, с меньшим количеством станков надо выполнить тот же план. И цех предлагает продать тридцать четыре станка. Список — в кармане у механика, станки — на своих фундаментах в цехе. Механик убежден, что продавать их не нужно, потому что, во-первых, нельзя работать без резерва, когда ремонтный цех то и дело отвлекают, чтобы заткнуть брешь в основных цехах, и потому, во-вторых, что станки эти, несмотря на почтенный возраст и невысокую производительность, надежней новых автоматических, построенных здесь же, на заводе, по проектам своих же конструкторов. И еще он совершенно убежден в необходимости пополнить свою ремонтную мастерскую двумя станками — так оно спокойнее.

Впрочем, никто и не собирается брать у механика его тридцать четыре станка. Во-первых, потому что нет места для них на складе и, во-вторых, вряд ли найдется на них покупатель — станки старые и приспособленные сугубо к часовому производству. Но наперед считается, что цех, а значит, и завод имеют потенциальную возможность продать излишнее оборудование. Правила игры соблюдены.

Итак, «прибыль за вычетом платы за... оборотные средства». Завод, заинтересованный в уменьшении платы за металл, берет его точно на программу. А цехи заинтересованы в том, чтобы иметь страховой запас деталей, и потому перегоняют металл в «незавершенку». Мало ли что! Везли тележку да поломали три станка. Сунулись к ремонтникам, а там токари пятого-шестого разряда на универсальных станках режут дюралевые трубы на кольца — корпуса для будильников. Им не до ремонта. Нет, уж лучше подстраховаться.

А потом кончается металл и набегают двухнедельный простой, за который не с кого взыскивать. Перерасходованы оборотные средства в цехе, а значит и на заводе. Но не со зла же это сделали — для плана. По-нынешнему — для плана по реализации. Значит, настаивают начальники цехов, надо заводские нормы материально-технического снабжения привести в соответствие с истинными потребностями. И тогда баланс сойдется и правила игры будут соблюдены.

Новая система планирования строга. Она предполагает, что производство на заводе организовано четко, что мощности оборудования «пропускают» без задер-

жек весь поток продукции, что методика учета и техника учета доведены до высоких степеней совершенства и элементарной простоты. И нужны еще многие условия, чтобы математическая логика, на которой построен хозяйственный баланс современного предприятия, совпала с логикой цеховой жизни. Но, видно, не совпадают эти две логики. Иначе почему бы в конце августа начальник цеха гарантийного ремонта (того самого, что исправляет исправимый брак) требовал в заметке, помещенной в многотиражной газете, большего внимания своему коллективу, объем работы которого непрерывно возрастает.

А между тем Александр Андреевич Привезенцев с законной гордостью показывает инструкции, созданные — без преувеличения — самоотверженным трудом заводских инженеров. Инструкции в самом деле отличные, и труд инженеров достоин восхищения. И все же эти инструкции остаются лишь остроумными правилами очень умной игры для солидных деловых людей... В этом нет вины главного экономиста. В этом беда московской промышленности.

Представим себе карту города, на которой территории, занятые заводскими и фабричными корпусами, окрашены в разные цвета в зависимости от возраста предприятий.

Скажем, черный обозначает самые старые, построенные в середине прошлого века. Черными пятнами самых причудливых очертаний покрываются на карте берега Москвы-реки и Яузы. На одной только Рубцовской набережной таких пятен и пятнышек можно насчитать более ста. Это понятно — необходима была вода для технологических целей и нужен был транспорт. Река дает и то и другое задешево. Зато дорогá удобная городская земля. Потому строились на набережных за редким исключением крохотные заводики и фабрички.

Второй цвет — например, синий — охватит старую Москву почти непрерывным кольцом по Окружной железной дороге. Это оставили след конец прошлого и начало нынешнего века. А сверху на синий и в промежутке между ним нужно густо, целыми массивами накладывать красный цвет первых пятилеток. Красные пунктиры лягут и вдоль радиальных железнодорожных линий.

Если на все последующие годы мы заведем желтую краску, то она отметит новое строительство узенькими прямоугольничками — все на тех же черных, красных и синих полях, почти или совсем не затронув новые жилые районы.

В последние годы промышленная Москва строилась как бы контрабандой. Считалось, что, запретив строительство предприятий в городе, можно тем самым сдержать бурный рост населения и приостановить надвигающийся жилищный кризис.

Однако в то время, когда одна рука поднималась в запретительном жесте, другая, не отрываясь от стола, подписывала планы роста производства: превысить достигнутый уровень на столько-то процентов. И те, кто запрещал, и те, кто подписывал, знали, что чудес не бывает. Старые корпуса, которые московские тароватые промышленники, стараясь перещеголять друг друга, строили то в псевдоготическом, то в псевдогерманском, а то и в псевдорусском шатровом стиле, не в состоянии вместить в себя современную технику. Оставалось только набивать оборудованием старые тесные цехи до пределов, превышающих всякие допустимые нормы. Московский завод шлифовальных станков с 1935 года по 1955 год без малого в десять раз увеличил выпуск продукции и только на сто с небольшим квадратных метров за двадцать лет расширил площади цехов. В то же время построены были и оба московских часовых завода. На них соотношение площадей и объема производства сложилось примерно таким же образом.

Когда на заводе или фабрике все без исключения свободное пространство было заставлено станками, когда цеховые службы возносились в голубятни, сваренные под потолком из листового железа, а отделы управления поселялись в бывших раздевалках и душевых, наступала острая необходимость строиться. И строились. С огромными трудностями (нужно было «пробить» особое решение государственных и местных организаций) на территориях старых московских заводов возводили «технологические пристройки» и «технологические надстройки»,

«склады металлов» и прочие сооружения, в которых даже неспециалист угадывал с первого взгляда новые производственные цехи. Так невинная технологическая пристройка на карбюраторном заводе обернулась корпусом автоматических линий. На заводе шлифовальных станков построили склад, который стал цехом. На «Электросвете» отремонтировали сгнившие дореволюционные перекрытия, а после ремонта на чердаке оказался цех.

А потом, это уже в последние пять—семь лет, строительство предприятий стали вести в более широких масштабах под видом реконструкции. Но к старым цехам, как правило, не прикасались, а на старых территориях возводили новые корпуса.

От такого контрабандного строительства перекосилась экономическая география города: там, где люди работают, негде жить; там, где живут, негде работать. Там, где необходим простор, чтобы организовать поточно-механизированное производство, заводская территория зажата в жилом массиве. Или столетний корпус угрожающе кряхтит под тяжестью одной автоматической линии; вторую ставить опасно.

Статистика утверждает, что в последние два года прирост объема производства в Москве происходил преимущественно за счет роста производительности труда. Но это — только в последние два года. И нужно еще учесть, что цифры роста производительности труда (выработка на одного работающего в рублях) при весьма неточных оптовых ценах на продукцию не всегда соответствуют действительности. Так что приток рабочей силы извне продолжался в течение всех лет странной «консервации» московской промышленности, и все эти годы баланс рабочей силы в городе был — и остается сегодня — отрицательным.

Такова первая группа причин несовместимости двух логик. Есть и вторая, не менее существенная.

Мы боролись с бюрократизмом и канцелярщиной на всех фронтах и всеми видами оружия. Нельзя сказать, чтобы бюрократизм был побежден. Что же до канцелярщины — то в результате многолетней борьбы оказалась во всяком случае сведенной под корень вся могучая дубрава специалистов делопроизводства. Заодно была выкошена и молодая поросль конторских работников. В результате популярная брошюра В. И. Терещенко, излагающая азы конторской механики, воспринимается как откровение пророка.

Поверьте — это не преувеличение: ежегодно Москва потребляет сорок тысяч штук деревянных конторских счетов.

Многие секреты делопроизводства утеряны. О технологии «канцелярщины», об ее совершенствовании никто и не думал. Потому как большое открытие прозвучало в Московском городском совнархозе предложение группы инженеров заменить пятьсот исходящих писем, которые каждый раз заново приходилось сочинять десяткам людей, пятьюдесятью стандартными типографскими бланками. Потому никак не могут на Втором часовом заводе найти подходящую форму карты, чтобы наладить взаимные расчеты между вспомогательными и основными цехами.

Хозрасчет фиксируется в учетных денежных документах и с их посредством осуществляется. Прощтрафился цех перед смежным цехом — возмести ему ущерб. А как? А вот как.

Сборочный конвейер простоял два часа из-за нехватки деталей, вовремя не поданных из механического цеха. Садись мастер сборки и заполняй химическим карандашом под копирку шестьдесят простоявших листов. А потом цеховой нормировщик должен отметить в них среднечасовую выработку каждого из шестидесяти простоявших без дела рабочих — разряды не у всех одинаковые. А потом бухгалтер цеха выведет среднечасовую зарплату, а потом...

Ну уж, извините. Начнем сначала. Мастер, брезгливо отодвинув бумажные простыни бюрократических форм, выйдет из конторы к девочкам и скажет: «Девочки, хотите заработать — надо на два часика задержаться. В долгу не останусь». И девочки задержатся на два, на три часика: и план будет выполнен и

никаких денежных претензий соседнему цеху никто не предъявит. Себе же дороже.

Все отражается на цехе. Псевдоконсервация промышленности, сопровождаемая планами — «достигнутый уровень плюс столько-то процентов», — загнала его на хорошо переоборудованный чердак. Борьба с канцелярщиной и бюрократизмом лишила его счетной техники и конторских работников. Цех живет своей легкой жизнью, у него свои житейские проблемы. Не понять этой жизни, не решить эти проблемы — значит не преодолеть психологический барьер реформы.

## 5

С 1 апреля нынешнего года цех пластмасс Московского телевизионного завода, единственный на всем предприятии, перешел на работу по новой системе планирования и экономического стимулирования производства. Руководителям завода, решившимся на подобный эксперимент, нельзя отказать в известной смелости. Может ли одно заводское подразделение работать по-новому, а все предприятие — по-старому? Можно ли осуществить полный хозяйственный расчет только лишь для одного участка производства, выделив его затраты и доходы из общего заводского котла. и насколько такой хозрасчет будет реальным и полным?

На телевизионном заводе, отвечая на подобные вопросы, заняли, если можно так сказать, крайнюю позицию. Да, можно, да, нужно и даже необходимо.

И вот цеху пластмасс дают все права и обязанности самостоятельного предприятия. Он покупает у завода сырье, платит за использование оборудования, продает свою продукцию другим цехам по оптовым ценам, образуя у себя фонды развития производства и материального поощрения. Словом, предприятие в предприятии. Полнейший хозяйственный расчет.

Всю зиму трудились экономисты, рассчитывая цеху новые показатели, определяя его затраты и будущие доходы, намечая каналы, по которым он будет получать прибыль. Четыре женщины с утра принимались рыться в кипах ведомостей, просматривали сметы и чертежи, щелкали костяшками счетов, звонили по телефону в отделы, уточняя цифры. Вот так выглядела эта зима с точки зрения цехового экономиста Нины Николаевны Халимон.

У секретаря партбюро слесаря Геннадия Васильевича Розанова в те же далекие дни были иные дела и заботы.

— Цех у нас небольшой. Так что кто чем дышит — все как на ладони.

Мы начинаем наш разговор в рабочий час, прямо у верстака, а кончаем в красном уголке, куда Розанов приходит после душа в модном, наглаженном костюме, похожий на студента, — на эдакого бывалого, все успевающего студента из тех, кого хватает и на учебу и на спорт... Он и в самом деле студент-вечерник, только он еще и слесарь по пресс-формам высшего разряда, еще и секретарь партийного бюро.

— Был вот мастер у нас один, человек вроде неплохой, молодой еще, а равнодушный какой-то. И слова своего не имел, скажет — не сделает, пообещает — забудет. Понимаете, когда речь шла об экономике, тут у нас много помощников — и плановый отдел, и лаборатория, и главный экономист. Но с людьми нам самим решать надо было. А решать не так просто. Вот, скажем, сменить бы этого мастера, но, во-первых, нелегко другого найти, а во-вторых, пока-то новый освоится. В каком же полку перед наступлением командиров меняют?..

Все-таки решили менять инженерно-технических работников. Четверо новых пришли незадолго до перехода на новые условия работы...

— Смотрите, какие должности заняли эти люди, — говорит парторг, — должности все ключевые, от которых все зависит.

У заместителя начальника цеха Татьяны Ивановны Соркиной своя точка зрения, — и снова иная забота: заделы, отношения со смежниками. Арматуру цеху поставляют соседи — механические цехи. И хоть находятся они в одном дворе —

хлопот не оберешься. Раньше можно было отговориться на оперативке — у нас, мол, все готово, все выпущено, да вот не дают нам арматуру. Теперь новый показатель — объем реализованной продукции, не изготовленной, а реализованной, доставленной потребителю. Как ни ссылайся на смежников — нет арматуры, нет и плана.

А день начальника цеха Бориса Марковича Зеличенко распределен между совещаниями у директора и главного экономиста и многочасовыми молчаливыми «сидениями» в отделе кадров, где проходят за день десятки людей, нанимающихся на работу, среди которых надо найти замену тем, кто «не тянет». А кроме того, ему еще надо заниматься делами, что включают в себя заботы и Розанова, и Соркиной, и Халимон, и весь коллектив цеха.

Никаких неожиданностей первоапрельский день цеху не принес. И когда теперь о нем вспоминают, то не могут его выделить из череды последующих дней. Может быть, был он чуть полегче, потому что позади оставалось напряжение последней декады марта...

Дни и дальше шли, как обычно, и небольшие ЧП не прерывали ровного их течения. Вышла из строя пресс-форма, подвели смежники, велик процент брака в партии деталей — всего этого было, пожалуй, даже меньше, чем всегда, — сказывалась долговременная подготовка к реформе. Вот только почаше стали подниматься мастера на галерею к экономистам, да начальник цеха почаше стал бывать в заводской бухгалтерии, где завели специальный лицевой счет. В него заносились все затраты и доходы цеха. Впрочем, об этих тонкостях учета знали далеко не все.

Уже тридцатого стало известно: план по реализации перевыполнен. За весь апрель не было ни одного тревожного сигнала со сборки. Значит, и с номенклатурой все в порядке. Удачный месяц. И когда спустя некоторое время на заседании завкома цеху присудили первое место, а в кабинете Зеличенко появилось заводское переходящее знамя — все восприняли это как должное. Оставалось ждать премий.

Как-то уже в конце мая начальнику цеха позвонил главный экономист:

— Борис Маркович, зайти. Тут итоги за апрель подбили.

Вернулся Зеличенко молчаливый, притихший. Ходил по пролетам, никому ничего не говоря. Остановился у верстака Розанова, едва слышно произнес:

— Прибыли у нас на лицевом счету с гулькин нос.

— Быть не может...

На следующий день Розанов созвал закрытое партийное собрание. Пятнадцать коммунистов собрались в красном уголке, чтобы обсудить положение дел в цеховой экономике.

Собственно говоря, прорывы бывали и раньше, и никогда по такому случаю собраний не созывали. Начальник цеха с повинной головой шел в плановый отдел, к главному экономисту, к начальнику производства, наконец к директору. И от разговора в заводоуправлении порой зависела судьба цеха, его показатели и то, быть людям с премией или нет. Можно было скорректировать план, можно было списать убытки, можно было убедить, договориться, сослаться на объективные причины: «Разве ж цех виноват, сами знаете, нас поставили в такое положение...»

Теперь все по-иному. Действует система, действует по своим законам, пущен механизм хозяйственного расчета, и ни главный экономист, ни директор здесь не властны.

Пятнадцать коммунистов задавали себе вопрос: как же так могло получиться, чтобы при отличных производственных показателях цех остался без прибыли? В чем тут причина? Ошибка в ценообразовании или сказались какие-то неизвестные им, неучтенные потери? Решили новость особенно не распространять, а начальнику цеха и экономистам разобраться.

И снова четыре экономиста засели за бумаги, снова с утра до вечера рылись в толстых пачках накладных, в бухгалтерских ведомостях, в чертежах и отчетах,

исследуя и просвечивая организм цеховой экономики. Теперь связь между их работой и цеховой жизнью была очевидна для всех. Следили за их анализом внимательно, придиричиво. Зеличенко не вылезал из планового отдела. Розанов в бухгалтерии и в отделе труда бывал чаще, чем в парткоме.

И анализ показал — хозяйствовать и планировать по-старому больше нельзя. В начале года цех получил заказ на новое весьма крупное изделие. Заказ положили в план, когда ни чертежей, ни расчетов еще не было, и стоимость его изготовления прикидывали на глазок, ориентировочно. В прежние времена такая ошибка привела бы к перерасходу фонда зарплаты, сказалась бы на выполнении плана, и в этом случае всегда можно было бы договориться. Уладить, скорректировать. Теперь же она сказалась при расчете цен, распределилась по всем деталям, отразилась на прибыли. Оставалось учесть урок и развести руками — действовал механизм хозрасчета. Цех получил знамя и не получил премии. Цех затратил много физических и нравственных усилий, чтобы подготовиться к реформе, и все рухнуло из-за какой-то неправильно скалькулированной детали, из-за обычной в прежние времена мелкой заводской неурядицы.

Шло время. Май. Июнь. Цех работал. Работал ритмичнее, четче, напряженнее. Перемены происходили, но ничего разительного не было. Осваивались люди, пришедшие вместе с реформой. Новый мастер, новый механик, новый диспетчер. Навели порядок на складе пресс-форм. Пришла в действие машина для переработки отходов. Перерасход сырья ликвидировали, есть экономия. Начали получать прибыль. Хлопот больше стало у наладчиков — раньше как отладишь пресс на одно изделие, так и гонишь партию деталей, нужны ли они конвейеру или нет. Сейчас номенклатура — главная забота. Продукцию-то нужно реализовывать.

Но только июль принес запланированную прибыль. Она, конечно, не заполнила брешь, пробитую в цеховом бюджете той злополучной деталью, и премии получились небольшие, меньше, чем в других цехах, работающих по-старому.

В августе весь завод перешел на новую систему, вскоре сравнялась и премия.

Мы говорим: «В цехе проводится смелый экономический эксперимент». И это значит, что испытанию подвергается не только какая-то хозяйственная система. Испытываются люди — их квалификация, их способности, их моральная и даже, если хотите, физическая стойкость перед испытанием.

В цехе телевизионного завода, где проводился смелый экономический эксперимент, работают обыкновенные люди, точнее — разные люди, слабые и сильные, сведущие и несведущие. И надо было сделать очень точный и очень тонкий экономический анализ, чтобы отсеять из новой хозрасчетной системы несовместимые с нею элементы старого порядка планирования и тем самым уберечь людей от заражения ядом сомнений и разочарования.

История на телевизионном заводе, в общем-то, окончилась благополучно, хотя и не без ущерба для веры в справедливый автоматизм действия хозрасчета: хорошо поработал — хорошо зарабатываешь. Трудно восполнить такой ущерб. Вера человека в справедливость общественного порядка, которому подчиняется он в самые активные дни и часы своей жизни, плодотворна, но она что яблоня в саду: срубил в пять минут, а чтобы вырастить вновь и собрать плоды, нужны годы.

В числе первых, готовившихся в последних месяцах прошлого года к самостоятельному хозяйствованию, был и завод «Москабель» — очень сложное и не очень-то благополучное предприятие. Шла на этом заводе многолетняя война со штурмовщиной. И было в ней больше поражений, чем побед. Мы не станем вдаваться в анализ причин, по которым срывались стратегические планы дирекции завода и тактические маневры цеховой администрации. Скажем только, что ритмичности добивались всерьез и по-настоящему радовались, когда заводу хоть на месяц, на два удавалось отладить производственный механизм. Тогда у проходной на табло против названий цехов загорались красные звезды.

В дни подготовки — без обычного нажима, без надсаживания глоток, словом, без «войны» — тихо и мирно начали загораться звезды, пока не зажглись все до



одной. То, чего не удавалось достичь годами, свершилось за два месяца. Так велико было на заводе желание начать работу по-новому и так сильна была вера у людей в справедливость новой системы планирования.

Очень может статься, что стремление «Москабеля» нашло бы поддержку у строгой межведомственной комиссии и попал бы завод сорок четвертым в первый список предприятий, начавших хозяйственную реформу с 1 января. Но тут вдруг произошло событие, тяжесть последствий которого трудно даже измерить. Собственно говоря, в прежние времена такое событие было не в диковину. Все просто. Министерство или совнархоз, сводя планы предприятий отрасли воедино, вдруг обнаруживают, что недобрали одного-двух процентов до запланированного темпа. То есть полагалось за нынешний год увеличить объем производства в рублях на восемь, скажем, процентов, а получилось по сумме заводских планов, уже утвержденных, обеспеченных заказами и материалами, семь или, еще хуже, шесть.

Государственный план — закон. Сказано в нем — восемь, значит, должно быть восемь. Недостающие два процента, выражающиеся в натуре едва ли не миллиардом рублей, нужно распределить по предприятиям. Никто не знает, из чего будет сделана валовая продукция стоимостью в недостающий миллиард или около того, какая это будет продукция, кто ее купит. Все эфемерно, незримо и невесомо — фук, воздух, «воздушный вал».

Вот такой воздушный вал и накатил на «Москабель».

В тот момент, когда на заводе уже точно знали, как будут работать в 1966 году, и знали объем дополнительного «встречного» плана, который с напряжением, но можно выполнить; когда были определены вполне приличные для солидного предприятия три фонда, на которых покоилось уже видимое благополучие коллектива, — пришла телеграмма из министерства. Заводу категорически предлагалось выпустить на двадцать четыре миллиона рублей — не известно из чего, не известно для чего — какой-нибудь продукции.

Вначале о телеграмме знал лишь узкий круг руководителей завода. И пока была надежда отбиться от напасти, новость не выходила из узкого круга. Но надежда не оправдалась, о телеграмме узнал весь завод. И через неделю стали гаснуть звезды над воротами цехов.

Нет, цехи не получили в «нагрузку» ни одного невесомого миллиона. Министерство перекладывало все двадцать четыре с месяца на месяц, с квартала на квартал, потому что не могло сказать заводу ни в январе, ни в июне, из чего делать и кому сбывать какую-то там продукцию. Мало того, по опыту прошлых лет было известно, что «воздушный вал», случалось, в конце года «корректировали» до полной дематериализации. И тем не менее на заводе пришлось возобновить войну со штурмовщиной.

Срубили яблоню.

Может быть, руководители «Москабеля» не были достаточно стойкими, обороняя коллектив от тяжелой моральной травмы. Может быть. Но не одному этому заводу пришлось проглотить горькую пилюлю из рук собственного министерства. И в этом опять-таки виноваты не особые волевые качества начальников главков и неспособность к сопротивлению директоров предприятий. Ведь случилось же так, что металлургический завод «Серп и молот» отказался от привески к плану, и даже не от «воздушного», а от весомого, обеспеченного конкретным заказом и необходимым количеством тонн металла. Отказался на том основании, что у него не хватает мощностей на исполнение неожиданного задания министерства.

Заводские юристы извлекли свежее пахнущее типографской краской «Положение о социалистическом предприятии» и каким-то путем уговорили принять иск завода к министерству — нет, не суд, а государственного арбитра. Кстати сказать, арбитр мог и не принять это конфликтное дело — его должностная инструкция позволяет ему не принимать. А министерство могло обжаловать решение арбитра и настоять в конце концов на своем: нет такого закона, чтобы руководящая союзная организация несла ответственность за свои ошибочные действия и

выступала в роли ответчика перед предприятием. И все же иск завода был принят арбитром и удовлетворен министерством. Завод не получил непосильного задания потому, что все три участника конфликта нашли в себе силы перешагнуть психологический барьер экономической реформы, сумели понять, почувствовать всю глубину и всю тяжесть последствий нарушения ее внутренних законов. Они подчинились этим законам де-факто, потому что де-юре их не существует.

Законы вмещают в себя тысячелетний опыт общественной жизни человека. А хозяйственная реформа молода, ей год от роду, и, может быть, потребуются еще годы, чтобы создать незыблемый статус взаимной ответственности министерства и завода, поставщика и заказчика, предприятия сферы производства и сферы обращения. Тогда, наверное, большинство проблем, о которых мы рассказываем, проблем, рожденных прежней системой планирования, отступит и отомрет.

Но пока что они существуют и каждый день дают о себе знать, нередко сводя глубинный смысл экономических преобразований внутри завода к соблюдению правил игры. Тогда почему же так успешно работают первые сорок три предприятия, вступившие в права самостоятельных хозяев с января нынешнего года?

Напомним: отбор первенцев реформы был наистрожайший. Из тысяч заводов и фабрик страны выбрали лишь четыре десятка лучших в своей отрасли производства. И все последующие проходили не менее строгий отбор. И еще раз напомним: инициаторы всегда легче. Вот, к примеру, с первой и второй групп финансисты начали срезать фонд зарплаты управленческого персонала, но с середины года делать это прекратили. Третьей придется сокращать фонд зарплаты до конца года. Последнее напоминание — история взлета и падения завода «Москабель». Тот же моральный подъем пережили и переживают еще сейчас все, кто приступил к работе в новых условиях планирования.

Пройдет время. Наступит черед новой системе планирования и экономического стимулирования стать нормой будничной работы. Поостынув и поразмыслив, люди начнут трезво, спокойно оценивать протори и убытки, нажитый капитал — моральный и материальный. Вот тогда-то и можно будет судить о результатах. Пока же есть надежда на хорошее будущее. Эта надежда у людей опытных, давно работающих в промышленности, видавших всякие перестройки, подкрепляется сознанием того, что свернуть с выбранного правильного пути или повернуть назад уже невозможно — с экономикой не шутят, не играют. Нельзя безнаказанно нарушать ее законы, даже если они не внесены в юридический кодекс.

Людей, мыслящих предметно, надежда на эффективность и прочность происходящих преобразований не оставляет по другой причине. Второй часовой строит, например, сразу два корпуса: бытовой — на старой территории, и в Черемушках (где создается первая в радиальных районах новая промышленная зона) — производственный. Значит, скоро не будут люди, работая, сталкиваться локтями, поменьше станет «узких мест» на технологических потоках, а значит, установится порядок.

Но не обойдется, конечно, без проторей и убытков — материальных и моральных. Реформа рассчитана не на год, не на два — на пятилетку. И все эти, а может быть, и многие последующие годы будут происходить острые столкновения между людьми, стоящими по обе стороны психологического барьера.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

А. ГУБЕР

★

## ВЬЕТНАМ СРАЖАЕТСЯ

**В**ойна во Вьетнаме настолько глубоко затронула совесть народов, что о ней сегодня думает поистине весь мир. Ныне сложилось такое положение, что нельзя не выступать в поддержку борьбы вьетнамского народа и одновременно считать себя поборником мира, справедливости и прогресса. И дело тут не только в естественном для человека желании увидеть торжество правого дела. Народы беспокоит их собственное будущее, на которое вьетнамские события отбрасывают зловещую тень.

«Если силы правопорядка в мире,— говорится в заявлении Народно-революционной партии Британской Гвианы,— не остановят американцев во Вьетнаме, тогда не может быть никакого мира и стабильности ни в одной части земного шара».

Характерно, что так думают в стране, географически очень далекой от вьетнамского конфликта. Опыт недавнего прошлого трагически ясно показал, к чему приводит попустительство агрессору. Не говоря уже о таких странах, как Камбоджа и Лаос, чей суверенитет систематически нарушается, а также о таких государствах, как Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Западная Германия, Тайвань, которые становятся прямыми соучастниками американской интервенции. война во Вьетнаме в той или иной мере имеет отношение ко всем странам, ко всем народам.

Конфликт продолжает расширяться, отравляя всю международную обстановку. Его опасные последствия вызывают все большую тревогу и у многих союзников США. Даже Конрад Аденауэр посоветовал Соединенным Штатам, пока не поздно, обратиться из Вьетнама.

Выступая на митинге в столице Камбоджи Пном-Пене, президент Франции де Голль сказал, что официальная американская версия о характере событий во Вьетнаме не имеет ничего общего с действительностью. Он отметил, что после Женевского совещания 1954 года в Южном Вьетнаме установили свою политическую и военную власть Соединенные Штаты и сразу же там возобновилась война в форме национального сопротивления, а затем иллюзии, связанные с применением силы, побудили непрерывно увеличивать численность экспедиционного корпуса и привели ко все более широкой эскалации.

«Франция считает,— заявил де Голль,— что нет никаких шансов на то, что народы Азии подчинятся закону чужеземца, пришедшего с другого берега Тихого океана».

Единственный путь к восстановлению мира де Голль видит в политическом соглашении, возможном лишь в том случае, если США выведут свои войска из Вьетнама в течение определенного и приемлемого срока.

«Я думаю, что генерал де Голль прав, абсолютно прав»,— заявил бывший английский премьер, участник Женевского совещания 1954 года Антони Иден, комментируя это выступление президента Франции.

К словам де Голля стоит прислушаться — Франция по собственному печальному опыту знает, что такое война против свободолюбивого вьетнамского народа. Не называя прямо Соединенные Штаты, их политику во Вьетнаме осудил и Генеральный секретарь ООН У Тан.

И в самой Америке все больше становится людей, трезво смотрящих на происходящее в Юго-Восточной Азии. Брат покойного президента сенатор Роберт Кеннеди неоднократно предупреждал, что дальнейшая эскалация войны затруднит всякие попытки урегулировать конфликт путем переговоров.

Американцы, не склонные выдавать желаемое за действительное, не на шутку встревожены резко отрицательной реакцией мира на политику их страны в Юго-Восточной Азии. Вот как высказываются на этот счет три ведущих печатных органа США.

«Вашингтон ивнинг стар»: «Против дальнейшей эскалации войны выступают наш самый надежный друг Англия, наш самый могущественный противник Советский Союз, наш самый важный союзник на Дальнем Востоке Япония и наш союзник по НАТО, который нам больше всего досаждают, Франция».

«Крисчен сайенс мониторинг»: «Лишь в Сайгоне и, быть может, на Формозе считают бомбежку Северного Вьетнама полезной и оправданной. В некоторых других районах ее защищают без особой уверенности, однако в Европе и в большинстве стран Азии почти все настроены против воздушных налетов на Северный Вьетнам на том основании, что это лишь расширяет масштабы войны, не принося никаких важных военных результатов».

«Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт»: «Общее мнение союзников США таково: пусть дядя Сэм сам расхлебывает заваренную им кашу».

Еще в период вооруженной борьбы вьетнамского народа против французских колонизаторов Соединенные Штаты Америки делали все возможное, чтобы удержать страну в сфере империалистического влияния. Сохранились документы (в частности, мемуары бывшего премьер-министра Англии Антони Идена), которые свидетельствуют о том, что Вашингтон не только оказывал колонизаторам широкую помощь оружием и снаряжением, но и рассматривал вопрос о прямом участии вооруженных сил США в индокитайской войне. Была намечена даже дата вступления американской авиации в бой под Дьен Бьен Фу.

Характерно, что эти приготовления велись в тот самый момент, когда в Женеве международная конференция, в которой принимала участие и американская делегация, искала пути мирного урегулирования во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже и принимала решения, категорически запрещающие иностранное военное вмешательство в дела этих государств, в том числе и поставки оружия.

Американскому империализму тогда не удалось осуществить своих преступных планов. Капитуляция французского гарнизона Дьен Бьен Фу, успехи Народно-освободительной армии Вьетнама, поставившие войска колонизаторов перед реальной перспективой полного разгрома, твердая и последовательная позиция СССР и других миролюбивых государств привели к успеху Женевского совещания. Летом 1954 года были подписаны соглашения, признавшие право вьетнамского народа на самоопределение, положившие конец войне в Индокитае, определившие, что Вьетнам, временно разделенный демаркационной линией, должен быть в 1956 году объединен путем всеобщих свободных выборов. Эти соглашения послужили единственно приемлемой основой прочного мирного урегулирования вьетнамской проблемы. Кстати сказать, в 1954 году сами Соединенные Штаты в специальном заявлении дали торжественное обязательство не нарушать Женевских соглашений по Индокитаю и в связи с этим «воздерживаться от угрозы силой или ее применения».

И вот несколько лет спустя — открытая агрессия под прикрытием каких-то мнимых обязательств «защищать» Южный Вьетнам!

Вряд ли стоит пока говорить, от кого на самом деле следует защищать Южный Вьетнам, а попытаемся разобраться в правовой стороне этого «обязательства», многократно провозглашаемого официальными лицами США.

Оно незаконно по конституции самих США, так как не упоминается ни в одном договоре, надлежащим образом ратифицированном американским сенатом.

Оно противоречит Уставу ООН, предписывающему членам Организации воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения. Несостоятельны и ссылки на обязательства США по договору СЕАТО. Устав ООН гласит, что

никакие принудительные действия не предпринимаются региональными органами без полномочий от Совета Безопасности. Исключение делается Уставом только в отношении государств, которые во время второй мировой войны являлись врагом одного из государств, подписавших Устав. Разумеется, Вьетнам ни в коем случае не может считаться таким исключением.

И Устав СЕАТО предусматривает, что договор СЕАТО «не затрагивает... прав и обязанностей, возложенных на какую-либо сторону Уставом ООН...». Совершенно незаконна и ссылка на так называемую «самооборону» Южного Вьетнама, так как Женевские соглашения признают только один Вьетнам.

Короче говоря, «обязательства» США во Вьетнаме опираются лишь на «торжественное обещание» американского президента, которое, как мы показали выше, противоречит и Уставу ООН, и международным соглашениям, и конституции США, предоставляющей право объявлять войну только конгрессу.

Нелишне напомнить, что «обещание», о котором идет речь, дано правительству Южного Вьетнама. В Вашингтоне это правительство называют «законным», хотя таковым оно не было ни одного дня. Мы уже упоминали, что Женевские соглашения предусматривали проведение в 1956 году всеобщих свободных выборов на всей территории Вьетнама. Избранное таким образом правительство и было бы единственно законным. Но вся беда в том, что выборы не состоялись, и ответственность за это несут США и сайгонские власти. Не было выборов в серьезном значении этого слова и в самом Южном Вьетнаме. Причем исключения не составляют и так называемые «выборы», прошедшие там недавно. И Нго Динь Дьема, и его многочисленных преемников, последовательно приходивших к власти в результате одиннадцати военных переворотов, никто не выбирал, их назначали и смещали по указанию Центрального разведывательного управления США.

Что собой представляет нынешнее южновьетнамское «правительство», или, как оно себя именует, «Национальный руководящий совет»?

«Совет» этот состоит из десяти генералов, про которых остряки говорят, что это последние сайгонские генералы, доселе еще не бывшие у власти. Глава этого «правительства» — вице-маршал авиации Нгуен Као Ки так сам определил свою платформу: «Люди спрашивают у меня, кто мои герои. У меня только один герой — Гитлер... Я поклоняюсь ему, Гитлеру, потому, что он объединил свою страну, когда она находилась в катастрофическом положении в начале тридцатых годов. Но положение во Вьетнаме сейчас такое отчаянное, что одного Гитлера было бы недостаточно. Нам нужно четыре или пять Гитлеров».

Считая себя, по-видимому, одним из них, Нгуен Као Ки даже слышать не хочет о переговорах с Национальным фронтом освобождения, приходит в ярость при одном упоминании об идее нейтрализации Южного Вьетнама, призывает к походу на Север, сам принимает участие в бомбардировках Демократической Республики Вьетнам.

Один американский генерал сказал о Нгуен Као Ки, что он, «возможно, не Наполеон, но он почти все, что у США осталось в Сайгоне».

Удивительно ли, что охотников защищать новоявленного Гитлера и в самом Вьетнаме, и вне его находится все меньше?

Разве не показательна история суда над тремя рядовыми американской армии Деннисом Мором, Джеймсом Джонсоном и Дэвидом Самасом? Эти мужественные американцы отказались ехать сражаться во Вьетнам на том основании, что война против вьетнамского народа незаконна, несправедлива, аморальна как с точки зрения конституции США, так и с точки зрения международных обязательств США. Адвокат подсудимых Стенли Фолкнер поставил вопрос о вызове в суд в качестве свидетелей государственного секретаря Раска, его заместителя, министра обороны США Макнамары в связи с вопросом о нарушении правительством Соединенных Штатов международных соглашений: пакта Бриана—Келлога 1928 года, Хартии Объединенных Наций, Женевских соглашений 1954 года, совместного коммюнике государственного секретаря США и министра иностранных дел Таиланда в марте 1962 года, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об одобрении принципов Нюрнбергского процесса. Разумеет-

ся, просьба адвоката была отклонена. Но широкий резонанс, вызванный мужественной борьбой трех американцев, показывает, что попытка свести все к простому уголовному делу о невыполнении низшим чином приказа офицера не удалась. Честные люди самой Америки и других стран с уважением и горячей симпатией отнеслись к их благородному поступку.

И с самого начала это беззастенчивое вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Вьетнама сопровождалось нескончаемым потоком клеветы, лицемерия и разного рода небылиц. Если верить официальной пропаганде Вашингтона, то война в Южном Вьетнаме вызвана не восстанием доведенного до отчаяния местного населения против «своих» и иноземных угнетателей, а «коммунистической агрессией» с Севера.

Но что в действительности послужило причиной взрыва народного возмущения в Южном Вьетнаме и привело в результате американского вмешательства к нынешнему положению, которое — это ясно каждому — чревато серьезной опасностью для всего мира?

Разберем только одну ключевую проблему Южного Вьетнама — аграрную, непосредственно затрагивающую интересы более восьмидесяти процентов населения страны.

В годы войны Сопrotивления примерно половина территории Южного Вьетнама находилась под контролем правительства ДРВ. В освобожденных районах народная власть передала крестьянам земли французских колонизаторов, вьетнамских реакционеров и помещиков, бежавших в оккупированные противником города. Американские интервенты и их сайгонские ставленники решили восстановить положение, сложившееся до этих преобразований. В 1955—1956 годах они издали ряд декретов, фактически восстановивших помещичью собственность на землю. Крестьян заставили платить за аренду бывшим хозяевам или выкупать излишки земли по очень высокой цене. Если в семье имелись лица, которые находились в Демократической Республике Вьетнам или участвовали в войне Сопrotивления, то такие семьи объявлялись повстанцами и вообще не имели права на землю. Если принять во внимание поистине всенародный характер Сопrotивления, то станет ясным, на какую значительную часть населения Южного Вьетнама распространялось последнее ограничение. К этому надо добавить бесчисленные налоги и кабальные условия кредита сельскохозяйственного банка, который выдавал ссуды только под залог имущества. И наконец так называемая программа создания «стратегических деревень». По существу была создана сеть концентрационных лагерей, призванная изолировать крестьян от вооруженных сил Национального фронта освобождения. Все эти меры, вместе взятые, привели к разорению сельского хозяйства Южного Вьетнама. Страна, бывшая до войны одним из крупнейших в мире экспортеров риса, сама оказалась вынужденной ввозить продовольствие. Южновьетнамский крестьянин, обобранный экономически, бесправный и угнетенный политически, вынужден был восстать, чтобы с оружием в руках отстаивать свое право на жизнь, достойную человека. Примерно такой же путь прошли рабочие, служащие, интеллигенция Южного Вьетнама. Именно в этом корень нынешнего положения к югу от 17-й параллели.

От лицемерия, от попыток свалить вину с больной головы на здоровую Вашингтон не отказался и по сей день. Не могу не рассказать в этой связи об эпизоде, свидетелем которого мне довелось быть несколько месяцев назад.

Нашу поездку в камбоджийскую провинцию Ратанакири, расположенную на границе с Лаосом и Южным Вьетнамом, можно назвать путешествием по следам выстулений американско-сайгонской прессы. Если верить этой прессе, нам предстояло увидеть колонны грузовиков с оружием и боеприпасами для южновьетнамских партизан, движущиеся в сторону границы; солдат «Вьетконга», после боев отдыхающих в джунглях Ратанакири; тайные аэродромы и штабы войск Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Любопытно, что в указанных сообщениях называлась не просто обширная по территории провинция Ратанакири, а вполне конкретные места: колонны с оружием — на дороге № 19, аэродром — в Божео...

И вот мы на дороге № 19. От центра провинции нам предстоит проехать по ней девяносто километров до пограничного поста О Йадао. В течение пяти часов наш

вездеход то подпрыгивает на ухабах, то выписывает зигзаги в скользкой красноватой грязи. По рукам, судорожно вцепившимся в деревянные борта, безжалостно хлещут ветви тропических деревьев. Через бесчисленные ручьи и канавы перекинуты легкие бамбуковые мостки. Когда едешь по ним на «джипе», и то сердце замирает. А каково грузовикам, о когорых пишут в Сайгоне? Вот бы заставить кого-нибудь из авторов этой выдумки проехать на тяжело груженной машине по дороге № 19.

Маленький населенный пункт Бокео. Здесь, по утверждению сайгонской прессы, должен быть аэродром. Отправляемся на поиски. Видим дома, магазины, шурфы, в которых добывают драгоценные камни... А вот и «аэродром». Надо иметь большое воображение, чтобы назвать так площадку, сплошь покрытую непроходимыми зарослями. Можно побиться об заклад, что последний самолет приземлился здесь много лет назад.

Чтобы закончить разговор о дороге № 19, замечу, что она обрывается в нескольких километрах от южновьетнамской границы. Дальше путь преграждает стремительная горная река. Мост через нее был разрушен еще в 1945 году французами. На противоположном берегу реки — зеленая стена джунглей. И ни малейшего намека на продолжение дороги!

В общем, как и следовало ожидать, все, что утверждают в Сайгоне по поводу якобы имеющихся в камбоджийской провинции Ратанакири путей снабжения южновьетнамских патриотов, — ложь, лишенная всякого основания. Но не цели! Последняя самым тесным образом связана с планами дальнейшего расширения войны в Индокитае. Обвиняя Камбоджу в нарушении статуса нейтральной страны в пользу южновьетнамских партизан, американские империалисты готовят таким образом мировое общественное мнение к возможному распространению военных действий на территорию королевства.

На пограничном посту О Йадао мы действительно нашли людей из Южного Вьетнама. Они действительно отдыхали на территории Камбоджи. Триста девяносто два человека — сто сорок девять взрослых и двести сорок три ребенка. Но кто посмеет осудить правительство Камбоджи, предоставившее убежище измученным старикам, женщинам, детям? Все они из деревни Тханг Дук Срог, что находится в южновьетнамской провинции Плейку. Деревня была на днях стерта с лица земли американскими бомбами. Люди бежали куда глаза глядят из объятаго пламенем мирного селения. Их было тысяча триста. До О Йадао добралось меньше четырехсот. Остальные погибли. Мучительно смотреть на этих обездоленных мальчишек и девчонок, которые не видели ни одного дня мира. Они еще не осознали всей глубины несчастья, свалившегося на их плечи. А вот шестидесятичетырехлетний крестьянин Нго Тхом — он плачет. От всей его многочисленной семьи остался один маленький внук.

— Год назад они забрали в армию двух моих сыновей, — рассказывает он, — а теперь...

«Они» забрали сыновей, «они» стреляли... В этом слове «они» — горечь искалеченной жизни, ненависть к убийцам.

Преступление против крестьян из Тханг Дук Срока тем более чудовищно, что деревня была расположена в зоне, контролируемой не партизанами, а американско-сайгонскими властями, в нескольких километрах от военного поста Дуэ Ко.

Спустя несколько дней — бывает же так! — я встретился с американскими летчиками, быть может, теми самыми, которые бомбили Тханг Дук Срог. Я увидел их на аэродроме в столице Таиланда Бангкоке. Они держались молодцевато, болтали, рассказывали анекдоты, обменивались шутками по поводу очередной инструкции. Один из них изображал в лицах, как он, следуя наставлениям этой инструкции, машет всем встречным вьетнамцам руками, обменивается с ними рукопожатиями, почтительно относится к женщинам, избегает присвоения местных предметов... А у меня перед глазами стояли беженцы из загубленной ими деревни.

Меня всегда интересовало, как относятся к этой войне сами американские летчики, что испытывают они, сбрасывая смертоносный груз на беззащитных женщин и детей. Когда видишь человека ограниченного, невежественного, эмоционально тупого,

от которого зеленая долларовая бумажка надежно закрывает весь мир, эти вопросы кажутся неуместными. А вот капитан американских ВВС Батлер, сбитый и взятый в плен в Северном Вьетнаме, оказывается, читал Толстого и Достоевского, Драйзера и Стейнбека... У него кругозор интеллигентного человека. Но беда в том, что задумываться над происходящим он стал только тогда, когда пришлось отвечать за содеянное. Раньше он был простым исполнителем: ему указывали точку, которую нужно бомбить, и он выполнял приказ. Он не виноват — его заставили. Только и всего. Откровенно говоря, меня как раз и потрясает именно это «только и всего», в которое, я убедился, многие американские «простые исполнители» искренне верят. Во Вьетнаме они работают, работа не лучше и не хуже всякой другой, зато значительно лучше оплачивается. Такал, с позволения сказать, психология — это тоже позор Америки шестидесятых годов XX столетия.

В шахтерском городке Камфа в Демократической Республике Вьетнам я разговаривал с пожилым рабочим по имени Минь. Речь шла о кампании, поднятой американской печатью вокруг судьбы пилотов, взятых в плен в ДРВ. Газеты утверждали, что с ними якобы жестоко обращаются, что их жизнь под угрозой.

Минь сказал тогда:

— Так говорить могут либо законченные мерзавцы, либо круглые идиоты. Люди, убивающие невинных,— преступники. Даже ценой собственной жизни они не могут искупить причиненное нам зло... И еще. Мы ловим их на нашей территории, а не ездим за ними в Америку. Пусть сидят дома — тогда не о чем будет беспокоиться...

Вот эту простую мысль многие в Америке не могут, а скорее не хотят, понять. Вьетнам принадлежит вьетнамскому народу. Вьетнамцу некуда уходить — он на своей земле, политой потом и кровью его предков, его братьев. А уйти из Вьетнама придется тем, кто пришел туда с мечом.

Мне довольно часто приходилось разговаривать с западными журналистами относительно того, чем именно объясняется столь упорное сопротивление вьетнамского народа внешне явно превосходящим силам американцев. Многим моим западным коллегам это кажется необъяснимым. И в самом деле, это не так уж просто понять, если не видеть прямой связи между стойкостью вьетнамского народа и всем происходящим в современном мире, и в первую очередь с той нравственной и материальной поддержкой и помощью, которые вьетнамские патриоты получают у народов Советского Союза и других социалистических стран, у всей прогрессивной мировой общности.

Как известно, решить проблему Индокитая военным путем пытались еще французские колонизаторы. Их армия во Вьетнаме насчитывала в 1954 году четыреста пятьдесят тысяч солдат и офицеров. Соединенные Штаты оказывали им большую помощь оружием и боеприпасами. Но несмотря на то, что патриотические силы Вьетнама значительно уступали противнику и в численности, и особенно в техническом оснащении войск, колонизаторы потерпели поражение. Женевская конференция 1954 года означала международное признание этого факта, отказ от попыток найти военное решение проблемы.

На что же надеется теперь Вашингтон?

Один из авторов политики, которую США проводят во Вьетнаме,— бывший американский посол в Сайгоне генерал Максвелл Тэйлор, тот самый Тэйлор, который командовал 8-й американской армией в Корее и считается поэтому специалистом по азиатским делам. Генерал вместе со своими единомышленниками взамен даллессовской доктрины «массированного возмездия» разработали собственную — «гибкого реагирования». Смысл ее заключался в готовности американской армии не только к мировой ядерной войне, но и к локальным или малым войнам. Причем последние фактически рассматриваются как вступление к большой войне, подготовка к ней: захват выгодных позиций для наступления на страны социализма, укрепление тылов империализма. Малые войны мыслятся как стремительные эффективные удары малыми силами — без больших затрат и жертв. При этом расчет строился на арифметическом сопоставлении сил обеих сторон. Такое сопоставление неизменно оказывалось в пользу



США, располагающих неизмеримо более мощными средствами ведения войны, чем любой возможный противник по малой войне. Отсюда делались практические выводы — выросло число сухопутных дивизий и численность войск специального назначения, резко повышена мобильность вооруженных сил. Теперь все должно было, по мнению Тэйлора, идти как по маслу.

Но авторы новой доктрины просчитались. Отправляя войска специального назначения на «прогулку» по тылам национально-освободительного движения, они полагали, что эти отряды, обученные партизанской тактике, смогут заручиться поддержкой местного населения и с его помощью одолеют освободительные армии. Несостоятельность этих надежд, игнорирующих глубокие социально-экономические корни национально-освободительного движения, многим была ясна еще до того, как они провалились на практике.

Национально-освободительное движение, против которого направлена доктрина малых войн, развивается не по Тэйлору, а по Марксу. Участники этого движения не знают и не хотят знать арифметики Пентагона, обрекающей их на поражение. Их сила не только в численности войск, но и в высоком боевом духе, в поддержке их местным населением, мировым общественным мнением и в первую очередь странами социализма.

Тэйлору и его последователям предоставили возможность проверить концепцию «гибкого реагирования» на практике. Речь шла об «особой» войне, которую должны были вести южновьетнамские войска без прямого участия американцев в боевых действиях.

Американская агрессия во Вьетнаме именно так и начиналась. Но очень скоро выяснилось, что выиграть войну руками вьетнамцев не удастся. Оказавшись перед выбором — уйти или ввязаться в сухопутную войну, — Джонсон пошел по второму пути, которого в Вашингтоне многие боятся, считая, что сухопутную войну в Азии Америка выиграть не в состоянии. Генерал Макартур, имевший опыт такой войны, говорит, что президента, пославшего американские войска для сухопутной войны в Азии, необходимо подвергнуть психиатрическому обследованию.

То, что происходит сейчас в Южном Вьетнаме, а именно — действия американской авиации и американских солдат против патриотов, — означает не что иное, как признание несостоятельности теории «особой» войны. Не лучше обстоит дело и с так называемой «локальной» войной. Конфликт уже перерос границы Южного Вьетнама — американцы подвергают варварским бомбардировкам территорию Северного Вьетнама и Лаоса, вмешиваются в дела Камбоджи, втягивают в войну союзников, пытаются установить морскую блокаду ДРВ...

Сегодня армия «правительства» Южного Вьетнама насчитывает более пятисот тысяч солдат и офицеров. В военных действиях против Армии освобождения и партизан участвует около трехсот тысяч солдат и офицеров американских сухопутных войск. К этому надо добавить восемьдесят тысяч солдат и матросов, размещенных на кораблях, и более двадцати пяти тысяч солдат и офицеров военно-воздушных сил, совершающих налеты на Северный и Южный Вьетнам с баз, расположенных вне Вьетнама.

Противостоит этим внушительным силам созданный в 1960 году Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, который объединяет более двадцати политических партий, общественных, национальных и религиозных организаций — свыше трех миллионов человек и сочувствующих. У Национального фронта, по данным самих американцев, армия не превышает семидесяти пяти тысяч человек и немного более ста тысяч человек составляют нерегулярные формирования. Как видно из этих цифр, огромный перевес в численности войск — на стороне интервентов и их ставленников, не говоря уже об их колоссальном преимуществе в области военной техники и снаряжения.

И, несмотря на все это, инициативой прочно владеют патриоты. Демократические преобразования, проведенные Национальным фронтом в освобожденных районах, его программа, отвечающая чаяниям всего народа, обеспечивают ему безоговорочную поддержку населения. Большинство солдат правительственных войск не хочет воевать за американские интересы. Они бегут из армии. По американским данным, именно так

поступает около тридцати процентов новобранцев. Многие из них не просто дезертируют, а переходят на сторону Национального фронта, вливаются в его соединения.

Война в Южном Вьетнаме действительно «особая», но совсем не в том смысле, как это понимал Тэйлор и его единомышленники. В этой войне нет ярко выраженного фронта и компактного противника, в борьбе против которого интервенты могли бы в полной мере использовать свое превосходство в технике и численности войск. Сплошь и рядом противник невидим — он повсюду и одновременно нигде. Операции интервентов, проводимые крупными силами по классическим канонам американской военной доктрины, терпят неудачи.

Малоэффективным оказалось и применение авиации. У многих участников американской авантюры складывается впечатление, что бомбить необходимо буквально каждый метр территории Южного Вьетнама. Партизан к моменту воздушного налета обычно не оказывается в том месте, где они только что были по сведениям разведки, и самолеты карателей сбрасывают бомбы на зеленое море джунглей и рисовые поля. От этих налетов страдает главным образом мирное население.

Не помогает интервентам и применение самых варварских средств ведения войны. Вот что писал об одном из них Антони Картью, корреспондент английской газеты «Сан» в Сайгоне:

«Ленивый пес» — одному богу известно, какой остряк из военных придумал это отвратительное название — применяется здесь... Это — большая канистра, взрывающаяся на высоте тридцати футов над землей. При взрыве около десяти тысяч стальных стрел разлетается во все стороны. Каждая из них снабжена оперением и поэтому может с большой скоростью вращаться вокруг своей оси. Это оружие убивает на площади до восьмисот квадратных ярдов, а за пределами этой зоны может серьезно искалечить человека. В больницах прибрежных городов немало жертв «ленивого пса». Разумеется, в этой страшной мясорубке (кроме мирного населения — А. Г.) гибнет и кое-кто из партизан, но разве это способ дать Южному Вьетнаму мир и безопасность? Или, может быть, это просто способ использовать последние достижения науки, чтобы за несколько недель создать выжженную пустыню, где не осталось бы ни одного человека?»

Да, именно тактику выжженной земли все чаще применяют интервенты в Южном Вьетнаме, соперничая в жестокости с гитлеровцами. Но ни напалм, ни ядовитые газы, ни «ленивый пес» не помогают им выбраться из зыбучих песков народной войны.

Министр обороны США Роберт Макнамара считает, что для победы в Южном Вьетнаме американцам и их наемникам потребуется численное превосходство над силами Национального фронта освобождения в пропорции 10 : 1. Учитывая приведенные выше обстоятельства, добиться такого перевеса практически невозможно даже в одном Южном Вьетнаме, не говоря уже о совокупности районов мира, где США пытаются подавить национально-освободительное движение.

А вот что происходит на фронтах американской агрессии против Северного Вьетнама. Стратеги Пентагона, не сделав выводов из провала теоретических исследований своих генералов, возложили надежды на бомбардировки суверенного социалистического государства. По их мнению, должен был сработать «механизм запугивания».

Верно, американские бомбардировки наносят очень серьезный ущерб Демократической Республике Вьетнам. Разрушаются созданные самоотверженным трудом народа заводы и дороги, жилые дома и мосты, школы и больницы. И, главное, гибнут люди. Но основной своей задачи — запугать население республики — налеты американской авиации не выполнили и не могли выполнить.

Несколько месяцев назад я в пятый раз побывал в Ханое. Мне показалось, что я не уезжал из этого удивительного города. Навстречу мне по улице Чан Тиен катится неторопливый, не признающий правил движения поток велосипедистов. Задумчиво смотрятся в зеркало Западного озера деревья. На берегу озера Возвращенного Меча у радиорепродукторов и фотовитрин социалистических стран собираются рабочие, школьники, студенты... По парку Единства медленно бредут влюбленные...

Все как прежде... Общего впечатления не меняют даже темные провалы бомбоубежищ и траншей, избородивших улицы, парки, дворы Ханоя. Мужчины и женщины с винтовками — бойцы отрядов самообороны — представляются на вечерних улицах города пришельцами из какого-то другого мира. Но вот недалеко от городского театра я услышал рев сирены. Буквально в ту же секунду как из-под земли выросли люди с красными повязками. Не успевших добраться до укрытий прохожих укладывали на носилки и отправляли в «больницы». Это была учебная тревога, но выполнялось все по-настоящему.

Кто же испугался?

«На Севере мы сталкиваемся с очень грозным противником, — признает американский летчик на страницах газеты «Крисчен сайенс монитор». — Что касается Ханоя, то сегодня это один из наиболее хорошо защищенных городов в мире; быть может, лучше всего защищенный город после Москвы».

И это не единичное признание. Журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» писал 21 марта 1966 года: «Порт Хайфон, через который, как заявляют военные деятели, поступает более половины товаров, посылаемых вьетнамским коммунистам, защищен кольцом оборонительных сооружений, более мощных, чем те, которыми был окружен Берлин во время второй мировой войны».

По американским данным, число сбитых во Вьетнаме самолетов и вертолетов военно-воздушных сил США в 1965 году в шесть раз превысило потери 1964 года. Героизм вьетнамского народа, вооруженного советской военной техникой, заставляет руководителей Пентагона задумываться о будущем.

По мере того, как самолеты американских вооруженных сил падают в джунгли и на рисовые поля Вьетнама, а потом появляются на специальных выставках, организованных в ДРВ, потребность в новых машинах растет. Только на возмещение потерь американской авиации во Вьетнаме до 1966 года было выделено миллиард восемьсот миллионов долларов. А общая сумма расходов на войну составит в 1966 году двадцать пять миллиардов долларов. Компании «Макдонелл эйркрафт корпорейшн», «Грумман эйркрафт инджиниринг К°», «Дуглас эйркрафт компани», «Лини-Темпко-Воут», «Норт-Америкэн авийшн» и другие получают все новые и новые заказы Пентагона. Как отмечает журнал деловых кругов США «Бизнес унк», «для войны во Вьетнаме потребуются во все большем количестве управляемые снаряды «буллзап» класса «воздух — земля», противорадиолокационные ракеты «шрайк» и зенитные ракеты «хок». Хорошо информированная «Монд» считала, что в 1966 году американцам во Вьетнаме понадобится минимум пять миллионов ракет класса «воздух — земля».

Пентагон столкнулся с грозным противником, но пока не хочет признать этого. Однако каждому своему пилоту перед боевым вылетом вручает нейлоновый звездно-полосатый флажок с надписью: «Я американец. По-вьетнамски говорить не умею. Я попал в беду. Прошу вас помочь мне продовольствием, жильем. Я также хотел бы попросить вас отвести меня к человеку, который смог бы помочь мне вернуться на родину. Мое правительство отблагодарит вас». Он должен хранить этот флажок в потайном кармане, который разрешается вскрыть только в случае вынужденного приземления на территории противника. Такая вероятность с каждым днем возрастает, и никто лучше самих американских летчиков не знает этого. Как сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл», по рассказам пилотов-ветеранов, они еще не сталкивались с таким ожесточенным огнем противовоздушной обороны ни в одной войне.

На больших высотах американские самолеты встречают ракеты. на малых — плотный огонь зениток. Все чаще в бой с пиратами вступают подготовленные в Советском Союзе вьетнамские пилоты на советских истребителях. Не случайно в последнее время западным корреспондентам запрещено уточнять, как именно сбивают американские самолеты над Северным Вьетнамом.

Отпор, который встречает во Вьетнаме американская армия, порождает в ее рядах неуверенность. Происходит закономерный процесс. Патриотические силы, ведущие борьбу с агрессором и опирающиеся на бескорыстную помощь друзей, сплавиваются, становятся все более боеспособными. И, наоборот, в американо-сайгонском лагере

царят хасс, междоусобная грызня, разврат, спекуляция. Армия интервентов, не добившись значительных успехов в боевых действиях, сеет вокруг себя ненависть, оказывается в совершенной изоляции, разлагается. Когда в тихое, уютное южно-вьетнамское селение Ан Кхе прибыла первая авиамобильная дивизия США, оно сразу же превратилось в чудовищный вертеп. Как из-под земли выросли тут шесть десятков баров, сооруженных из картонных ящиков и жестянок, появилось более пятисот «бар-герлз». Пьяный разгул, драки, наркотики, разврат. Дивизионный хирург подполковник Джеймс Маккари разводит руками, говоря об американских солдатах: «Они думают, что не могут считаться настоящими мужчинами, не подцепив венерической болезни и не попробовав трубки с опиумом».

И такой «образ жизни» американцы преподносят как акт дружбы, как акт спасения.

Особую заботу о «помощи» вьетнамскому народу проявляют американские монополии. Южный Вьетнам превратился в арену ожесточенной монополистической борьбы, подкупа и спекуляции. На «дружбе» хотят погреть руки тысячи дельцов, устремившихся к берегам Меконга, как мухи на мед. «Никогда раньше,—отмечает журнал «Ньюс уик»,—американские бизнесмены не следовали за своими войсками на войну в таком количестве...» Вашингтонское агентство международного развития страхует американских инвесторов на случай потерь от войны, революции или экспроприации. Компании, устремившиеся в Южный Вьетнам, получают среднюю прибыль в двадцать—тридцать процентов. Не понятно только, почему все это называется помощью.

Совершенно иного характера взаимоотношения Демократической Республики Вьетнам и Советского Союза и других социалистических стран. Известно, что СССР оказывает борющемуся Вьетнаму все возрастающую поддержку, как моральную, так и материальную. Эта помощь направлена на укрепление экономики братской страны, на отражение апрессии и будет оказываться, как неоднократно заявляли советские руководители, в необходимых размерах, пока вьетнамский народ не доведет до победного конца свою героическую борьбу против интервентов. Тысячи советских людей заявляют о своем желании добровольно сражаться за правое дело вьетнамского народа.

Тысячи советских специалистов помогают вьетнамцам строить новые предприятия, налаживать новое оборудование. Помню, как года два назад я передавал из Ханоя репортаж о пуске первой очереди теплоэлектростанции Уонг Би. Помню праздничную суету, нарядную толпу строителей, охрипших добровольцев-экскурсоводов, показывавших гостям новую станцию. Вместе с вьетнамцами, пришедшими на стройку разнорабочими и получившими здесь квалификацию, советские специалисты обсуждали и подсчитывали, как и насколько можно сократить сроки ввода в строй второй очереди... А в машинных залах и аппаратных гудели турбины, мелькали стрелки приборов с марками заводов Ленинграда и Харькова, Калуги и Барнаула. В общем, это был праздник, атмосфера которого знакома каждому, кто хоть раз был на пуске большого современного предприятия.

Встречался я со строителями Уонг Би и позже, когда начались налеты американской авиации на Демократическую Республику Вьетнам. Обстановка становилась все тревожней—воздушные пираты в любую минуту могли появиться над Уонг Би. Уезжали на родину жены и дети советских специалистов, привыкшие делить с мужьями и отцами радости и тревоги кочевого образа жизни гидростроителей. А те, чье присутствие было необходимо для нормальной работы станции, оставались на своих постах.

Некоторое время спустя я узнал, что Уонг Би сдавала боевой экзамен. Американские бомбардировщики сбросили на электростанцию двенадцать тонн бомб, и информационные службы США поспешили сообщить, что «всенный объект» полностью уничтожен. А потом пришла телеграмма из Уонг Би: «Самоотверженным трудом рабочих основные восстановительные работы завершены. Работники станции и советские специалисты чувствуют себя нормально. Работы продолжают...»

Недалеко от провинциального города Сон Ла крестьяне называли мне русские имена — «товарищ Федор», «товарищ Алексей», «товарищ Василий». Знаю ли я этих

советских специалистов, работавших здесь? Приходилось объяснять разочарованным собеседникам, что среди двухсот с лишним миллионов советских людей есть десятки тысяч Федоров, Алексеев, Василиев. Вполне возможно, что речь идет о совершенно незнакомых мне людях. А вьетнамцы говорили, что о них надо писать романы и поэмы.

И рассказывали, к примеру, о советском враче по имени Василий.

Лет восемь — десять назад он приехал в горы, далеко к северу от Сон Ла. Высокий блондин с серыми глазами. Мне называли даже его фамилию, но произносили ее на вьетнамский манер, неузнаваемо изменив русское звучание (в блокноте так и осталась запись — врач Василий, а вместо фамилии — вопросительный знак). В джунглях он провел много месяцев. Лечил больных малярией. Спасал детей. Болел сам. Больной ходил на вызовы: пешком по горным тропам. Однажды в нескольких километрах от горного селения его подобрала охотники. Василий спешил к умирающему ребенку. Не дошел — не хватило сил. Придя в себя, он сказал только два слова — название селения и имя больного мальчика. Вьетнамского языка Василий не знал, но его поняли. Помогли ему добраться до селения. Малыш был спасен. Он научился выговаривать трудные русские слова: «Василий», «спасибо». Советского врача знают здесь все. Он был первым человеком из СССР, работавшим в одном из самых труднодоступных районов Вьетнама.

\* \* \*

На XXIII съезде Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Брежнев охарактеризовал отношения между СССР и ДРВ как хорошие, братские. Эти отношения складывались на протяжении многих лет. Еще в период борьбы вьетнамского народа против французских колонизаторов Советский Союз оказывал ему всемерную поддержку. В 1950 году в результате успешных операций Народно-освободительной армии на Севере страны был открыт прямой путь для связи демократического Вьетнама со странами социализма.

Это создало условия для оказания конкретной материальной помощи сражающемуся народу. Мне приходилось не раз встречаться с ветеранами Сопротивления. Они рассказывают о былых сражениях с гордостью, добрым словом вспоминая, как вдохновлял их пример советских солдат — героев Великой Отечественной войны, как помогала советская техника. Империалисты вынуждены были пойти на заключение Женевских соглашений 1954 года. Это событие советские люди горячо приветствовали, справедливо видя в нем общую победу народов, отстаивающих дело свободы, мира и социализма. О вкладе СССР в разгром замыслов империалистов на вьетнамской земле проникновенно говорил с трибуны XXIII съезда КПСС секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуан: «Со дня основания нашей партии и до сего дня, как в годы войны Сопротивления, так и сейчас, советский народ помогает нам. И можно сказать, что в каждой нашей победе есть капля крови бойцов Красной Армии».

За период с 1955 по 1964 год в демократическом Вьетнаме с помощью СССР было восстановлено и построено более восьмидесяти промышленных предприятий и объектов. Производство этих заводов, фабрик, шахт, электростанций, рудников играет важную роль в экономике страны. Они, например, в 1963 году произвели сто процентов олова, апатита и суперфосфата, около девяноста процентов каменного угля, более половины всех металлорежущих станков, сто процентов рыбных консервов и высокогорного чая, значительную часть медикаментов. Договором о торговле и мореплавании, подписанным 12 марта 1958 года, СССР и ДРВ предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования. В советском экспорте преобладает (более восьмидесяти процентов) оборудование, машины и запасные части к ним, металлы и нефтепродукты. За десять лет (1955—1964) годовой товарооборот между двумя странами вырос с трех миллионов трехсот тысяч рублей до почти семидесяти четырех миллионов. Характерно, что из трехсот двадцати миллионов рублей, предоставленных Советским Союзом Демократической Республике Вьетнам в качестве финансово-экономической помощи до 1965 года, безвозмездная помощь составила девяносто четыре с половиной миллиона.

Братские отношения вошли в повседневную жизнь обоих наших народов. В моем вьетнамском путевом блокноте есть записи встреч одного дня на стокилометровом отрезке дороги Хоа Бинь — Мок Тяу. Это один из самых глухих районов республики — горы, поросшие джунглями, бурные порожистые реки, мрачные ущелья и редкие селения, укрывшиеся среди зелени долин.

У самой кромки асфальта наполовину зарос буйным кустарником подбитый американский танк. Двенадцать лет назад он шел к Дьен Бьен Фу на выручку французским колонизаторам. Бронированную машину остановил боец Нго За Кхам, у него была одна-единственная самодельная граната. Он бросил ее прямо в люк.

Наш шофер Фам Ван Тиен, участник Сопротивления, говорил:

— По этой самой дороге десять лет назад я возил боеприпасы к Дьен Бьен Фу. На грузовике Горьковского автозавода...

Навстречу нам движется колонна дорожников — бульдозеры, тракторы, грузовики. На радиаторах различаем марки советских, чешских, ГДРовских, венгерских и румынских заводов. Техника из братских стран помогает вьетнамскому народу в наступлении на природу. За рулем — молодые ребята. Увидев нас, они улыбаются, машины приветственно гудят. Приятно было слышать эти гудки в десяти тысячах километров от дома под сенью тропического леса.

Легкие бамбуковые сооружения у обочины. На полках под навесом — бананы, апельсины, папайя, плоды хлебного дерева. Это «магазины самообслуживания» для проезжих. У одного из навесов вижу паренька лет двадцати. Знакомимся. Его зовут Во Зунг. Он экономист, окончил институт в Тбилиси. Приехал в Тэй Бак всего несколько недель назад по путевке Союза трудящейся молодежи.

Быстро темнеет. На окраине крошечного городка Мок Тяу заходим, что называется, на огонек. Огромный дом на сваях. Бамбуковый пол упруго пружинит под ногами. Вокруг каменного очага мерцают огоньки папирос. Вдоль стен расставлены охотничьи ружья. Навстречу нам поднимается старик. Ни о чем не спрашивая, он жестом приглашает нас к очагу. Представляюсь.

— Советский человек — друг. Друг в моем доме — праздник, — торжественно говорит старик.

Разговор становится общим. Узнаю, что к старому Хоанг Ван Тиену пришли проститься новобранцы Народной армии. Старик напутствует их словами:

— Служите честно. Добро помните сердцем. Родину берегите. Берите пример с советских солдат.

Я не знаю, как сложилась судьба молодых солдат из Мок Тяу. Но я уверен, что вместе с тысячами своих соотечественников они дают отпор врагу. И придет день, когда, воплощая в жизнь вековую мечту своего народа о едином свободном и процветающем Вьетнаме, они вернуться к мирному труду.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. БЕЛКИНА

★

## «ГЛАВНАЯ КНИГА»

*История одной библиотеки*

*Примерно с конца двадцатых годов в среде московских литераторов-книголюбов и собирателей уже была известна библиотека А. К. Тарасенкова, кочевавшая с ним со студенческих времен из одной комнатухи в другую по многим районам столицы. Это было собрание изданий поэзии двадцатого века, включавшее наряду с общеизвестными ее представителями и полузабытые, звучащие глухо и отдаленно, а то и вовсе неизвестные, провинциальные, объявившиеся однажды в виде тоненькой книжечки стихов и навсегда канувшие в небытие.*

*Пишущий эти строки в юности был одним из множества очных и заочных «поставщиков» библиотеки Толи Тарасенкова, доставлявших ему при случае ту или иную библиографическую диковинку, с долей снисходительности и дружеской насмешки поощряя безобидное увлечение собирателя. Однако с годами отношение к этому пристрастию сменялось другим, серьезным и уважительным.*

*Трудно сказать, когда определился состав библиотеки и А. К. Тарасенков как собиратель сосредоточился именно на этом разделе, но к концу тридцатых годов его собрание составляло уже определенную научную ценность и было отнесено по своей полноте к немногим подобным собраниям отечественной поэзии, хранящимся в крупнейших библиотеках страны.*

*А. К. Тарасенков до конца своей жизни продолжал с неустанной энергией пополнять свою библиотеку, наращивая в скрупулезных библиографических разысканиях свой список известных ему, но до поры не приобретенных изданий (дезидерата), вычеркивая в нем названия книг, уже получивших место на его стеллажах и «пропуску» в его картотеке.*

*Так неприметное на первых порах юношеское увлечение в результате последовательного и неусыпного собирательского труда обернулось образцом большого культурного дела, по праву заслуживающим названия своеобразного литературного и научного подвига.*

*Важно отметить, что у А. К. Тарасенкова, известного литературного критика, работавшего заместителем главного редактора журнала «Знамя», главным редактором издательства «Советский писатель», спецкорреспондентом флотских газет в годы Отечественной войны, а в последние годы, до своей тяжелой болезни, одним из редакторов «Нового мира», его собирательская увлеченность никак не означала нередкой в таких случаях отрешенности от общественных дел, книжного отшельничества, замкнутости. Наоборот, это была натура большой общественной активности, порывистости и даже горячности в литературных спорах, в повседневной жизни редакционного коллектива, в многообразных, пусть не всегда продуктивных формах нашего литературного бытия.*

*Но у него был еще и этот любимый домашний час отдыха и отраднойшего занятия, когда он разбирал, расставлял, регистрировал свои книжки, когда он собственно-*

*ручно переплетал их с соблюдением всех библиофильских тонкостей, достигнув, между прочим, в переплетном деле настоящего, профессионального мастерства, образчики которого сохраняются у многих друзей покойного.*

*Обо всем этом хорошо рассказывает публикуемый нами очерк вдовы А. К. Тарасенкова — писательницы М. О. Белкиной «Главная книга».*

*А. К. Тарасенков за свою короткую жизнь написал десятки статей, сотни рецензий, выпустил много книг, в том числе книгу стихов, которую можно найти на полках его библиотеки, и далеко не все в его писаниях обречено на забвение. Но, может быть, прав автор очерка, что все-таки «главной книгой», наиболее значительным делом его литературной жизни явилась эта уникальная библиотека русской поэзии.*

*Известно, что немалым показателем советской культуры является огромный, ни с чем не сравнимый рост читательских кругов в нашей стране и, между прочим, образование особого, как бы я выразился, высшего типа читателя — читателя-собиранья. Это драгоценное во многих смыслах приобретение нашей культуры.*

*И невольно приходит мысль о том, что иным нашим молодым людям, поведение которых в быту, в той части суток, которая принадлежит всецело им лично, оставляет, как говорится, желать много лучшего, — может быть, им как раз не хватает того домашнего любимого часа, посвященного скромному и благородному увлечению, дающему разумный отдых и духовное удовлетворение, — часа, которым с такой душевной отрадой пользовался наш товарищ по перу Анатолий Кузьмич Тарасенков.*

**А. Твардовский.**

**Д**ом на Конюшках. Старый тгополь у крылечка. Калитка. Звонок. Утро началось с бандеролей. Он сам торопился отворить дверь.

— Россия шлет!..

В грубой оберточной бумаге, заклеенные марками, заштемпелеванные печатями — Хабаровск, Ростов, Одесса... Чаще совсем небольшие, величиною с почтовую открытку, невесомые, редко увесистые, книги стихов ложились на старый письменный стол, очень длинный и неуклюжий, купленный в комиссионном магазине по случаю.

И сразу на карточку заносилась библиография книги и слева синим карандашом проводилась черта, что означало — книга есть, книга стоит на полке. Книга в бандероли чаще всего оказывалась новинкой, выпущенной где-нибудь в областном, краевом издательстве в текущем или в минувшем году. Это от «личных представителей» Тарасенкова — из Хабаровска, Омска, Одессы, Киева, Ленинграда. От литераторов, поэтов, библиотечарей, редакционных работников. Другой и знакомых, зачастую и незнакомых, знакомых только по письмам...

«С присланным вами списком книг дела обстоят следующим образом:

Сейчас я ничего не могла найти буквально созвучного ему. Но обождите разочаровываться, есть несколько возможностей, которые позволят реализовать ваш список если не целиком, то наполовину уж конечно.

Первая возможность. В нашем единственном смоленском магазине старой книги я «собственными глазами» видела некоторые вещи, включенные в ваш список.

Белокурый дядька — заведующий магазином — не дал мне их хорошо рассмотреть, потому что эти книги сданы ему на комиссию и ею не расценены. Я умолила этого еще не бюрократившегося гражданина отложить для меня все, что имеет хоть вид стихов. Он обещал.

Вторая возможность.

Когда один мой знакомый вернется из командировки, он тоже проверит присланные вами названия и, безусловно, кое-что найдет...»



«Отобрала большую кипу стихов, среди которых есть вам нужное. Во-первых, Белый: старое издание «Пепла» — в сером, пепельном переплете с красными буквами заглавия. «Золото в лазури» — тоже старого издания — обложка выполнена золотом и лазурью. Заведующий содрал за Белого неимоверно. Но зато христианскую цену назначил на «Стихотворения» Соловьева; на «Облака» Адамовича, на Кузмина («Вторник Мэри») и др. В общем, радуйтесь и веселитесь. Всю эту захватывающую дух (не от тяжести, нет!) кипу я беру завтра. У меня не хватало десяти рублей для окончательного овладения этим богатством...»

М. Горелова. Смоленск, 1930.

«Книжку Кежуна пришлем... Получите на следующей неделе (до 25-го)...»

В. Панова. Ленинград, 1955.

«Скоро в Крыму выйдут 2 книги стихов. Они — за тобой...»

П. Павленко. Ялта, 1947.

«Очень глупо себя перед вами чувствую — до сих пор ничего не смогла достать из того, что вы просили. Ну, нигде нет этих книг — ни в библиотеке, ни у букиниста, ни у друзей. Еще не все потеряно — один пройдоха обещал мне «изпод земли вырыть»...»

Г. Николаева. Горький, 1948.

«Прости сразу за все — за несостоявшуюся встречу, за то, что не отвечал на письма и не выполнил твоих библиофильских поручений и т. д. и т. п. Книги, старые издания, в Киеве достать очень трудно, почти невозможно, одна букинистическая лавка обслуживает главным образом узкий круг связанных между собой библиоманов, в который я доступа не имею. Посторонним людям там всегда отвечают — нет, не бывает, давно не предлагали или еще что-нибудь в том же роде».

Леонид Первомайский. Киев, 1953.

«В Ижевске, где я тоже побывал, в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре новинок русской поэзии не обнаружил, поэтому шлю киевскую новинку — книгу Кривенко...»

Вычеркивайте из вашего списка (у нас — марочников — такой список — недостающего — называется «манколист»), так вот, вычеркивайте из вашего «манколиста» двух бесспорно украинских поэтесс, пишущих на укр. языке, — Фросину Карпенко и Параську Амбросий...»

Хотя наш магазин и добыл для меня редкую книгу по Киеву, но по вашей части (поэзия III сорта б) пока ничего не предвидится».

Н. Ушаков. Киев, 1954.

«Милый друг, товарищ Тарасенков. Я уже, видите, заговорил с жалобной интонацией. Что делать — «Вы просите песен — их нет у меня»... грузинских переводов прислали мне один-единственный экземпляр, и тот ушел... Я написал в Тифлис — но тифлисы фантастические люди, и надеяться на них невозможно. Но на днях в Москву должен приехать Симон Чиковани, уж он-то привезет экземпляр с собой. Там же его стихи...»

Н. Тихонов. Ленинград, 1948.

«Однотомник А. А.<sup>1</sup> тебе будет, будет, будет, ради Христа — не нуди. Он вот-вот выйдет, но т. к. они издают его очень пышно, то сохнет обложка — я же тут ни при чем. Кстати, А. А. на днях сдает в наш «Сов. писатель» очень интересную книжку — «Нечет», стихи 40—46 гг. Они обещают ее выпустить»

<sup>1</sup> А. Ахматова.

быстро — там должно быть много нового. Пришлю, конечно. Несмотря на твой ужасный характер, я продолжаю относиться к тебе очень нежно».

Ольга Берггольц. Ленинград, 1946.

И так далее... И так далее... И так каждый день — письма, бандероли.

— Россия шлет!

Почтальон утверждал, что Тарасенков один дает нагрузку почте как целый квартал... Добровольных и добрых помощников своих Тарасенков вербовал везде и всюду и отнюдь не одних лишь сопричастных литературе. В дни войны — офицеры, матросы Балтийского флота. В мирное время — все, с кем сталкивала дорога, дела, обстоятельства. Даже знакомство с маленькой девчонкой, лет шести, в Адлере, которая боялась роз и обходила кусты, как будку с цепною собакой, — послужило к тому, что на книжную полку на Конюшках встали книги стихов с Магадана. Девочка эта впервые в Адлере увидела розы и, конечно, укололась... Она выросла на Колыме. А издательство «Советская Колыма», как это выяснилось из разговора с ее отцом, выпустило книги стихов, о которых Тарасенков не знал. И с Магадана стали приходиться бандероли, и на Магадан стали уходить бандероли! Тарасенков не оставался в долгу. А в те годы книжной валютой были «Золотой теленок», «Двенадцать стульев», рассказы Зощенко. На книжном рынке всегда своя валюта. Разное время — разная валюта...

— Россия шлет!

Ну да, Россия слала исправно. А если вдруг «Россия не шлет»... — день считался потерянным. Но таких дней почти не припомнить.

Случалось, Россия слала и не только книги стихов текущего времени. случалось, з бандероли вдруг — уникальный экземпляр какой-нибудь книги, мелькнувшей на книжном прилавке где-нибудь в Вятке, Оренбурге, в каком-нибудь Екатеринославе лет тридцать, сорок тому назад и канувшей в Лету!.. Ветвицкий, например, раз в жизни согрешивший книгой стихов в 1915 году ко дню вербного базара в Тамбове. Сколько было экземпляров этой книги? Тираж в те годы не указывался. На благотворительном базаре в пользу раненых первой империалистической войны книгу раскупили и тут же бросили, читать стихи эти ни к чему, и книга эта никому не нужна... Но Тарасенкову она очень к чему! Она ему крайне необходима в его библиотеку, в его коллекцию русских стихов двадцатого века! Но между Тарасенковым — между тем временем, когда ему понадобилась книга Ветвицкого, и тем годом, когда Ветвицкий издал ее, — империалистическая война, революция, гражданская война, Отечественная... Сколько уцелело этих книг? Где?.. Тарасенков случайно наткнулся на Ветвицкого Вл. — на обложке какой-то купленной им старой книги, где было объявлено: «Готовится к печати книга Ветвицкого Вл. «Стихотворения». И, конечно, тут же с присущей ему аккуратностью было внесено в деиздату: «Ветвицкий Вл. «Стихотворения». Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза. Тамбов. 1915». И поставлен знак вопроса. Надо проверить — вышла или не вышла или только объявлена. И по книжной летописи того времени выяснил — вышла. И тогда письмо к «личным представителям», у кого дубли деиздату: «Ветвицкий Вл. «Стихотворения». Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза. 1915», просьба включить в деиздату и при случае... И тут же на карточку:

Ветвицкий Вл.  
Стихотворения.  
Изд. Губ. Ком. Всеросс. Земск. Союза.  
Тамбов.  
1915.

И карточка опущена по алфавиту в ящик с картотекой. Сколько она там стоит в ожидании синей черты — год, два, десять, двадцать... И она стоит год, два, десять. И вдруг — тощая, в несколько страничек книжонка, длинная, как преис-

курант, с красным крестом на бумажной обложке, что, должно быть, обозначает: доход от продажи ее — в пользу пострадавших от первой империалистической войны. Вдруг в бандероли — «Ветвицкий Вл.»... и тогда наконец синяя черта! И книга на полку. Но это еще не конец, на этом точка еще не поставлена. Еще надо вычеркнуть, не забыть, из дезидераты, из двух дезидерат — одна всегда с собой в кармане, другая для страховки в ящике письменного стола — вдруг пропадет, потеряется та, что с собой в кармане... И еще надо письма всем, у кого дубли дезидераты — Ветвицкий Вл. «Стихотворения»... Просьба вычеркнуть. Наконец найдена!

«Наконец найдена» — чаще всего — им самим. В Москве в книжных букинистических лавках на Кузнецком, на улице Горького у «Националя» (недавно этот дом снесен), в Ленинграде на Литейном, на Невском. У библиофилов, у библиомаманов — двойные, тройные обмены, сложные комбинации, шахматные ходы: отдал ферзя — получил пешку, но с помощью пешки этой выиграл в конечном итоге... И деньги, конечно, деньги!.. А какие у критиков деньги...

Но, впрочем, на книги денег все же хватало, всегда хватало, даже когда их и не было вовсе...

— К тебе Н. И.

Почему-то человека этого всегда называли сокращенно: Н. И.

И сразу на лице Тарасенкова — виноватое выражение... Н. И. неслышно проскальзывает бочком в комнату, таща авоськи, набитые книгами, или докторский пузатый чемоданчик. Н. И. — «частный» букинист. Тарасенков его постоянный клиент. Он сопутствует Тарасенкову при всех его переселениях и жизненных перипетиях и даже и после смерти Тарасенкова является к нему на квартиру для разведки... Н. И. говорит так деликатно, так вкрадчиво — еле слышно. Коротенький, недоросточек. Старая кофта подпоясана под животом, как у бабы, или куцый пиджачишко. Сальные серые волосы — за воротник. Одутловатые щеки, как два детских резиновых мяча. Старых, заигранных, надутых наспех, не до конца. Глаза — оба разные, оба ни о чем не говорят, даже при виде редкой книги, когда руки трясутся от жадности... Но это не страсть коллекционера, книга как таковая ему не интересна, он не собирает книг, не читает книг, ничего не знает о книгах. Просто по выходным данным, по первому взгляду, как цыган, увидя лошадь, определяет — стоит или не стоит. До пенсии работал коллектором и время от времени садился... Потом пытался представить — пострадал, мол, «по культу». Но, говорят, не так давно опять «пострадал» — обобрал одну старушку... У Н. И. особое чутье на старушек. Умрет старичок, тот, что всю жизнь копил книги, и Н. И. — тут как тут! У старушки — за бесценнок, оптом, а потом от себя поштучно Тарасенкову и подобным клиентам. Н. И. не любит свидетелей, особенно жен. Тарасенков, Н. И. — вдвоем, один на один. Их не слышно, только двинули стулом, скрипнула дверца книжного шкафа. Н. И. удалился... И тогда Тарасенков:

— Ты знаешь, умер один старичок.

— Сколько?

— Ну что значит сколько? Зачем же так грубо? Ну хоть бы поинтересовалась...

— Царствие небесное этому старичку! Жил бы себе и жил... Так сколько же хочет Н. И.? Старушка, конечно, в счет не идет...

— Ну что я могу сделать?! Я бы рад помочь старушке, но ведь от Н. И. ничего не добьешься. Он держит все в тайне. А если я не возьму книги, он отдаст другому...

— Так все-таки сколько?

— Восемьсот...

И это явно еще преуменьшено. Тарасенков никогда сразу не решится произвести полностью сумму.

— Ты с ума сошел! Опять влезать в долги. Мы отложили триста на сберкнижку, но ты говорил: это мне на шубу... И ты сам без пальто...

— Ерунда, я вполне прохожу еще в куртке. А тебе так идет твоя старая шубка. Она тебе очень к лицу.

— Благодарю, конечно...

— Нет, правда, а как сошьют новую — еще не известно... И потом заниматься придется не так уже много. у меня еще есть двести, «подкожных»... Ну, что ты так смотришь. Ну, был на радио гонорар — зажал его! Каждый порядочный мужчина должен иметь «подкожные» деньги, ну на вино там, на карты, на женщин в конце концов!.. Даже Льву Николаевичу были нужны «подкожные»... Да. Мне недавно рассказывал букинист один, ты его не знаешь, когда он был мальчишкой лет тринадцати, он работал у старого московского букиниста на побегушках. К этому его хозяину как-то явился посыльный с запиской от Льва Николаевича, тот просил его тотчас же прийти и оценить книги. Книг была целая груда, они лежали под лестницей, их присылали со всего мира на всех языках с автографами. Лев Николаевич был смущен, говорил, что неловко, наверное, продавать их, но куда с ними деться... Букинисту они были тоже не нужны, но из уважения к Льву Николаевичу он согласился их взять и даже больше дал, чем они стоили. Лев Николаевич был очень доволен и попросил вывезти книги обязательно завтра с часу до трех и деньги вручить ему лично. Когда назавтра старый букинист и тот, кто мне это рассказывал, подъезжали на линейке к дому Толстого, они увидели удаляющуюся по улице Софью Андреевну и поняли, что Лев Николаевич хотел, чтобы вся эта операция была произведена в ее отсутствие. Они очень торопились и все-таки не успели. Выносили последние связки книг, когда в дверях появилась Софья Андреевна. Лев Николаевич тут же смылся, исчез в комнатах... А Софья Андреевна, стуча зонтиком, напала на них: «Что здесь происходит? Кто вам позволил? Назад! Все внести в дом! И распаковать. Я еще посмотрю, что мы будем продавать и за сколько!..»

— Ну, у Софьи Андреевны был характер. Она даже на Льва Николаевича могла стучать зонтиком...

— Но я-то ведь не из дома, а в дом! Ты подумай только, какая у тебя библиотека! Я уверен, что теперь уже ее можно оценить в полмиллиона! Значит, ты полумиллионерша! А когда я буду стариком, ты представляешь, сколько ты себе сможешь купить шубок!

— Боюсь, меня тогда уже не будут интересовать шубки...

— Ну, это как сказать... И потом тебе все-таки повезло. Муж ведь мог оказаться и пьяницей. Да? Было бы хуже! Нет, ты понимаешь, это такие редкие книги, если их упустить, потом десятки лет не найдешь. Ты посмотри только сколько и какие!

— Как, опять этот трамвайщик Герасимов?!

С наукой не был я сроднившись.  
Самоучкой стал писать.  
Ни одного дня в школе не учившись,  
Стал стишки я составлять...

Да у нас же есть уже две его книги!

— То часть первая издание седьмое и часть третья издание первое. А это часть первая издание третье. Тысяча девятьсот пятнадцатый год.

— О господи! Да ведь этот твой крестьянин-самоучка: «Мы на службу собрались. на трамвае в парке снялись...» — черносотенец! Ты погляди на его физиономию. Да и по стихам ясно — он из «Союза русского народа». Это они издавали его на свои деньги!

— Ну при чем тут «черносотенец», «Союз русского народа»! Книга издана. В книге — стихи, и, значит, книга должна стоять у меня на полке!..

— Но ведь можно же для курьеза иметь одну книгу этого трамвайщика!

— Нет, ты не понимаешь. Это — наука. Мне надо все! Все издания, все переиздания. Всю поэзию двадцатого века!

— Но какое же это имеет отношение к поэзии?!

— Ну, тогда считай, что я задался целью собрать книги всех поэтов и всех стихотворцев, которые жили и писали в нашем веке на русском языке!

— Всех?! Сколько же их всех?

— Этого никто не подсчитывал. Я пробовал прикинуть, думаю, за первую половину века, за пятьдесят лет, книг тысяч пятнадцать... Не волнуйся, это с теми, которые еще будут выходить...

— Пятнадцать тысяч! И только стихи! А еще других сколько... Куда мы будем их ставить?..

Книги стояли, лежали в шкафах, на шкафах, на стеллажах, под стеллажами. Тонкие, как школьные тетради. Толстые. Величиною с альбом. Величиною с детскую ладошку. Квадратные, продолговатые, одна даже восьмиугольная! Кажется, только круглых книг не было. В два ряда, в три ряда! Разобраться, где что стоит, где что лежит — невозможно. Только Тарасенков сам, хоть ночью подними, в темноте, на ощупь — люблю!

— Книгам нужно жизненное пространство! — восклицал он. — Восемьдесят метров. Не меньше! Восемьдесят погонных метров.

Поэзия мерилась метрами... Метр Бальмонта, полтора Блока, три Маяковского... Тарасенков ходил с линейкой и прикидывал, где бы еще приладить полку, куда бы еще втиснуть стеллаж... Но стен было четыре! И одна почти вся занята окнами. Зимой окна покрывались льдом, хотя стаканчики с серной кислотой исправно ставились в вату между рамами. С подоконников стекала вода, даже бутылки из-под шампанского, подвешенные за веревочные ушки по углам подоконников, не спасали. Если ночью было лень встать — вылить воду, то к утру по полу растекались лужи. Простенки между окнами ела плесень, обои отставали. Другая стена — двухстворчатая стеклянная дверь в комнату стариков. И еще угол был срезан камином... Это был деревянный купеческий особняк. В двадцатых годах тесть Тарасенкова получил по ордеру в этом особняке две комнаты. Ему досталось так называемое «зало» купца и гостиная с камином. Из зала был выход на парадную лестницу. Впоследствии тесть пристроил к дому тамбур, втиснул крыльцо между тополем и стеной. А где был парадный ход, там сделал кухню, ванную и крохотный кабинетик. Получилась отдельная квартира. Из кабинетика люк вел в подпол — туда, где раньше была лестница, — там держали дрова, картошку. Но Тарасенков сразу нацелился на эту «жилплощадь» — провел электричество, сделал стеллаж, разместил там филиал библиотеки. Книги под полом, книги над полом в кабинетике тестя, с пола до потолка. Стол вмонтирован в книги. И в бывшей купеческой гостиной диван, кровать — в книгах. Только в большой проходной комнате стариков стены без книг.

— Это некрасиво, когда стены голые! Книги ведь в конце концов украшают комнату...

Тесть, может, и согласился бы, но у тещи была своя точка зрения: во-первых, книги вредно держать в комнате, где спят; во-вторых, книги пахнут! И это Тарасенков воспринимал уже почти как личную обиду... Но книги и правда пахли плесенью. В квартире было сыро. Книги покрывались зеленым налетом, впрочем, как и мебель, обувь, одежда...

— Книгам плохо! — трагически восклицал Тарасенков.

— А нам?!

Он перетаскивал книги в подпол, где было суше, но и в подполе книгам тоже было плохо: там водились крысы. В подполе ставились крысоловки, но пугали они только двуногих обитателей квартиры, когда посреди ночи вдруг раздавались выстрелы. А крысы, сожрав приманку, спокойно удалялись в норы. Тогда Тарасенков брал кочергу, которой мешали дрова в голландской печи, и, спустившись в подпол, сидел там, притаившись. Ему это давалось не так уж просто — у него была привычка трясти ногой, положив ногу на ногу. Мальчишкой он был влюблен в Луначарского и не раз попадал с ним рядом в президиум. (В те годы советская литература была еще молода, и Тарасенков уже с восемнадцати лет был непременным участником всех литературных дискуссий и диспутов.) А у

Анатолия Васильевича была привычка трясти ногой, и Тарасенков стал подражать, быть может, и невольно, но так заразился, что потом всю жизнь уже не мог отделаться... Но ради книг... он даже был способен не шевелиться часами, не дрыгать ногой, не курить...

В подполе стояло старое продавленное кресло. Пауки плели паутину. Бороться с ними казалось бессмысленным — только обметешь все углы — и тут же натыкаешься лбом на сухие, потрескивающие нити, как в августовском лесу... В подполе был земляной пол, пахло грибами. (Росли шампиньоны, целое семейство шампиньонов, которые с другой стороны стены на улице подрывали асфальт у бывшего парадного входа.) Потолок лежал на плечах — не выпрямишься. Двоим уже было тесно. Но все, кто бывал у Тарасенкова, прошли через этот подпол. Тарасенков первым прыгал в люк и протягивал руку, он забывал, что гостя могла сломать высокий каблук, а маститый гость мог не иметь спортивных навыков, да и по габаритам ему не так уже просто было протиснуться в люк. А главное, Тарасенков всегда забывал, что гости могли набить себе шишки на голове, и вспоминал об этом тогда, когда сам стучался о балку. Но библиотека его еще перед войной была известна в кругу литераторов, книжников, и даже из Ленинки, из библиографического ее кабинета, и из Книжной палаты часто обращались к Тарасенкову за справками, как и он к ним, конечно. И специально даже приезжали, чтобы de visu увидеть ту или иную книгу стихов. Естественно, среди знакомых не нашлось никого, невзирая на возраст и пол, кто бы не изъявил желания добровольно хоть раз прыгнуть в люк...

Когда в сороковом году на Конюшках впервые появилась Марина Ивановна Цветаева, она, конечно, не миновала тарасенковский подпол, и, пожалуй, никому так не пришлось по душе старое, продавленное кресло, паутина и пыльные стеллажи!.. Они так долго засиживались там внизу — она в кресле, Тарасенков — на скамеечке, и так курили вдвоем, что из люка в кабинетик тестя клубами поднимался дым. И Тарасенков вещал из подземелья, как тень отца Гамлета в озорном вахтанговском спектакле, где актеры произносили слова монологов в глиняные горшки.

Я сплету ожерелье из женщин  
На свою упоенную грудь...

— Нет, вы только послушайте, что писал Северянин об этой книге Вадима Баяна «Лирионетты и баркароллы»: «Его Баяна напудренные поэзы напоминают мне прыжок, сделанный на луне: прыгнешь на вершок, а прыжок аршинный...» Или:

Эй, косматые, за фартуки,  
Приближайтесь на зов.  
Родила меня на фабрике  
Мать художником голов...

Это от лица парикмахеров некто Александр Макаров изъясняется в сборнике «Песни рабочих профессий». 1924 год. Кузнецы, литейщики, дворники, фонарщики, пряжи, трубочисты... выступают в этой книге в качестве поэтов.

На Ходынке, что случилась,  
Масса мертвых очутилась.  
Народ жадность проявил  
И друг друга подавил...

Расейский самодур и невежда Поликарпов — владелец бакалейно-мучной лавки и лесного двора из города Одоевска...

«Пролетарий, будь бдителен — сифилис враг революции!» Врач-венеролог разразился в Барнауле в двадцатых годах целой поэмой! Врачебная инструкция в стихах...

И пошло и пошло... Тарасенков завелся!

— Ты бы пластинку наговорил, — шутили товарищи.

— Это сколько же надо их наговорить! Опять картотеку составлять...

Тогда еще не было долгоиграющих.

Тарасенков любил начинать экскурсию по своей библиотеке с подпола, где стояли книги начала века, двадцатых годов. Сборники имажинистов, футуристов. Стихи Давида Бурлюка, например, — «отца российского пролетарского футуризма», как он сам объявил об этом в книге «Энтелехизм», изданной в Нью-Йорке к двадцатилетию футуризма в 1930 году. Книги Бурлюка в Советской России были величайшей редкостью — он был эмигрантом. Это Тарасенков в юные годы сгоряча написал ему в Америку, что собирает библиотеку русских стихов, и тот присылал свои книги «из-за океана, от автора и издателя». И на «Автобиографии», где он — толстощекий русак, нос картошкой, русский поэт, американский фермер снят в котелке с серьгой в ухе, написал: «Дорогой Ан. Тарасенков! Посылавам библиоредкость. Очень мало птиц могут именем ея похвалиться. Давид Бурлюк». «Посылавам», должно быть, как и «скудотундра», «хилогорб», «восклязбечить дух», было поэтическим его словоизобретением...

Потом в 1956 году на Николиной горе на даче у Лили Юрьевны Брик пили чай вместе с Бурлюком и его супругой. Они приезжали погостить в Россию, и в прошлом году тоже приезжали, и их можно было встретить в Переделкине, но это уже после Тарасенкова, уже без него... А в те времена «связь» с Бурлюком, с «заграницей» могла дорого обойтись!.. Тарасенков рассказывал, как он боялся, что Бурлюк пришлет еще свои новые книги, и не решался ему написать, чтобы тот больше не присылал. (Но Бурлюк почему-то и сам прекратил вдруг посылать или книги просто не доходили.) А те, которые Бурлюк прислал уже раньше, Тарасенков прятал, не держал у себя, но уничтожить их не мог. Это было свыше его сил! Книги эти ведь и правда были «библиоредкость»...

Библиоредкость — книга, изданная за границей. Библиоредкость — книга, изданная малым тиражом. Библиоредкость — единственная книга автора. Рахлина-Румянцева, например, дважды библиоредкость — и потому, что другой книги у автора нет, и потому, что существует в мире только в сорока трех нумерованных экземплярах! В голубом сафьяновом переплете с золотым обрезом. С приложенным на отдельном листе факсимиле автора с фотографией личного музея автора, с фотографиями лично самого автора — автор-девочка, автор-девушка, автор-жена, автор с сыном Аполлоном... Черновики, наброски, варианты — академическое издание! И в предисловии: «Она писала на различных листках, на программах концертов, на меню — словом, там, где ее застигла минута вдохновения...»

Тебя ожидаючи,  
Я пасьянс кладу.  
На гитаре песенку  
Тихо запою...

Стихи... Ну, там, где идет разговор о библиоредкостях, стихи в счет не идут... Библиоредкость — книга напечатанная, но не вышедшая в свет. Цензура «зарезала!» Библиоредкость — книга, напечатанная и вышедшая в свет, а потом цензура «зарезала». Конфисковала тираж — сожгла или под нож — на бумагу! Но раз книга напечатана — значит, есть. Существует! И нигде никакие цензоры, никакие, ничейные опричники в мире не в силах опровергнуть de facto! Есть. Что уж тут сделаешь! Как в сене иголка, но есть... Или, допустим, пожар, наводнение, стихийное бедствие... Или война, революция...

Попробуй разыщи книгу Герасима Фейгина, например, изданную в первые годы революции!.. Секретарь Иваново-Вознесенского губкома РКСМ. Член Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), делегат X съезда РКП(б). Девятнадцать лет от роду геройски погибший в ночь с 17 на 18 марта при штурме Кронштадта... Любые деньги предложи бункисту — не разыщет! Или книги-листовки, книги-плакаты, печатавшиеся на фронтах гражданской войны, в походных типографиях, в городах, которые переходили по несколько раз из рук в руки: красные — белые, белые — красные... Демьян Бедный — так много издававшийся в те годы, сколько у него было этих книг! Он и сам толком не знал — где и

когда напечатаны... И на книгах тех лет обязательно: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»...

Будет еще время, и на книгах-листовках, на книгах-воззваниях, как крик, как заклятие: «Смерть немецким оккупантам!..» Но это еще будет... И Тарасенков еще не знает, что он будет разыскивать книги стихов, изданные в партизанских отрядах, в осажденном Севастополе, на Ханко, в блокадном, обезлюдевшем от голода Ленинграде. И самому ему, москвичу, суждено будет помирать в Ленинграде от дистрофии—голодной болезни... Но пока еще «дистрофия», «блокада»— слова из чужого словаря, неосвоенные.

Тарасенков не успеет разыскать книгу Демьяна Бедного, которая не один десяток лет значилась в его дезидерате, изданная в 1920 году политуправлением Реввоенсовета Западного фронта,— а будет уже разыскивать, будет уже значиться в его дезидерате книга «Мужество», изданная 3-м Украинским фронтом в годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война еще будет...

Недавно на одном из заседаний «книжников», собирателей редкостей, любителей книг, говорилось, как о редкости из редкостей, о библиоредкости — о книге Всеволода Саблина «Мстители». Стихи и песни. Конечно, на обложке: «Смерть немецким оккупантам!» И трое партизан с автоматами. Маленькая книжечка в несколько страничек, отпечатанная на газетной бумаге. Издание Руденского подпольного РК КП(б)Б. 1944 год. Всего двадцать экземпляров!.. Наборщики, опоясавшись шрифтами, как пулеметными лентами, и не допечатав — в бой... А потом снова, примостившись где-нибудь на пнях под елками — и елка нарисована на обложке,— печатали партизанскую газету, листовки и эту книжку — «Мстители».

У Тарасенкова на полке она стоит... Великая Отечественная война уже была. И книга Есенина, изданная в оккупированной немцами Одессе в 1942 году, тоже стоит.

Но пока... Пока был еще голько сороковой. Пока Тарасенков разыскивал и никак не мог разыскать книгу Есенина «Песнь о великом походе». От Октября год девятый. МСМХХVI. Зачетная работа Николая Лапина, студента четвертого курса полиграфического факультета Вхутемаса. В пятидесяти экземплярах отпечатанная. Сколько лет ушло на ее поиски! И раз даже почти в руках — у Данина оказалась.

— Кто-то из вхутемасовцев дал. Валяется в ломберном столе...

— Валяется! Ты с ума сошел! Такая книга валяется!

— Ну, лежит... Она мне ни к чему!

— Что же ты молчал до сих пор?

— Да к слову не пришлось. Я был уверен, что она у тебя есть.

И немедля — на Фурманский и в ломберный стол... И даже побледнел от огорчения. Экземпляр был порченный, страницы вырваны. Теперь из пятидесяти возможных только сорок девять. Точнее — сорок семь: один из пятидесяти — обязательный экземпляр в Книжной палате, один — в Ленинской библиотеке.

Нашел все-таки? Нашел... Найти-то, в общем, рано или поздно найдешь, так он считал. Тут только терпение... Главное — знать, что есть. Чтобы книга значилась в дезидерате. А вот как узнать! В России такое количество было частных издательств во всех городах. Сколько книг издавалось на средства авторов! Сколько книг, которые не вошли ни в какие книжные летописи, каталоги! Их невозможно было все учесть. И потом эти вечные цензурные соображения. Библиографии в России никогда не везло... Тарасенков просматривал все книжные летописи, каталоги в Ленинской библиотеке, в Книжной палате, в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Рылся в частных коллекциях. Списывал в дезидерату названия книг и выходные данные с рекламных объявлений из старых газет и журналов. Проверял, сверял — и все же...

— Послушай. Толя, у тебя есть Окушко?

Как-то вечером уже поздно — звонок.



— Окушко?! По-моему, такого вообще нет. Сейчас посмотрю... Нет, в дезидерате не значится и в картотеке нет. Ты что-нибудь путаешь.

— Да я держу в руках. Чистила шкаф и наткнулась. Стефан Окушко. «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы»... «Самая короткая и самая длинная сказка». Это заглавие. «Приди... Я тоскую...» Вся сказка. И иллюстрации Пейча. Или «Самая маленькая и самая великая сказка». «Люблю... люблю... люблю...» И все.

— Что ты меня разыгрываешь?!

— Да не разыгрываю я тебя! «Уничтожить ненужную бутафорию слов» — это девиз автора. Он сам пишет в предисловии: «Эти творения принадлежат к новому виду поэзии, мною рожденному и названному, согласно формы и происхождения — словографией...»

— Я еду!

— Куда ты едешь?! Уже поздно! Я собиралась завтра к тебе вечером.

— Нет. Нет. Я приеду сейчас сам, не ложись.

И глядя на ночь — с температурой, в гриппу — за этой «словографией».

— У меня нет температуры! Я давно уже заметил — градусник врет. И потом все равно, когда грипп, полезен свежий воздух. Я за час туда и обратно.

— Но ведь Женя у нас завтра будет!

— Ну как я могу ждать до завтра?! Этой книжки нет в дезидерате! Ты понимаешь, я даже не знал о существовании такого Окушко, «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы»!

— Но если ты не знал всю жизнь, то до завтра потерпеть можно.

— Нет. Женя может передумать...

— Нужен ей этот Окушко! Она тебе «Конец Казановы» уступила!..

Евгения Александровна Таратута как-то купила у букиниста «Конец Казановы» Цветаевой. У нее у самой не было, но она отдала Тарасенкову, зная его страсть к собиранию книг. А когда потом раздобыла экземпляр для себя, то он оказался без последней страницы, и она попросила книгу Тарасенкова, чтобы перепечатать эту страницу.

— Нет, я сам. Сам перепечатаю, вклею и переплету. Привези свой экземпляр.

— Ты мне что, не доверяешь?

— Нет, доверяю. Но я лучше тебе перепечатаю... И потом, книга любит свою полку...

«Книга любит свою полку...» В 1955 году из Сибири вернулась в Москву дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна — Аля Эфрон, она увидела у Тарасенкова на полке книгу матери «Царь Девица», купленную им у букиниста уже после войны. По переплету, по шифру из переплете она узнала книгу. Эта книга принадлежала матери, была из личной ее библиотеки... Тарасенкову пришлось даже схватиться за валидол, у него уже было несколько инфарктов.

— Но я ни в коей мере не претендую на эту книгу, — сказала Аля. — Я знаю, что это значит для вас...

— Я должен был ей отдать? Да?

Это уже когда она ушла.

— Да.

— Но я не могу... Неужели остался осадок? Я ее так люблю, так хорошо к ней отношусь. Я готов для нее сделать все, что угодно, только не это! Неужели она не поняла?..

(Поняла... Потом всем, чем могла, всем, что сумела разыскать цветаевского, делилась с Тарасенковым.)

— Даже если хочешь знать, я не имею права отдать книгу с полки. Да, уже не имею права...

Книга с полки никогда, никому... Книга только на полку... Л. Б. «Декабрьские дни» — на полку. Л. Б. — аноним. Аноним — это тоже библисредность! А книга Л. Б. дважды библиоредность — аноним и тираж уничтожен. И ко-

нечно, ни в каких книжных летописях не указана — цензура! Книга напечатана была, видно, сразу после разгрома декабрьского восстания 1905 года. Издана подпольно. На книге не указаны ни год, ни город, ни типография, никаких выходных данных. На обложке — смерть в сводчатых казематах... И гневные стихи о предательстве, о царских жандармах. Кто автор? Кто скрывается под инициалами Л. Б.? Тарасенкову мало, что книга — редчайшая, книга на полку. Ему надо еще обязательно расшифровать аноним... Он пытается навести справки — тщетно. Нигде никаких сведений. Потом, значительно позже уже, он приобрел книгу Любови Белкиной «Лесная лилия». 1910 год. В книгу вклеен зелененький талончик: «Определением Московского Окружного Суда от 7 мая с. г. снят арест с книги «Лесная лилия» Любови Белкиной. Книгоиздательство «Икар». Оказывается, по суду арест с книги был снят. Но почему книга была арестована? Почему на книгу был наложен арест? В книге нет стихов, которые способны были бы раздражить цензора. Подражательные стихи о любви, о природе, грусть о тех, кого уже нет на свете... Десятки подобных книг выходили без ареста, а тут арест! Суд, видимо, просмотрев все стихи на свет и в лупу, сверху и вниз (как бы не было акrostиха!), снизу вверх, слева направо, справа налево и не усмотрев ничего, что могло бы поколебать трон, вынужден был вынести книге оправдательный приговор. Но, может, дело в авторе, не в стихах, может, автор сам принимал участие в восстании 1905 года? Или писал раньше недозволенное?... Тарасенков ставит книгу Любови Белкиной на полку. Книга встает рядом с Л. Б. «Декабрьские дни»... А может?! «Декабрьские дни» — «Лесная лилия». Л. Б. — Любовь Белкина... Тогда было бы все ясно! Но какие доказательства? Стихи! Но стихи такие подражательные. По таким стихам невозможно определить авторство... А спустя много лет обнаружена еще книга Л. Белкиной, поэма о лейтенанте Шмидте, «красном адмирале». Казань. 1907 год.

«Ранним утром, — год тому назад, — на острове Березань царские опричники совершили кровавое дело: наемные палачи и убийцы — они надеялись пулями заставить умолкнуть славного борца...» Конечно, тираж конфискован! Конечно, теперь ясно, когда в 1910 году вышла «Лесная лилия», то, не глядя в книгу, не читая стихов — сразу на книгу арест! По списку — Любовь Белкина, та самая... Ну, а Л. Б. «Декабрьские дни»? Теперь у Тарасенкова нет сомнения. Л. Б. — это Любовь Белкина. И все же еще ничего не доказано... Казань. 1907... Может быть, можно узнать в Казани... Узнал — после революции жила в Туле. В Туле — да, жила. Но выехала в Москву. В Москве — да, жила. Но умерла... Тогда по адресам в Казани, в Москве — может, кто из родственников откликнется — жив?! Откликнулся сын... Л. Б. действительно оказалась Любовью Белкиной!

Розыски... Бесконечные розыски живых и мертвых по всей стране.

«Глубокоуважаемый Анатолий Кузьмич!

Ваше письмо совершило большой рейс через Куйбышев (откуда я выехал год назад) и опять через Москву, но все же на днях дошло до меня.

Отвечаю на ваши вопросы. Действительно, в ранней молодости я писал стихи, притом ужасно плохие, мне просто стыдно за них. Я был тогда активным комсомольцем, вернее одним из организаторов комсомола в Воронеж. губернии, а с ноября 1919 года ревком, где я работал во время мамонтовщины, назначил меня ответ. редактором уездной газеты «Пахарь», в Задонске, в духах часах езды от Воронежа. В Воронеже тогда выходил лит. журнал «Сирена» под редакцией известного акмеиста В. Нарбута, а при губернской газете, которую редактировал В. М. Бахметьев, а затем А. В. Шестаков, создалась группа молодых литераторов. Стихи писали все и как кому на душу ляжет. Писал маститый А. В. Шестаков, писал мой друг Андрей Платонов, Б. Деритский, Н. Задонский; в 1920 году, ввиду того, что в «Сирене» нас не печатали и вообще третировали, мы создали свой тонкий лит. журнал «Красный Луч», он выходил под моей редакцией, активно работал у меня Андрей Платонов и Б. Деритский. последний находился под явным влиянием имажинистов. Вместе с ним мы издали в 1921 году первую

книжку стихов. Это была узенькая, в синей обложке книжица. Называлась так: «Б. Деритский и Н. Задонский. «Синяки под глазами». Стихи. Воронеж, 1921 г. Кто был издателем — не помню, но обложку недавно видел (у воронеж. старожила), тираж тогда не указывали, но, вероятно, издали 100 или 200 экз. А в 1923 году я выпустил вторую книжку один. Она называлась: Н. Задонский. «Стихи сердца».

Но более ничего не помню. Книжки эти у меня в архиве хранились, а затем в 1942 г. квартира моя и все архивы были уничтожены фашистской бомбой, погибли.

«Бубенцы» — это третья книжка, верно. И больше я никаких стихов никогда уже не писал...»

Н. Задонский. Воронеж.

«Свои последние пятнадцать лет Северянин жил вместе с Верой Борисовной Коренди, которая живет в г. Таллин, ул. Нурме, 23, кв. 1.

Эти данные я узнала от проф. Правдина в Тарту, и кажется, что и никто другой большего не знает...»

Сообщает Тарасенкову Дебора Вааранди из Таллина.

«С удовольствием выполняю Вашу просьбу. Среди прочих «грехов молодости» в моем скромном литературном наследии действительно значится книжечка стихов «Девушка в розовом».

Вот точные данные о ней:

Борис Корнеев. «Девушка в розовом». Издательство «Фантастический кабачок». Тифлис. 1918 г. Стр. 16. Тираж 500 экз.».

Б. Корнеев. Тбилиси.

«К сожалению, все мои книги безвозвратно утеряны. До войны я жил в Сталино. И после того, как уехал в армию, дом, где я жил, сгорел. Случайно у меня есть два экземпляра книги «Подруга». Посылаю вам тот экземпляр, который сохранился лучше.

Я много лет знаю вас. И мне очень приятно внести этот более чем скромный вклад в вашу замечательную коллекцию».

А. Фарбер. Ростов-на-Дону.

«Многоуважаемый Анатолий Кузьмич! Я был очень приятно удивлен, когда получил Ваше письмо.

Отвечаю сразу. Вашу просьбу я исполню. Книжечки привезу сам, т. к. в почту не верю. Многие отсюда посланное пропало вдребезги... За Вашу страсть по собиранию книг русских поэтов — аплодирую! Из моих книг, Вами названных, одна — «Колхозное утро». Такой нет. Есть книжечка «Колхозная честь». О ней, вероятно, и речь. Привезу...

Станция Сыльва, Пермской ж. д., село Троица. Этот адрес самый верный. Я тут столь известен, что множество (из почитателей) адресуют просто: «Урал. В. В. Каменскому».

«Очень хотел бы исполнить Вашу книжную просьбу, но у меня уже давно нет ни одного экземпляра ни «Феди-поводыря», ни «В лесах Робин Гуда». Даже и не помню, когда в последний раз видел эти книги.

О Вашем собрании знаю (по слухам) долгие годы и пользуюсь сейчас случаем сказать Вам, что делаете Вы большое и нужное дело, за которое Вам со временем многие и многие будут благодарны».

Вс. Рождественский. Ленинград.

«Хочу сообщить, что поиски книг начаты.

Кищенкову и Голосову отправил письма с просьбой пополнить библиотеку Тарасенкова книгами, которые они выпустили в свет.

Букинистическое начальство обещало принять все меры к отысканию всего, что можно обнаружить у старых книголюбов. Обещание это твердое и верное,

т. к. директор букинистического магазина и вообще хороший человек, и сам горячо любит книги, и понимает, что библиотека Тарасенкова — дело государственное, а не только личное.

В местном книжном издательстве есть редактор Вячеслав Вацлавович Рымашевский. Если Вы напишете ему письмо, он вышлет Вам два ярославских альманаха и поэто-сборник дореволюционного происхождения (Переславльский, кажется, — у меня нет при себе сейчас списка, оттого и говорю «кажется»). А письмо необходимо по простой причине: Тарасенкову отказать нельзя! Я говорил с ним, он готов это сделать, но для ускорения дела — черкните несколько строк.

В библиотеках побывал, оставил списки, на этой неделе сделаю вторичный обход».

Ю. Ефремов. Ярославль.

«К великому сожалению, книжечки «Отважный боец Иван Хватов» у меня нет ни одного экземпляра: эта книжка и многое другое у меня пропали во время блокады и я теперь с большим трудом сам собираю свои напечатанные вещи.

Знаю, что «Хватов» есть у бывшего редактора этой книжки — Бориса Потаповича Павлова: он полковник, был редактором «Сталинского сокола», где он сейчас — не знаю, т. к. не имею с ним связи...»

Н. Щербаков. Ленинград.

И в дни войны...

Вот письмо с обратным адресом — полевая почта 16726 Б.

«Дорогой товарищ Тарасенков!

Мне переслали Ваше письмо. Даже от того места, куда Вы мне писали, я теперь далеко. Обрадовался Вашему посланию очень. Мне за четыре года войны не так часто передавали привет сердечный и просили подробнее написать о себе. Самое главное — живу, пишу. Все эти годы — на фронте. Потерял много друзей, в том числе Юру Севрука<sup>1</sup>, которого Вы хорошо знали. С ним я вместе работал в газете 3-го Прибалтийского фронта. Уже полгода прошло, как я Юру в последний раз, уже мертвого, поцеловал.

Что еще написать о себе? Сейчас я в Восточной Пруссии, на Земландском полуострове. Уже войска ворвались в Кенигсберг. Завтра на рассвете еду в Кенигсберг. Борьба будет очень упорной. Мы заняли только несколько кварталов. Вы нам салютовать будете дней через 10—15, не ранее.

Кроме «Моей земли» (как Вы о ней узнали?) — плохонькой книжицы, которая делалась без меня в Ярославле, — вышла на фронте, непосредственно в дивизии одноптысячным тиражом (на правах рукописи) — «Фронтальная весна».

У меня есть только три экземпляра: «Берег», «Моя земля» и «Фронтальная весна». Шлю Вам «Весну». В ней стихи страшно спешные, газетные. Пожалуйста, никому не показывайте! Ну, а с последним Берегом, тем более с Землей, кому захочется расстаться! Но рано или поздно я Вам «Берег» доставлю...»

М. Лисянский.

Письма... Книжки... «Ваша коллекция заставляет каждого поэта задуматься и помочь Вам!» — писал из Вильнюса Теофилис Тильвитис. Да, конечно, если бы не эта помощь, если бы не живой отклик всюду и всех, к кому бы ни обратился Тарасенков, ему бы, наверное, не собрать своей библиотеки. А без библиотеки — не создать бы библиографический указатель «Русские поэты XX века»...

Случалось, годами ищет книгу. Значится в дезидерате, но нет ее, чтобы увидеть, ни в Книжной палате, ни в Ленинской библиотеке, ни в Ленинграде в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. И переписывает из дезидераты в дезидерату, во все дезидераты. И вдруг — книга! Нашел, но...

Так было во Львове в 1946-м. Он ездил туда читать лекции о советской поэ-

<sup>1</sup> Ю. Севрук — критик, работавший до войны в журнале «Знамя» вместе с Тарасенковым.

зии, о Маяковском. Еще была послевоенная разруха. Львов — голодный, насто-роженный. Аудитория недověрчивая. Слова падают, как в вату. По окончании лекции вежливые хлопки. Вопросов никаких... На улицах фонари не горят. В гостинице отопление не действует. Единственная возможность согреться — горячая ванна по горло. После одиннадцати на улицу выходить нельзя. Предупредили: если Тарасенков не вернется с лекции к назначенному часу — немедленно звонить оперативному дежурному в МВД. Уходя, оставлять друг другу адреса, куда пошел, на сколько. В городе действуют бандеровцы... Как-то задержались у Ярослава Галана. Он пошел провожать, сунув в карман револьвер. На пустынной улице — вечером все улицы пустыны — фигура наперерез из подворотни: где такая-то улица? Галан, наставив револьвер: «В противоположном конце города. Вам обратно идти...» Фигура метнулась и исчезла в подворотне. И на другой стороне улицы скользнула тень... С нами еще был приятель Галана в военном, тоже при оружии. «А вы еще не верили...» Перед отъездом Тарасенков собирался с Галаном к одному бывшему издателю. Но на Галана был наложен «домашний арест». Был пойман какой-то бандит, и он проговорился, что их несколько человек — посланы уничтожить Галана. Задание шло чуть ли не из самого Ватикана...<sup>1</sup> И пока не будет выловлена вся банда, Галану запретили выходить из дома.

— Я пойду с тобой к этому издателю.

— Ни в коем случае, это неудобно... Я не Галан, я не пишу против Ватикана...

— Но ты «москаль».

— Ну, ерунда!.. Я закружусь с лекцией, а это по дороге в гостиницу. Буду в одиннадцать ноль-ноль. Я тебе оставляю адрес. Сиди в ванне — читай. Я пунктуален, ты знаешь!

Одиннадцать ноль-ноль... Одиннадцать две... Одиннадцать пять... Одиннадцать десять... Шаги. Кто-то бежит по коридору, это когда уже трубка снята.

— Еще не успела позвонить? Очень хорошо... Понимаешь, оказалась проза!..

— ??.

— Ну, в дезидерате двадцать лет значилась книга стихов, издана во Львове в тринадцатом году, двадцать пять экземпляров! А когда взял в руки — проза!..

А случилось и так: ищет книгу, все есть — название, автор, город, год... но нет книги! Не вышла, не была напечатана, только объявлена. Случались и такие курьезы: долгое время Тарасенков занимало, кто такая Татьяна Вечерка? «Вечерка» — явно псевдоним, но кто она, откуда? Он не мог найти никаких связей. Никто не знал ее. А ему надо было выяснить, вышла ли у нее книга стихов в 1919 году «Беспомощная нежность». Нигде он не мог обнаружить этой книги, но знал, что книга готовилась к печати.

— Послушай. Круч,— обратился он как-то к поэту Крученых, который зашел к нему.— Я все забываю у тебя спросить, не знал ли ты такую Татьяну Вечерку? Она тебе еще стихи посвящала. У нее были две книги — «Соблазы афиш» и «Магнолии». 1918 год. Тифлис. Издательство «Кольчуга». Я даже пробовал навести сведения о ней в Тифлисе... Что ты смеешься?!

Крученых зашелся от смеха и топал обеими ногами по полу.

— Что ты бьешь, как конь копытом? Что тут смешного?

— Он ее в Тифлисе разыскивает... А она.. Да ты каждый день с ней в лифте встречаешься! Она под тобой живет! Это теща Либединского... — Тарасенков тогда жил уже на Лаврушинском, в доме писателей.

А раз было так: спросил у Павла Шубина на ходу в трамвае — у всех живых поэтов сверял библиографию, вдруг пропустил, вдруг не знает о какой-нибудь книге.

— Правильно у меня записаны твои книги?

— Правильно.

— Ничего не пропустил?

<sup>1</sup> Несколько лет спустя Ярослав Галан был зверски убит у себя на квартире националистами, и это действительно, как выяснилось на суде, было задание Ватикана

- Пропустил...
- Что пропустил? Не может быть!
- Пропустил, говорю. В Пензе была книга, в тридцать девятом. «Лесное эхо»...
- Ты мне дашь?
- У самого ни одного экземпляра...
- И спустя года полтора:
- Слушай, Паша, а может, я не так записал или ты что спутал. Твоей пензенской книжки нет в природе. Я писал в Пензу в издательство, мне ответили — никогда такой книжки «Лесное эхо» не выпускало...
- Какое «Лесное эхо»? При чем тут Пенза?
- Ну, помнишь, ты мне в трамвае сказал, что у тебя выходила книга в Пензе, — у меня она не значилась в дезидерате.
- Так я ж тебя разыграл!..
- Потом не раз добывал для Тарасенкова редкие книги. Даже в дни войны.
- Это тебе за розыгрыш с Пензой.

И Гумилев, изданный в Шанхае, — редчайшая книга — на полку в старом доме под тополем на Конюшках... Но началась библиотека не с Конюшков. Еще в 1927 году она пропутешествовала в чемоданчике с 3-й Тверской-Ямской, от матери Тарасенкова, на Таганку, где жили коммуной трое начинающих литераторов в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Потом библиотека переехала на Сивцев-Вражек. С Сивцева-Вражка — в Сокольники... Из Сокольников — в Гранатный переулок у Никитских ворот. Потом — Пятницкая, где он снимал какую-то «полукомнату» в набитой жильцами квартире... Библиотека путешествовала на трамвае; на извозчиках по булыжной еще мостовой; в «рено» — ходили в то время по Москве такие черные колымаги с мотором. В «эмке» — первых отечественных такси — типа кареты с высоким верхом... В такой вот «эмке», набитой книгами, как контейнер, и прибыла библиотека с Пятницкой на Конюшки. И за время своего «конюшковского стояния» выросла более чем вдвое... Особенно «прирост» этот падает на послевоенные годы, когда из букинистических лавок не единичные книги, а целые связки книг привозились на «москвиче» и «победе» на Конюшки...

Конюшки — горбатые, кривоколенные, крытые булыжником. Вверх и вниз... Вниз к зоопарку. Вверх на площадь Восстания. И на углу, на стыке двух булыжных потоков, дом под тополем. Зимой тополь звенит над крылечком оледеневшими ветками. Летом накрывает тенью всю улицу вширь. А в пору тополиного цветения метет такой тополиной метелицей, что окон не открыть. И осенью еще — возьмешь книгу с полки, а за книгой серый клубок!.. А летом на мостовой между булыжниками пробивалась трава. А зимой над Конюшками, над крышами — розовые дымные хвосты, как в деревне. Конюшки топились дровами... Между прочим, когда ставились кинокартины о 1905 годе — съемка всегда велась здесь, на Конюшках. И тогда по Конюшкам несся полицмейстер на пролетке, обязательно при усах, бороде. И курсисточки мели подолами булыжники. И рабочие с Красной Пресни под красным знаменем пели «Вихри враждебные...». Киношникам приходилось привозить с собой из реквизита разве только газовый фонарь и ставить его перед домом под тополем. Дом стоял на углу Большого и Малого Конюшковского. Он и теперь там стоит, где стоял, только теперь он оказался у подножия небоскреба, того, что на площади Восстания...

Быть может, сейчас тем, кто так запросто топчет мраморные ступени и каждый день проходит в лифты сквозь золоченные решетчатые двери, как сквозь ворота алтаря, может, тем с заоблачной их высоты, с двадцатого этажа, из квартир, забытых чешскими и венскими гарнитурами, этот старенький особнячок на Конюшках кажется таким убогим и жалким... Но почему-то нигде и никогда так потом не слушались стихи, как именно здесь, в этом доме...

Поет о том, что мы живем,  
 Что мы умрем, что день за днем  
 Идут года, текут века —  
 Вот как река, как облака.  
 Поет о том, что все обман,  
 Что лишь на миг судьбою дан  
 И отчий дом. и милый друг...

И особенно хорошо было слушать стихи, когда в печи или в камине трещали дрова и отсвет огня падал на покрытые морозными узорами, пушистые от инея окна.

«Я рад, что у тебя такой дом с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке...» — писал Тарасенкову Борис Леонидович Пастернак.

«Душой» дома, конечно же, были книги, стихи... Подпол — все эти километры рифмованных строк, сотни, тысячи книг — все это только преамбула, вступление, так сказать, в стихи... Мандельштам, Пастернак. Цветаева, Бунин, Блок, Ахматова, Маяковский, Есенин... Но это еще те годы, когда Есенин почти не переиздавался, замалчивался. Ахматова не печаталась. Бунин — еще неизвестно было широкому читателю, что есть такой замечательный писатель. Радость этой встречи еще впереди... Бунин еще не вернулся на родину, вернее, книги его еще не вернулись... Цветаева вернулась, но стихи ее не появляются в печати. Она никому еще неведома, только небольшой круг литераторов, да и то только любители поэзии, знает ее... «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед...»

Черед настанет еще многому. Еще встанут на полку в старом доме на Конюшках две книги Анны Андреевны Ахматовой, изданные в 1946 году, — библиоредкость! Ее стихотворения, вошедшие в те книги (одна — ОГИЗ, Гослитиздат, другая — приложение к «Огоньку», издательство «Правда»), печатались все в газетах и журналах до того времени и после того времени, в «Беге времени», например. Но, должно быть, вся суть и есть в этом беге в р е м е н и... Она «создавала мужественные произведения во славу Советской Родины...» «Поэзия Анны Ахматовой вводила человека в мир прекрасного и облагораживала его чувства...» — спустя двадцать лет прочли мы в некрологе.

Но я предупреждаю вас,  
 Что я живу в последний раз...

Кто-то сказал: в России писателю надо жить долго! Ахматовой повезло. Она жила долго, и когда в 1966 году, старую и немощную, ее увозили в больницу с очередным инфарктом — в этот день в магазинах стояли очереди за ее книгой «Бег времени»<sup>1</sup>. И она это знала...

Но это еще будет... Будет, между прочим, и такое — встанет на полку как библиоредкость и книга Уткина. Кто бы мог подумать — Уткин! В шестнадцать лет он принимает участие в революционном подполье, а в 1920 году, будучи учеником шестого класса иркутской гимназии, уходит добровольцем сражаться против банд адмирала Колчака. В Отечественную войну, когда командир и комиссар батальона были тяжело ранены, он, специальный корреспондент фронтовой газеты, встал во весь рост под огнем и повел бойцов в атаку. Под Ельней был ранен. Потом

<sup>1</sup> Тридцать экземпляров книги «Бег времени» — тоже библиоредкость. Дело в том, что художник В. Медведев, оформлявший книгу, предложил Анне Андреевне Ахматовой воспроизвести обложки ее первых изданий в начале каждого раздела однотомника, которые озаглавлены были, как и ее книги, — «Вечер», «Четки», «Белая стая». «Подорожник» и т. д. (К слову сказать — снимались эти обложки в библиотеке Тарасенкова.) Но Ахматова наотрез отказалась от такого оформления. Говорят, кто-то уверил ее, что так издадут только посмертные издания... Тогда В. Медведев напечатал для себя тридцать таких экземпляров. Увидя их, Ахматова пожалела, что не согласилась с художником. Но было уже поздно, тираж был отпечатан.

снова на фронт. Погиб в 1944 году... А что касается стихов, то стихи его все те же, не так уже много их было, бесконечно переиздавались, и в том «Избранном», издательство «Советский писатель», 1948 года — все те же! Все тот же «Рыжий Мотэле». Как был в 1924 году напечатан первый раз, так и до сих пор издается. Миллионные тиражи, наверное, уже этого «Рыжего Мотэла»... Тогда в том же году и «Избранное» Пастернака стало библиоредкостью, и книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», и «Золотой теленок»... Тарасенков даже выговор схлопотал за эту книгу. Он тогда работал главным редактором издательства «Советский писатель».

Итак, Конюшки. Дом под тополем. Горит камин. На полках книги стихов. А где книги стихов, там, конечно, и стихи!

Тарасенков как-то держал пари, что он сможет двадцать четыре часа подряд читать стихи без перерыва. Наверное, смог бы. Но слушатели не выдержали. Капитулировали раньше... Дегустация стихов. Бон стихов... Один начинал, другой перехватывал, по первой строчке, по строфе угадывал, продолжал. Известные стихи известных поэтов, забытые стихи известных поэтов, известные стихи неизвестных поэтов и просто стихи просто поэтов... Угощения могло в доме и не оказаться, ну а уж стихов — досыта!..

— Я приду к тебе только с условием — три стихотворения.

— Пять.

— Нет. Я сказал три и не больше!

— Но, понимаешь, я раскопал такие стихи!..

Он мог с одинаковым пылом, а главное с одинаковой интонацией читать и Мандельштама и какую-нибудь примелькавшуюся однодневку.

— Ты всеядное! Как тебе могут нравиться такие стихи?!

— Нет, не говори, в них что-то есть...

А когда появлялся Ярополк Семенов, — они вместе с Тарасенковым учились, потом встречались главным образом на страницах газет и журналов, всегда в полемике, не соглашаясь, не уступая друг другу, но раз в год, в память юности, когда Ярополк появлялся на Конюшках — тогда ночные бдения до утра. Чай, как йод, папиросы, стихи.

Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей  
Над холодеющими небесами,  
Где тишина и неземной покой,  
Что делать нам с бессмертными стихами?..

И так до рассвета. Так до войны, так и после войны — первое ночное бдение. Еще оба в военном. Папиросы. Чай по пачке на каждого. И чтобы никто не мешал. Только кипяток греть на керосинке, на электричество еще лимит. Газа, конечно, не было... Но, должно быть, часам к трем оба еле вывалились из комнаты. Откачивали их валидолом. Не учли одной подробности — такой крепости чай и папироса за папиросой, а между последним их бдением в сорок первом и этим — война...

Что делать нам с бессмертными стихами?..

Бессмертные и смертные стихи. Они входили в дом вместе с книгами. Случалось, сначала стихи — потом книги. Или сначала книги — потом стихи, поэт. Или сначала поэт — потом стихи. Тарасенков и сам писал стихи. Плохис. Сознал это, но не мог не писать. И даже издал два сборника стихов в дни войны и втиснул их на книжную полку в своем хранилище где-то между Тараринским и Твардовским.

Он нашел себя в другом. В любом деле нужен талант. Но так до конца своих



дней и любил неразделенной любовью эту музу поэзии и служил ей, чем мог... Заметить никому не известного, еще молодого поэта, напечатать его стихи, написать о нем — это было величайшей для него радостью. «Вчера в клубе МГУ выступала тощая девчонка. Читала стихи о Пушкине. Здорово. Ее зовут Маргарита Алигер». Начинающие Симонов, Смеляков. Поэты старшего поколения. Сколько он написал рецензий на книги стихов для редакций, для внутреннего пользования. Сколько напечатал рецензий и статей в газетах, в журналах. Сколько книг стихов отредактировал. Как-то Самуил Яковлевич Маршак написал ему на своей книге:

«Тарасенковым:

Он —  
Великий книжный Робинзон:  
Стихи, что авторы предложат,  
Проредактировать он может  
И до печати довести,  
Издать, потом переплести  
И, наконец, в своем разборе  
Убить в критическом обзоре!»

Разыскать книгу стихов... и не только для того, чтобы поставить на полку и на карточке, что ждет в картотеке, провести синюю черту, но и пролистать, прочитать, если стоит. Может быть, переиздать... Мандельштам. Он собирал его тексты, выверял их, готовил... Бунин — в 1945 году, как только пронесся слух, что в Париже Бунин обратился в комиссию по репатриации, Тарасенков тут же стал готовить его «Избранное». И вместе с Вячеславовым работа эта была осуществлена. Но книге этой было суждено так и остаться в верстке... Цветаева. Сколько рукописных и перепечатанных на машинке, переплетенных им ее книг стояло на полках! С какой тщательностью собирал он ее стихи, разбросанные по страницам старых журналов и эмигрантских изданий, записывал под ее диктовку... Сколько у него было заведено подобных книг, «изданных» им самим, куда он вписывал стихи, напечатанные в периодической прессе и нигде еще не напечатанные: «книжки» Твардовского, Светлова, Пастернака, Асеева. Он собирал и готовил к изданию тексты и более молодых своих современников — Ярослава Смелякова, например. И эти тарасенковские рукописные «издания», стоявшие в его книгохранилище, сослужили в свое время добрую службу (правда, без него уже)... Не говоря о том, что в 1961 году, когда наконец готовилась к выпуску книга Цветаевой, спустя двадцать лет после ее гибели, редакторы из издательства «Художественная литература» приезжали сверять тексты с тарасенковскими записями. Но и когда Смеляков выпускал свое избранное, он тоже обратился к записям Тарасенкова, так как весь его архив погиб...

А после войны только вернувшиеся с фронта — Межиров, Гудзенко, Друнина, Николаева, Орлов...

— Нет, вы послушайте: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат...»

Одни становились поэтами. Другие так и оставались авторами одного стихотворения, одной строфы, хотя книг потом было много. Одни становились известными, популярными в силу различных обстоятельств, правда, не всегда в силу таланта. Одни становились друзьями и оставались ими до конца. Другие уходили — умирали или просто расходились... Одно оставалось неизменным — книги на полках! Их становилось все больше...

«Дар в Тарасенковское хранилище Поэзий. Автор (С. Кирсанов)».

«Милый Толя,

ты — отец-крестный этой книги, поэтому дарю ее тебе с особенным удовольствием и со всегдашней любовью. Ольга Берггольц».

«А. К. Тарасенкову — обязательный экземпляр. А. Твардовский».

«Старинному любителю стихов Тарасенкову, в его собрание поэтов.

К Анатолию Кузьмичу  
Первым в руки я прилечу:  
— Не гони меня, зол и яр,—  
Я сигнальный лишь

экземпляр!

Н. Асеев».

«Анатолию Кузьмичу Тарасенкову, который «выстоял, сражался, победил» в битвах за эту книгу. Вера Инбер».

«Старейшему другу, соинфарктнику, собрату, соискателю Синей Птицы поэзии русской. В. Луговской».

«В ОЗНАМЯнование выхода сей многострадальной. Толе Тарасенкову на его могучую полку — свой первый тощий взнос! С постоянным и неразделенным чувством. Мих. Луконин».

«Дорогому Толе — еще один кусок жизни автора — на память о его дружбе. Павел (Антокольский)».

— Россия шлет!..

А в 1941-м после очередной бомбежки на Конюшки как-то пришел Михаил Голодный.

— Я звонил тебе, а у тебя телефон сняли... Я тут одну свою книжонку принес. «Сваи», в двадцать втором году издана в Харькове... Тарасенков меня все просил отдать ему. Ее нигде нельзя найти, а у меня единственный экземпляр, жалко было... Так ты напиши старику на фронт: Голодный, мол, решил, наконец принес...

— Да, но я не знаю, что будет с библиотекой. Дом деревянный... Пресня горит... Одна зажигалка...

— Ну, а кто теперь что знает! Так ты напиши ему, порадуй...

На Конюшках у Тарасенкова хранились в небольшом чемоданчике рукописи Цветаевой, которые она передала ему еще в 1940 году.

— Пусть будет у вас. Я скитаюсь по чужим углам, может пропасть! Если что со мной случится — делайте, что сочтете нужным. Я уверена, вы лучше меня распорядитесь...

Когда немецкие самолеты стали регулярно, изо дня в день, два раза в день бомбить Москву и на Пресне сгорели склады, толевый завод и каждую ночь пылаю зарево то на одной, то на другой улице, — пришлось позвонить Марине Ивановне. Она опять жила по новому адресу в чужой квартире, но дом был каменный.

— Все равно, — сказала она, — фугаска или зажигалка! У вас или у меня... Судьба! Правда, когда сгорает книга, где-то остается другая. Всего не сожжешь! А рукописи...

Потом опять позвонили: предстояла эвакуация.

— А что с библиотекой? — спросила Марина Ивановна.

— Ничего. Останется. Дом, наверное, заколотим...

— Что ж, пусть в нем останусь и я...

Даже в самые трудные военные годы в пустую, заколоченную квартиру хоть и редко, но все же приходили бандероли, и обратный адрес на них почти всегда был — полевая почта...

А в год победы, в один из майских дней, в дверь позвонил майор и передал пакет:

— Трофей из Германии.

И никак не мог понять, почему столько радости доставила какая-то маленькая книжонка с ятями и твердыми знаками этому тоже майору в морской форме, который открыл ему дверь... Бальмонт. «Песни Мстителя». Книгу эту Тарасенков нигде не мог разыскать. Даже просто поглядеть, подержать в руках ее не мог. Изданная в Париже в 1907 году, в Россию она не попала. При попытке перевезти ее через границу тираж был конфискован и сожжен царской охранкой. Еще бы! В книге были стихи, в которых Бальмонт обращался к царю, называя его «Царь-

Ложь» или «Николай Последний». «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно!..» Книга эта сложными путями попала на Конюшки. С комсомольских лет Тарасенков дружил с Борисом Шиперовичем, или, как он называл его, Боря Шип. Редакционный работник, библиограф, любитель и знаток книги, он сам собирал редкие издания по искусству и всегда помогал Тарасенкову в его поисках. Служа в войсках Советской Армии, Шиперович попал под Бреслау в немецкий замок, где расквартировалась на отдыхе наша часть. И как-то в парке он обратил внимание на двух офицеров и военврача, которые лежали в траве и, покатываясь со смеха, читали книгу. Он заинтересовался, что они читают. «Да записки какой-то графини или княгини!..» Это оказалась книга княгини Бебутовой. На книге был штамп: «Тургеневская библиотека. Париж». Как могла попасть сюда книга из Тургеневской библиотеки? Тургенев помогал этой библиотеке во Франции для русских эмигрантов. Герцен пополнял ее, Ленин брал книги из этой библиотеки... «Откуда у вас роман Бебутовой?» — «Очкарик дал, наш библиотекарь». В замке, в одной из комнат, на стеллажах, сколоченных на скорую руку, сержант-«очкарик» расставлял книги и рядом с «Библиотечкой война» ставил Чарскую и княгиню Бебутову... «Где вы берете книги?!» «Очкарик» толком не мог объяснить — ему поручено организовать «досуг» бойцов и командиров, он и организует, а книги таскают ему солдаты из соседнего замка и из какого-то ангара. Ангар километрах в десяти, который разыскал Шиперович. был набит ящиками с книгами, и на каждом ящике стоял немецкий штамп: «Минск. Библиотека Академии наук», «Париж. Тургеневская...» Шиперович потребовал запереть ангар, поставить охрану и доложил командованию. А в соседнем замке жила старуха, русская эмигрантка. ее муж дружил когда-то с известным издателем Гржебиным...

«Я просто не знаю, как мне тебя благодарить. Недавно у меня был майор Костелянец, который привез от тебя четыре чудесных подарка, а сегодня появился Миша Матусовский, который привез еще два. Я, конечно, в полном восторге и от самих подарков и от их внешнего вида, который выше похвал.

Во всяком случае благодарность моя к тебе не знает предела, и я тебе пишу уже третье письмо за очень короткий срок...

Порадовал меня и Павел Шубин. Он вернулся на днях с Дальнего Востока и привез мне немало редкостей, о которых я мечтал.

Ты спрашиваешь о друзьях? Что ж, напишу тебе. Очень я тоскую по моему старому другу Ване Бунину. Рад был бы повидать кое-кого из более молодого поколения — например, Соню Прегель. Вообще натуры, настроенные поэтически и склонные к писанию стишков, даже самых посредственных, всегда как-то были мне близки. Впрочем, что тебе подробно писать об этом? Ты сам знаешь. Увижусь ли я когда-нибудь с Ваней и Соней? Кто же знает. Во всяком случае мне почему-то кажется, что ты бы мог мне в этом помочь хоть слегка...»

Писал Тарасенков Шиперовичу в Германию: «Умоляю тебя, если можешь, выясни все насчет Зины<sup>1</sup>. Страшно благодарен за Марину Ивановну<sup>2</sup>. Как поживает Ирочка Кнорринг?..»

— Ну, знаешь, эти эмигрантские издания!..

— Но в них нет ничего антисоветского. Да и в письмах я не пишу про книги! Какой-то там друг Ваня Бунин.

— Ну, а что ты морочишь еще голову Шипу какими-то Кнорринг и Прегель? Я понимаю, Зинаида Гиппиус — старая русская поэтесса, но ведь эти-то, ты сам говоришь, дети эмигрантов, они и России не знают.

— От жадности! Хочу все... И потом нельзя же провести грань — отсюда и досюда. Они русские поэты. пишут по-русски. Да и в конце концов что тут такого! Я занимаюсь поэзией, мне интересно, мне надо знать... Я делаю науку — библиографию!..

<sup>1</sup> З. Гиппиус.

<sup>2</sup> Шиперович прислал Тарасенкову несколько прозаических произведений Цветаевой, которые вырвал из попавшихся ему в руки журналов.

— Да, но делаешь ты эту свою науку не благодаря, а вопреки... — вмешивался тесть. — И вообще все это зряшная работа! Сколько ты убиваешь сил и энергии! Сколько бы ты за это время успел написать...

Впрочем, об этом говорил не только тесть, но и товарищи-литераторы часто говорили Тарасенкову о том же.

— Ну что из того, что ты доискался наконец, что Кевлич — это псевдоним Пуришкевича? Зачем?! Ведь Пуришкевич — монархист, за царя-батюшку, и большевиков не любил...

— Да, но этот «держиморда», как называл его Ленин, выпускал в перерывах между заседаниями в Думе книги стихов! И этого почти никто не знает. А какая будет находка хотя бы для будущего историка!.. Дать любую цитату из любого стихотворения, и уже не надо ничего прибавлять к характеристике этого тупого, безграмотного «государственного деятеля» царской России! И потом ведь это уже все история! А библиография не пропагандирует книгу, она только фиксирует выход книги. Это же справочник.

— Да ты меня-то не уговаривай! — горячился тесть. — Меня не надо уговаривать. Я все отлично понимаю. А Гиппиус, Мережковский, Георгий Иванов — какая же это будет библиография? Ведь они эмигранты! А Саша Черный? А эмигрантские издания того же Бунина, Цветаевой?! Да ты понимаешь, что половина книг полетит!.. Значит, это будет только избранная библиография поэзии двадцатого века...

— Ну, не сегодня же я собираюсь издавать! Сегодня еще переходный период.

— А когда будет не переходный?!

— «Когда я буду бабушкой — годов через десяток...» — отшучивался Тарасенков.

— Что изменится тогда?

Но доспорить им так и не удалось: тесть умер в 1946 году. Тарасенков в 1956-м. А в 1966-м... сколько раз уже за это время переиздали и Бунина — и в двух «Избранных» даже предисловие Тарасенкова, успел все-таки. Умер, заканчивая вступительную статью к поэтическому его сборнику... И книги Цветаевой изда ны. Саша Черный. Мандельштам готовится к изданию. Библиография поэзии XX века. А в Ленинской библиотеке в каталоге — Кнорринг Ирина...

Все становится историей, и мы сами, не замечая, уходим в историю. Год за годом... бег времени — и все на местах своих, книги и люди. Но любопытно, даже и в наши дни еще вдруг редакторы-библиографы, спохватившись: «Надо просмотреть книгу Тарасенкова «Русские поэты XX века», как бы туда не попали «не те» имена!..» — «Какие «не те» имена?» — «Ну, эмигрантская литература, там Кнорринг и другие. Эротические стихи Кузмина, допустим. Монархическая литература — Пуришкевич, например...» — «Но позвольте, это же не руководство для классных наставниц, а библиографический справочник! А что касается Пуришкевича, то на экранах страны идет фильм «Перед судом истории», где в главной роли Шульгин...» — «Ну, все-таки как бы потом чего не вышло! Надо вычеркнуть!..» И это, так сказать, по личной инициативе, доброжелатели, «спасающие» книгу!.. Но что сделать, если сила инерции зачастую оказывается сильнее времени и перестраховка, говорят, болезнь хроническая...

А главный редактор издательства, когда десять лет тому назад после смерти Тарасенкова ему была представлена рукопись, с сочувствием сказал:

— Но ведь Анатолий Кузьмич умер накануне Двадцатого съезда... Он не дожил...

— Да.

— Но ведь библиография теперь неполная... Вы ведь понимаете, что в ней многих имен не будет хватать. Он ведь не мог знать, что будут реабилитированы, например, такие пролетарские поэты, как Кириллов, Герасимов, а Николай Зарудин и другие?

— Да. Но они включены в библиографию. Вернее, он их никогда не исключал. Книги их стояли на полках.

— То есть как стояли?! Зачем он хранил подобную литературу?!

— Он говорил, библиография — это наука. Он, видно, просто делал свое дело.

— И дома знали?

— Нет. Как-то не отдавали себе отчета...

Узнали, когда позвонили из Гослитиздата и сказали, что собираются издавать книги старых пролетарских поэтов, участников революции — Герасимова, например, члена РСДРП с 1905 года. А текстов нет! Многие стихи не сохранились даже у родственников. Быть может, в библиотеке Тарасенкова?.. Библиотека помещалась уже на Лаврушинском, в отдельной комнате, специально отведенной под нее, где все стены были от пола до потолка застроены шкафами. И все нужные книги были обнаружены. Они стояли по алфавиту, под стеклом, в ярких ситцевых переплетах.

Тарасенков переплетал сам.

— А где же станок, пресс и все прочее? — обычный вопрос, когда кто-нибудь заходил впервые.

Станок — письменный стол. Пресс — энциклопедия. «Все прочее» — кусок клеенки, как скатерть-самобранку, на письменный стол. На клеенку — деревянная колотушка, докторские ножницы, ланцет, сапожный нож, иголки, бобина с нитками, столярный клей.

— Опять кто-то брал мои иголки! Ну когда же в доме наконец кто-нибудь научится трепать хвостики?

«Трепать хвостики» — одна из переплетных операций. Их много, этих переплетных операций. Сначала книга расшивается. Потом со страниц счищается клей. Осторожно, ланцетом. Это сложная операция. Это никому не доверяется. Можно вместе с клеем содрать и кусок бумаги. Потом эти странички, сложенные тетрадкой, сшиваются заново. Это тоже никому не доверяется. Можно сшить не в той последовательности, перепутать страницы. Это сам. Сам никогда ничего не спутает, не испортит. Очень быстро, точно работают руки. Разговаривает, читает стихи. Всегда кто-нибудь есть.

— Ничего, если я буду переплетать?..

И к концу вечера по всей комнате, распластав белые форзацы, сохнут книги. Уже сшитые, с промазанными столярным клеем корешками, с торчащими веревочными хвостиками. На каждой книге четыре хвостика, — по два с каждой стороны. Когда сшивают страницы, их пришивают к кускам веревки, наверху и внизу книги, от этих веревок и торчат хвостики. Эти-то хвостики и надо «трепать». Сапожным ножом, подложив под них фанерку. Надо сделать их совсем тонкими, плоскими. Когда потом их будут наклеивать на крышку переплета, а сверху накрывать форзацем, они не должны быть заметны. «Трепать хвостики» — это тоже не такая уж простая операция. Можно так «растрепать» хвостики, что от них ничего и не останется и наклеивать будет нечего. А можно и «недорастрепать»... Но это все еще только полуфабрикаты. Книгу еще надо «одеть». Еще надо выбрать одежду.

— Как ты думаешь, холст к Ходасевичу подойдет?

Холст, ситец, дерматин, бумага для форзацев — это все трудно добыть. Это только в последние годы, в пятидесятые, просто: зашел в магазин и сразу купил, разве только в очереди зашумят — долго выбирает! Куда столько? Зачем по полметра, по четверть метра? Кукольный театр, что ли? Бумагу для форзацев — если хотел, чтобы не белая, — научился делать сам. В таз с водой выливал краску, разведенную в бензине. По воде шли радужные разводки, и тогда быстро на поверхность воды клался лист бумаги. Бумага становилась «мраморная». Но опять задача — нужны два одинаковых форзаца: один в начале книги, другой в конце. А два совершенно одинаковых не получалось. Даже если вдвоем, сразу опускать

один лист за другим — разводы разные! Ну, а ситец, холст — это знакомые приносили дань лоскутами.

— Как ты могла купить себе на платье в обрез? Ну хотя бы на один переплет. Ты скоро сносишь эту кофту? Только, пожалуйста, не выгорай ее...

Как-то ему подарили новую цыганскую юбку из синего французского ситца в цветах. По тем временам это был поистине царский подарок.

— Ну что ты смотришь так на юбку! Это бессовестно с твоей стороны. У меня Гумилев раздетый.

И тут же всю раскроил докторскими ножницами. И даже на те книги, которые еще не нашел, которые еще только записаны в дезидерате... Но «одеть» книгу — это еще тоже не конец, это еще не значит, что книгу можно поставить на полку. Переплет безмянный, на переплете еще нет ни названия книги, ни автора. Теперь из переплетного цеха книга поступает в оформительский цех... Оформительский цех — один из его приятелей.

— Как, ты уже опять приготовил? Да я у тебя только в субботу был до двух часов ночи!.. Хорошо. Приду. Только учти — пять книг и не больше!

— Десять.

— Я сказал: пять книг и три стихотворения. Только три!

— Десять книг и пять стихотворений. По рукам?..

— Нет. Я сказал: пять и три! И никаких тебе поблажек не будет!

— Ну, хорошо, пусть по-твоему...

Это по телефону. А вечером, входя в комнату и видя приготовленные груды книг на столе:

— Ты с ума сошел! И это все я должен сделать?..

— Да нет же, это тебе на выбор — любые! Мы будем делать надписи в четырех руки.

— В двенадцать я уйду, ты как хочешь! И корешки надписывать не буду. Ну зачем ты переплел эту книгу в ситец, да еще в такой цветастый? Надо было бы в полоску или лучше холст... Оставь книги, не трогай! Опять только намажешь... Давай сюда. Зачем ты писал моим пером, после тебя нельзя работать, ты слишком нажимаешь...

И тушью тонкие рисунки на холсте, на дерматине. Нарвские ворота и перед ними надолбы, проволочные ограждения. Сабля, онегинский пистолет, брошенные на землю. Корабли на рейде. Оловянные солдатики под ружьем у палатки посреди пустыни на обложке переводов Киплинга... Теперь, когда берешь эти книги с полок, переплеты и рисунки на них уже чуть стерлись от долгого стояния, от слишком тесного стояния в соседстве друг с другом... И по первому взгляду даже трудно определить, что это рисунок сделан от руки или отпечатан типографским способом... Переплеты твердые. Переплеты мягкие. Переплеты с накладными корешками, с врезанными углами. Переплеты-папки, куда просто вкладывалась книга... Тысячи переплетов! Тарасенков успевал переплетать не только для своей библиотеки: во многих московских квартирах, да и в Ленинграде тоже стоят книги, переплетенные им. «Как у вас стихи в таком виде?! Я переплету вам...» Еще в детдоме переплетал и вышел из детдома с профессией переплетчика.

К переплетному ремеслу его относились всяко. Исаковский даже в шутку стихи написал:

В свои шкафы вы взять готовы всякого,  
Но отношение к нам не одинаково:  
Одних вы так и этак величаете,  
Других же к переплету назначаете;  
Вы лично сами тех переплетаете,  
Кого совсем отжившими считаете.  
И потому — хоть ткань у вас добротная —  
Меня пугает ваша переплетная...

Одна московская библиоманка, собирательница книг восемнадцатого — девятнадцатого веков, кричала как-то на Тарасенкова:

— Вы варвар! Вы преступник! Как можно переплестать книгу? Книга должна оставаться в своем первоизданном состоянии, в каком она вышла из типографии! Даже если книга не разрезана, книгу нельзя разрезать!

А в Союзе писателей однажды с трибуны:

— Этот эстет Тарасенков с любовью переплетает — кого бы вы думали? — Ахматову, Мандельштама...

И когда тот с трибуны проходит мимо, чтобы сесть на свое место, Тарасенков ему:

— Тебя я, между прочим, тоже переплетаю...

Да, собирание книг — не профессия, конечно. Тарасенков был критик, литературовед. Работал в редакциях — в журнале «Знамя», в издательстве «Советский писатель», в «Новом мире» — заместителем главного редактора. Много печатался — статьи, рецензии. Главным образом о поэзии, о поэтах. Были удачи. Были неудачи. Заслуженные победы. Обидные поражения. Были свои «ошибки». И, быть может, главной его ошибкой было то, что ему приходилось признавать эти свои «ошибки»... Но касаться литературной его деятельности — значит касаться всего литературного процесса. А это не входит в задачи данного очерка. Это всего только рассказ о том, как Тарасенков собирал книги и для чего он собирал книги.

Когда он умер, позвонил Фадеев, из Барвихи, кажется. Было плохо слышно. В трубке трещало. Фадеев говорил, что он потрясен смертью Тарасенкова. Он знал, что тот болен, но не думал, что так все быстро обернется. Он вспоминал Тарасенкова мальчишкой, когда они оба были еще в МАППе, когда позже создавали Союз писателей... Говорил много добрых слов. И его суховатый, чуть захлебывающийся голос то бился в самое ухо, то уходил и совсем терялся.

— Да, мы оба были с Толей дети одного века... — кричал он с того конца провода. И показалось, что сквозь треск и гул проводов донесся вдруг короткий и столь характерный фадеевский смехок.

Собирание книг, библиография поэзии двадцатого века, которой занимался Тарасенков, были не главным его занятием в жизни. Но в этой своей работе он был всегда самим собой, делал, что считал нужным, как считал нужным, последовательно, до конца, несмотря ни на что... И теперь, спустя десять лет после его смерти, когда наконец вышел его библиографический труд, это не главное вдруг оказалось главным! Работа оказалась не сброшенной с круга времени. Но умер он, не сознавая, не понимая этого, тоскуя о той «главной книге», которую не написал, которую не знал еще...

«Главная книга должна, мне кажется, начаться с самого детства, с истоков...» — писала Ольга Берггольц. Наверное, так... Наверное, и его «главная книга» началась еще с детства, с Сухаревского рынка, когда мальчишкой он бегал в школу на Садово-Спасскую, мимо книжных развалов, мимо книг, наваленных на брезенте, у палисадников, прямо на тротуаре. Он часами просиживал на корточках перед этими книжными развалами и перебирал книги, пока букинисты не прогоняли его.

Книжные развалы были и у Ильинских ворот. И у Китайгородской стены, где у ларьков букинистов всегда толпились писатели, актеры, художники. Тарасенков как-то стоял у такого импровизированного ларька, где под куском фанеры, которая служила крышей, на выступе стены были разложены книги. Денег у него не было, он ничего не мог купить, но он тогда уже любил книги, и ему доставляло удовольствие листать, трогать книги, которые ему хотелось купить...

— Книгами, молодой человек, интересуетесь? Что ж, похвально, — услышал он раз позади себя голос. — Разрешите мне преподнести вам свою книгу.

Человек был большой, грузный. В бобровой шапке. Шуба на меху нараспашку. Тарасенков решил про себя: «Должно быть, из «бывших» или «нэпман». Это оказался Гиляровский. Кажется, с этой книги и началась его библиофилия. Во вся-

ком случае это была первая книга с автографом автора. Специально автографами Тарасенков никогда не интересовался, но, конечно, случайно на книжную полку в его библиотеке вставали книги, подписанные кому-то и Блоком, и Брюсовым, и Буниным. Не говоря уже об автографах современников Тарасенкова ему — Тарасенкову.

Горит камин... Его растапливают нечасто. Только когда уж очень люта я стужа. Или когда хочется порадовать гостя огнем. Камин в Москве — редкость. Но камин — хлопотно. Надо бежать по улице во двор, в ту половину дома, от которой отделена квартира, открывать трубу — заслонка осталась там в коридоре. Открывать трубу — обязанность Тарасенкова. Он ушел. Слышно, как за стеной он расставляет лестницу. Слышны голоса. Сейчас загремит чугунами блинами и крикнет в открытую трубу, вниз, в камин, или засвистит. Тогда можно будет плеснуть из пузырька керосином на поленья и поджечь бумагу. Но сигнала не подает. Голоса смолкли. Десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса... Тарасенкова нет. Приходится снаряжать «спасательную» экспедицию. Тарасенков обнаружен в чулане, на черной лестнице. Там застекленная галерея, как в пьесах Островского. Чуланы. Чуланчики. Скрипучие дубовые ступени на чердак. Деревянные лари, в которых когда-то хранилась мука. Тарасенков залез в такой ларь и роется в каком-то барахле. Убогонькая Саша светит ему свечкой.

— Понимаешь, забыл взять газету. Попросил у тети Саши, чтобы не вывозиться в саже, а она мне дала стихи! Страницы из книги! И как это мне раньше в голову не пришло, что тут могут быть книги!

— Ну какие тут книги, кроме «Будильника» и «Нивы»?

— Да нет же, это когда владелец дома Иван Сергеевич торговал на Смоленском рынке, после революции, когда его раскулачили, он покупал книги на вес, для обертки... Ты погляди, что я выкопал! Даже в дезидерате не значитя!..

«В дезидерате не значитя...» — это особенно ценно, такую! В дезидерате не значитя — значит, и в книжной летописи не значитя. И ни в каких каталогах не значитя. Значит, проскочила мимо библиографов, не заметили. Затерялась... Значит, это его, Тарасенкова, открытие.

— Да, дезидерата, картотека — это моя лаборатория... Без них мне бы не собрать такую библиотеку! А без библиотеки не было бы и библиографии! Да! Если бы завтра вышло постановление срочно составить библиографию поэзии двадцатого века, ничего бы не вышло. Здесь нужно только терпение и время. Пришлось бы создавать институт. Целый институт! С замами и с замами, и, конечно, были бы кандидатские и докторские.

Дезидерата — картотека... Дезидерат много. Для себя, для «личных представителей», для друзей, которые едут в командировки в города, где нет «личных представителей». Дезидераты вечно перебелиются, переписываются. Дезидераты стареют... Сколько переписал, перебелил этих дезидерат! Первая — в школьной тетрадке: когда ему было шестнадцать лет. 1925-й. Последняя — тридцать лет спустя. 1955 год, в мае...

— Две тысячи семьсот названий... Еще две тысячи семьсот книг надо разыскать!..

— Это те, которые в дезидерате, а те, которые в нее еще не попали?

— Ну, теперь это уже единицы! Теперь совсем редко... А были годы, когда просто брало отчаяние: одну книгу на полку — десять в дезидерату. И чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше книг я приобретал, тем толще становилась дезидерата! Казалось, она никогда не похудеет... Казалось, никогда не собрать... А теперь собрал почти все... почти... Ну хорошо, округлим — для ровного счета еще осталось три тысячи. Три тысячи книг. И тогда все! Сколько на это надо лет? Если бы еще прожить лет десять!.. Ну, не десять, ну хотя бы до пятидесяти дожить, хотя бы еще четыре года. Тогда бы, может, успел... Успею или не успею...

Из последней дезидераты успел вычеркнуть сто восемьдесят шесть книг. Сто восемьдесят шесть поставил на полку. Сто восемьдесят шесть синих линий на



карточках, и карточка опущена в ящик с картотекой... Картотека всегда в единственном экземпляре. Все, что есть, все, чего нет, все на карточках.

— Не рассыпьте! Не передвигайте ящики!.. Только, пожалуйста, когда будет уборка, не трогайте картотеку!

И 26 июня 1941 года, уходя на фронт:

— Библиотеку, конечно, вряд ли удастся сохранить... Но, если можешь, сохрани картотеку... Восстановить ее уже будет невозможно. Не хватит времени и сил...

В июле, когда начались бомбежки, картотеку всю ссыпали в наволочку, завязали — и к окну на подоконник. Все носильные вещи, все ценное увязали в узлы, и узлы у окон, как в деревне, когда в конце улицы пожар. Как и во всех домах на Конюшках. Конюшки деревянные — горючие...

«Не мучь себя библиотекой! Мне все равно. Клянусь тебе, все равно!.. Лишь бы уцелели вы...» — письмо Тарасенкова с фронта. Но если Тарасенкову в те первые месяцы войны было все равно, то тут, в Москве, как раз наоборот — спасти! Во что бы то ни стало спасти!..

Очень страшно горела Книжная палата, одно из красивейших зданий Москвы начала девятнадцатого века. Ночью. Уже сорвана крыша. Горят готовые рухнуть стропила. Пламя мечется, кидается на деревья, стелется по земле... Но стеклянная галерея еще не горит, только, охваченная вся огненным светом изнутри откуда-то, явлена взору в целостности своей, в мельчайшей подробности... Стеллажи — книга к книге, и каждый корешок виден отдельно. Лесенка у стеллажа, и каждая ступенька — отчетливо в глаза. Ящики с картотекой... Все на месте, не тронуты огнем, нигде ни одного языка пламени, все в сохранности своей, неподвижности, как отпечатано... Огонь не вовне еще, но внутри уже. Внутри стен, стеллажей, внутри книг... И все лишено уже вещественности своей, земной плоти — одна оболочка. Никто уже, ничто уже не может спасти... Счет идет на секунды. Еще секунда, еще... Взрыв огня! И все рухнуло в пламени, распалось... И вдруг вопль: «Книги!..» Из огня, из туги набитых стеллажей в ночное небо выстреливают книги... Не горящие — огневые! И там, под самыми звездами, раскрываются... И ветер шевелит огневыми страницами, и на страницах видны даже черные прочерки строк... Мгновение... горстка искр осыпалась вниз... А в небо еще книги, еще... И потом фейерверком огневые листки — картотека!..

И тогда в тот же день решили обратиться в Ленинскую библиотеку. Говорили, что ее эвакуируют в надежное место, где особые, бетонированные хранилища — ни фугаска не возьмет, ни огонь... В вестибюле — ящики, книги в ящиках, штабеля ящиков. Ящики куда-то уносят, ящики откуда-то вносят, грузят на тележки. Директор на ходу в кабинете, в защитном кителе, в сапогах, орет:

— Да вы что все с ума посходили?! Что у меня — богадельня! Так я и буду заниматься частными библиотеками! Академики звонят, писатели! Ну и что? Умели кататься, умеете и саночки возить! Сами и спасайте... С меня и государственного добра хватит!

— Но... библиотека Тарасенкова. А он сам на фронте...

— Что? Тарасенков? Поэзия двадцатого века! С этого бы и начинали... Три грузовика хватит? Завтра в семь утра... Чтобы успеть до бомбежки. Упаковщиков нет. Все на фронте. Сами будете паковать...

— Хорошо... Но надо сначала соглашение, что ли, подписать. Как-то оформить. Чтобы, когда Тарасенков вернется с фронта... Ну, словом, после победы, после войны, чтобы обратно ему вернули библиотеку. Он будет пополнять ее... Ну, а потом, после своей смерти, завещает, чтобы ее передали целиком Ленинской библиотеке уже навечно...

— Вы думаете, ваш Тарасенков уцелеет?! Вы что, до сих пор еще не поняли, что такое война? И его не будет, и вас не будет...

— Ну, тогда пусть и библиотеки не будет...

— То есть как это библиотеки не будет? Такая библиотека должна быть достоянием государства, народа! Вы рассуждаете не по-большевистски!

— А вы не по-людски!

За пол-литра в домоуправлении — управдом уходил на фронт — добыли три листа кровельного железа. В подполе в землю зарыли оцинкованное корыто и таз и самые ценные, по своему разумению, конечно, книги опустили в них и сверху накрыли листами железа. Картотеку в наволочке увезли с собой в эвакуацию в Ташкент, 13 октября. А дезидерата так всю войну и пробыла с Тарасенковым. Когда уходил, сунул в портфель полотенце, бритву, блокноты, дезидерату в задний карман брюк.

— На фронт дезидерату? Зачем?

— Ну, если бы мы могли ответить на все «зачем» и «почему». Не знаю. Привычка. Пусть будет...

Очень торопился, боялся не успеть, как в финскую — товарищи ушли на фронт, а его заставили работать в редакции: некому было делать журнал... На пятый день войны, 26 июня, уехал в Ленинград, оттуда в Таллин, где была база Балтийского флота. Еще до войны, в сороковом, он прошел в Таллине подготовку военного журналиста-моряка. Как и все литераторы, работал в военных газетах. Был и «автор, и корректор, и выпускающий, и редактор. И поэт, и очеркист, и «передовик», и куплетист, и репортер»... 26 августа выпустил последний номер многотиражки «На боевой вахте» и вместе с типографскими рабочими занял оборонительный рубеж у памятника «Русалка». Останавливал бегущих, формировал с товарищами отряды... Немцы уже прорвались в город. Потом по приказу командования отступил к порту. И на военном транспорте «Верония» ночью 27 августа оставил Таллин.

Корабли шли по минированному Финскому заливу. Береговая полоса находилась в руках немцев и финнов. Бесперывно налетали вражеские самолеты. Корабли подрывались на минах, их топили с воздуха бомбами. Тонущих людей расстреливали из пулеметов на бреющем полете... Это была одна из самых трагичных страниц в истории русского флота.

Транспорт «Верония» был потоплен. Тарасенков плавал несколько часов... Когда он уже совсем выбился из сил, его подобрал какой-то катер и доставил на борт «Ленинградсовета». В машинном отделении вместе с другими спасенными сушился. Сушил вырезки, письма, дезидерату, с которой плавал. «Муравьиное упорство — все спасти, отстоять...» Корабль не двигался, всю ночь простоял посреди минного поля. И всю ночь в море голоса: «Помогите... Спасите...» Сотни, тысячи людей с погибших кораблей. Но спасти их нет возможности... Утром опять появились немецкие самолеты, один за другим. Сбрасывали бомбы на уцелевшие корабли, которые медленно двигались по заливу, прокладывая себе путь посреди мин... Но кому-то и тут суждено было уцелеть...

Потом в Ленинграде в блокадную зиму при свете коптилки перебелил дезидерату. Старательно расшифровывал названия книг, имена авторов, смытые морской водой. Восстанавливал страницы в лиловых подтеках, съжившиеся, пожелтевшие от горячего воздуха в машинном отделении «Ленинградсовета». Зачем? «Муравьиное упорство — все спасти, отстоять...» И тогда из Ленинграда, из госпиталя, куда попал как дистрофик, — письмо в Ташкент: «Как ты могла не купить мне книги Уткина и Городецкого, которые вышли у вас там? Мне Борис Шиперович писал...» А в ответ из Ташкента — одержимый, маньяк... Ну кому это теперь нужно все! Какие-то книги Уткина, Городецкого, когда немцы дошли до Волги?.. И ответ из Ленинграда спустя несколько месяцев — к весне на ленинградском почтамте выжившие и чуть ожившие ленинградцы разобрали наконец тюки с почтой: «Ну что ты так взъелась на меня за книги Уткина и Городецкого? Ведь после войны их не достать!..»

А в декабре 1942 года на Ладоге был такой эпизод: Тарасенкова на несколько дней командировали в Москву. Грузовик, который возил грузы в Кобону и попал на кануне под бомбежку, не смог доставить его в Волхов, откуда ходили поезда в Вологду, хотя путь этот и беспрерывно бомбили. Даже до шлагбаума, где можно было поймать попутку, грузовик не довез. Пришлось метров пятьсот идти

открытым полем сквозь буран. Было темно. Дороги не видно. Мело. И еще в довершение оторвалась ручка от чемодана. У него было два чемодана. Один с консервами, выданными по аттестату. Свои и чужие, больше чужих. Банки сгущенки, тушенка, куски мыла, и к ним нитками, обрывками бинтов привязаны письма, сложенные треугольниками, — «с фронтовым приветом». В другом чемодане книги. От чемодана с книгами и оторвалась ручка. «С мясом» вырвалась. Ничего нельзя сделать, только тащить чемодан, обхватив его обеими руками. Но тогда бросить чемодан с консервами... А он по опыту Ленинграда хорошо понимал, что значит в пустой, нетопленной московской квартире вручить кому-то это «с фронтовым приветом...» Ну, а что касается книг... Он хватает чемодан с книгами и делает десять шагов вперед. Ровно десять. Опускает чемодан и — назад. Десять шагов... Поднимает чемодан с консервами. Десять шагов вперед... Натягается в темноте на чемодан с книгами. Теперь от чемодана с книгами десять шагов. Ставит чемодан с консервами и — назад десять шагов за книгами... Если взять чуть левой или чуть правой — проскочит, и не разыщешь тогда уж никаких чемоданов в этой крошечной тьме и метели... А в Волхове у железнодорожных путей в груде тулупов двумя ремнями — один свой, другой дал кто-то из бойцов, которые везли тулупы на передовую, — стянул чемодан. И, конечно, показывал книги. Поезда не было. Метель улеглась. Книги клали прямо на снег, чтобы лучше разглядеть.

— «Гангутцы», — говорит Тарасенков и вынимает из чемодана книгу. На ней силуэты матросов, бегущих в штыковую атаку. — Книга эта, может быть, и осталась в мире только в двух-трех экземплярах... Кто-то захватил с собой в полевой сумке или в кармане, когда уходил с Ханко... Удивительно, что этот героический гарнизон не только держался столько месяцев на камнях, на клочке земли, когда все вокруг уже было занято немцами и финнами на тысячи километров, но даже и книги издавал. Обратите внимание на иллюстрации. Это рисовал молодой художник Боря Пророков. Не знаю, уцелел он или нет... Говорили, корабль, на котором он уходил с Ханко, был потоплен. Мы с ним вместе играли в теннис в последнее мирное воскресенье в Останкино...

Теперь на снег ложатся пасьянсом крохотные книжечки, величиной с игральные карты, изданные на газетной бумаге. «Отстоим Ленинград», «Мы из Кронштадта», «Соколы Балтики». Тринадцать книжечек. Тарасенков объясняет, что изданы они были в самые суровые, самые трудные месяцы блокады в Ленинграде... Он так хотел, чтобы книжки эти попали в его библиотеку на Конюшки, и так не надеялся, что у него в Ленинграде они уцелеют. Он посылал их с оказией и бандеролью в Москву на Конюшки, в пустую, заколоченную квартиру, и в Ташкент. До Ташкента дошли только четыре. До Москвы не дошли...

— С товарищем Демьяном Бедным мы знакомы, — говорит боец, беря книгу из чемодана. — Товарища Демьяна Бедного мы проходили, а вот товарища Бунина не знаю, не читал.

— О, я вам завидую, что вы будете читать его первый раз! Это замечательный русский писатель... После войны мы издадим его массовым тиражом!..

Эта вечная тарасенковская присказка — «после войны!» Он был уверен, что сумеет сразу все издать, о чем мечтал, что считал нужным издать, лишь стоит только отгременить пушкам...

— Товарищ капитан, давайте-ка приберем ваши книжечки от греха подальше... Летит...

Пролетел. Бомбит Волхов... Волхов и без того весь разбомблен. Жители эвакуированы. Только железнодорожники, воинские части и работники Волховской ГЭС, но они почти все в землянках... Посреди разбомбленного города, посреди развалин целехонькая, нетронутая Волховская ГЭС работает в полную мощь. Немцы все еще не оставляют надежды занять город, и Дом специалистов, многоэтажное здание, не бомбят, оставили для себя. Высятся нетронутые, только стекла выбиты взрывной волной... В этом доме и пришлось заночевать. В нижнем этаже дверь в квартиру была сорвана. Тарасенков осветил фонариком.

— Что ты делаешь, свет!

— Окна забиты фанерой...

Пустая комната. Битые стекла под ногами.

— Книги! — Это, конечно, Тарасенков.

И он уже у книжного стеллажа. Освещает фонариком. Сдувает с книг пыль. Берет в руки. Мирная его привычка — обязательно дотронуться до книги, подержать в руках, полистать... Это так раздражало многих знакомых и друзей. «Поставь книгу на место. Не трогай книги. Ну, неужели ты не можешь посидеть спокойно минуту!..» И он, обескураживающе: «Не могу...» И теперь, в этой чужой квартире, посреди разбитого Волхова...

— О господи! Тебя ничто не переделает, даже война!

— А может быть, меня и не надо переделывать... Книги... Это то, что остается от нас, от времени, несмотря ни на какие войны, ни на что... «Вещи и дела, еще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанныи же яко одушевленнии...»



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Полвека советской литературы

Т. МОТЫЛЕВА

★

### ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ

*Судьба человеческая, судьба народная — этими пушкинскими словами можно определить мир, запечатленный советской литературой.*

*Октябрьский штурм, дни «бед, побед, буден» (Маяковский), бои на фронтах гражданской войны, голод в Поволжье, краны первых строек, огни Днепрогэса, бомбежка мирных городов на рассвете 22 июня сорок первого года и — майские салюты сорок пятого, котлованы послевоенных строек, растущая армия новоселов, первые космонавты — разведчики будущего. Все вместила в себя наша литература, обо всем сказала: о мечтателе хлопце, покинувшем хату, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», о человеке с ружьем, о Теодоре Нетте и — о Зое, о молодогвардейцах, о настоящем человеке и о многих настоящих людях вчерашних, сегодняшних и завтрашних дней.*

*Встречая знаменательную — полувековую — дату жизни советского общества, мы хотим снова перелистать страницы нашей литературы. Конечно, это меньше всего попытка дать исторический очерк ее развития. Это всего лишь разные материалы: статьи о проблемах, решаемых литературой в разные годы, биографии произведений и портреты писателей, воспоминания, архивные публикации. Но редакция надеется, что они помогут читателю сегодня вспомнить, представить, заново пережить славный полувековой путь нашей литературы.*

I

**И**з всех языках» — так называется рубрика, появляющаяся почти в каждом номере журнала «Иностранная литература». Она состоит из коротких замечаний-сообщений об издании книг советских писателей за рубежом: в ГДР вышел роман К. Федина «Необыкновенное лето», в Италии появился роман Г. Бакланова «Июль 41-го года», варшавское издательство «Искры» выпустило сборник произведений сорока семи советских поэтов...

В течение года в журнале отмечается несколько сот подобных фактов.

Мы знаем, что советские книги начали издаваться за границей еще в первые годы после Октябрьской революции. В стихах, повестях, пьесах советских авторов зарубежный читатель улавливал отзвуки «десяти дней, которые потрясли мир». И уже это — в первую очередь именно это! — привлекало к нашей литературе широкое общественное внимание далеко за рубежами нашей страны.

Стали классическими слова Маяковского, где дано определение, чем вызвано, на чем основано мировое значение советской литературы. Эти строки не раз цитировались, но их стоит процитировать и здесь:

«Литература СССР — только участок на огромном фронте борьбы мира за освобождение; наши слова закатываются за кордоны — и там это не шаблонные агитки, а чудо свободного слова, организующего или еще более сплывающего левые отряды для грядущей борьбы».

Мы чувствуем здесь полемическую интонацию. Маяковский резко спорит с теми критиками, по мнению которых советская литература открыто революционного, политического содержания могла оказаться «неприемлемой для заграниц». Уже в то время — около сорока лет назад — советские писатели вставали перед фактом, который тем более очевиден сегодня: зарубежные читатели не представляют собой монолитного целого, и разные читательские круги в разных странах подходили (и подходят) к нашей литературе очень неодинаково. Одна-

ко уже в то время становилось все более очевидным и другое. Прочное, серьезное признание завоевывали за рубежом именно те книги советских писателей, в которых наиболее верно и живо отражался облик новой, революционной России. К этим книгам тянулись не только «левые отряды», готовившиеся идти на штурм капитала, но и люди, не разделявшие коммунистических идей. Франц Кафка — художник, крайне далекий от революционного мировоззрения, — сказал, прочитав повесть А. Неверова «Ташкент — город хлебный»: «Народ с таким мальчиком, как показанный в книге, не может потерпеть поражение». Кафка увидел в маленькой книжке Неверова не просто талантливое произведение литературы, но прежде всего отражение коренных, существенных черт народа, совершившего великий переворот. И он был прав.

Среди иностранных читателей советской литературы в наши дни есть и единомышленники — участники коммунистического и рабочего движения, передовые трудящиеся разных стран; есть и друзья-инакомыслящие — лица различных политических и религиозных взглядов, стоящие, так или иначе, на позиции защиты мира и взаимопонимания народов; есть наконец и идейные противники, которые, однако, видят в нашей литературе (как и в нашем общественном строе) серьезную силу и знают, что с нею нельзя не считаться.

Одним из ярких событий международной литературной жизни последних лет явилось присуждение Нобелевской премии М. А. Шолохову. Среди почитателей таланта Шолохова за рубежом имеются люди очень разные, и далеко не все из них разделяют его взгляды. Имеются те, кто ищет в его книгах прямые уроки революционной борьбы: эти уроки тем более убедительны и наглядны оттого, что Октябрьская революция и связанные с нею события представлены без упрощения и приукрашивания, с прямотой и трезвостью, доступными только настоящему художнику. Имеются те, кто учится по книгам Шолохова решать те многосложные задачи воспитательной, организаторской работы, которые возникают в ходе строительства нового, социалистического общества. Имеются те, кого шолоховские герои привлекают — в первую очередь — напряженностью страстей, неожиданными драматическими поворотами судеб и переживаний. Имеются те, кого покоряет сама цельность

и оригинальность шолоховского мастерства, покоряет настолько, что заставляет скрепя сердце мириться с коммунистическим мировоззрением писателя. Имеются наконец те, кто находит в его книгах ценные познания в области истории советского общества и психологии русского советского народа. Так или иначе, сегодня очевидно, что всемирное признание книг Шолохова — признание, объединяющее людей разных стран и очень неодинакового духовного склада, — определяется и силой его художнического дара, и его коммунистической, революционной идейностью, без которой этот дар не мог бы по-настоящему проявиться.

Круг зарубежных читателей советской литературы все время расширяется — стоит привести свидетельство из Демократической Республики Вьетнам. Понятно, что в условиях затяжной войны, требующей от народа громадного напряжения всех сил и средств, работа переводчиков и издателей сильно затруднена. Но вместе с тем сопротивление империалистам-агрессорам пробуждает в массах неизведанные духовные силы, влечет рабочих и крестьян к грамоте, книге, стихам. Об этом рассказали вьетнамские писатели, посетившие редакцию «Иностранной литературы». Во вьетнамских городах и селах, иной раз в промежутках между налетами американской авиации, происходят встречи с литераторами — сотни, а то и тысячи людей собираются, чтобы послушать стихи. «Во время таких выступлений, — сказал известный писатель Нгуен Динь Тхи, — вьетнамские поэты часто читают свои переводы из советской поэзии. Вообще во Вьетнаме советская литература и русская классика пользуются громадной популярностью. Я сам видел в перерывах между боями наших солдат-зенитчиков, читавших Шолохова и Симонова. А любимая книга летчиков — роман Н. Чуковского «Балтийское небо».

К чтению советских книг приобщаются все новые страны и народы. Национально-освободительные движения нашего времени дают доступ к грамоте и чтению миллионам людей, которых колониализм держал в нищете и в полнейшем невежестве. В странах арабского Востока и Африки произведения советских писателей читаются на английском, французском языках и малопомалу переводятся и на родные языки молодых независимых государств. Так, в Ливане изданы книги: Н. Островского «Как за-

калялась сталь», К. Симонова «Товарищи по оружию», К. Паустовского «Золотая роза». Читатели Мальгашской республики познакомились с романом Н. Островского «Как закалялась сталь» и с «Повестью о настоящем человеке» Б. Полевого — оба произведения были переведены на мальгашский язык писателем Арсеном Рацифехера.

На Кубе при режиме Батисты круг читателей советской литературы был, как можно легко себе представить, крайне узок. Сегодня литература эта читается практически всем кубинским народом. Понятно, что на Кубе были в первую очередь изданы те романы и повести, в которых отразилась жизнь советского народа в годы гражданской войны и в период Отечественной войны — произведения Д. Фурманова, Н. Островского, А. Толстого, К. Федина, В. Катаева, П. Вершигоры, А. Бека, В. Гроссмана, С. С. Смирнова. Выходят и с интересом воспринимаются вместе с тем книги о современной жизни советского общества; так, еще в 1961 году кубинская критика приветствовала выход повести А. Кузнецова «Продолжение легенды».

Естественно, что в разные времена в центре зарубежного читательского внимания оказываются то те, то другие советские прозаики или поэты — одни имена приобретают широкую популярность, другие ее утрачивают. Вместе с тем крупнейшие советские писатели представляют в международном читательском обиходе, так сказать, постоянную величину: интерес к ним с годами не угасает, а сохраняется или даже увеличивается, вспыхивая с особой интенсивностью то в той, то в другой стране. Именно так обстоит дело с основоположниками социалистической литературы Горьким и Маяковским.

Широчайшей международной известностью пользовалось — и продолжает пользоваться — наследие Николая Островского. Роман «Как закалялась сталь» издан на 46 языках мира в 42 странах, а «Рожденные бурей» — на 23 языках в 20 странах. В Чехословакии, Польше, Румынии имеются собрания сочинений Н. Островского — они вышли еще десять—двенадцать лет назад. В Индии роман «Как закалялась сталь» неоднократно выходил на языках пенджаби, бенгали, гуджерати, хинди, урду и тамили. Во Вьетнаме роман «Как закалялась сталь» появился (уже вторично) в 1962 году, в Японии — также в 1962 году, а в Аргентине

не — в 1964 году. На Кубе в 1962 году вышел роман «Рожденные бурей».

Можно было бы привести аналогичные данные о том, как широко известно за рубежом творчество А. Толстого, А. Фадеева, А. Макаренко, да и некоторых других здравствующих в наши дни советских прозаиков старшего поколения — К. Федина, Л. Леонова, В. Катаева, И. Эренбурга. Их книги выходили то в одной, то в другой стране и пятнадцать и двадцать лет назад, — выходят и сейчас то отдельными изданиями, то многотомными собраниями сочинений.

Читатели самых различных стран тянутся к тем книгам советской прозы, в которых раскрываются коренные, самые типичные черты людей социалистического мира. Что такое советский характер? Как проявляется этот характер в суровых испытаниях, в боевых условиях или необычном трудовом напряжении? Ответ на эти вопросы читатели ищут в лучших советских романах, написанных в разные годы, — будь то «Железный поток» или «Разгром», «Время, вперед!» или «Русский лес». Прочную известность и признание завоевали за границей книги, которые рассказывают о реальных личностях и в которых достоверно, на высоком уровне художественного обобщения показан героизм советского человека, его мужество и нравственная стойкость. Так, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого с 1958 по 1964 год вышла двадцатью восемью новыми изданиями — в том числе и на вьетнамском, арабском, греческом, индонезийском языках. «Волоколамское шоссе» А. Бека за этот же срок издавалось за рубежом тринадцать раз — не только в социалистических странах, но и в Финляндии, Голландии, Израиле.

Зарубежные читатели проявляют интерес и к тем талантливым советским прозаикам, которые изображают нашу жизнь в ее повседневном течении, исследуют советский характер в обыденных, житейских ситуациях. Прочный успех имеют произведения В. Пановой. Ее «Спутники», «Сентиментальный роман» и особенно повесть «Серезжа» выходят все новыми изданиями и в странах Западной Европы, и в Индии, Японии, Вьетнаме.

Мы говорили о «постоянных величинах» — о тех прозаиках и поэтах, которые вошли в международный обиход много лет назад. Однако стоит разобраться, какие новые

тенденции обозначились именно за последние годы.

Следует отметить рост внимания зарубежных читателей к многонациональной советской литературе.

Уже перед Вторым съездом писателей СССР (1954) число писателей союзных и автономных республик, произведения которых были переведены на иностранные языки, достигло сотни. В 1955 году вышла книга Арагона «Советские литературы» — первая за рубежом работа, где литература СССР была показана в своем многоязычном, многонациональном разнообразии. В серию советских романов и повестей, появившихся в издательстве «Эдитёр франсе реюни», вошли наряду с книгами современных русских писателей произведения Садриддина Айни, Юрия Яновского, Мухтара Ауэзова.

В наши дни читателям разных стран все лучше становятся известны и М. Стельмах, и О. Гончар, и Э. Межелайтис, и Ю. Смуул, и Расул Гамзатов, и Василь Быков, и ряд других современных мастеров поэзии и прозы народов СССР.

Подлинно международную читательскую трибуну завоевал Чингиз Айтматов: его книги издавались за границей свыше тридцати раз. Повесть «Джамиля» вышла и в Индии, и в Голландии, и в Италии, и в Турции, и в ряде других стран в общей сложности двадцатью отдельными изданиями. В 1964 году произведения Айтматова новым большим сборником появились во Франции и вызвали дружественные отклики критики.

Знакомство зарубежных читателей с русской советской литературой за последнее десятилетие стало гораздо более разносторонним. Расширение этого знакомства идет по разным линиям.

Тут решающим образом сказались сдвиги в духовной жизни советского общества, рост социалистического демократизма после XX съезда КПСС. Благодаря этим сдвигам сами советские люди лучше узнали свою родную литературу. В наш читательский обиход вернулись (или впервые вошли в надлежащем объеме) крупные прозаики и поэты, творчество которых в прошедший период подвергалось несправедливой «проработочной» критике, по тем или иным причинам было в тени.

Именно за последние годы получила заслуженное международное признание поэзия Сергея Есенина — в нескольких странах

изданы не только отдельные книги стихов, но и собрания его сочинений. На многих языках — впервые или после долгого перерыва — появились рассказы М. Зощенко. За рубежом стали постепенно узнавать и таких своеобразных мастеров прозы, как А. Платонов, М. Пришвин, Ю. Олеша, А. Грин.

Наряду с другими советскими прозаиками старшего поколения большой популярностью за рубежом пользуется ныне К. Паустовский. Прочный успех у читателей имеют и его произведения прошлых лет, и особенно его цикл биографических повестей. Книги К. Паустовского вышли за последние годы в общей сложности девятью двумя отдельными изданиями — в Польше, Чехословакии, Англии, Франции, ФРГ, Италии и ряде других стран.

Громадный, поистине всемирный авторитет за несколько лет до своей кончины приобрел А. Ахматова. В Италии ей была присвоена литературная премия «Этна Таормина», в Англии — почетная степень доктора Оксфордского университета. Но еще важнее, чем эти внешние знаки почета, тот факт, что Ахматову, поэту не столь легкого для перевода, издают и читают во Франции, ФРГ, Англии, Италии, как и во всех европейских социалистических странах. Существенно при этом, что в лице Ахматовой за рубежом высоко ценят не просто крупную поэтическую индивидуальность, но мастера русской советской поэзии, художника, нерасторжимо связанного со своей родной страной. В редакционной статье французского еженедельника «Леттр франсез», появившейся перед приездом группы советских поэтов во Францию, Ахматова была названа «старшиной современной русской поэзии». «При всем своем сдержанном отношении к революционной идеологии Ахматова в отличие от большинства поэтов одного с ней направления не ушла ни в эмиграцию, ни в оппозицию. В сборниках, опубликованных непосредственно после гражданской войны, одновременно выражены и трагическое ощущение крушения старого мира, и упорная вера в судьбы новой России. Стихи Ахматовой, написанные во время войны 1941—1945 годов, а также в последующие годы, привлекли к ней уважение и восхищение советской молодежи».

Понятно то внимание, которое вызывает к себе за рубежом литературное наследие писателей, подвергшихся незаконным репрессиям и ныне посмертно реабилитиро-



ванных. В наши дни происходит новый подъем известности И. Бабеля: он привлекает читателей разных стран яркой самобытностью художественной манеры, с какою им была запечатлена героика первых революционных лет. Любопытно, например, что мастерство Бабеля исключительно высоко ценит такой не похожий на него писатель, как Генрих Бёль (он говорил об этом при встречах с московскими литераторами). За рубежом издаются и «Испанский дневник» Михаила Кольцова, и роман Виктора Кина «По ту сторону».

Вместе с тем восстановление ленинских норм в государственной и партийной жизни Советского Союза, естественно, порождает напряженный интерес к тем новым произведениям советских писателей, в которых правдиво, на серьезном художественном уровне воспроизведены эпизоды прошлого. Вокруг таких произведений за границей возникают споры — подчас весьма резкие.

Читатели разных стран тянутся к литературе, отражающей новое в советской жизни. Это новое интересует их в разных аспектах — будь то современный взгляд на события недавнего прошлого, будь то правдивый рассказ о сегодняшних делах и днях советского общества.

По-прежнему — как и двадцать и десять лет назад — за рубежом читаются с жадным вниманием романы и повести советских писателей об Отечественной войне. В последние годы широкий международный резонанс приобретает те новые книги писателей-фронтовиков, где авторы стремятся глубже всмотреться во внутренний мир рядового советского воина, исследовать психологические, нравственные стимулы его поступков. Вслед за повестью К. Симонова «Дни и ночи», повестями В. Некрасова, Э. Казакевича зарубежные читатели все шире знакомятся с произведениями Ю. Бондарева, Г. Бакланова. Повесть Г. Бакланова «Пядь земли» вышла в общей сложности двадцатью тремя изданиями — появилась, в частности, во Вьетнаме, Англии, Италии, Дании, Голландии, Финляндии, ФРГ, Югославии. Читатели в разных странах хотя с помощью советских военных романов лучше осмыслили те исторические факторы, которые обеспечили победу социалистического государства над фашизмом и вместе с тем понять причины временных поражений Со-

ветского Союза в первый период войны. За рубежом издаются, читаются, вызывают много откликов романы К. Симонова «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются».

Понятен и оправдан тот интерес, который проявляют зарубежные читатели к новой литературе о первых годах социалистической революции, о ленинских традициях советской жизни. Документально-художественные произведения Е. Драбкиной вышли в Болгарии, Венгрии, ГДР, Китае, Чехословакии и других странах. В ряде стран — от Вьетнама до Англии и США — опубликованы повести П. Нилина «Жестокость», «Испытательный срок», где талантливо передана напряженность конфликтов и чистота нравственной атмосферы революционных лет.

Вместе с тем понятно, что любая книга, где правдиво, с новых сторон раскрывается современная советская действительность, быстро приобретает международное звучание. Во многих странах изданы романы и повести В. Тендрякова, «Битва в пути» Г. Николаевой, романы Д. Гранина, в частности «Иду на грозу». Большим успехом за рубежом пользуются рассказы и повести одаренных молодых прозаиков, пишущих на темы современности. За годы 1958—1964 книги В. Аксенова вышли в 41 зарубежном издании, А. Кузнецова — в 22, Ю. Казакова — в 16, В. Конечного — в 12 изданиях.

Нередко особо обостренный интерес и споры за рубежом вызывают литераторы, которые приобрели известность после Отечественной войны или даже в самые недавние годы. В их книгах читатель (дружественный или лояльный) ищет отражения положительных сдвигов в советской жизни, связанных с укреплением ленинских традиций, и хочет с помощью этих книг лучше понять психологию молодого советского поколения. А в иных случаях, напротив, буржуазные околотитурные интриганы и спекулянты выискивают в книгах писателей, выдвинувшихся недавно, иллюстрации к своим домыслам об оппозиционных якобы настроениях советской молодежи или советской художественной интеллигенции.

Нетрудно проследить одну любопытную закономерность. Если произведение советского писателя (или его творчество в целом) подвергается в нашей печати неумеренно резкой критике, — это немедленно привлекает к нему внимание иностранной,

особенно реакционной, прессы и служит своего рода приманкой для издателей в странах капиталистического мира.

Наши идейные противники любят демагогически противопоставлять друг другу различные этапы развития советской литературы или различные поколения советских писателей. Зарубежные читатели-друзья далеки от таких противопоставлений, они умеют ценить все лучшее, что создано советской литературой в разные периоды, и вместе с тем видят ценные черты нового в книгах последних лет.

На многих иностранных литераторов, в том числе и на лиц, далеких от нас по взглядам, производит впечатление уже сам факт, что в Советском Союзе литература, в частности поэзия, является важной общественной силой, пользуется авторитетом в народе. Об этом писал в апреле 1966 года видный английский поэт старшего поколения (ныне живущий в США) У. Х. Оден, который перевел несколько стихотворений А. Вознесенского. Оден отметил, что произведения Вознесенского, очень разнообразные по тематике, ритму, интонациям, образному строю, имеют одну общую черту: «Каждое слово, которое он пишет,— даже если он критикует — проникнуто глубокой любовью к его родной стране и ее традициям». Одна из коренных традиций русской жизни, по словам Одена,— взгляд на поэзию как на дело общенационального и даже государственного значения. «У нас, англичан и американцев, исторически сложившиеся социальные обычаи резко отличаются от тех, какие существуют у русских. Одно из этих различий в том, что поэты в наших странах никогда не считались явлением настолько социально важным, чтобы государство должно было их ободрять или обескураживать, финансировать или подвергать контролю; в то время как в России, каков бы ни был характер режима, они принимаются всерьез». Оден далек от понимания того, какое особо важное значение приобретает труд писателя, поэта именно в условиях социалистического строя. Но, судя по его статье, само знакомство с творчеством молодого советского поэта повысило его уважение к стране, где художественное, поэтическое творчество принимается глубоко всерьез и государством, и народными массами.

Само собой понятно, что восприятие советских книг в любой зарубежной стране —

процесс не простой и не бесконфликтный. В отборе, оценке, издании, распространении этих книг отражаются острые процессы идейной борьбы, происходящие вокруг советской литературы за рубежом.

## 2

О советской литературе за границей написано много критических работ. Тут можно найти самые разнообразные оттенки мнений — от восторженной хвалы до едкой хулы.

В условиях капиталистического мира нередко возникают расхождения между стихийно складывающимися запросами читающей публики и политической тенденциозностью буржуазной науки, а тем более буржуазной прессы. Широкие круги читателей — особенно те, кто стоит на позициях защиты мира,— хотят больше знать о делах и людях Советского Союза. Любой новый успех СССР в области экономики, науки, техники — например, любой новый подвиг наших космонавтов — стимулирует этот интерес иностранных читателей к советским книгам. Но тут вступают в действие те журналисты, критики, литературоведы, которые находятся на службе у реакционных политических сил: они стараются повлиять на читательское восприятие, направить общественное мнение в неблагоприятном для Советского Союза духе.

О деятельности такого рода литературоведов не раз уже говорилось в нашей печати. Не будем обозревать всю их продукцию — ограничимся немногими типичными примерами.

Одним из признанных «столпов» литературного антикоммунизма, воспитателем целой плеяды заокеанских слависгов является профессор Глеб Струве, старый белоэмигрант, возглавляющий Славянское отделение Калифорнийского университета (г. Беркли). В странах Запада широко известен его труд «История советской литературы», выходявший неоднократно в разных изданиях на русском, английском и немецком языках<sup>1</sup>. В этой объемистой книге очень отчетливо проступают общие тенденции, характерные и для других работ подобного типа.

<sup>1</sup> Немецкий вариант книги — более новый, он дополнен и доработан автором. Цитаты даются по массовому немецкому (мюнхенскому) изданию 1963 года.

В предисловии к книге Г. Струве прямо декларирует свое «отрицательное отношение» к советскому строю, которое, говорит он, «вряд ли укроется от читателя». Еще бы! Авторский умысел чувствуется даже в распределении места. «История советской литературы» густо насыщена материалом, там упоминается множество писательских имен и отдельных книг. Однако наиболее крупным планом подается все то, в чем автор находит (или пытается найти) опору для своих собственных воззрений. Пространно и с симпатией говорится о писателях, которые в основе своей остались чужды Октябрьской революции, превратно ее поняли, искаженно представили. Б. Пильняк привлекает Глеба Струве тем, что в его произведениях революция рисуется как разгул слепой стихии. Подробно и с сочувствием изложен роман-памфлет Е. Замятина «Мы», где коммунистическое общество представлено с неприкрытой враждебностью, как торжество обезличивающего казарменного режима; Струве не без гордости замечает, что этот роман в дальнейшем послужил на Западе образцом для «антиутопий» О. Хаксли и Дж. Оруэлла. Говоря о рассказах Е. Замятина «Мамай» и «Пещера», где советский быт эпохи военного коммунизма изображен в манере устрашающего гротеска, Струве отмечает как особое их достоинство «холодную и критическую объективность автора».

Зато о писателях, наиболее тесно творчески связанных с Октябрьской революцией, в «Истории советской литературы» сказано по большей части мимоходом, пренебрежительной скороговоркой. Серафимовичу посвящен один абзац; беглая характеристика «Железного потока» — не дающая читателю никакого представления ни о художественной самобытности романа, ни о его революционном пафосе — сводится к бездоказательному итгу: «Он показывает героические поступки этих борцов революции, но показывает также и их равнодушную, бездумную жестокость». Успех романа «Как закалялась сталь», по мнению Струве, объясняется личной судьбой писателя, «преднамеренно превращенной в миф»; «Педагогическая поэма» Макаренки трактуется вовсе не как литературное произведение, а как весьма интересный материал «для исследователей советской системы воспитания». «Цемент» Гладкова — роман, который и сегодня, через сорок лет после по-

явления, издается и читается в разных странах мира,— тоже подан Глебом Струве просто как любопытный документ, в котором отразилась «атмосфера разрухи и разброда» первых лет после гражданской войны. Мы только что видели, что Струве хвалит антисоветские рассказы Замятина за «объективность»; зато, разбирая фадеевский «Разгром», он порицает романиста за то, что он «отходит от своего спокойного, объективного метода», когда выносит нравственный приговор трусливому обывателю Мечнику!

Разбирая произведения ряда крупных писателей, Струве старается, рассудку вопреки, обнаружить в них скрытое недоброжелательство к советскому строю, найти следы внутренних противоречий. Даже в «Тихом Доне» выискиваются какие-то затаянные антиреволюционные мотивы. «На протяжении всего романа чувствуется, что сам Шолохов подсознательно скорбит об утрате многих традиционных черт казачьего жизненного уклада, хотя он разумом и одобряет коммунистическую революцию». Понятно, что эти психоаналитические упражнения не подкрепляются никакими аргументами.

Струве то и дело ищет поводов к тому, чтобы подогнать книги советских писателей под общий ранжир западного литературно-философского «модерна», отыскать в них приметы духовной ущербности. Краткая глава о творчестве Всеволода Иванова (в которой лучшее и самое прославленное произведение писателя «Бронепоезд 14-69» лишь наскоро упомянуто и намеренно оставлено в тени) завершается голословным тезисом: «Жизнь, по Иванову, жестока и бессмысленна, а человек — игрушка темных и слепых страстей». Творчество Юрия Олеши, которому уделено довольно много места, путем грубых натяжек сближается с писаниями ренегата-антикоммуниста А. Кестлера. Весь смысл романов Ю. Тынянова сводится Глебом Струве к «бессвязным анекдотам, в которых видна неуклонная тенденция к карикатуре и насмешке... Исторические фигуры Тынянова — беспомощные марионетки». Так единым махом зачеркивается громадная работа писателя, который открывал заново для своих читателей русское прошлое, с взыскательной любовью исследуя трудные пути своих мыслящих и мятежных героев...

На многих страницах своей книги Струве пересказывает содержание советских ро-

манов, рассказов, повестей. При этом иной раз — с помощью совсем небольшой, казалось бы, неточности — оглуляются персонажи и сюжеты, искажается смысл. «Сорок первый» Б. Лавренева в изложении Струве выглядит так: «В конце рассказа Марютка расстреливает своего возлюбленного, когда к острову приближается группа белых офицеров: ведь она получила приказ не дать ему ускользнуть живым». Вся острая, сложная коллизия «Сорок первого», горькая и гордая решимость Марютки подавить в себе любовь к человеку, оказавшемуся недостойным этой любви, — в таком истолковании сводится к механическому выполнению приказа! Препарировав таким способом одно из лучших произведений Лавренева. Г. Струве на следующей странице пытается приписать ему скрытое «отвращение к серой действительности советского строя».

Читатель вправе недоумевать: как может такая книга пользоваться признанием в ряде стран Запада, иметь хождение в университетах как учебное пособие? Ведь не все те, кто читает за рубежом эту книгу, даже и не все те профессора-слависты, которые рекомендуют ее своим студентам, — являются столь прямыми врагами СССР, как Струве. В чем тут дело? В иных случаях эта книга подкупает не слишком сведущих читателей обилием фактического материала, имен, ссылок, сносок, гипнотизирует и тем, что автор как-никак родился в России, знает русский язык, много советских книг читал в оригинале. Важно иметь в виду и другое. Глеб Струве, как все опытные клеветники, завоевывает доверие своей публики искусным сплетением лжи с полуправдой. В иных случаях он сочетает нападки на анализируемых им писателей с тщательно отмеренной похвалой; всюду, где есть возможность, он приводит цитаты из советских источников. На протяжении всей книги он весьма ловко использует ошибки и промахи советских писателей и особенно критиков. Тем более ловко спекулирует он на трагических обстоятельствах в истории советского общества.

Уродливые явления идеологической жизни, связанные с культом личности Сталина, «проработочные» кампании в печати поданы в книге Глеба Струве с великим злорадством. Струве подбирает самые разносные пассажи из критических статей, опубликованных в разные годы, особенно охотно извлекает из этих давно забытых статей

формулировки, политически порочащие тех или иных литераторов. Все это помогает ему наталкивать своих западных читателей на вывод, будто чуть ли не все талантливые деятели советской культуры терпели несправедливости и обиды, были в глубине души противниками советского строя, даже не слишком тщательно замаскированными.

Подтасовывая факты и опять-таки переминая ложь с полуправдой, Глеб Струве изображает литературную жизнь конца сороковых и начала пятидесятых годов как сплошной творческий провал. Он умалчивает о том, что и в этот период выдвигались новые даровитые литераторы и создавались значительные произведения — такие, как диалогия К. Федина, «Дом у дороги» А. Твардовского, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, книги В. Пановой, Э. Казакевича, В. Некрасова, С. Антонова. А те процессы литературной жизни пятидесятых годов, которые связаны с преодолением культа личности и XX съездом КПСС, у Струве изображены как серия крупных и мелких литературных скандалов, критических стычек, все новых и новых проработок. Поиски советских писателей, которые именно в эти годы приходили (не без трудностей и срывов) к более глубокому, всестороннему исследованию действительности, вызывают у Струве лишь новые приступы злорадства.

В финале своей книги Г. Струве самыми мрачными красками рисует положениe, сложившееся в советской литературе после XX съезда КПСС. Он утверждает, что в ней не видно признаков оживления или подъема: даже младшее поколение писателей «не подарило ничего яркого, живого и свежего». А если среди поэтической молодежи и возникают какие-то новые веяния, то суть их, по словам Струве, — отход от всем надоевшего «соцреализма». То есть, поясняет он, отказ от общественных, гражданских мотивов... Даже если и учесть, что изложение доведено в его книге до 1957 года и что многие более новые факты просто не приняты там во внимание, — грубая предвзятость этой итоговой оценки бросается в глаза.

В «Истории советской литературы» Глеба Струве в наиболее развернутом виде изложена та антинаучная «концепция», на основе которой работают на Западе литературоведы антикоммунистического толка. Более

новые книги буржуазных критиков о советской литературе содержат, в общем, те же основные положения, но в сгущенном виде, с различными добавлениями и поправками.

Западногерманский литератор Юрген Рюле намного моложе Струве. Он вместе с другими гитлеровскими вояками побывал в советском плену, потом учился в ГДР, потом перебежал в ФРГ. Его книга «Литература и революция. Писатели и коммунизм» (Мюнхен. 1963) вышла в ФРГ большим тиражом. В ней идет речь о прогрессивной литературе ряда стран. Нас интересует здесь первая часть, которая посвящена советской литературе.

По злобности нападок на СССР, по беззастенчивости фальсификаций работа Рюле превосходит книгу Струве. В некоторых случаях западногерманский «славяновед» позволяет себе спорить с заокеанским мэтром. Струве утверждал, что «Жизнь Клим Самгина» — слабое произведение с неинтересным героем. Рюле действует хитрее. Он пытается интерпретировать сложную структуру романа-хроники как выражение декадентской «метафизики истории», будто бы присущей Горькому. Философский смысл «Жизни Клим Самгина» истолкован у Рюле следующим образом: «Роковые силы нашего времени — экономические, административные и политические аппараты с их самодвижением и магией, катастрофы нашего столетия, кризисы, войны, революции и диктатура — бросают личность в водоворот непонятного и непостижимого мира. Тем самым ликвидируется история как объективный и закономерный процесс. Вторжения иррационализма в мировую политику, развязывание коллективного бессознательного начала как раз в тех идеологиях, которые претендуют на научность мирозерцания (расовая теория, геополитика, политэкономия, диалектический материализм), сегодня, более чем когда-либо, обрекают человека на растерянность перед лицом истории». Перед нами здесь — высокопарно изложенный набор общих мест, которые имеют широкое хождение в современной западной публицистике. «Водоворот непостижимого мира», «растерянность человека перед лицом истории» — все это мы не раз читали: оригинальный вклад Рюле в эту систему фраз разве только в том, что он ставит расовую теорию рядом с диалектическим материализмом. Но при чем же тут Горький? Юргену Рюле, очевидно, хочется подкрепить авто-

ритетом великого русского писателя иррационалистические пошлости современной буржуазной мысли — и вместе с тем нейтрализовать горьковскую критику «самгинщины». Клим Самгин, по утверждению Рюле, «в высшей степени интересный герой», ибо в нем заключена «проблематика эпохи». И далее критик приходит к поразительному заключению о том, что Горький, развенчивая Клим Самгина, в то же время питает тайные симпатии к нему!

В сущности, Рюле придерживается в своих разборах советских книг тех же шаблонных приемов, что и Струве, и ряд других западных «специалистов» по советской литературе. Когда речь у него заходит о писателях, в творчестве которых коммунистическая партийность выражена в прямой и открытой форме, он их беззастенчиво принижает, третирует свысока. «Как закалялась сталь» — книга-подвиг, в свое время пленившая Романа Роллана нравственной цельностью и благородством, — по словам Рюле, «заключает в себе нечто бесчеловечное и бездушное». С другой стороны, обращаясь к произведениям, где дана сложная психологическая характеристика героев и где авторская тенденция выявляется исподволь, через взаимодействие характеров и событий, — Рюле пытается домыслить то, чего там нет, выскивает глубоко запрятанную крамолу. Достаточно сказать, что «Тихий Дон» предстает у него как «героический эпос русской Вандеи»!

Предметом особо пристального спекулятивного внимания Рюле становятся творческие споры в среде советских литераторов. Оживление культурной жизни СССР за последние десять — двенадцать лет преподносится в его книге как некое восстановление интеллигенции против принципа партийности искусства. Говоря, например, о Втором съезде писателей, он дает пестрый перечень «оппозиционно настроенных» ораторов: «Овечкин, Каверин, Кирсанов, Яшин, Эренбург, Михалков, Ольга Берггольц, Маргарита Алигер, Вера Кетлинская, Мариэтта Шагинян и впереди всех enfant terrible — Шолохов». В дальнейшем изложении выясняется, что на сторону «мятежников» перешли .. Симонов и Сурков!

Нет смысла продолжать перечень грубых искажений истины и прямых курьезов, содержащихся в книге Рюле. Но важно иметь в виду, что книга эта — не единичное, не одиноко стоящее явление.

Подобная же схема разворачивается на разные лады не только в пособиях общего характера по истории советской литературы; она налагает свой отпечаток и на работы буржуазных литературоведов-славистов об отдельных советских писателях. Эта схема сказывается и на университетском преподавании, и на работе многих западных издательств. Она в иных случаях влияет на отбор публикуемых книг и на их комментирование.

Разумеется, и в капиталистическом мире среди издателей и истолкователей советской литературы есть люди, относящиеся к Советскому Союзу с уважением или по крайней мере работающие добросовестно.

В тех странах, где коммунистические и рабочие партии, а также организации или группы передовой интеллигенции представляют внушительную силу, буржуазные издательства или органы печати не могут не считаться с прогрессивным общественным мнением. Это влияет не только на распространение советской литературы, скажем, во Франции или Италии, но и на освещение ее в критике. Среди славистов, которые преподают в западноевропейских (в частности, французских, английских) университетах, есть знагоки советской литературы, стремящиеся подходить к ней объективно.

Однако наиболее активные друзья и пропагандисты советской поэзии и прозы в современном капиталистическом мире — это, как правило, прогрессивные писатели Запада, собратья, идейные соратники советских писателей. Они не создают о нашей литературе объемистых академических трудов, но выступают с речами, докладами, статьями, сборниками статей, в которых творчество советских художников слова анализируется внимательно и с любовью.

Прогрессивные литературные деятели Запада нередко вступают в прямой спор с реакционной критикой и журналистикой, опровергают вражеские измышления и легенды, касающиеся советского искусства. Но еще важнее, что они противопоставляют ложным, предвзятым трактовкам свое собственное, идейно и эстетически обоснованное понимание этого искусства, его коренных творческих принципов.

Буржуазная славистика дает даже если и не всегда и не во всем превратное, то все же обедненное, суженное представление о культурной жизни советского общества. Прогрессивные писатели и критики стремят-

ся раскрыть социалистическую культуру в ее подлинном разнообразии и обилии красок.

Характерна в этом смысле книга Арагона «Советские литературы», о которой у нас в свое время уже немало писали. Она вышла свыше десяти лет назад, но — если оставить в стороне отдельные устаревшие, неточные формулировки и оценки — по сей день не утратила своего значения. Эта книга насыщена полемикой с буржуазными журналистами и литераторами. Но главное в ней — ее богатое позитивное содержание. В противовес тем псевдоспециалистам, для которых вся картина советской литературы сводится к творчеству русских писателей, да и то немногих, по большей части тенденциозно отобранных, — Арагон дал сжатый очерк развития основных литератур народов СССР и впервые открыл для многих читателей Запада своеобразие национальных культур Грузии и Армении, Белоруссии и Латвии, как и ряда других союзных республик. Он сумел убедительно сказать и о новаторском характере русской советской литературы, о ее связях с наследием классиков XIX века, творчество которых уже давно приобрело неоспоримое всемирное значение. Называя видных советских писателей от Маяковского и Алексея Толстого до Полевого, Пановой, Николаевой, Овечкина, Казакевича, Антонова, он добавлял: «Я хотел бы, чтобы у нас вспомнили, на какой почве выросли эти наши современники и современницы; оживляя в памяти их предшественников, которым мы столько обязаны, мы лучше поймем, как могут духовно обогатить нас советские книги, в которых гигантское дерзновение социалистического человека сливается с традицией русского гения» (Разрядка моя. — Т. М.).

Выход советских книжных новинок в переводе на иностранные языки нередко служит для передовых западных писателей поводом к тому, чтобы поговорить о советской литературе в целом, о ее современном положении и творческих принципах.

«Русский лес» — так назвал Андре Стиль свою статью, появившуюся в марте 1966 года в «Юманите». Здесь идет речь вовсе не только о романе Леонида Леонова. Название этого романа, по мысли Стиля, как нельзя лучше подходит для обозначений сегодняшней русской литературы. Главное в

ней — «ее многообразие, избыточный рост, взаимодействие наиболее широко известных ее тенденций — с поисками молодых, а также с поисками тех, чья работа в предыдущие годы, в ущерб подлинным интересам реализма, наталкивалась на препятствия...». Современная советская литература, как показывает Стиль, сложное единство. И в это единство по-своему органически входят вещи очень разные — и «Время больших ожиданий» К. Паустовского, где автор «с поразительным чувством детали воскрешает Одессу на другой день после Октябрьской революции», и «На Иртыше» С. Залыгина — повесть, которая показывает, «какие неисчерпанные новые возможности таит в себе неоднократно разработанная тема коллективизации», «Зося» В. Богомолова, «нежный рассказ о любви», и новые произведения Ю. Германа. Ю. Трифонова, и повесть А. Битова, где жизнь Сибири показана в ее обыденном значении, «с задушевностью и юмором».

Наши идейные недруги любят сталкивать советских писателей разных поколений, выдвигать одних в ущерб другим, выискивать непреодолимые противоречия между теми и другими. Прогрессивные зарубежные писатели уделяют много внимания молодой советской поэзии и прозе, видят отличительные черты творчества молодых и показывают их тесную преемственную связь с писателями предшествующих поколений.

Что общего, казалось бы, между «Русским лесом» и «Апельсинами из Марокко»? Передовой французский романист и критик Андре Вюрмсер постарался — не без парадоксальности — показать это общее. Свою статью в «Леттр франсез» в марте этого года, посвященную обеим книгам, он назвал «Отцы и сыновья». Время действия в обоих повествованиях — различное, изображаемая среда, характеры, конфликты — все это глубоко различно. Однако французского писателя интересует в первую очередь то, как раскрывается в обеих книгах духовный мир советского человека. Именно здесь он находит то, что объединяет столь мало сопоставимые произведения двух прозаиков, из которых один на треть века старше другого.

«Лесничий без мечты ровно ничего не стоит, так говорит герой Леонова, и эта парафраза ленинских слов приобретает далеко идущий смысл: разве труд лесничего

не устремлен к счастью будущих поколений? И не значит ли это, что он по самой сути своей — бескорыстный труженик? Человек социализма? Именно таков овеянный веселой свежестью моря и ветра мир Аксенова. И таков же погруженный в глубь густых лесов мир Леонова. Один и тот же новый мир».

Вюрмсер не забывает отметить, что в обеих книгах есть «зона тени», что в них затрагиваются болезненные явления прошлого. Герои Аксенова задумываются, не могут не задумываться над событиями тех лет, когда на месте нынешнего молодого города стояли бараки для заключенных. Среди персонажей и той и другой книг встречаются люди «тщеславные, недобрые, озлобленные, отсталые». Но не они определяют общую картину жизни. Главное, по мысли Вюрмсера, что оба романиста передают характерный для советского общества климат духовного здоровья, нравственной требовательности и цельности. Герои Аксенова, которые мчатся на грузовиках за апельсинами, тоже могли бы родиться раньше, самоотверженно дежурить на крышах во время воздушных бомбардировок, как Поля Вихрова. Думы, чувства, нравы героев советского романа, утверждает Вюрмсер, принципиально отличны от тех нравов, которые обрисованы в классическом, да и современном романе Запада. Для бальзаковских персонажей деньги представляли «решение многих загадок». У советских людей есть свои нерешенные проблемы, свои неудовлетворенные нужды, но «власть денег не имеет силы ни над ночными бдениями Поли, ни над устремлениями Люси, Николая или Виктора»...

Главная заслуга лучших советских писателей (разных творческих почерков и разных поколений) — то, что они раскрывают перед всем миром новую реальность социализма: Вюрмсер отстаивает эту мысль и в других работах, по другим поводам. Его статья о романе Б. Полевого «На диком берегу» в «Леттр франсез» в январе 1966 года содержит критические замечания: он считает, что корни, истоки тех отрицательных явлений, о которых говорит романист, не исследованы с достаточной глубиной. Вместе с тем Вюрмсер полемизирует с буржуазными критиками, которые привыкли осуждать советских писателей за «традиционность» образов и ситуаций. «Чему вы выражаете недоверие, о, критики: самому ли роману или той действительности, которую

он изображает? Ведь вы в ваших саркастических напаках упускаете из виду одну мелочь... Здесь перед нами — правда. И настоящий человек, Мересьев, на самом деле существует. А то место действия, которое здесь кажется вам трафаретным, на самом деле самое новое, что есть на свете... Ведь СССР и Братск и взаправду строились, невзирая на все трудности, на тех самых диких берегах, которые Полевой обрисовал мягкими штрихами своего карандаша».

Среди западных работ о советской литературе, вышедших за последние несколько лет, стоит назвать книгу итальянского критика-коммуниста Витторио Страды «Советская литература 1953—1963» (Рим. «Эдитори Риунити». 1964). Эта книга, объемистая и разнообразная по содержанию, по сути дела выходит за пределы чисто литературной проблематики и требует особого, вдумчивого разбора.

...Зарубежные друзья советской литературы стремятся показать интенсивность духовной жизни советского общества, осмыслить новые тенденции в литературной жизни СССР, отвечающие нынешней стадии коммунистического строительства.

Этим стремлением одушевлены лучшие работы, написанные за последние годы знаатоками советской литературы и ее пропагандистами в европейских социалистических странах.

Еще в 1961 году вышла в Праге книга «Русская советская литература». Ее автор Мирослав Дрозда, заведующий кафедрой Карлова университета, задался целью — дать сжатый, связный очерк истории русской советской литературы в ее важнейших моментах, от первых послеоктябрьских лет до современности. Небольшая по объему книга густо насыщена материалом, живо и общедоступно изложена; широко используя советские источники, автор проявляет самостоятельность в отборе, группировке, оценке литературных фактов.

Последняя глава, представляющая краткий обзор литературы за годы 1953—1960, называется «Великая инициатива». Автор рассматривает процессы развития советской поэзии, прозы, драматургии на фоне общих процессов роста творческой инициативы советского народа. В современных условиях, утверждает Мирослав Дрозда, коренные принципы советской литературы — партий-

ность, ответственность художника перед народом, его общественное служение — остаются непоколебимыми. Но вместе с тем проявляются плодотворные новые тенденции — резкий рост нетерпимости к догматизму и сектантству, повышенное внимание к сложным проблемам и конфликтам советского общества. В творчестве современных советских писателей разных поколений Дрозда находит общие черты: это «поиски, сопоставления, споры, беспокойство, жажда нового, исследовательская страсть, переоценка ценностей».

Анализируя «Судьбу человека» Шолохова и поэму Твардовского «За далью — даль», «Золотую карету» Л. Леонова и «Дневные звезды» О. Берггольц, «Зеленый луч» Л. Соболева, повести П. Нилина, В. Тендрякова, В. Некрасова, А. Кузнецова, — Мирослав Дрозда делает общий вывод о растущем разнообразии тематики, жанров, стилей советской литературы. Эксперименты советских писателей в области художественной формы, по мысли Дрозды, — «яркое проявление творческого брожения, главная суть которого — борьба за многостороннее художественное видение многосторонней действительности, преодоление схем и протоптанных дорог».

М. Дрозда отмечает, что советская проза последних лет, носящая по преимуществу «аналитический характер», еще не дала широкой художественной картины эпохи и масштабных, показанных крупным планом образов современников. «Однако наши замечания и пожелания не умаляют положительной оценки советской литературы сегодняшнего дня. Она полна исканий, отваги, инициативы. Она обращается к бурным потокам жизни и черпает в них силу молодого революционного порыва».

Критические, исследовательские труды о советской литературе появляются в последние годы и в других странах социалистического мира.

«Путешествия за три моря» (Варшава. 1962) — так назвал свою книгу статей о советской литературе известный польский критик Северин Поляк. В этой книге отражена многолетняя плодотворная работа автора в области изучения советских писателей, в особенности поэтов; Северин Поляк — сам выдающийся мастер поэтического перевода — включил в свой сборник несколько статей специального характера, посвященных переводу как искусству, его



теории и практике. Однако большую часть книги составляют критические этюды о советских поэтах и прозаиках.

Строго говоря, в книге Полляка речь идет в основном не о сегодняшней литературе, а о старых мастерах. Отдельные статьи посвящены Блоку, Маяковскому, Есенину, поэзии двадцатых и тридцатых годов. Однако дух современности чувствуется у Полляка и в трактовке материала, и в его отборе. Книга по-своему участвует в процессе ликвидации белых пятен на карте советской литературы. Наряду с давно признанными мастерами этой литературы, такими, как Л. Леонов, много внимания уделено авторам, которые после долгого перерыва вернулись, а то и впервые вошли в поле зрения польского читателя. Северин Полляк дает содержательные творческие характеристики И. Бабеля, Ивана Катаева, А. Грипа, и эти имена естественно вписываются у него в панораму советского повествовательного искусства. Исследуя творческие пути крупных русских поэтов, С. Полляк стремится проследить их внутренние творческие связи с Октябрьской революцией не только там, где эти связи совершенно очевидны, как у Маяковского, но и там, где они сказывались в противоречивой, опосредствованной форме, как у Есенина или Пастернака. Интересна в этом смысле и статья о Блоке. С. Полляк, которому принадлежит превосходный перевод «Двенадцати» на польский язык, показывает, насколько органичным было для Блока это произведение, в котором, «как в линзе, сосредоточились важнейшие элементы блоковского творчества со всей его двойственностью, со всеми его внутренними раздорами». Поэзия и революция — эта тема лежит и в основе статьи обобщающего характера, названной «Измы» и «расколы». Северин Полляк далек от взгляда на литературную жизнь первых полудесятилетия или на своего рода потерянный рай. Однако он показывает, что бурное, пестрое литературное движение тех лет, множественность поэтических групп и течений — со всем тем, что было в их программах наивного и ошибочного, — не прошло бесследно для дальнейшего развития советской литературы. Распались литературные школы и группы — но осталось обилие различных творческих манер и почерков, характерное для советской поэзии вплоть до нашего времени. «Разнообразие стилей, часто очень

резко выраженное, сохранилось у современных советских поэтов и по сей день. В стихах Асеева, Антокольского, Кирсанова, Заболоцкого или Мартынова мы слышим отголоски той поэзии, которая формировала их юношеские дебюты. Это разнообразие ярко сказывается и в поэзии самых молодых, будь то Евтушенко, Винокуров или Вознесенский».

В европейских социалистических странах пишутся новые содержательные работы о современных творческих тенденциях советской литературы. Заслуживает внимания, например, обстоятельная статья румынского критика Татьяны Николеску «Заметки о современной советской прозе» (1964). Охватывая в своем анализе широкий круг явлений, Т. Николеску отмечает как важную особенность нынешней литературной жизни СССР необычайную интенсивность творческих исканий, возрастающее художественное многообразие. Критик говорит о свободной композиции книг В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балугец» и Ю. Трифонова «Утоление жажды»; о новом жанре короткого романа у Ю. Бондарева, В. Аксенова; о своеобразии мемуарно-лирической прозы И. Эренбурга, К. Паустовского, О. Берггольц, Н. Тихонова; она уделяет много внимания новеллистам среднего и младшего поколений — будь то С. Антонов, Ю. Нагибин, Ю. Казаков, Г. Семенов или А. Приставкин. В работе Николеску показано, как возрос у советских прозаиков интерес к сложной морально-психологической проблематике, к постановке острых проблем современности или недавнего прошлого: об этом по-разному свидетельствуют и романы К. Симонова об Отечественной войне, и «Большая руда» Г. Владимова, и «Иду на грозу» Д. Гранина, и «На Иртыше» С. Залыгина, и рассказ Э. Казакевича «При свете дня». Обобщения критика подкрепляются материалом не только русской советской литературы, но и творчеством виднейших прозаиков союзных республик — О. Гончара, Чингиза Айтматова.

В советской прозе последних лет, как показывает Николеску, со все большей трезвостью и глубиной исследуются реальные жизненные конфликты: в судьбах героев романов и повестей нередко возникают остро-драматические ситуации. «Торжество высших этических норм, подлинно коммунистической морали, — говорит Т. Николеску, — раскрывается в утверждении могучего ду-

ха человечности, который определяет жизнь социалистического общества. Речь идет вовсе не об обязательном «хэппи энде»: это торжество естественно проистекает из той психологической, социальной и моральной атмосферы, в которой живет человек нового мира. Оно далеко не всегда провозглашается в финале — что явствует, в частности, из повестей «Жестокость» П. Нилина, «Не ко двору» В. Тендрякова, «Черный Яр» В. Липатова. Однако мы вправе сделать вывод, что в конечном счете рано или поздно берут верх силы справедливости, человечности, добра».

Советская литература, прошедшая сложный путь исканий, была и есть во всех лучших, подлинных своих проявлениях плоть от плоти социалистического общества. Друзья нашей литературы за рубежом говорят об этом с глубокой убежденностью и во всеоружии фактов.

### 3

Мировое значение советской литературы измеряется вовсе не только статистикой заграничных изданий. Оно определяется прежде всего новизной и важностью тех идей и образов, тех нравственных принципов и эстетических открытий, которыми советская литература обогатила литературу мировую.

В книгах советских прозаиков, поэтов, очеркистов, драматургов читатель находит летопись жизни советского общества от первых послеоктябрьских дней до современности. Однако вклад, сделанный советскими писателями в мировую литературу, отнюдь не исчерпывается изображением собственной страны, собственного народа. Советская литература всем строем своих идей и образов участвует в решении больших творческих задач, поставленных общественным и художественным развитием человечества.

Рассматривая произведения советских писателей начиная с первых послеоктябрьских лет на фоне предшествующей мировой литературы, мы видим, как часто сама новизна материала наталкивала их на неожиданные, неведомые искусству прежних эпох художественные решения.

Обращаясь к делам и дням советского народа, наши писатели встречались с жизненными ситуациями, невиданными в прошлом. Пролетарская революция вставала перед ними не как утопия или мечта, а

как живая реальность, побеждающая в исключительно трудной борьбе. В огне революции, в буднях великих работ формировался новый тип настоящего человека, передового труженика, строителя, деятеля, вырастающего из массы и органически с нею связанного, способного на подвиги и по-человечески простого. Нельзя считать случайным, что в длинном ряду любимых героев советской литературы немало персонажей, имеющих реальные прототипы, — Чапаев и Корчагин, молодого гвардейцы и Мересьев, вплоть до защитников Брестской крепости, воскресших под пером С. С. Смирнова, и до Ивана Федосеевича из очерков Е. Дороша. Да и те герои лучших советских книг, которые созданы творческим воображением писателей, обнаруживают кровное свое родство с этими реальными личностями и свою новизну, если рассматривать их в ряду персонажей литературы досоциалистической.

Буржуазные литературоведы много раз жаловались, иной раз жалуется и в наше время, что традиционные романтические (или сценические) мотивы и сюжеты надоели, устарели, исчерпаны, как их ни комбинируй. На самом же деле XX век — век великих потрясений и социальных свхатов — обогатил мировую литературу множеством новых тем, проблем, типов, сюжетов, воочию показал, как обновляется реалистическое искусство, когда оно выходит за пределы «частной» жизни, узколичных коллизий и вмещает в себя большие события эпохи, чутко реагирует на них.

Советская литература, которая складывалась и развивалась, находясь как бы в эпицентре всемирно-исторических сдвигов, уже в первые десятилетия своего существования наглядно продемонстрировала, как велики возможности такого обогащения, когда художник строящегося нового мира берется исследовать сложные взаимоотношения личности с народом, обществом, трудовым коллективом; когда литература старается по горячим следам запечатлеть стремительные, остродраматические жизненные процессы, столкновения, перемены, происходящие и в массах и в душе отдельного человека. Сама практика советского общества подсказывала новую художественную трактовку труда, связанную с постепенным становлением социалистического хозяйского отношения человека к производству; тема «человек и его дело» обретала и обретает

в советской литературе разных лет все более разнообразными грани и повороты — от романа В. Катаева «Время, вперед!» до романа Б. Полевого «На диком бреге» — но, так или иначе, тема эта разрабатывается нашими писателями в духе, принципиально отличном от того, что было в литературе минувших эпох.

Историческая практика советского общества по-новому формировала и отношение человека к природе, порождая тут иной раз свои, весьма острые конфликты, — все это отозвалось, например, в «Русском лесу» Л. Леонова. Эта же историческая практика подсказывала советским прозаикам и поэтам новый подход к изображению деревни, крестьянства, обостряла их внимание к противоречиям и сдвигам, связанным с ломкой вековых основ мелкособственности и существования. Деревня, вышедшая из привычного состояния покоя, застоя, пришедшая в бурное движение, запечатлена на страницах разных произведений — от «Поднятой целины» до повести С. Залыгина «На Иртыше»; и здесь снова — при всей резкой непохожести названных произведений одного на другое — мы встречаемся с характерами и коллизиями, коренным образом отличающимися от того, что было нам знакомо по литературе прошлого, даже и сравнительно недавнего прошлого (стоит для контраста вспомнить такую в своем роде классическую вещь, как эпопею В. Реймонта «Мужики», поэтизирующую «вечные», патриархальные начала исконно крестьянского бытия).

Подобные сопоставления можно было бы и развить и продолжить. В любой тематической сфере советской литературы — куда ни глянь — мы находим элементы нового, коренящиеся в самом характере отображаемой действительности. Можно было бы, обращаясь к многим произведениям советской литературы, проследить, как сама природа социалистических отношений, сама новизна складывающихся в советском обществе социальных типов, коллизий, нравов не раз наталкивала писателей на художественные открытия во многих частных тематических и жанровых областях — будь то изображение судьбы женщины или тема воспитания юношества, будь то структура исторического романа или документальной биографии.

Однако еще гораздо важнее, что советская литература во всех лучших своих произведениях несла и несет с собой новое от-

ношение к миру, революционный взгляд на коренные проблемы человеческого существования — и уже этим бесконечно обогащает духовный мир своих зарубежных читателей.

Это показал на конкретном примере один из выдающихся людей нашего столетия — Пальмиро Тольятти. В феврале 1952 года он опубликовал в журнале «Ринашита» краткую статью о книге А. Бека «Волоколамское шоссе», вышедшей незадолго до того в итальянском переводе<sup>1</sup>. Статью эту ввиду ее важности стоит процитировать (с сокращениями) от начала и до конца.

«Эта книга, стремительная и простая, — одно из самых больших произведений во всей литературе, порожденной недавней мировой войной». В книге Бека, говорит Тольятти, значителен уже сам материал — 1941 год, защита Москвы, — но еще важнее ее подлинная тема. «Подлинная тема — это отношение между войной и человеком, войной, где умирают, умирают в любой момент, самым неожиданным и жестоким образом, и человеком, который не хочет умирать, который хочет жить, потому что именно в этом состоит его назначение».

В современном искусстве Запада, по мысли автора статьи, как правило, выдвигаются на первый план ужасы войны, а духовное и гуманное начало в трактовке этой темы отсутствует вовсе. Иное в искусстве советском:

«Повесть Александра Бека изобилует самыми жестокими и страшными эпизодами — и везде чувствуется, что война противна самой природе человеческой. Но отсюда непосредственно вытекает решительная, острая — и вместе с тем естественная и вечная — постановка проблемы: «Враг идет убить тебя и меня... Я учу тебя, я требую: убей его, сумей убить, потому что и я хочу жить. И ты требуешь от товарища, — обязан требовать, если действительно хочешь жить, — убей! Родина — это ты, родина — это мы. наши семьи, наши жены и дети...»

Так из самого простого, но и из самого глубокого взгляда на вещи возникает долг

<sup>1</sup> Статья была подписана буквой «Р» — начальной буквой литературного псевдонима «Родернго», которым часто пользовался Тольятти. Об авторстве данной статьи было сообщено в специальном номере «Ринашита», посвященном первой годовщине со дня его смерти.

и солидарность в исполнении его». (Неспроста, замечает Тольятти, в начале повести есть насмешка над «героическим» безрассудством.) «Нет, люди именно потому, что они воспитаны и сформированы для жизни, боятся умереть. И они побеждают страх, не одурманивая себя и не доходя в ненависти до экзальтации, а понимая, что во имя своей жизни они должны сделать то, что необходимо.

Большое художественное достоинство повести состоит в том, что эта основная установка чувствуется на всем ее протяжении — от первого до последнего боя. Бойцы не перестают быть людьми, но их человечность нигде не обособляется оттого, что они делают именно как бойцы и в ходе боев, — можно сказать, что она формируется и складывается именно в сражениях и в размышлениях о том, как сражаться, — как использовать местность, не дать себя застигнуть врасплох, обмануть врага, причинить ему наибольший ущерб, неся минимальные потери, и т. д. Разве каждый из этих вопросов не связан с жизнью? Страницы, посвященные таким подлинным беседам с генералом Панфиловым, и те, где командир хочет проникнуть в намерения врага, почти споря с ним наедине, — это настоящее изложение тактических планов, и в то же время здесь автор глубже всего проникает в душу тех, кто сражается и ведет в бой других, отлично зная, что это значит.

От начала и до конца чувствуется присутствие воли, которая утверждается, одерживая верх над самыми тяжелыми обстоятельствами, и это изменяет людей, которые в конце, когда они покидают так трагически удержанные позиции и готовы защищать новые позиции в новом сражении, уже не те, какими были вначале: иными стали их поступки, слова, взаимное понимание, порой больше чувствуется горечь, как в незабываемом последнем разговоре с генералом Панфиловым, но, конечно, появилась новая глубина — ибо они смогли понять и подчинить себе ход событий, по-новому развернуть свою человеческую сущность, хладнокровно встретить силы разрушения и смерти, чтобы дать им отпор».

Смысл этой статьи далеко выходит за пределы разбора одной из советских книг о войне. Главное, о чем говорится здесь, — это мироощущение социалистического человека, особенно отчетливо проявляющееся в

трудных условиях войны, в минуты опасности.

Советская литература в лучших своих образцах утверждает активное отношение к жизни, утверждает, как сказал бы Горький, бытие как деяние. Беспощадность к врагу неразрывно связана в ней с гуманизмом, с верой в силы человека. В повести Бека, где до предела откровенно сказано об ужасах войны, о вызываемых ею жертвах и потерях, утверждается способность человека дать отпор носителям разрушения и смерти. Именно в этом смысле лучшие книги советских писателей противостоят всей «черной» литературе современного декаданса, прогнившей настроением пассивности, отчаяния, иррациональным страхом перед будущим. Эти книги утверждают силы добра.

Об этих силах, заложенных в самой сути социалистического искусства, хорошо говорится в стихотворении Б. Слуцкого «Броненосец «Потемкин»:

Как много создано и сделано  
Под музыки дешевый гром  
Из смеси черного и белого  
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,  
Сюжет кричал, как человек,  
И пробуждались чувства добрые  
В жестокий век,  
В двадцатый век...

В фильме «Броненосец «Потемкин» жестоких и страшных эпизодов, пожалуй, не меньше, чем в «Волоколамском шоссе» Но и в этом фильме — как и в любом из лучших произведений советского искусства и литературы — непримиримая ненависть к врагам трудящегося человечества, страстный призыв к борьбе с ними неотделимы от утверждения человеческой солидарности, благородства, стойкости, веры в будущее, — революционный пафос неотделим от пафоса нравственного.

«Простые нормы нравственности и справедливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались или бесстыдно попирались, коммунизм делает нерушимыми жизненными правилами как в отношениях между отдельными лицами, так и в отношениях между народами. Коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяже-

нии тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками».

В советской литературе последних лет резко обострилось внимание к моральным проблемам. Приведенные строки из Программы КПСС помогают убедиться, что широкая постановка таких проблем в социалистическом искусстве совершенно закономерна, более того — необходима. Грубо заблуждаются те западные критики, которые, замечая рост интереса советских писателей к вопросам нравственности, к анализу индивидуальной психологии, усматривают во всем этом начинающийся якобы отход нашей литературы от ее коренных принципов партийности и гражданственности. На самом деле тут не отход, а развитие этих принципов в новых исторических условиях.

В наше время с невиданной отчетливостью обнаруживается — в больших исторических, международных масштабах — связь нравственности и политики. Исторический опыт показал, что фашизм и агрессивный милитаризм влекут за собою массовую моральную деградацию людей — и вместе с тем нуждаются в такой деградации, в оболванивании и озверении масс для осуществления своих преступных планов (это очень убедительно раскрыто в фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм»). С другой стороны, приверженность человека к простым нормам нравственности и справедливости нередко оказывается в наши дни фактором, пробуждающим революционное сознание, толкающим на борьбу: именно этот моральный фактор привел и приводит на Западе многих людей доброй воли в ряды активных сторонников мира.

В Советском Союзе по мере развития социалистических отношений становится все более очевидным, насколько серьезным тормозом на пути продвижения советского общества вперед являются стяжательство, бюрократизм, лицемерие, подхалимство и другие проявления собственнических, мещанских нравов. Возрастает моральная требовательность советских людей, их нетерпимость к носителям таких нравов. Преодоление концепции «человека-винтика» влечет за собой развитие чувства личной ответственности и долга. Сама жизнь убеждает в том, насколько необходима именно социалистическому человеку способность к самостоятельным нравственным суждениям и решениям, к тому, чтобы разби-

раться в происходящих событиях и определять свое место в них.

Герой советской литературы минувших десятилетий проявлял свою гражданскую зрелость в столкновениях с классовым врагом, затем — на полях сражений Отечественной войны, в кровавых схватках с фашизмом. Герой советской литературы наших дней нередко проявляет свою гражданскую зрелость в конфликтах совершенно иного рода: он сталкивается с карьеристами, бюрократами, с мещанством в разнообразных обличьях. В этом смысле можно сказать, что Бахирев у Галины Николаевой, или Сергей Крылов из романа Д. Гранина «Иду на грозу», или, скажем, молодой передовой рабочий Саша Синев, эскизно, но очень выразительно обрисованный И. Зверевым, при всем их отличии от Павла Корчагина, являются в изменившихся исторических условиях продолжателями его дела.

Советский писатель, исследующий современную жизнь в ее обыденном течении, нередко имеет дело с очень непростыми конфликтами и очень запутанной расстановкой сил. Тут с первого взгляда и не определишь, кто прав и кто не прав. Иной раз прекрасодушный правдоискатель сам во многом ошибается, не проявляет необходимой решимости, силы характера, ясности мысли и цели. Иной раз самодовольный мещанин прикрывается громкой фразой, авторитетом должности и былых заслуг, и не так-то легко распознать фальшь в его словах и поступках. В таких ситуациях становится особенно ответственной задача литературы как человековедения: помочь читателю отделить ценности подлинные от мнимых, разобраться в том, что хорошо и что плохо. С другой стороны — иногда оказывается важнее дать читателю пищу для размышлений, активизировать его мысль, нежели подсказать ему готовое и однозначно-простое решение.

Бывает, что советский писатель, сталкивающийся с такого рода сложным жизненным материалом, допускает просчеты и ошибки, и наши идейные противники за рубежом с удовольствием ухватываются за эти ошибки, делают нечеткое по мысли или не вполне удавшееся произведение поводом для своей лукавой пропаганды.

Однако те лучшие книги последних лет, где раскрываются конфликты передовых людей с обывательскими нравами или бю-

рократическими извращениями, несомненно, повышают моральный авторитет советской литературы за рубежом, помогают иностранным читателям уточнить свои представления о советском обществе, о социалистической нравственности.

Говоря о том мировом значении, которое имеет советская литература в современных условиях, невозможно обойти ведущиеся в наши дни международные споры о социалистическом реализме.

В писаниях враждебных нам литературоведов нападки на советскую литературу сопровождаются, как мы видели, атаками на социалистический реализм. Он трактуется как некий жесткий свод правил, нивелирующий таланты и сковывающий индивидуальность художников. При этом поверхностные, конъюнктурные произведения, не выдержавшие проверки временем, в сочинениях Струве и ему подобных выдаются за социалистический реализм, а книги советских писателей, появившиеся после XX съезда КПСС и выражающие его дух, преподносятся как бунт против «соцреализма» и отход от него. Насколько нелепы подобного рода взгляды, достаточно уже говорилось выше.

Разногласия по этому кругу вопросов обозначались в последние годы и среди зарубежных критиков-марксистов. Иной раз утверждают, что термин «социалистический реализм» опорожен всякими догматическими изъяснениями и потому, мол, лучше им не пользоваться. Иногда предлагают термин «социалистический реализм» заменить другим, более широким: «социалистическое искусство». Получается, что искусство, борющееся за социализм, может и не быть реалистическим... Но ведь термин «реализм» был выбран в свое время не случайно. Именно в реализме осуществились наивысшие достижения досоциалистического искусства. Реализму — как ни одному другому художественному методу или направлению — присущ дух исследования, пытливого и безбоязненного познания. Именно реализм разных стран и эпох накопил богатейший художественный опыт исследования человека в его общественных связях. Реализм на практике показал, что ему доступны все сферы человеческого бытия — от самой грубой житейской прозы до высоких порывов духа, от скрытых экономических пружин общественного развития до сокровенных закоулков человеческой

психики. Именно в реализме искусство, сохраняя свою художественную специфику, наиболее тесно соприкасается с наукой. И не пристало художникам, вставшим под знамя научного социализма, отказываться от реалистических традиций и принципов.

Существует ли исчерпывающее, так сказать, стабильное определение социалистического реализма? Определения давались много раз; однако думается, что исчерпать свойства социалистического реализма какой бы то ни было формулировкой, претендующей на окончательный характер, и невозможно и ненужно. Социалистический реализм — категория не только исторически сложившаяся, но и исторически развивающаяся; сама творческая практика советских писателей (как и передовых писателей других стран) вносит в эту категорию все новые и новые оттенки. Вместе с тем творческая практика советских писателей подтверждает, что принципы социалистического реализма являются для них не жесткими и стеснительными нормами, а той общей идейно-эстетической основой, на которой вырастают и проявляют себя различные художественные индивидуальности.

Стоит сослаться на один сравнительно новый пример. Роман Ю. Домбровского «Хранитель древностей», вышедший на итальянском языке в издательстве Риццоли, вызвал в течение 1965 года оживленное обсуждение в итальянской критике. Иные рецензенты, отмечая своеобразие художественного почерка Домбровского, его склонность к сатирическому гротеску, пытались отыскать в нем «кафкианство» и истолковать его роман как некое отступление от основного метода советской литературы.

Ю. Домбровский, отвечая на вопросы, заданные ему редакцией журнала «Эуропео» (№ 23, 1965), изложил свои взгляды на задачи художественного творчества. Он ответил, в частности, на вопрос о своем отношении к Кафке. Он отметил высокое достоинство Кафки как художника, который «обнажает зло с решительностью и бесстрашием анатома». «И все-таки, — говорит далее Домбровский, — Кафка для меня глубоко непринемлем. Для героя Кафки спасения нет. Человек обречен не только на гибель, но еще и на бесславие, на позор, на сумасшествие, на полную бессмысленность существования. В мире Кафки человек человеку не только враг, но он ему еще и

чиновник, и шпион, и палач, и экзекутор... Для человека характерна не жизнь, а преступление и кара... Кафке важна не жизнь героя, а его смерть, ибо жизнь иллюзорна, а смерть действительна. Вот с этой-то обреченностью человека я и не могу никак согласиться. Такой взгляд и на природу человека, и на природу искусства глубоко чужд всему духу нашего искусства в его истоках. Одним словом, я не из тех, кто верит в дьявола и грехопадение. И в этом есть моя особенность как писателя, стоящего на позициях социалистического реализма».

«...После всего сказанного,— отметил Домбровский в заключение,— подхожу к определению социалистического реализма, как я его понимаю.

1. Социалистический реализм — передовое течение в искусстве, возникшее в начале века. Это литература периода расцвета социалистических учений и классовых революций.

2. Оно рассматривает человека не оторванно, а в его классовой природе, на фоне человечества; во взаимной связи со всеми социальными факторами и течением мировой истории.

3. Оно верит в конечную победу разума и добра (то есть в тезис «человек добр»), верит в конечность и неизбежность победы над злом социальным и биологическим, поэтому оно оптимистично по своей природе.

4. Оно верит в свою способность не только отразить мир, но и изменить его в лучшую сторону, поэтому оно активно и наступательно.

5. Оно не стеснено никакими формами в средствах выражения своих мыслей, оно может быть скульптурой, полотном, музыкой, важно только, чтобы оно правдиво ото-

бражало действительность, служило делу борьбы за человека.

6. Оно само по себе глубоко новаторское, потому что идет не позади читателя, а впереди него и ведет его за собой. Именно так определял задачи писателя Владимир Ильич Ленин (основатель нашего государства). И снобизм и упрощенчество ему одинаково глубоко чужды».

Нетрудно оспорить отдельные формулировки Ю. Домбровского, отметить неточность отдельных его выражений (он говорит о «течении» там, где, на мой взгляд, правильнее было бы пользоваться словом «метод»). Вряд ли кто-нибудь — включая и самого автора «Хранителя древностей» — станет утверждать, что данное определение социалистического реализма можно считать бесспорным и во всех отношениях наилучшим. Ю. Домбровский и не являлся, и не претендует быть теоретиком литературы. Пожалуй, именно этим и интересны его ответы на вопросы итальянского журнала. Эти ответы свидетельствуют, как сам жизненный опыт, сама практика литературной работы подсказывают одаренному и вдумчивому советскому писателю такое определение его творческой позиции, которое идет в русле коренных, проверенных десятилетиями традиций и принципов социалистического реализма.

Именно эти принципы, разнообразно претворяющиеся в романах, стихах, пьесах, завоевали многонациональной советской литературе прочное международное признание и авторитет. Этот авторитет будет возрастать по мере роста сил социализма и демократии во всем мире — и по мере роста сил самой советской литературы, по мере ее обогащения новыми правдивыми, идейными, высокоталантливыми произведениями.

Мировая слава ко многому обязывает.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Шарапов.** Энциклопедия современного марксизма.— **Е. Драбнина.** Нежданые находки.— **М. Галлай.** Дела космические — и дела земные.

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Б. Сарнов.** И в музыку преобразили шум...— **Л. Лазарев.** Самое веское доказательство.— **С. Кайдаш.** Размашистость и небрежность.— **Ст. Рассадин.** Что сказал бы Маяковский?..

## Политика и наука

### ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОВРЕМЕННОГО МАРКСИЗМА

И выходе Полного собрания сочинений В. И. Ленина

Было время — в начале нашего века, — когда имя Ленина знали лишь профессиональные революционеры, передовые рабочие России. Прошло всего полтора десятилетия, грянул Октябрь — и оно стало известно всему миру.

В издаваемом ЮНЕСКО «Индексе транслационум» — перечне авторов и изданий, которые больше всего и чаще переводятся на другие языки, — первое место занимают труды Владимира Ильича Ленина.

Одним из важных событий идеологической жизни Коммунистической партии и советского народа в нынешнем году было завершение издания Полного собрания сочинений В. И. Ленина, предпринятого девять лет назад по решению ЦК КПСС. На полки общественных и домашних библиотек встали пятьдесят пять томов с профилем Ильича на обложке.

Читатель уже оценил это издание: в Полном собрании около девяти тысяч ленинских произведений и документов. В предшествующие издания не входило более половины из них. В результате одностороннего подхода к отбору ленинских текстов в предыдущее — четвертое — издание не вошли даже такие ранее публиковавшиеся работы, как «Предисловие к книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир», «Памяти тов. Прощяна», «Ответ на запрос крестьянина», «О политехническом образовании. Заметки на тезисы Надежды Константиновны», «Заметки по истории РКП» и другие.

В томах Полного собрания напечатано около четырех с половиной тысяч писем, записок, телеграмм. Десять томов (46—55) составила ленинская переписка — органическая, ценная часть литературного наследия Владимира Ильича.

В обращении Центрального Комитета партии об учреждении Института В. И. Ленина говорилось, что мы «не должны забывать того, что всякий маленький обрывок бумаги, где имеется надпись или пометка В. И. Ленина, может составить огромный вклад в изучение личности и деятельности вождя мировой революции и поможет



уяснить задачи и трудности, стоящие на том пути, по которому мы идем, руководимые В. И. Лениным».

Коллектив сотрудников сектора произведений В. И. Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под руководством доктора исторических наук В. Я. Зевина, практически осуществлявший возложенное на Институт издание Полного собрания сочинений, располагал четырьмя предшествующими изданиями трудов Владимира Ильича, тридцатью шестью «Ленинскими сборниками», более чем тысячей новых документов В. И. Ленина, напечатанных за пять лет (1956—1960), прошедших после XX съезда партии, и наконец сокровищами Центрального партийного архива Института.

В тридцать шестом томе впервые публикуется ряд глав первоначального варианта работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти». В Полном собрании мы находим и много других новых ленинских документов. Откуда же они взялись?

Самыми разными путями поступают они в Центральный партийный архив. Одни из них разыскивались годами, другие обнаруживались случайно, некоторые не найдены до сих пор.

Уже много лет ведутся поиски одного из трех гектографических выпусков труда «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». В сочинениях В. И. Ленина печатаются только два — первый и третий, а второй все еще пока не разыскан.

Почти в каждом томе Полного собрания сочинений есть в конце специальный раздел «Список работ В. И. Ленина, до настоящего времени не разысканных».

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ведет большую работу по розыску ленинских документов<sup>1</sup>. За последние годы Центральный партийный архив пополнился новыми письмами, записками, заметками В. И. Ленина. Самым ценным приобретением была краковская находка — большая часть Краковско-Поронинского архива В. И. Ленина, найденная в конце 1953 года. Поиски этой части ленинского наследия велось много лет, рассказ о них вылился бы в увлекательную повесть.

За последние два года поступило около ста документов, относящихся к 1903—1922 годам. Они разысканы в нашей стране, получены из-за границы. В результате переговоров между Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Институтом социальной истории в Амстердаме в 1964 году получено восемь подлинных ленинских документов. Среди них — письма к Каутскому за 1903—1911 годы. Несколько писем В. И. Ленина получено от Камилля Гюисманса (Бельгия), бывшего секретаря Международного социалистического бюро.

От отдельных лиц поступают мандаты и удостоверения, подписанные В. И. Лениным. За их строками, с протокольной точностью перечисляющими задачи, выполнение которых Владимир Ильич доверял людям, получавшим из его рук эти документы, встают героические дела и события первых лет советской власти.

В Институт марксизма-ленинизма пришел как-то Евгений Вадимович Лукашев. В архиве своего покойного отца, старого члена партии, известного по имени «товарищ Вадим», среди прочих документов и мандатов он нашел два вырванных из какого-то гроссбуха листа. Оказалось, что это листы из больничной книги Солдатенковской больницы. На листе с датой 22 апреля 1922 года есть подпись В. И. Ленина. 23 апреля 1922 года в этой больнице Владимиру Ильичу была удалена одна из двух пуль, которыми он был тяжело ранен 30 августа 1918 года. Расписался Ленин в книге, по-видимому, в день приезда в больницу, накануне операции. Это небольшой, но характерный штрих: неукоснительно подчиняясь правилам, установленным для всех пациентов, Ленин — как полагалось каждому прибегающему к услугам больницы — поставил свою подпись против диагноза и фамилии врача.

<sup>1</sup> О том, как были собраны новые ленинские документы, как составлялись примечания и указатели, какая была проведена текстологическая работа. — словом, обо всех своих трудах и заботах на протяжении почти десятилетия научные сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС рассказали в сборнике «Сокровищница великих идей ленинизма», выпущенном недавно Политиздатом. Некоторые из приведенных примеров заимствованы оттуда.

Ленин и Чернышевский — это воссозданная далеко еще не до конца страница биографии Владимира Ильича. Об особом отношении Ленина к Чернышевскому и к его произведениям существует много свидетельств. Полное собрание вносит новый материал и в эту недописанную страницу. Правда, до сих пор остается неизвестным текст письма, которое в 1889 году юный Владимир Ульянов написал Чернышевскому в Астрахань. В конце того же года в казанском кружке Н. Е. Федосеева, в котором Ленин принимал активное участие, изучались произведения Чернышевского. Мы не знаем, о чем писал девятнадцатилетний Ленин, только что, летом 1888 года, несколько раз кряду перечитавший роман «Что делать?». Но когда мы знакомимся со словами Владимира Ильича, сказанными по адресу Чернышевского: «Он меня всего глубоко перепахал», то можем себе представить, какое это было письмо! Меньше чем за год до своей смерти должен был послать его Чернышевский... Получил ли? И это надо выяснить. Поиски юношеского послания Ленина Чернышевскому ведутся, но пока безрезультатно.

В пятидесятом томе появилась новая ленинская записка. Вот ее история. Разбирая архив Марии Михайловны Костеловской, члена КПСС с 1903 года, скончавшейся в январе 1964 года, научная сотрудница Музея революции СССР Г. Боровая обнаружила записку Костеловской Ленину и на ней — его ответ. На них не было даты, но относились они, очевидно, к началу 1919 года. М. М. Костеловская писала:

«Владимир Ильич!

Сейчас мне звонил Свердлов. Он предлагает наш вопрос обсудить предварительно в тесном партийном кругу.

По-моему, это дело.

Если вы ничего не имеете против, то сегодня можно его снять и поставить через день-два.

М. Костеловская».

Ниже рукой Владимира Ильича написано:

«Согласен, но если *Военно-продовольственное бюро* окажется виновным в промедлении *хоть на час* работы по мобилизации рабочих и на ответственные посты и в **продармию**, тогда всех членов Военно-продовольственного бюро **прогнать**».

В архиве М. М. Костеловской сохранились материалы, которые рассказывают о событиях тех лет. В голодную осень 1918 года, вспоминает Костеловская, Владимир Ильич приехал на заседание МГСПС и поставил вопрос о том, чтобы профсоюзы непосредственно включились в борьбу за хлеб. Была избрана продовольственная комиссия. Костеловская стала ее председателем. Комиссию назвали: Военно-продовольственное бюро. У него были свои уполномоченные во всех южных хлебных районах, с которыми поддерживалась связь по прямому проводу. Москва, Петроград, Новгород, Тула, Тверь и другие рабочие центры держали постоянную связь с Московским Военно-продовольственным бюро. Было послано свыше шестидесяти тысяч рабочих на заготовку хлеба. Продотрядам выдавались винтовки, иногда шинели, предоставлялись вагоны. Первые продотряды напутствовал В. И. Ленин. В налаживании этой работы много помогал Я. М. Свердлов. Владимир Ильич часто, иногда сам, иногда через Свердлова, справлялся, как идет работа. 27 февраля 1919 года на заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина обсуждался проект постановления о рабочих продовольственных отрядах. С небольшими поправками этот проект был вскоре утвержден. Во время заседания, на котором присутствовала М. М. Костеловская, между нею и В. И. Лениным и произошел обмен записками, которые приведены выше. Дату этого документа уточнили в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

И все же в поисках ленинских работ и рукописей нет, как нам кажется, еще достаточной целенаправленности и широкого участия общественности. Если бы составить список неразысканных ленинских работ, кратко прокомментировать его и снабдить необходимыми справками, а затем разослать по всем крупнейшим архивам и библиотекам, привлечь к ним внимание всех работающих в архивах, то это, несомненно, дало бы свои результаты.

Поиски неразысканных рукописей — дело сложное, трудоемкое, длительное. Хорошо организованные розыски ненайденных произведений В. И. Ленина, вероятно, могли бы к столетию со дня его рождения, в 1970 году, привести к бесценным находкам.

За последнее время появились интересные работы исследователей, посвященные выступлениям В. И. Ленина в буржуазной прессе зарубежных стран в 1917—1922 годах. Первую сводку этого любопытного материала дали в небольшом научном сообщении («История СССР», № 2, 1962) Э. В. Клопов и Л. М. Трофимова. В этом сообщении упоминается первое интервью В. И. Ленина.

Известно, что вскоре после победы октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и установления советской власти состоялись выборы в Учредительное собрание. В. И. Ленин оценил итоги этих выборов в статье «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата», написанной 16 декабря 1919 года. Анализируя итоги выборов, Владимир Ильич пришел к выводу, что большевики, получив одну четверть всех голосов, победили потому, что «имели за собой в ноябре 1917 года гигантское большинство пролетариата». В этой же статье В. И. Ленин отмечал, что «столицы мы завоевывали в октябре — ноябре 1917 года *наверняка...*». Этот ленинский вывод прямо перекликается с тем, что он заявил в своем первом интервью, которое он, как председатель Совнаркома, дал корреспонденту американского агентства Ассошиэйтед пресс Г. Ярросу 15(28) ноября 1917 года. В машинописной копии интервью (на английском языке) говорится, что В. И. Ленин «был окрылен крупной победой его партии».

После того, как об этом интервью рассказали в своей статье в «Правде» (12 апреля 1961 года) Э. Клопов, В. Логинов и Р. Савицкая, выяснилось, что автор его, американский корреспондент, ныне здравствующий гражданин СССР (с 1924 года) Григорий Моисеевич Яррос, живет в Москве. Он написал воспоминания и передал их в Институт марксизма-ленинизма.

Весной нынешнего года из Индии пришло сообщение о том, что калькуттская газета «Амрита базар патрика» напечатала письмо доцента местного университета Курукшетра Датта. Он сообщил, что, изучая документы национального архива Индии, нашел письмо, в котором выражалось отношение В. И. Ленина к трагедии Джаланбала Багх. Речь идет о кровавой расправе, которую учинили в апреле 1919 года английские колонизаторы в Амритсаре.

«Господин Ленин прочитал в вашей уважаемой газете страшный рассказ о бойне в Джаланбала Багх,— писал тогдашнему редактору «Амрита базар патрика» представитель Советской республики в Северной Индии Алексеев,— и уполномочил меня сообщить народу Индии, что Советское правительство питает полную симпатию к справедливому делу своих индийских братьев».

Имя Альберта Риса Вильямса хорошо известно в Советском Союзе. Верный друг нашей страны, он до конца дней своих хранил память о незабываемых днях Октября, о Ленине.

Незадолго до смерти Альберт Р. Вильямс прислал в Москву письмо, в котором рекомендовал работу, проделанную американским публицистом Эндрью Стейгером. Это была подборка материалов, помещенных в американской печати 1918—1922 годов, которые дают представление о том, как последовательно стремился В. И. Ленин нормализовать отношения с США.

Об одном умолчал в своем письме Вильямс — о том, что вся эта работа была проделана по его инициативе, что он следил за ней, помогал ее автору. Э. Стейгер рассказал об этом, передавая в Институт марксизма-ленинизма посмертный дар Альберта Р. Вильямса.

Что же это за материалы? Они разнородны. Большинство их оказалось известными советским исследователям, но некоторые были извлечены из газет впервые.

Есть еще один и весьма любопытный источник пополнения собраний ленинских сочинений новыми документами. Речь идет об обосновании авторства В. И. Ленина. Ведь немало его статей, листовок, прокламаций публиковалось до революции по понятным причинам без подписи автора. Обоснование авторства В. И. Ленина — итог глубо-

кого, тщательного научного исследования. В тридцати четырех томах (дооктябрьского периода) Полного собрания сочинений включено тридцать семь статей, принадлежность которых Владимиру Ильичу доказана исследовательским путем.

До сих пор, например, были известны две работы В. И. Ленина о русско-японской войне: «Падение Порт-Артура» и «Разгром». В результате усилий подготовителей восьмого тома ныне к ним прибавилась третья — «К русскому пролетариату», — причем листок этот наиболее ранний из известных партийных документов о русско-японской войне.

Пятьдесят пять томов Полного собрания сочинений составляет не только собственно ленинский текст. Значителен по объему, разнообразен по характеру, фундаментален по содержанию научно-справочный аппарат каждого тома. Это — предисловие, список не разысканных до настоящего времени работ В. И. Ленина, список работ, возможно, принадлежащих Владимиру Ильичу, список работ, изданий и документов, в редактировании которых он принимал участие, примечания, указатель литературных работ и источников, цитируемых и упоминаемых В. И. Лениным, указатель имен, биохроника — даты жизни и деятельности В. И. Ленина.

Биохроника и именной указатель — наиболее ответственные и трудоемкие части справочного аппарата. Они тесно связаны между собой, сведения их часто переплетаются, ибо встречи с людьми органически входили в жизнь и деятельность В. И. Ленина. Тысячи книг, газетных подшивок, протоколов, воспоминаний были просмотрены прежде, чем на рабочую карточку, а затем в том были занесены точные факты ленинской биографии. В Полное собрание вошло 8434 таких факта, в четвертом издании их было 3288.

Стоило глубже изучить переписку членов редакции газеты «Искра» — и удалось установить, что в январе 1902 года в этой редакции обсуждалась книга В. И. Ленина «Что делать?». Это раньше не было известно. К городам России (Уфе, Риге, Нижнему Новгороду, Самаре), которые Владимир Ильич объехал, готовя издание «Искры», добавились Смоленск и Сызрань.

В конце июня 1905 года В. И. Ленин беседовал с одним из руководителей восстания на броненосце «Потемкин» матросом А. Н. Матюшенко, который приезжал в Женеву. Об этом мы не знали до сих пор.

Весной и летом 1911 года в Лонжюмо В. И. Ленин вел занятия в созданной им партийной школе. Это общеизвестно. Но какие именно лекции и занятия провел Владимир Ильич? Теперь это установлено: семинар по «Манифесту Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, курс политэкономии (двадцать девять лекций), двенадцать лекций по аграрному вопросу, столько же по теории и практике социализма в России, три лекции о материалистическом понимании истории, реферат о текущем моменте и положении дел в партии.

Более чем втрое увеличился объем биохроники В. И. Ленина в томах Полного собрания, которые охватывают период, когда Владимир Ильич руководил деятельностью Совета Народных Комиссаров.

Раскрывая ленинский том, на каждой странице находишь имена соратников Ильича, передовых рабочих, философов прошлого, исторических деятелей, политических врагов. Имена, имена, имена... Одни хорошо известны, другие встречаешь впервые.

Сто пятьдесят печатных листов — около одной четверти объема всего научно-справочного аппарата Полного собрания — заняли в ленинских томах именные указатели. Две тысячи имен включены заново по сравнению со вторым и третьим изданиями. В четвертом издании именных указателей с биографическими справками вообще не было.

Казалось бы, чего тут хитрого — встретил в тексте ленинской статьи или книги какое-либо имя, выписал его на карточку, а затем по справочникам, энциклопедиям, мемуарам составил краткую справку. Так и делалось, конечно, во многих случаях. Но есть имена просто неизвестные, о других нет сведений в литературе, третьи названы

или расшифрованы по рукописи неточно. Более девятистот запросов отправили научные сотрудники Института марксизма-ленинизма по стране, более восьмидесяти — за границу, чтобы уточнить сведения о нужных им именах.

Давно ли мы читали труды по истории партии, в которых было безлюдно, словно и впрямь историю могли делать два-три человека. К счастью, подобные приемы, нанесшие такой урон историко-партийной науке и воспитанию молодежи, безвозвратно ушли в прошлое. На книжных полках появились исторические работы, населенные людьми, мы слышим их голоса, узнаем их мысли, устремления. Партия вернула доброе имя тем, о ком умалчивали десятки лет, о ком впервые услышал наш молодой современник.

В тридцать девятом томе напечатано письмо В. И. Ленина Сильвии Панкхерст — деятельнице английского рабочего движения. О ней в нашей литературе почти не было сведений. В справке третьего издания Сочинений В. И. Ленина содержались неточности. Выручили лондонские друзья — директор Дома-музея К. Маркса Эндрю Ротштейн и московский корреспондент газеты «Дейли уоркер» Питер Темпест. С их помощью удалось многое уточнить.

Нередко в процессе такой работы уточнялись и исправлялись заголовки ленинских текстов. Пятого декабря 1921 года В. И. Ленин направил члену Иркутского губисполкома Паку телеграмму. После тщательной проверки было установлено, что в то время в Иркутске заместителем председателя губернской ЧК работал Борис Аркадьевич Бак, а не Пак.

В 1917 году в жизнь Ленина вошло имя рабочего Сестрорецкого завода Николая Александровича Емельянова. Ему поручила партия укрыть Владимира Ильича, когда пребывание в Петрограде стало для него опасным после июльского контрреволюционного переворота. В богатейшей и разнообразнейшей ленинской переписке 1918—1922 годов встречаются письма и записки Н. А. Емельянову и его семье. Краткие, но исчерпывающие биографические справки о Н. А. Емельянове, его семье можно найти в соответствующих томах Полного собрания. За справочно-деловитыми строчками аннотаций — целая жизнь, история семьи питерского рабочего-революционера.

Редко, но встречаются в томах справки об именах, упоминаемых в ленинском тексте, которые, увы, ничего не говорят, не добавляют нового. Вот наиболее очевидный случай. На страницах 218—222 тридцать восьмого тома публикуется ленинский «Ответ на открытое письмо специалиста». В начале его Владимир Ильич полностью воспроизводит полученное им послание, озаглавленное «Открытое письмо «специалиста» тов. Ленину», а затем приступает к его разбору такими словами: «Письмо злое и, кажется, искреннее. На него хочется ответить».

Нет нужды повторять ленинский ответ. Достаточно сказать, что Владимир Ильич вскоре после VIII съезда РКП (б), на котором он делал доклад о Программе партии, счел необходимым разъяснить на конкретном примере конкретному адресату один из тезисов своего доклада: невозможно построить коммунизм, не привлекая старых специалистов, хотя многие из них и враждебно относятся к советской власти.

Кто же такой автор письма В. И. Ленину? Заглянем в указатель имен к тридцать восьмому тому. Там значится: «Дукельский, М. П. (род. в 1875 г.) — профессор Воронежского сельскохозяйственного института.— 218—222». И все. А хотелось бы узнать побольше о таком человеке.

Профессор Воронежского университета Л. Б. Генкин, заинтересовавшись личностью М. П. Дукельского, установил, а затем изложил в очерке «Судьба профессора» («Известия», № 233, 1965) сложный, но характерный путь такого «старого специалиста». Марк Петрович Дукельский действительно родился в 1875 году на Украине Закончии Харьковский университет, он в 1903 году сдал магистерский экзамен. Затем работал приват-доцентом кафедры технической химии и химической технологии Киевского университета, побывал на практике в лабораториях Германии, Голландии, Франции. В 1915 году в Воронеже М. П. Дукельский получил профессорскую кафедру. Там же он встретил февральскую, а затем и Октябрьскую социалистическую революцию.

Не прост и не легок был путь многих высококвалифицированных специалистов типа Дукельского к идеям советской власти, к марксизму-ленинизму. Многого они не понимали и сразу не принимали. В письме В. И. Ленину воронежский профессор отразил не только свои, личные ошибки, заблуждения, предубеждения. Владимир Ильич почувствовал это и через газету ответил Дукельскому.

После этого, как рассказывала Л. Б. Генкину дочь Дукельского, ее отец получил много откликов. Одни корреспонденты призывали профессора принять и отстаивать большевистскую правду, другие (как правило, анонимные) хвалили его за то, что он мужественно «бросил» в лицо большевикам «правду». По городу пошли слухи, что профессора арестуют. И его действительно вскоре арестовали... белогвардейцы-мамонтовцы, захватившие Воронеж осенью 1919 года. Контрнаступление Красной Армии спасло М. П. Дукельского.

Все это не могло не повлиять на унастроения профессора. Он переезжает в Москву, начинает преподавать в Химико-технологическом институте имени Д. И. Менделеева, включается в деятельность Химстроя ВСНХ СССР. Размах социалистического строительства в годы индустриализации, непосредственным участником которой он был, окончательно довершил переход М. П. Дукельского на сторону нового строя. Вскоре он вступает в ряды партии. В 1946 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В декабре 1955 года научная общественность отметила восьмидесятилетие М. П. Дукельского. Умер он в 1956 году.

Судьба профессора М. П. Дукельского типична для многих старых специалистов. Жаль, что в указателе имен отсутствует даже самая краткая справка: она помогла бы точнее и лучше воспринять ленинский ответ.

Пятьдесят пять томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина — это подлинная энциклопедия современного марксизма. Новым, ленинским этапом в развитии революционной теории марксизма стали бессмертные труды В. И. Ленина. Глубоко и всесторонне разработаны в них теория социалистической революции, учение о партии, о путях построения социализма в СССР, о закономерностях перехода от социализма к коммунизму. Изучая ленинские труды, миллионы людей находят в них ответы на самые насущные вопросы современности, черпают вдохновение. «Написанное Лениным — не архив, а арсенал,— заявил английский общественный деятель и публицист Айвор Монтегу.— Когда наступает час битвы, мы листаем страницы его книг точно так, как перед атакой набиваем патронами пулеметные ленты».

Ю. ШАРАПОВ.



## НЕЖДАННЫЕ НАХОДКИ

Сим. Дрейден. Музыка — революции. «Музыка». М. 1966. 446 стр.

Когда, взяв в руки эту книгу, я, прежде чем приступить к чтению, по привычке заглянула в последние ее разделы, меня (позволю себе старомодный галлицизм) фразировали две вещи: цифра тиража и ссылки на источники.

Начну со ссылок. Их более пятисот. Автор изучил материалы ряда архивных фондов, комплекты газет, огромный печатный и рукописный материал. Благодаря этому тема, которая до последнего времени была лишь пищей для публицистических росчерков и поверхностной беллетризации, оказалась столь содержательной и объемной, что стала предметом солидного научного труда, внесшего немало нового в об-

щую картину революционного процесса в России.

Упорство и тщательность исследовательского поиска, присущие этой книге, вырастают из основной принципиальной установки автора, которую мы полностью разделяем. «...Правда истории,— пишет он,— всегда богаче и красноречивее любого литературского «исправления» событий прошлого».

Вопреки бытующему в головах многих наших научных работников и редакторов убеждению, что ежели какой-либо исторический факт где-то опубликован, то этим самым он уже «обоснован», а ежели не опубликован, то «не обоснован», автор,

как то и требуется от научного исследования, подвергает источники критике, сопоставляет и противопоставляет даты, исторические факты, свидетельства мемуаристов — и на этом твердом основании строит свои выводы.

Именно благодаря такому методу исследования им открыт ряд ценных страниц в биографии «Песни песней» революции — «Интернационала», которой посвящены первые главы книги. Воссоздав картину эпохи, в которую был сложен этот международный гимн рабочего класса, проследив историю жизни его творцов — Эжена Потье и Пьера Дежейтера, — автор устанавливает генезис отдельных его строф и строк и показывает, что «Интернационал» рожден той духовной атмосферой, которая была создана в международном рабочем движении Парижской коммуной и учением Маркса и Энгельса.

Особый интерес представляют для нас страницы, посвященные истории «Интернационала» в России: данные об авторе русского текста «Интернационала» А. Я. Коце; сопоставления русского текста с французским оригиналом, показывающие творческую переработку основного текста, сделанную переводчиком. И наконец рассказ об истории «Интернационала» в России.

История эта богата: она включает в себя и сведения о первом знакомстве русских революционеров с новой песней рабочего класса, и первые упоминания об исполнении «Интернационала» в России, и появление «Интернационала» в подпольно издававшихся сборниках революционных песен, и пропаганду «Интернационала» на страницах большевистской «Правды», и статью Ленина «Евгений Потье», и роль «Интернационала» в формировании революционного сознания русских рабочих, и историю превращения его в советский государственный и партийный гимн.

Историческое исследование требует большой скрупулезности. Она помогла автору установить ошибку или обмолвку, сделанную Д. И. Ульяновым в его воспоминаниях о В. И. Ленине и бездумно подхваченную авторами некоторых многопухлых романов и повестей о молодом Ленине: что Ленин якобы еще в 1889 или 1890 году, живя в Алакаевке, пел «Интернационал» и даже его припев в русском переводе, который на де-

ле был впервые опубликован лишь летом 1902 года.

Стоит, однако, Сим. Дрейдену отойти от исследовательского принципа — исчезает и свежесть открытий. Это происходит, к примеру, там, где он, перейдя на совершенную скороговорку, касается замещения старого текста припева: «Это будет последний...» новым: «Это есть наш последний...» «Новая редакция припева, — бегло замечает Сим. Дрейден, — нашла распространение лишь в конце второго — начале третьего года Советской власти. Едва ли не впервые «Это есть...» прозвучало в дни обороны Петрограда от Юденича, осенью 1919 года».

Это не так: новая редакция стала звучать значительно раньше, еще осенью 1918 года (для революции год разницы — срок огромный). Не сразу она определилась как «Это есть...», иногда пели: «Мы вступили...» или же «Мы ведем наш последний...»

Но главное не в датах. Главное в том, что новая редакция вступала в жизнь с боем: в ней была заложена полемика с меньшевиками. «Это будет последний...» — пели меньшевики и меньшевистствующие на собраниях профсоюзов, утверждая этим, что Октябрьская революция не социалистическая, а социалистической будет другая, которой руководить будут они, меньшевики. «Это есть наш последний...» — пели большевики, заявляя, что именно теперешняя, Октябрьская, революция и есть социалистическая...

Изменив обычая, по которому о недостатках положено говорить в конце, я покончу с этим делом сейчас. Главный из них — появляющаяся иногда витиеватость мысли, приводящая к излишней витиеватости повествования. Таким представляется рассказ о напечатанной в дооктябрьской «Правде» статье «Евгений Потье», который переходит в рассказ о статье Ленина «Евгений Потье»: нужно долго ломать голову, чтобы понять, одна это статья или две. Порой среди живого, насыщенного текста книги появляются кляксы «канцелярита». Автор пишет: «В отличие от государственных гимнов всех времен и народов, «Интернационал» волею народа, волей партии стал гимном Советской страны, минуя обычные каналы и пути» (?). Или. Характеризуя Е. Потье: он «был не только певцом коммунаров, но и видным государственным политическим деятелем» (?!).

Но все это, как и некоторые явные ошибки и неточности (вроде того, что Г. М. Кржижановский назван не Глебом, а Георгием), мелочи. Важна книга, которая чем дальше ее читаешь, тем становится интереснее.

Особенно много неожиданных находок ожидает читателя в главах, посвященных широчайшим образом развернутой большевиками пропаганде музыкальной культуры в массах рабочего класса. Тут автор, привлекая обширный материал, никогда не бывший в поле зрения исследователей, воссоздает увлекательнейшую картину пропаганды посредством музыки, сочетания легальной работы с нелегальной, тончайшей инструментовки средств борьбы (недаром же Ленин не раз сравнивал партию с оркестром, слаженная работа которого зависит от точности каждого из входящих в него инструментов).

На страницах книги появится множество имен, среди них немало знаменитых. Это имена лучших представителей русской интеллигенции, отдававших время и силы во имя высоких гуманистических целей.

В то же время «весомо, грубо, зримо» — в словах самих рабочих, в их письмах в «Правду» и в журналы профессиональных союзов — выступит процесс образования рабочей интеллигенции, начавшийся вместе с началом рабочего движения и приобретший особенную силу и размах в годы кануна первой русской революции и особенно в годы революционного подъема, наступившие после Ленского расстрела...

Но вернемся к началу нашей рецензии — к цифре тиража. Эта книга, поднявшая новые пласты исторического материала, основанная на огромной исследовательской работе, являющаяся уникальной по своему содержанию, издана тиражом... 1805 экземпляров!!! (Ставлю три восклицательных знака, хотя тут мало и тридцати трех!)

Предвижу ответ «определяющих» организаций: таков заказ книготорга.

Товарищи! Дорогие! Доколе же к тиражу книг у нас будут относиться, как к заказу на скоропортящиеся помидоры?

**Е. ДРАБКИНА,**  
член КПСС с 1917 года.



## ДЕЛА КОСМИЧЕСКИЕ — И ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

**М. Г. Крошкин.** Космос... что мы знаем о нем. Воениздат. М. 1966. 207 стр.  
**Б. И. Сазонов.** Космос у наших дверей. Гидрометеоздат. Л. 1966. 200 стр.

Эти две книги, несмотря на сходство их названий, очень разные. Разные и по построению и, главное, по содержанию.

М. Г. Крошкин рассматривает проблему космических исследований едва ли не во всех возможных аспектах: от загадочных свойств далеких планет и туманностей до деталей устройства космических кораблей. В результате читатель получает нечто вроде маленькой космической энциклопедии.

Б. И. Сазонов строит свою книгу на последовательном рассмотрении ряда сугубо земных, в большинстве своем имеющих очевидный выход в практику, проблем. А рассказав о каждой из них, замечает, что окончательно выяснить поставленные вопросы (или по крайней мере существенно продвинуться в них) можно только из космоса. Взгляд на Землю из космоса! Оказывается, без этого не разобраться во многих наших текущих, очень актуальных, очень земных делах.

Даже по манере изложения эти книги отличаются друг от друга. «Космос... что мы знаем о нем» написан сдержанно, в строгом стиле, традиционно присущем научной литературе. «Космос у наших дверей» — более свободно, с выраженными приметам жанра не только научного, но и научно-художественного. Интересная деталь: Крошкин повсюду пишет слово «космос» с маленькой буквы, а Сазонов — с заглавной.

И все-таки хочется поговорить об этих очень разных книгах вместе. Их объединяет примета, пожалуй, наиболее существенная. сам подход к теме, сами критерии разделения фактов и явлений на главные и второстепенные, само отношение — я бы сказал, подчеркнуто деловое — к тому, о чем идет речь.

Вообще о космосе у нас написано немало — жаловаться не приходится. Но большую часть написанного (если, конечно, говорить о публикациях популярных, оставляя



в стороне специальную научную и техническую литературу) можно отнести к одному из двух видов. Первый — представленный наиболее широко — характерен обращением прежде всего не столько к разуму, сколько к общечеловеческим и гражданским чувствам читателя, ярко эмоциональной окраской изложения, подчеркиванием элемента романтичности, упором на внешний эффект такого торжества человеческого разума, технической культуры и мужества, каким, вне всякого сомнения, являются космические исследования. Надо думать, литература подобного рода сыграла свою полезную роль хотя бы тем, что отразила наши настроения в дни таких праздников человечества, как, например, первый полет человека в космос.

Но по естественному ходу вещей праздники неминуемо сменяются буднями. А потребностями этих будней — земных и космических — отвечает скорее второй вид популярной литературы о космосе, отличающийся более деловым тоном, большей насыщенностью реальными фактами и конкретной информацией. Все-таки исследования космоса — не скачки с препятствиями, не первенство мира по футболу и не балет; соответственно иначе надо и писать о них — менее фанфарно, что ли. Впрочем, и в балете, как известно, напряженно подсчитывают количество фуэте, выполненных балериной, главным образом те зрители, которые не очень воспринимают основное в хореографическом искусстве — красоту самого танца.

Не следует понимать сказанное в том смысле, будто до сего времени хороших научно-популярных книг о космосе вовсе не было. Нет, конечно, были — в том числе и принадлежащие перу тех же авторов. Но удельное их содержание в общем потоке популярной литературы, посвященной космической теме, оставалось крайне скромным. значительно более скромным, чем диктовалось запросами читателей. Убедиться в справедливости последнего замечания нетрудно: для этого достаточно посмотреть на витрины книжных магазинов, какие книги о космосе лежат месяцами, а какие исчезают, едва появившись в продаже (кстати, обе рецензируемые книжки, выпущенные в текущем году, уже распроданы).

«Космос... что мы знаем о нем» и «Космос у наших дверей» — добротное подкрепление на фронте литературы подобного рода. В них писатель находит не только многие ин-

тересные и к тому же приведенные в стройную систему факты из увлекательной и философски глубокой отрасли науки и техники, но и ответы (точнее, данные, необходимые для того, чтобы самостоятельно сформулировать ответы) на некоторые вопросы, неизбежно возникающие у думающего читателя после того, как естественное восхищение самим фактом проникновения человека в космос дополнится у него желанием трезво оценить это событие и его реальные последствия.

Не будем делать вид, будто среди таких вопросов на одном из первых мест не стоит такой: «А стоит ли вообще тратить столько сил и материальных средств на освоение космоса? Что реально получают от этого люди? Чего тут, грубо говоря, больше: прихода или расхода?»

Почему-то в печати прямо ставить эти вопросы не принято, хотя в личных беседах с людьми самых разных профессий, возрастов, наклонностей они возникали неоднократно и продолжают возникать сейчас во всяком случае не реже, чем раньше.

Несколько лет назад, в «медовый месяц» космической эры, мы обычно отвечали на них известным историческим анекдотом о великом физике Вениамине Франклине, который присутствовал на одном из первых полетов аэростата воздухоплавателей братьев Монгольфье и на вопрос о том, какая польза от таких полетов, да и воздухоплавания вообще, ответил:

— Никакой.— И добавил: — Как от ребенка, который только что родился...

Позднее говорили мы и о том, что сама постановка вопроса о целесообразности проведения космических исследований теперь уже бессмысленна: открыв какие-то новые пути и средства познания природы, принципиально невозможно потом «закрыть» их — это противоречило бы неуклонно действующей логике научного поиска, самой необратимости путей прогресса.

И все это действительно справедливо. Дезавуировать приведенные соображения — начиная со слов Франклина — нет никаких оснований. Но пора начать дополнять их. Дополнять деловым, конкретным изложением всего того, что дает изучение космоса людям уже сегодня и может дать в будущем. Что ни говори, а сейчас, в 1966 году, космические исследования — уже не «ребенок, который только что родился».

Книги известных в своей области специа-

листов М. Г. Крошкина и Б. И. Сазонова как раз и рассказывают об этом.

Нет возможности, да и нужды пересказывать здесь содержание обеих книжек. Приведем лишь один-два примера.

Оказывается, такие очевидно важные с «земной» точки зрения сведения, как распределение облачности на земном шаре или температуры по земной поверхности, надежнее и полнее всего можно определить «со стороны» — из космоса. Более того: оттуда же можно существенно уточнить наши знания о строении Земли, ее эволюции, магнетизме, полярных сияниях и движении ледников, метеорах и солнечном излучении и даже о возникновении очагов землетрясений. Чего уж тут актуальнее!

Данные о распределении масс в земной коре, полученные с помощью спутников, уже сейчас могут помочь в составлении прогнозов о расположении залежей полезных ископаемых.

Словом, как очень точно сформулировал Б. И. Сазонов, «изучать Космос нужно, если мы хотим улучшить жизнь людей на Земле. Земля — наш дом, старый, привычный, не очень удобный, но вполне надежный дом. Мы мало знаем о нем и не будем знать многого, если не выйдем на космическую улицу, если не поймем, как, где и из чего построен наш дом, на чем он стоит и чем отличается от других. Нам нужно разобраться в сложном устройстве нашего дома, чтобы сделать его лучше и удобнее. Космос нужен человечеству не ради любопытства или забавы, не ради рекламы технических достижений того или иного государства...». Надо заметить, что такой подход к решению этого круга научных и технических проблем в нашей стране сейчас общепризнан — вспомним хотя бы справедливое замечание Л. И. Брежнева на встрече экипажа космического корабля «Восход»: «...Мы, советские люди, не рассматриваем свои космические исследования как самоцель, как какую-то «гонку». Нам глубоко чужд дух азартных игр в большом и серьезном деле исследования и освоения космического пространства».

В аннотации, предпосланной книжке Крошкина, указано, что «автор пытается... оценить влияние, которое может оказать выход человека в космос на прогресс науки и техники, культуры и экономики». Обратите внимание — и экономики! Оказывается, в конечном счете космические исследования

попросту выгодны экономически. Хотя, разумеется, этого прямого экономического эффекта придется подождать.

Авторы рецензируемых книжек не боятся самых смелых предположений и проектов, лишь бы они основывались на точных научных исходных данных. Примеров тому можно привести немало. Чего стоит хотя бы идея создания специальной «космической службы пути», обеспечивающей в нужное время «изъятие из обращения» большей части опасных заряженных частиц радиационного пояса, в несколько слоев окружающего нашу планету, чтобы космический корабль мог спокойно уйти через этот «разминированный коридор» в межзвездное пространство! Фантастика? Если хотите, да. Но фантастика строгая, обоснованная, именно такая, из какой со времен Циолковского, да, наверное, и ранее рождались многие замечательные и впоследствии осуществившиеся реальные проекты.

И в то же время самые эффектные на первый взгляд мысли, не базирующиеся на точном научном расчете, решительно развенчиваются авторами. Так, отвергается ими проект создания вокруг Земли искусственного кольца (наподобие колец Сатурна), предназначенного для отражения солнечных лучей в сторону нашей планеты с целью увеличения ее энергетических ресурсов. Тоже фантастика, но на этот раз — только фантастика.

Существует еще одна, особая категория предположений и гипотез не то чтобы принципиально абсурдных, но пока не подкрепленных никакими сколько-нибудь серьезными объективными данными. Подобные предположения оба автора оценивают с подчеркнутой осторожностью ученых. Читатель, по-видимому, уже догадался, что речь идет прежде всего о двух модных в наши дни темах: существовании высокоразвитых цивилизаций где-либо помимо Земли и посещения нашей планеты в прошлом «пришельцами из космоса». И если первая возможность рассматривается обоими авторами вполне серьезно, даже с элементами количественной вероятностной оценки, то относительно пресловутых «пришельцев» и Крошкин и Сазонов придерживаются весьма скептической точки зрения. «Сейчас нет неопровержимых доказательств, что это когда-то имело место. В лучшем случае могут быть явления природы и факты, которых пока нельзя объяснить», — говорится в книге «Кос-

мос... что мы знаем о нем». «К сожалению, наука не располагает бесспорными фактами, которые доказывали бы посещение Земли пришельцами из других миров. Но нет и фактов, которые бы категорично утверждали, что такого посещения не могло быть в прошлом», — читаем мы в книге «Космос у наших дверей».

Авторы используют каждую возможность, чтобы на примере космических исследований противопоставить научное мышление, расчет, эксперимент слепой вере. «От древних философов его (Ньютона.— *М. Г.*) отличало не только большое трудолюбие, но и нетерпимость к утверждениям, не проверенным опытом». Или: «Не верить, а проверять! Вот что стало девизом передовых людей той эпохи»... Твердо стоять на таких позициях полезно не только в космосе, но в не меньшей степени и на грешной Земле.

Обе книги хорошо написаны. Их авторам присуще чувство юмора, которое они в отличие от многих других литераторов и ученых, выступающих в жанре научной популяризации, к счастью, не пытаются скрывать. Такая, к сожалению, еще не ставшая традиционной манера изложения облегчает читателю усвоение самого сложного материала. Хорошо, когда, разговаривая с читателями, ученый-популяризатор не взгромоздится для этого на пьедестал.

Можно было бы, как оно положено в отзывах и рецензиях, указать на мелкие недостатки, «которые, однако, не снижают...» и т. д. Так, хотелось бы поспорить с *М. Г. Крошкиным* относительно функций человека на борту космического корабля в будущем. Вряд ли на его долю достанутся, как предполагает автор книги, лишь чисто исследовательские — так сказать, космически-лабораторные — задачи, в то время как все функции управления и астронавигации будут передоверены автоматам. В развитии обычных, атмосферных летательных аппаратов в последние годы намечается явная тенденция к расширению использования богатых возможностей человека. К анало-

гичным выводам приводят и современные исследования в области инженерной психологии. И вряд ли есть основания характеризовать подобные тенденции как «обратную эволюцию».

В разделе «Человек проникает в космос» (в книге *М. Г. Крошкина*) хотелось бы встретить несколько больше сведений о полетах американских космонавтов, особенно о последних, в которых был выполнен ряд принципиально новых эволюций (например, стыковка в космосе и переход с одной орбиты на другую).

Следовало бы, конечно, при подготовке к повторным изданиям, которые явно требуются, устранить и некоторые мелкие фактические неточности вроде утверждения *Б. И. Сазонова*, будто на реактивном самолете невесомость может быть создана лишь в течение нескольких секунд. В действительности время полета по параболе невесомости зависит в первую очередь от начальной скорости и, если последняя превышает скорость звука, скажем, вдвое (что в наши дни далеко не редкость), время поддержания невесомости измеряется десятками, а иногда и превышает сотню секунд.

Но нет смысла заниматься перечислением всех подобных мелочей. В конце концов в этом даже есть своя закономерность: интересную и содержательную книгу читаешь внимательней, а значит, и малейшую неточность в ней обязательно заметишь. Кстати, тем показательнее, что, несмотря на это, таких огрехов в книгах *М. Г. Крошкина* и *Б. И. Сазонова* обнаруживается очень немного. Да и не в них, конечно, дело.

Можно уверенно порекомендовать вниманию читателя книги «Космос... что мы знаем о нем» и «Космос у наших дверей». Они представляют собой бесспорно удачный пример того, как, с каких позиций, в каком ключе надо популярно писать о космосе.

Впрочем, не о космосе, наверное, — тоже.

**М. ГАЛЛАЙ.**

Литература и искусство

**И В МУЗЫКУ ПРЕОБРАЗИЛИ ШУМ...**

С. Маршак. Лирические эпиграммы. «Советский писатель». М. 1965. 96 стр.

Слово «эпиграмма» привычно вызывает в сознании современного читателя представление о язвительном остроумии. Эпиграмма — это острое сатирическое жало, оперенное двумя или четырьмя рифмами.

В книге «Лирических эпиграмм» С. Маршака есть и такие

Мой друг, зачем о молодости лет  
Ты объявляешь публике читающей?  
Тот, кто еще не начал, — не поэт,  
А кто уж начал, — тот не начинающий.

Или:

Ты старомоден. Вот расплата  
За то, что в моде был когда-то.

Это самые что ни на есть традиционные эпиграммы, и если бы книга состояла преимущественно из них, не было бы никакой нужды настаивать на определении нового, непривычного жанра: не просто эпиграммы, но — лирические.

Уже приходилось где-то читать, что Маршак возродил древний жанр, вернул слову «эпиграмма» его забытый, исконный смысл: надпись, начертание, то есть некое назидание, сгусток мудрости, облеченный в афористичную, легко запоминаемую форму.

Есть в книге «Лирических эпиграмм» и такие:

Ни сил, ни чувств для ближних не щади.  
Кто отдает, тот больше получает.  
Нет молока у матери в груди,  
Когда она ребенка отлучает.

Однако и не они определяют облик, характер, жанровое своеобразие этой книги.

Маршак на самом деле создал новый жанр, в котором органически сочетаются лаконизм, чеканность, острота эпиграммы с энергией и душевным жаром подлинной лирики.

Этот новый жанр не явился на свет по прихоти капризного ума, одержимого жаждой оригинальности. Он был для Маршака не просто естествен, органичен, но, если угодно, неизбежен.

Лирический дар Маршака по самой сути своей эпиграмматичен.

Попытаемся понять, что это значит и что стоит за этим его свойством.

Разные поэты оказались в разной степени чувствительны к той ломке стиховых форм, которой характеризуется русская поэзия начала нашего века. Но одно так или иначе коснулось всех: вторжение в стихию стиха нового синтаксиса, живых форм речи. Синтаксис старого русского стиха был скован границами строфы, чаще всего — четверостишия. Вот эта граница и оказалась нарушенной — ритмами Маяковского, длинным дыханием Пастернака, цветаевскими «переносами».

Маршак сохранил не только приверженность классическому стиху, но и эту границу. И синтаксическая, и логическая, и эмоциональная, и музыкальная фраза у него, как правило, замыкается рамками четверостишия. Четверостишие у Маршака даже в большом лирическом стихотворении обнаруживает тенденцию к самостоятельному существованию.

Вот строки из стихотворения, обращенного к умершим друзьям:

За краткий век страданий и усилий,  
Тревог, печалей, радостей и дум  
Вселенную вы сердцем отразили  
И в музыку преобразили шум.

Это четверостишие — маленькая часть большого и сложного организма. Но оно может быть воспринято и как целое, как лирическая эпиграмма, по забывчивости не включенная поэтом в книгу.

Для Маршака четверостишие — это нечто сугубо принципиальное. Он настаивает на нем как на чеканной и строгой форме, созданной веками и вобравшей в себя огромное и важное содержание. Четверостишие — это целый мир, прекрасный и гармоничный.

Пусть будет небом верхняя строка,  
А во второй клубятся облака,  
На нижнюю сквозь третью дождик льется,  
И ловит капли детская рука.

В тяготении к четверостишию проявилась сущность лирики Маршака. Это не просто частная особенность его поэтического вкуса. В этой частности, как в дождевой капле — солнце, отразился пафос всей жизни Маршака, коренное, главное свойство его личности.

Издавна поэзия воспевала стихию, бурю, грозу. Издавна наиболее традиционным определением к слову «беспорядок» был эпитет — «лирический».

Поэзия Маршака — это поэзия порядка. Последовательно, настойчиво, упорно, подчас даже полемично Маршак воспевает упорядоченность как наивысшую и наипоэтичнеешую ценность мира.

Поэзия для Маршака — не что иное, как победа над хаосом, преодоление его, преобразование шума в музыку. Больше того: именно этой способностью извлекать музыку из шума, преобразовать шум в музыку вообще обусловлена для него ценность человеческой личности. Эта удивительная способность и есть то, что предохраняет личность от духовного уничтожения. Потому что шум, преобразованный в музыку, не может, не должен опять стать шумом.

Люди пишут, а время стирает,  
Все стирает, что можно стереть.  
Но скажи если слух умирает,  
Разве должен и звук умереть?

Он становится глуше и тише,  
Он смешаться готов с тишиной.  
И не слухом, а сердцем я слышу  
Этот смех, этот голос грудной.

Способность человеческой личности противостоять хаосу опирается, казалось бы, на очень хрупкие и ненадежные категории. Но при всей своей хрупкости и ненадежности они — единственное, что может предохранить личность от духовного распада.

Старайтесь сохранить тепло стыда.  
Все, что вы в мире любите и чтите,  
Нуждается всегда в его защите  
Или исчезнуть может без следа.

Крупница музыки, ценой невероятных усилий добытая из шума, ежесекундно готова раствориться в безграничных просторах вселенной, «смешаться с тишиной». Но ее можно сберечь, сохранить. И человек бережет ее даже в те горькие минуты, когда им овладевает сознание, что беречь не для кого:

Время любви тяжело, если даже несут его  
двое.  
Нашу с тобою любовь нынче несут я один.  
Долю мою и твою берегу я ревниво и свято,  
Но для кого и зачем, сам я сказать не могу.

В самом деле — для кого и зачем? Но оказывается, горькое сознание своего одиночества тоже может быть претворено в му-

зыку, если оно не обесценивает жизни, а, наоборот, повышает ценность мира, душевную восприимчивость человека к заложенной в нем красоте:

Жизнь идет не медленней, но тише,  
Потому что лес вечерний тих,  
И прощальный шум ветвей я слышу  
Без тебя — один за нас двоих.

Стихи о жизни и смерти (а их немало в этой последней книге Маршака) особенно обнажают глубокую, органическую связь его поэзии с пушкинской традицией. В них то же острое ощущение трагедии и огромной ценности человеческого существования — изумительный сплав грусти и света, о котором чудесно сказал сам Пушкин: «Печаль моя светла.» Такую традицию нельзя сознательно избрать, как избирают путь следования. Чтобы оказаться в русле этой поэтической традиции, нужно прежде всего быть человеком такого строя души. Мудрости и детской ясности мироощущения нельзя научиться. Ею нужно обладать.

Года четыре был я бессмертен,  
Года четыре был я беспечен.  
Ибо не знал я о будущей смерти,  
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Вы, что умеете жить настоящим,  
В смерть, как бессмертные дети,

не верьте.  
Миг этот будет всегда предстоящим —  
Даже за час, за мгновенье до смерти.

Сколько слышали мы слов, рифмованных и нерифмованных, о том, что смерти нет, что плоды человеческого разума и человеческих рук бессмертны, что человеку доступна победа над смертью, преодоление ее. Но для каждого, кому знакома мысль о смерти (а кому из живущих эта мысль не знакома?), самые прекрасные слова о бессмертии человеческих дел содержат в себе нечто, мягко говоря, неубедительное.

Почему же слова Маршака, предлагающие нам «не верить в смерть», не кажутся фальшивыми, не раздражают, не проскакивают мимо нашего сознания как некая привычная банальность?

Я думаю, прежде всего потому, что они нас не обманывают. В них содержится попытка устоять при мысли о смерти, а не опровергнуть ее. Неизбежность смерти не отстраняется, а принимается как нечто хотя и трагическое, но то, что не должно от-

менить всей прелести и ценности жизни. Совет «не верить в смерть» — этот совет, который легче дать, чем исполнить, — нам дает человек, в сердце которого мысль о неизбежности смерти отозвалась с той же остротой и болью, с какой временами ощущали ее вы. Следы этой боли остались в интонации стиха, в его дыхании. А раз у него, так же остро чувствующего эту боль, хватило душевных сил преодолеть ее, подняться над нею, значит, эта способность доступна каждому из нас. Кажется, Маршак знает о смерти нечто такое, чего пока еще не знаем и не могли узнать мы.

И час настал. И смерть пришла, как дело,  
Пришла не в романтических мечтах,  
А как-то просто сердцем завладела,  
В нем заглушив страдание и страх.

Это говорит человек, с которым нечто подобное уже было. И мы прислушиваемся с необыкновенным вниманием, потому что нас это тоже касается.

Так вот, оказывается, как это бывает! Смерть приходит, как дело, как то, чем предстоит заняться, отложив все другие дела. И даже страх смерти отступает перед важностью и значительностью этого дела, последнего в жизни человека.

Четверостишие это Маршак не успел опубликовать при жизни: это одно из самых последних стихотворений поэта. Впрочем, будь оно написано двумя или тремя десятилетиями раньше, ждать его опубликования пришлось бы довольно долго. Ведь в ту пору господствовало убеждение, что мысль о смерти недостойна советского поэта, певца и глашатая победившего класса. Согласно азбучным истинам вульгарной социологии о смерти полагалось задумываться лишь выразителям идеологии класса умирающего, сходящего с исторической арены.

Между тем напряженная потребность думать о смерти необходима человечеству во имя жизни, она нужна для преодоления парализующего духовные силы человека, свободное проявление его личности гипнотического страха небытия.

Именно поэтому материалист Гёте, в глупине души не веря в загробную жизнь, считал, что человечество не может обойтись без этой веры. Он формулировал это так:

«Для мыслящего существа совершенно невозможно представить себе небытие, прекращение мышления и жизни: постольку

каждый носит в самом себе доказательство бессмертия, притом произвольно... И все же человека всегда влечет сочетать невозможное... И это — благо, потому что, только постулируя невозможное, он способен достигать невозможного».

Но как быть человеку, материалистическое сознание которого делает окончательно совершенно невозможной даже мельчайшую крупицу надежды на физическое бессмертие?

Любите жизнь, покуда живы.  
Меж ней и смертью только миг.  
А там не будет ни крапивы,  
Ни роз, ни пепельниц, ни книг.  
И солнце даже не заметит,  
Что в глубине каких-то глаз  
На этой маленькой планете  
Навеки свет его погас.

Маршак спорит сам с собой. Нередко одна его лирическая эпиграмма опровергает другую. Его мысль движется через противоречия. В одном четверостишии он завидует детям и растениям, не знающим о смерти. В другом — само это знание осмысляет как неотъемлемое свойство человеческого духа, повышающее, обостряющее ощущение ценности бытия:

Все умирает на земле и в море,  
Но человек суровой осужден:  
Он должен знать о смертном приговоре,  
Подписанном, когда он был рожден..

Нет, человек все-таки не равен листьям и траве. Он не просто частица бессмертной и вечной материи. Его судьба, быть может, трагичнее, но и выше. Человек не имеет права поэтому жить менее полно, менее богато, чем ему дано. Прожить жизнь так, как будто бы и не жил, — что может быть страшнее этого?

Л. Н. Толстой записал однажды у себя в дневнике наблюдение, ставшее впоследствии знаменитым:

«Я обтирал пыль в комнате и, обходя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и чувствовать, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т. е. действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно бы восстановить. Если же никто не видал или видел, но бессознательно; если целая сложная жизнь

многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была».

Речь идет о чем-то неизмеримо более существенном, нежели автоматизм восприятия обыденных предметов окружающего мира. Мысль Толстого гораздо шире и трагичнее: «целая сложная жизнь многих», которая «проходит бессознательно» и которая поэтому «как бы не была».

Не о том ли говорит Маршак, спрашивая:

Ты много ли видел на свете берез?  
Быть может, всего только две,—  
Когда опушил их впервые мороз  
Иль в первой весенней листве...

Есть только один способ предохранить, спасти себя от того, чтобы твоя жизнь «как бы не была». Надо жить полноценной духовной жизнью. Беречь и сохранять накопленные духовные ценности — это значит отделить их. Щедро, легко, естественно, не ожидая и не требуя возврата.

Чем больше впечатление, тем оно ярче. Чем больше затрата душевной энергии, тем острее эмоциональная память, поэтому чем полнее самоотдача, тем больше шансов, что каждое мгновение твоей жизни «останется», сохранится в тебе, в твоей личности. Тем больше шансов, что личность не «распадется», сохранится как целое, вобрав в себя все, что было важного и ценного в твоей жизни...

Вот так он и жил до последнего своего дня, работая, мысля, чувствуя, воспринимая, общаясь с людьми, сохраняя жадное любопытство к каждому новому человеку.

Вероятно, поэтому тоненькая книжка «Лирических эпиграмм», дошедшая до нас уже после смерти С. Я. Маршака, вобрала в себя нечто большее, нежели просто крупинцы музыки, добытые из шума. В ней — личность поэта, не тронутая распадом.

**Б. САРНОВ.**



## САМОЕ ВЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

**И. И с а н о в.** Неистребимый майор. Невыдуманные рассказы. «Советский писатель». М. 1966. 240 стр.

У читателей эта книга вызовет особый интерес. Порукой тому — сочетание двух обстоятельств. Ее автор — известный морской военачальник, как иногда говорят, бывалый человек, немало на своем веку повидавший, встречавшийся с многими людьми необычной судьбы, знающий в деталях и из первых рук не одно взволновавшее современников происшествие. Это — первое. А второе — подзаголовок книги, в котором есть столь притягательное для сегодняшнего читателя слово «невыдуманные».

Вряд ли нужно доказывать, как популярна нынче документальная и мемуарная литература. Как только лет десять назад были сняты различные препоны, мешавшие развитию такого рода литературы, поток ее ширился и ширился и, судя по всему, в ближайшее время не пойдет на убыль. Мемуары участников Великой Отечественной войны, записки дипломатов, ученых, общественных деятелей, коллективные сборники воспоминаний, посвященные памяти выдающихся писателей, режиссеров, актеров, документальные очерки о знаменательных событиях истории нашего государства — всего даже не перечислишь...

Сейчас уже более или менее ясны причины, вызвавшие такое бурное развитие и такую широкую популярность этой литературы. Говоря о них в специальной анкете, недавно опубликованной на страницах журнала «Вопросы литературы», писатели, в общем, единодушны. Е. Дорош видит в этом процессе «реакцию на схематизм, помпезность и мешанский сентиментализм», получившие распространение в нашей литературе первого послевоенного десятилетия. А. Адамович говорит об этом подробнее: «Документальность не мода, не всего лишь мода. Ее ищут, ее требуют, потому что люди жадно хотят правды и насторожены против полуправды. Было бы удивительно и обидно для человека, если бы в эпоху, когда встал вопрос о жизни и смерти рода человеческого, он не стремился сам разобраться во всем. Было бы странно, если бы после замалчивания некоторых фактов читатель не набрасывался на документы, не испытывал жгучую потребность знать факты, все факты». Еще на одну причину указывает Л. Гинзбург. Она — «в чрезвычайной насыщенности сегодняшней действительности событийным и драматическим материалом, который пре-

восходит любую, самую изощренную фантазию».

После этого ясно, что привлекает читателя в книгах, подобных сборнику рассказов И. Исакова. Но самим термином «документальная литература» мы невольно объединяем два ряда произведений, имеющих принципиальные отличия. Одни из них, добросовестно воспроизводя ход того или иного события, правдиво рисуя его участников, дальше этого не идут. Впрочем, большего от них и нельзя требовать: в сущности, это историческая литература и ценность ее в фактической стороне дела, освещаемой очевидцем и участником. «Невыдуманные рассказы» И. Исакова принадлежат к другому ряду книг (назову еще хотя бы повесть хирурга Н. Амосова, записки летчика-испытателя М. Галлая, дневник М. Рольникова о вильнюсском гетто), которые обладают качествами не только документальной, но и художественной литературы.

Однако здесь необходима одна оговорка. Литературные достоинства сплошь и рядом в житейском обиходе (а иногда и в критике) сводят к умению писать легко, выразительно, живо (спору нет, писатель, не владеющий словом, лишенный стиля, — что это за писатель!).

Что ж, все эти достоинства нетрудно обнаружить в рассказах И. Исакова. Он ведет повествование с такой свободой и непринужденностью, которых никакими упражнениями добиться невозможно. Кроме того, он обладает необходимым для художника даром отыскать неожиданное слово, деталь, образ, делающие рисуемую картину по-настоящему осязаемой. О старпеме крейсера, бесконечно уставшем от многомесячного фронтального переутомления и недосыпания, но понимающем, что он должен держаться несмотря ни на что, потому что для очереди эвакуируемых олицетворяет надежность и боевую мощь корабля, И. Исаков напишет: он «установил себя у нижней площадки кормового трапа, приспущенного на стенку для удобства пассажиров». Одна деталь делает многократно описанное в литературе балтийское лето словно бы увиденным впервые: «неизменная бледность лимфатического солнца», которое «не только не придает яркости краскам, но, наоборот, обесцвечивает их». А как живописен запечатленный в двух коротких фразах морской пейзаж: «Ближайшие рейды и фарватеры были на редкость пустынными. Как будто свежий

ветер сдул все плавающее с поверхности Маркизовой лужи».

И все-таки не достоинства слога сами по себе заставляют говорить о «Невыдуманных рассказах» И. Исакова как о литературе художественной. Главное в другом. В отличие от документальных книг, авторы которых берутся за перо, чтобы создать историческую хронику событий, в которых они принимали участие, И. Исакова прежде всего занимают проблемы человековедческие. Его интересует психология людей, их нравственный мир, черты характера, сформированные подчинением или сопротивлением обстоятельствам действительности.

Когда речь идет о человеке, преуспевшем в своей профессии (да еще в профессии, издавна окруженной романтическим ореолом) так, как автор «Неистребимого майора», даже его профессиональный опыт может быть порой не только любопытен, но и поучителен. Но удивительное дело: возьмем ли мы рассказы И. Исакова или, скажем, записки летчика-испытателя М. Галлая — мы обнаруживаем одну общую особенность, имеющую прямое отношение к художественной литературе: в проблемах на первый взгляд чисто профессиональных они обнажают их общезначимый нравственный эквивалент. Наверное, моряки с особым интересом читают рассказы И. Исакова. Но им они вряд ли дают больше, чем людям других профессий. Морякам адресованы специальные работы И. Исакова. В «Невыдуманных рассказах» И. Исакова профессиональные качества человека, и, как мы увидим дальше, не всегда военного и не обязательно моряка, неизменно оказываются зависимыми — пусть не непосредственно — с его представлениями о добре, долге, чести.

С каким уважением пишет И. Исаков о настойчивости Евгения Петрова, стремившегося во что бы то ни стало увидеть своими глазами оборонявшийся из последних сил Севастополь! Из рассказов очевидцев Евгений Петров уже хорошо знал, как достается кораблям, прорывающим блокаду, какие потери они несут. Но это не остановило его. Его всячески отговаривали, ему даже чинили препятствия, но он упрямо стоял на своем. И прав И. Исаков, подчеркивая, что упрямство это было вызвано не профессиональной привычкой журналиста все видеть своими глазами, а убеждением, что моральное право говорить от имени сра-



жающихся солдат имеет только тот, кто делит с ними опасности и невзгоды.

И. Исаков — вероятно, даже не ставя это перед собой как специальную задачу, просто он идет от жизни, — разрушает рожденный литературной инерцией и ввевшийся в сознание читателей взгляд, неизменно превращающий моряков либо в удалых «марсофлотов», которым море по колено и сам черт не брат, либо в суровых «морских волков», внешняя угрюмость которых прикрывает нежную и легко ранимую душу. Ни одна из этих традиционных литературных характеристик никак не подходит, например, к герою рассказа «Пари «Летучего голландца», хотя автор видит в нем образец офицера военно-морского флота: «Внешне ничего подчеркнуто морского в нем не было, несмотря на то, что всю свою жизнь он провел на флоте. Коренастый, среднего роста, белобрый, относительно медлительный в движениях и в мыслях, он оставался мечтательным, почти непьющим, всегда улыбающимся, добродушным и доверчивым. Как видите, довольно невзрачный герой...»

Военморлет Чухновский, прославившийся позднее как полярный летчик, по описанию И. Исакова, «неказист и застенчив на вид». И автор считает необходимым не только упомянуть об этом, но и подтвердить сказанное, приведя запись одного из участников экспедиции по спасению дирижабля «Италия», посвященную Чухновскому: «Он производил иногда впечатление человека застенчивого и часто краснел... и юношеские глаза на первый взгляд меньше всего свидетельствовали о замечательной воле и мужестве этого человека. Не знаю человека, который был бы скромнее его».

Рассказывая о солдатах, героически защищавших Севастополь, И. Исаков не преминет отметить: «Общий вид гвардейцев явно не импонировал бы фото- или кинокорреспондентам».

Ревнисты глянца и ретуши, судящие о действительности на основании последних прочитанных газетных статей, могут еще, чего доброго, переложить «вину» за столь распространенное в жизни несоответствие «формы» «содержанию» на автора, усмотрев в его рассказах некое «принижение». Но правда никогда не может быть «низкой». Если бы статная фигура была признаком мужества и благородства, жить было бы легко... Но, увы, на самом деле это не так: подобного рода «закономерности» существ-

вуют лишь в книгах, где жизнь усердно подчищают и полируют. И. Исаков попадает в реальную цель, направляя полемическую стрелу в тех, кто не хочет или не умеет увидеть под замасленной тельняшкой «подлинную красоту духа». И может быть, потому так много в рассказах И. Исакова людей высокого строя чувств, что автор не торопится отвернуться, когда людям, с которыми его сталкивает жизнь, недостает внешней импозантности. Мужество и благородство по самой природе своей скромны, в глаза не бросаются, и, чтобы разглядеть их, необходим пронизывающий взгляд.

И. Исаков не приемлет однолинейных, «однопунктовых» характеристик. Он не только безошибочно отличает жизненную позицию от искусно выработанной — нередко в соответствии с литературными образцами — позы, он понимает, что сознательно воспитываемая привычка может стать второй натурой, что стремление на время приспособиться к обстоятельствам чревато моральной остаточной деформацией. Он судит о поступках, вникая в мотивы, которые двигали людьми. Вот очень характерное для И. Исакова место:

«Суровая, не по возрасту, маска как бы въелась. Она была принята нарочито, давно, когда под его команду попали опытные моряки и попытки поучать их самому же казались недостаточно убедительными. Да они и не были убедительными, почему восполнялись императивным тоном, официальной позой и лаконичным жестом... Прислушиваясь с годами к себе, старпом заметил, что нельзя непрерывно носить какую бы то ни было маску безнаказанно. Как ни трудно сознаться (даже самому себе), некоторые признаки подсказывали, что исподволь, незаметно строгость трансформируется в сухость, молчаливость — в нелюдимость; черствеет не только лицо, но и сердце; завядают не только легкомысленные, но и серьезные чувства... и наступает день, когда улыбнуться не только трудно, но и пропадает сама охота, потребность улыбаться».

Это умение проникнуть во внутренние мотивы поступков или поведение человека очень важно, потому что И. Исаков выбирает для своих рассказов такие жизненные истории, которые не зря называют сложными. Но самым серьезным испытанием для него как литератора было повествование о трагических событиях, связанных с нарушениями социалистической законности в кон-

це тридцатых годов. И. Исаков воскрешает приметы этого времени. Чего стоит, например, история «Летучего голландца», капитана I-го ранга Озаровского, который, потерпев крушение на яхте, подвергаясь смертельной опасности, отвергает помощь иностранцев, потому что за этим неминуемо должно было последовать обвинение в шпионаже со всеми вытекающими отсюда выводами. Он показывает и необратимые нравственные последствия взаимной подозрительности, лукавой демагогии, когда «спасительные» формулы: «Лес рубят — щепки летят», «Человеку с чистой совестью нечего волноваться за себя» — обезоруживали тех, в ком еще не угасла воля к сопротивлению несправедливости и беззакониям, и их тоже охватывала «тоскливая апатия».

Эти времена оставили тяжкий след в биографии некоторых героев И. Исакова, и, естественно, он не мог об этом умолчать. И все-таки не это было главной причиной, заставившей автора предаться невеселым воспоминаниям. Главное — извлечь из пережитого урок, тем более что значение его выходит за рамки описываемой поры и весьма специфической ситуации.

Когда «неистребимому майору» начали «шить дело» — правда, происходило это в войну, в более «благополучную» по сравнению с тридцать седьмым годом пору, и уж слишком близко от передовой, — он, поняв, куда клонит следователь, возмутился и отказался отвечать на какие-либо вопросы и что-либо подписывать. И этот, по нормам тех дней, безрассудный поступок словно бы подстегнул окружающих, уже привыкших в таких случаях «не встречать»: за «неистребимого майора» вступились все — от коменданта штаба до командира базы, — и следователь не решился дать делу дальнейший ход.

В размышлениях командира базы по поводу этого происшествия мы явственно слышим голос самого автора: «Сколько раз, еще в предвоенные годы, скрывала тебя эта мрачная апатия, когда бывали почти аналогичные случаи с подчиненными? А что, если бы раньше стукнуть по столу и твердо сказать: «Не согласен. Протестую»? Еще бы раз забрали? Возможно. Но ведь в некоторых случаях инициатором надуманного «дела» являлся маленький карьерист, он отступил бы! Обязательно! Именно чтобы не испортить себе послужной список».

Конечно, победа над мелкотой, вроде этого следователя, вовсе не решение всей проблемы. Но если бы все, на каждом участке работы, оказывали такое противодействие? Возможно, что тогда скорее явилась бы правда и оказалось невозможным продолжение этого кошмара».

Впрочем, не только такого рода трагические события служат И. Исакову материалом для серьезных нравственных выводов. О чем бы он ни рассказывал, «педагогическая» (это слово он употребил сам) сторона для него одна из самых важных, если вообще не главная цель. И если в самой общей форме попытаться выразить нравственный пафос всех его рассказов, то он, в сущности, может быть сведен к простой истине: страх, недоверие, демагогия разъединяют людей; слачивают их, делают единомышленниками добрые дела, высокие цели, гражданское мужество — «человечность и дружелюбие — взаимнообратимы». И пусть эта истина проста — от этого она не становится менее глубокой и актуальной. А правильность ее И. Исаков подтверждает самым веским доказательством — жизнью.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

## РАЗМАШИСТОСТЬ И НЕБРЕЖНОСТЬ

О. М. Чемена. Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. «Наука». М. 1966. 159 стр.

В научно-популярной серии издательства «Наука» вышла немалым тиражом книга, которая может привлечь читателя уже своим названием — «Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова».

В издательской аннотации можно про-

честь, что, во-первых, «на основе исследований черновых автографов романов «Обломов» и «Обрыв»... автор заново проследивает творческую историю обоих романов»; во-вторых, «изучение черновых рукописей позволило... установить, где и в чем могло проявиться влияние на оба романа Екате-

рины Павловны Майковой, друга и участницы литературной работы писателя» (не только друг, но и участница? Это интересно); в-третьих, «личность и даже имя этой выдающейся шестидесятницы-просветительницы было несправедливо и незаслуженно забыто».

Все это способно занять внимание довольно широкого круга читателей, интересующихся нашим литературным прошлым, тем более если оно освещается в популярном теперь жанре новых разысканий.

Что же представляет собою героиня этой книги?

Екатерина Павловна Майкова (урожденная Калита) — жена одного из братьев Майковых, Владимира, дружила и переписывалась с Гончаровым. Как известно, семья Майковых была одним из очагов культуры русского образованного общества XIX века. В доме Майковых бывали актеры, художники, музыканты, писатели — Тургенев, Григорович, Писемский и другие. Гончарова связывала с этой семьей многолетняя и давняя дружба.

История жизни Майковой достаточно характерна для шестидесятых годов прошлого века. Умная и образованная молодая женщина с живым, пылким характером, она ищет деятельного применения своим силам. В середине шестидесятых годов, увлекшись «нищим» семинаристом Федором Любимовым и «новыми идеями», Майкова оставляет мужа, троих детей и уходит из дому. Оба начинают учиться: она — на курсах, он — в Медико-хирургической академии. Однако из занятий ничего не выходит; родившегося сына отдают на воспитание и уезжают на Кавказ, в одну из артелей-коммун, которые в то время быстро возникали и так же легко распадались. Вскоре Майкова оставляет коммуну, бросает Любимова (который быстро «опустился, ничего не хотел делать... лежал и пил... ругался»), покупает на диком тогда Кавказском побережье в Сочи участок земли, строит дом и устраивает общедоступную библиотеку... Умерла она в 1920 году, надолго пережив и Гончарова, и Тургенева, и других своих блестящих современников и друзей.

Гончаров, всегда ценивший в Майковой богатство природы, тонкий ум, «хороший и здравый идеал нравственных начал», остро и болезненно воспринял ее уход из дома. Он был поражен тем, что у Майковой вдруг произошло «радикальное изменение... поня-

тий о добре и зле, об обязанностях, о труде, долге».

С интересом читаешь обращенное к Майковой письмо Гончарова от 16 мая 1866 года, впервые полностью опубликованное в книге, — страстную и взволнованную речь, которая продиктована желанием удержать близкого ему человека от опрометчивого шага. «Ужели, — горестно пишет Гончаров, — все целиком надо сию минуту нести в жизнь, то что взойдет в виде зеленого всхода на почве более или менее острого мышления?..»

Через три года Гончаров пишет последнее дошедшее до нас письмо к Майковой, где настойчиво, может быть, даже уже неделикатно говорит, что верит в возвращение Майковой в семью, потому что с прошедшим у нее слыхом «четкая, живая связь — трое детей» и что если ее не влечет в семью, то «остается предположить некоторую заглушенность, то ли неразвитость той стороны, которую относят к понятию о сердце». Майкова никогда не вернулась в семью, а приведенное напоминание Гончарова о ее долге перед детьми было тщательно зачеркнуто ею в полученном письме. То, что мы читаем теперь эти строки, — заслуга автора книги, которая впервые восстановила и прочитала текст.

Кто был прав в этом споре — решить в двух словах трудно. Известен политический консерватизм Гончарова, его настороженное отношение к нигилизму. Но в его нравственных требованиях многое нам понятно. Невольно вспоминаются другие деятельницы шестидесятых годов, такие, как В. С. Серова, М. В. Трубникова, которые, отдавая жизнь общественному долгу, не забывали своих обязанностей матери. К каким бы благородным целям ни стремился человек и какие бы высокие идеалы его ни захватывали, нам трудно видеть в нем героя, если при этом страдает наше нравственное чувство.

Такова, если можно так выразиться, «фактическая основа» вопроса. С тем большим интересом ждешь объяснения: в чем же именно проявилось влияние Екатерины Павловны на два знаменитых романа Гончарова — «Обломов» и «Обрыв»? Как она стала «участницей литературной работы» писателя? Обращаемся к книге.

По мнению автора, Майкова послужила прототипом для героинь сразу двух романов Гончарова — «Обломов» и «Обрыв». Случай

пскажется тем более редким, если вспомнить, что Вера в «Обрыве» и Ольга в «Обломове» — два различных женских характера. Однако автор не считает эту задачу сложной. Установить прототип для него не составляет никакого труда. Обычно даже в тех случаях, когда прототип очевиден, литературоведы говорят об этом с осторожностью, что естественно, если иметь в виду, что художественное изображение — это не простое копирование жизни, а... и т. д. и т. п. О. М. Чемена решает этот вопрос проще: если в книге сцена или образ убедительны, то ей ясно, что «при создании литературного образа перед внутренним взором писателя неотступно стоит живое воплощение этого образа, и автор невольно повторяет то, что видит».

Стоит автору книги прочесть, что Гончаров в своем письме к Е. В. Толстой, которой он был серьезно увлечен, говорит о «свежести» ее лица, спокойном характере, и потом найти свежий цвет лица и спокойную осанку в описании Софьи Беловодовой, чтобы тут же безапелляционно заявить, что «ощутимые нити тянутся от живой женщины Елизаветы Толстой к образу красивой самовлюбленной вдовы с пышными плечами Беловодовой».

О. Чемена считает, что вообще «привычным методом работы писателя являлось вплетение в ткань романа жизненных наблюдений», которые «не теряли своего соответствия конкретным фактам действительности». А изю всей действительности Гончаров почему-то предпочтительно выбирал и «плелетал» в свои романы факты, связанные с Е. П. Майковой.

Автор не сомневается в том, что прототипом для Ольги Ильинской послужила Майкова. В научной литературе высказывались, правда, и другие предположения (например, П. Н. Сакулин, А. Г. Цейтлин считали прототипом Ольги Ильинской Е. В. Толстую). Но автор выдвигает свои соображения. Главное из них — то, что Гончаров создал этот образ за очень короткий срок, следовательно, обязательно существовал прототип — на работу художественной фантазии у автора попросту не хватило бы времени, — а так как именно в это время он дружит с Екатериной Павловной, стало быть, прообразом Ольги и была Майкова. «Влияние Екатерины Павловны» на роман, по мнению исследовательницы, проявилось вполне «осозаемо». Ольга Ильинская хоро-

шо поет каватину Нормы — известны также и многочисленные «отзывы о прекрасном голосе Екатерины Майковой»: так, муж называл ее голос «сладким и нежным, как дыхание ясного утра». Кроме того, Ольга Ильинская полна «ненасытной жаждой знаний» и однажды к Обломову приступила «с вопросами о двойных звездах» — и вокруг Майковой даже во время ее болезни «разложены все журналы». Наконец «Ольга более других созданных Гончаровым женских образов привлекает своими передовыми устремлениями».

Однако если даже поверить, что для Ольги Ильинской прототипом послужила Майкова, вопрос — мог ли писатель вторично воплотить ту же самую личность уже в другом своем романе «Обрыв» — встанет перед нами все-таки неизбежно.

О. Чемена, однако, думает, что вопроса тут вовсе нет: «Всеобщее одобрение женского образа в «Обломове», на создании которого сказалось влияние Майковой, не могло не притягивать внимания писателя к увлекательной попытке использовать богатство ее природы и для второго женского образа, хотя «Ольга-День» очень далека от «Веры — таинственной Ночи».

Не приходится сомневаться в том, что история Майковой, явившаяся для Гончарова глубоким личным переживанием, могла заставить его задуматься над многими проблемами современной жизни, в том числе и над так называемым «женским вопросом». Однако сходство между Верой в романе и Майковой в жизни, на взгляд исследовательницы, вовсе не объясняется лишь этим.

Во-первых, «на протяжении всего романа» Гончаров «привлекает внимание» к «темным бархатным глазам» Веры, а по свидетельству Е. А. Штакеншнейдер, у сына Майковой (!) были также «бархатные глазки»; во-вторых, «в 8-й главе IV части терзаемая страстью Вера трижды впивается в плечо Райского «тонкими пальцами, как когтями хищной птицы». На фотографии Екатерины Майковой, снятой в конце 50-х годов, отчетливо видны ее тонкие удлиненные пальцы»; в-третьих, Вера посвящала во все свои тайны подругу по пансиону Наталью Ивановну. «У Майковой была такая же доверенная подруга по пансиону Анна Романовна».

«Обрыв», как известно, не имел такого успеха в читательской среде, как «Обломов». Находится ли это в какой-либо свя-

зи с Е. П. Майковой? Вероятно, находится, потому что, считает О. М. Чемена, «успеху» полного «художественного воссоздания» «некоторых характерных» черт Майковой «в образе Веры» мешали в «данном случае коренные различия, имевшиеся между прототипом и изображаемой героиней».

Различия, на взгляд автора, заключаются в том, что «в возрасте Веры 22—23 лет Екатерина Павловна Майкова уже стала матерью двоих детей, побывала за границей и вместе с мужем редактировала прогрессивный детский журнал «Подснежник». Екатерину Майкову нельзя не считать передовой, широко образованной женщиной своей эпохи». Вера же «провинциалка», «дикарка», у нее «ограниченный кругозор».

Не будем комментировать этих наблюдений автора. Коснемся лишь упоминания о журнале «Подснежник». О. Чемена хочет доказать, что «Подснежник», который был «любимым детищем Екатерины Павловны», «следовал программе журнала «Современник» и его взглядам на детскую литературу».

Правда, в таком случае трудно себе представить, чтобы редактором журнала мог быть скромный чиновник Владимир Майков, как до сих пор думали историки литературы, и естественнее было бы считать редактором журнала саму Екатерину Павловну, которая «не только читала «Современник», но и тайно (!) встречалась с его редакторами», хотя «в их присутствии чувствовала себя до того маленькой и глупой, что не решалась вмешиваться в разговор». Доказательств редакторской деятельности Майковой нет, но О. М. Чемена легко их находит, ссылаясь на слова самой Майковой, которая якобы сказала корреспонденту газеты, приехавшему к ней в 1912 году, что журнал «фактически выходил под моей редакцией». Читателя отсылают к газетам «Нижегородский листок» и «Московская правда», к статье «Современница о Гончарове». Статья «Современница о Гончарове» была напечатана в полубульварной дореволюционной газетке «Московская правда» (пересказ ее перепечатан в «Нижегородском листке») и представляет собой не столько рассказ Майковой корреспонденту газеты, «приехавшему ко дню 100-летней годовщины со дня рождения И. А. Гончарова», сколько полуфантастическое сочинение некоего «К. Т.», помещенное рядом с такими «корреспонденциями», как «Графиня из горнич-

ных», «Принцесса-затворница», «День светской турчанки» и т. п. В этом сочинении приводятся малодостоверные анекдоты из жизни Гончарова и перепутано почти все, что претендует на точность. Правда, сакральная фраза «о журнале, выходящем фактически под редакцией» Майковой, тут есть. Но можно ли серьезно исследователю основывать свои «концепции» на таком материале?

К сожалению, и другие разыскания в книге не выдерживают простейшей фактической проверки. Так, О. Чемена говорит, что Добролюбов считал первую часть «Обломова» «растянутой», лишенной «движения, развития сюжетной линии». Вспомнив статью «Что такое обломовщина?», легко убедиться, что мнение «некоторых читателей» о растянутости романа критик излагает с единственной целью — его опровергнуть.

Другой пример.

Автор книги утверждает, что Гончаров совсем не случайно в окончательном тексте романа «Обломов» отказался от похвал доброму сердцу Ильи Ильича: «Закопать бы это сердце, куда хочешь, тысячу лет пролежит оно под сукном, в прахе, в забвении, и все в нем будет тлеть и никогда не угаснет вера в добро, в людское достоинство». Эту фразу, приводимую по черновому варианту, исследовательница комментирует следующим образом: «Незаслуженные дифирамбы дворянскому сердцу Обломова, изъеденному язвой крепостничества, которая атрофирует мускулы и размагничивает волю, могли быть написаны Гончаровым только *ante factum*, а не *post factum* (т. е. написаны до завершения романа.— С. К.), так как в завершеном романе нет таких благородных и возвышенных деяний и подвигов Ильи Ильича, которые заслуживали бы столь лестной оценки».

Беда этого утверждения заключается, однако, в том, что в окончательном тексте романа, как легко убедиться, Гончаров говорит о сердце Обломова в гораздо более восторженных выражениях, называя его «перлом», за что, как известно, и высмеян был Добролюбовым.

В другом месте автор рассуждает об участии Екатерины Павловны в издательской артели, учредительницами которой в шестидесятые годы были Н. В. Стасова, А. Н. Энгельгардт, М. В. Трубникова и другие шестидесятницы. Сообщение это основано на за-

писке мужа к Майковой, где тот пишет, что «у Дюфура особенно хвалят сочинение в 2-х частях», которое он собирается издать в пользу «предприятий» жены. О. М. Чемена видит в этих словах «косвенное указание» на то, что Майкова — участница артели, не допуская мысли, что «предприятия» могли быть и иного рода. В примечаниях к книге пояснено, что Дюфур — «французский энтомолог, автор многочисленных работ по анатомии и физиологии насекомых». И тут что-то не так. Французский энтомолог, которому в это время было более восьмидесяти лет, насколько известно, в Петербург не ездил и, следовательно, с Майковым встретиться не мог. Фамилия же Дюфур — это скорее всего известная в Петербурге фамилия книгопродавца и издателя журналов «Revue Etangère», «Музыкальный свет» и др.

Исследовательнице вообще присуща особая смелость воображения, размахистость при создании гипотез. Например, в том, что свой литературоведческий разбор образа Ольги Ильинской в «Истории русской интеллигенции» Д. Н. Овсяннико-Куликовский посвятил Майковой, О. Чемена видит безусловное доказательство того, что и почтенный историк литературы считал Майкову прототипом Ильинской. Его фразу: Ольга — это «живое лицо, прямо взятое из жизни», она истолковывает буквально. Или другой случай. Автор книги утверждает, что «письма Е. П. Майковой к Гончарову, по свидетельству А. И. Трейгута, были сожжены им вместе со всей другой перепиской в конце 80-х годов». Однако если обратиться к источнику, на который дана ссылка («Исторический вестник», № 11, 1911), то легко убедиться, что там ни словом не упомянуто ни Майкова, ни ее письма: имеется лишь рассказ, как однажды Гончаров начал жечь свои бумаги, в числе которых были и письма (какие именно — неизвестно!), и черновики рукописей. Проблематичную догадку автор выдает за вполне установленный факт.

Желание сделать Е. П. Майкову «участницей творческих трудов» Гончарова, показать ее «совместную литературную работу» с писателем также — увы! — связано лишь с той же методологией. Сам Гончаров оценивал «участие» Майковой в своих «трудах» скромнее: «А помните, как усердно и радушно переписывали мне... программу нынешнего моего романа «Обрыв»?.. У меня еще целая переписанная Вашей рукой тетрадь».

Эта же размахистость, вероятно, приводит исследовательницу и к тому, что она зачастую в конце книги сама плохо помнит то, что отставала в начале. Так, стремясь, как мы видели, на странице 24 сделать Майкову в 1863 году участницей издательской артели, на странице 82 она забывает об этом и сетует, что после прекращения журнала «Подснежник» Майкова начала искать «новое общественно полезное дело. Но в 60-е годы женщины на так просто и даже опасно было заниматься поисками такого рода».

Сообщив на странице 23 годы издания журнала «Подснежник», который начал выходить в 1858 году, на странице 47 автор пишет, что, именно «близко наблюдая участие Екатерины Майковой в редактировании журнала «Подснежник», Гончаров создавал образ Ольги Ильинской, хотя в 1858 году, когда он мог бы начать свои наблюдения, роман был в основном закончен».

Мы не будем долго задерживать внимание читателя на комментариях к книге. Приведем лишь один пример. Рассказывая об уходе Майковой из семьи, автор пишет: это случилось «в темную августовскую ночь» 1866 года, когда Екатерина Павловна «ушла на Пески, на Слоновую улицу к Федору Васильевичу Любимову». Комментарий ошеломляет читателя: «По Слоновой улице в XVIII веке водили на водопой слонов...» О языке книги дают представление хотя бы такие фразы: «Гнусавые шакалы нестерпимо воют у изгородей», «Историю дописала сама революция, склонившая над могилой шестидесятицы свои знамена со своими (!) лозунгами», «О своем упадочном во всех отношениях (!) настроении он пишет...», «Драматический накал нарастает до тех пор, пока сраженная издевательствами букетом героиня не падает без чувств на ковер».

Трудно перечислить все погрешности, фактические неточности и просто ошибки в книге. Приведем еще один пример, дающий представление о точности цитирования автором общезвестных источников. На странице 111 приведены строчки письма Тургенева к Герцену, где тот жалуется: «...меня ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу, и с боку — особенно с боку». Не нужно быть знатоком тургеневских текстов, чтобы догадаться, что Тургенев не виновен в этой бессмыслице. Он-то писал «сбоку».

В книге есть моменты биографического и мемуарного свойства. Автор всле-

минает, скажем, урочище Сочи девятидесяти годов прошлого века и старушку Майкову. Можно понять желание автора поделиться с нами дорогими ей воспоминаниями детства, и, возможно, это было бы уместно в соответствующем жанре. В данном же случае научный редактор книги доктор филологических наук Ф. Прийма сильно подвел автора, не посоветовав ему освободить свою работу от всего слишком субъективного и проблематичного в пользу большей точности и основательности главного предмета его исследования.

С недоумением вспоминаешь, что книга

эта вышла в научно-популярной серии издательства Академии наук, обращенной к широкому читателю, — серии действительно интересной и нужной, которая дала уже целый ряд содержательных и серьезных книг, — и утверждена «к печати редколлекцией научно-популярной литературы АН СССР». Какова научность книги — мы видели. Может быть, ее можно назвать хотя бы популярной? Нет, не повернется язык назвать популярной книгу, написанную с такими претензиями, с такой небрежностью к фактам и таким плохим языком.

С. КАЙДАШ.

★

## ЧТО СКАЗАЛ БЫ МАЯКОВСКИЙ?..

Александр Коваленков. Хорошие, разные... Литературные портреты. «Московский рабочий». М. 1966. 190 стр.

У автора этой книги есть завидное свойство. Он умеет читать в душах. Даже в тех, что давно отлетели в мир иной.

«Думаю, что Тургенев похвалил бы Солоухина за его прозаизированную лирическую миниатюру «Слово», — пишет он. Причем это не совсем уверенное «думаю» для него не характерно. Обычно он не думает, не догадывается, а знает совершенно точно: «...Софронова, несомненно, похвалил бы Маяковский». С той же точностью известны ему и те случаи, когда Маяковский остался бы недоволен: «Сделаем, однако, справедливости ради, уточнение: Маяковский не похвалил бы Дудина...»

Так он распределяет справедливость от имени великих людей в качестве их признанного душеприказчика.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы Александр Коваленков изобрел этот прием. Но никто до него не мог похвастаться интимной близостью с такими авторитетами, как Тургенев и Маяковский. Никто до него не обладал таким даром ясновидения.

О поэте Павле Васильеве, погибшем в двадцать семь лет, он непререкаемо точно знает: проживи тот сколько угодно, ничего хорошего все равно бы не написал. Так и сказано: «Но о Павле Васильеве стали поговаривать как о русском советском поэте незавершенных возможностей. А это, по моему глубокому убеждению, неверно и вредно».

Как мог Коваленков получить эти сенсационные сведения? Откуда?

У Коваленкова вообще повышенный интерес к тому, что было бы, если бы... Однажды он задал вопрос Асееву: «А что, если бы он (Маяковский.— С. Р.) не погиб? Что бы он писал?..» И когда Асеев предположил, что Маяковский писал бы пьесы — «очень хорошие, не хуже Бернарда Шоу» и что «в классической мировой литературе его место не ниже Шоу», — Коваленков не согласился.

Что не согласился — понятно. Интересно другое: то, что на этот раз на помощь его проничательности пришел еще один аргумент. Коваленков решил, что Асеев ошибочно сопоставил «незавершенные возможности Маяковского с судьбой Б. Шоу» потому, что Маяковскому памятник поставлен, а Шоу — нет.

Я не преувеличиваю: «Он (Асеев.— С. Р.) ошибался. Памятник поэту на площади его имени в Москве смотрит в будущее. Не знаю, поставило ли памятник великому ирландцу английское правительство».

Используя методику Коваленкова, можно предположить, что за такое решение спора его не похвалил бы Чехов. В рассказе «Учитель словесности» спорят, был ли Пушкин психологом. И один участник спора как раз придерживается аргументации Коваленкова: «Поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника».

Впрочем, идти за Коваленковым мы все-таки не станем. Это нам не по силам, ибо способ, которым наш автор осуществляет

эту, говоря словами Остапа Бендера, «материализацию духов и раздачу слонов», он от нас утаил, не захотев поделиться опытом. Жаль. Но еще более жаль, что он не рассказывает, как сумел он получить ценные сведения о вкусах и пристрастиях современного читателя.

Вот он ставит сложнейший вопрос: «Что сейчас украшает книжные полки молодых начинающих поэтов — учащих сельскохозяйственных или педагогических техникумов?» И дает полный ответ: «Можно с уверенностью сказать, что имена Ницше, Ахматовой, Гастева в нашей памяти не возникнут». Опять — «с уверенностью», очень подкупающей. В самом деле: как же не верить нашему автору, если он с таким научным педантизмом указывает круг исследованных им читателей — именно начинающих поэтов, именно будущих агрономов и учителей? Как ему не верить, если так строго и безапелляционно определен список отринутых авторов, может быть, впервые встретившихся в одном ряду?

Но Коваленкову по плечу и куда более широкие обобщения. Он точно знает мнение и всеобщего читателя: «Советские читатели доброжелательны; они думают: «Софронов, а не Слуцкий или, скажем, Андрей Вознесенский продолжает демократические традиции русской поэзии».

Жаль, что Коваленков не сообщил, как проводил он этот грандиозный референдум. Его опыт помог бы современным социологам, давно мечтающим получить столь исчерпывающие сведения о том, что именно думают советские читатели.

Впрочем, возможно, это сообщение просто не входило в расчет автора книги. Он был занят другим. Не рассказывал о том, как ему стало известно то или иное, не размещался на доказательства, не опускался до анализа. Он раздавал лавры.

Причем и тут — вновь отдадим ему должное — действовал с большим размахом, выдающим широкую натуру.

Присудив Софронову монопольное право на наследование великой традиции, Коваленков далее конкретизирует. Мы уже знаем, что Софронова похвалил бы Маяковский, но автор находит у него к тому же «блоковскую музыкальность» и «классический, шолоховский прием». Но и этого мало: «классическая русская лирика пушкинской поры, походные напевы Дениса Давыдова взяли да и возродились в советском песен-

ном фольклоре, а Софронов это услышал и стал продолжать».

Так же щедр Коваленков и в отношении Н. Грибачева. Только тот преемник уже иных классиков — Тютчева и Некрасова, Полонского и А. К. Толстого.

Освоить традицию, по Коваленкову, вообще очень просто: «услышал и стал продолжать». Надо только устоять перед соблазном «эрзацев стиходекадентства и западного левомодерна», как говорит автор с немалой терминологической смелостью. Хочешь писать, как Пушкин, — не пиши, как Вознесенский. И вся хитрость. Ежели сумеешь сладить хоть одну строчку — пусть банальную, пусть какую угодно, только чтоб без вывертов, — счирай, что традиция освоена. (Насчет одной строчки я не преувеличиваю. Вот что сказано о Грибачеве: «Школьный треугольник журавлей...» — это было и новое и продолжало крепкие традиции русской демократической лирики».)

Иногда Коваленков ставит новаторство рядом даже с «необуржуазным перерождением». Иногда все-таки сдерживается — и тогда говорит о новаторстве более снисходительно.

Например, в поэме Н. Дементьева «Мать» он новаторство признает и одобряет. И формальное и мировоззренческое.

Делается это таким образом.

Коваленков вовсе не считает, что без истинного новаторства невозможно освоение, продолжение традиции. Он любит обходиться без лишних сложностей. Поэтому он полагает, что в поэме «Мать» новаторство и традиция не взаимодействуют, а чередуются. Местами меняются. При этом для еще большей простоты традиционность приравнивается к подражательности: «Дементьев подражает Некрасову там, где речь идет о подробностях крестьянской жизни матери. Здесь новаторство уступает традиционно-сти, ибо язык, на котором говорит мать, меньше видоизменился со времен Некрасова, нежели язык рабочих-строителей».

Так они и чередуются. Сперва крестьянка заговорит — традиция. Потом рабочий слово скажет — новаторство. Очень просто.

С новаторством же в области мировоззрения еще проще. Тут Дементьев потому новатор, что — в отличие от Некрасова — разучился жалеть: «Некрасов соболезнует матери, потерявшей сына. Дементьеву незначем соболезновать сыну, потерявшему мать».



Возможно, сам Дементьев поразился бы такому выводу. Но ему уже трудно спорить с Коваленковым — как и Тургеневу, как и Маяковскому. Да к тому же на то и критик, чтобы разъяснять писателю смысл сделанного им. Коваленков и разъясняет: «В первом случае жизненная несправедливость побеждает человека, во втором — человек побеждает прошлое во имя будущего. Здесь основная разница между произведениями старого и нового поэтов».

Решительность тона возмещает отсутствие хоть каких-либо объяснений. Впрочем, это не недосмотр автора. Бездоказательность осознана им как художественный прием.

В программном «Письме старому другу», открывающем книгу, Коваленков предвидит упреки в свой адрес: «Тебе может показаться странным мой разговор о Смелякове. Ты можешь назвать бездоказательными замечания о творческих приемах других упоминаемых в этом письме поэтов... Что ж! Я ведь не пишу статью или очерк. Мне просто хочется поговорить с другом о давних общих знакомых».

Тут можно было бы возразить автору: коли уж заранее отказываться от доказательности в разговоре о литературе, так, может, лучше отправить это письмо одному непосредственному адресату? При чем тут читатель?

Но не станем возражать. У этих слов Коваленкова есть одно большое достоинство: они очень точно и искренне определяют жанр всей книги. Она и в самом деле собрание «бездоказательных замечаний» о «давних... знакомых».

Поэтому, выполняя жанровые требования, автор находится со своими героями в несколько необычных отношениях. Он не исследует их творчество. Он с ними гуляет. Гуляет преимущественно по тропинкам — в этом проявляется его индивидуальность.

«Мне неоднократно приходилось быть собеседником Владимира Александровича (Луговского.— С. Р.) во время прогулок по зимним подмосковным тропинкам».

«Эти строки прочел мне впервые Павел Шубин лунной августовской ночью, когда шли мы с ним по лесной тропинке...»

«Пойдем пройдемся,— предложил я поэту (уже Льву Ошанину.— С. Р.). И... лесная тропинка повела нас дальше и дальше от теплой, светлой комнаты...»

«Это мне подумалось тогда на зимней тропинке в подмосковном ельнике».

Кажется, только для Юлии Друниной сделано некоторое исключение: «Так, разговоривая о том, о сем, мы... зашагали не по тропинке, а прямо по березовому подлеску».

Кстати, разговоры «о том, о сем» — еще одна отличительная черта книги. «Мы привыкли к тому, что печатаются речи, а не разговоры», — сетует Коваленков. И исправляет эту оплошность: публикует свои беседы с Друниной о Тимирязевском лесе и платформе «Гражданская», с Асеевым — о ялтинских «намазанных курортниках», с Ошаниным — даже о том, что надо ремонтировать машину и что портной обузил костюм.

Атмосфера этих прогулок и разговоров — самая задушевная. Говорят собеседники друг другу исключительно приятные вещи. Например, Асеев, по воспоминаниям Коваленкова, некогда похвалил его стихи, а сам Коваленков с этой оценкой согласился: «Асееву... кое-что из моих непессимистических пейзажей могло и понравиться». В другой раз Ошанин, слушая собственную песню, хвалит уже сам себя, а Коваленков и тут согласен «Неплохая песня,— засмеялся поэт. И я не стал спорить».

Автор совершенно прав, говоря: «Я ведь не пишу статью или очерк». То, из чего состоит его книга, действительно не статьи и не очерки. Это жития, написанные по всем канонам «житийного жанра» — с восторженной преувеличенностью оценок, с благоговейной приподнятостью тона.

Впрочем, нельзя упрекнуть автора в том, что он будто бы не снимает розовых очков. Напротив, некоторых литераторов он видит в самом мрачном свете.

И уж с ними он не церемонится. Припечатывает одним словом: «шизофренические стишки Алейникова», «белоэмигрантские стихи Владислава Ходасевича» (речь идет об опубликованном в советской печати стихотворении «Перед зеркалом», выражающем трагическое одиночество человека в «европейской ночи»). Или, скажем, если Эренбург не отрицательно даже, а всего лишь «снисходительно» отзовется о стихах Софронова, то этому немедленно подыщется такое объяснение: «Донская природа, поэтика казачьих песен не побуждали его быть доброжелательно пристрастным». Какое-либо другое объяснение автору словно и в голову не приходит.

Но это — так, выпады, шелчки. Есть, однако, у Коваленкова враг отъявленный и

давний, поминаемый *всуе*. Очертания его зыбки, даже ирреальны. Это призрак «модного поэта», любителя «корневых рифм и треугольных груш», обожателя «абстракционных декадентских «новаций». О чем бы ни вел речь Коваленков, забыть об этом враге — выше его сил. Даже слушая тихий голос Михаила Васильевича Исаковского, он отвлекается и по навязчивой, болезненной диссоциации вспоминает «эстрадную апломбность наших модных московских поэтов».

Ненависть к ним так велика, что на другие объекты ее уже просто не хватает. Начав говорить о том, что трагическое стихотворение Исаковского «Враги сожгли родную хату» было в свое время запрещено (и найдя это воспоминание всего лишь «грустным и смешным»), Коваленков не удерживается и почти сразу переходит от «грустного и смешного» к ненавистному: яростно защищает эти замечательные стихи от им же самим придуманных посягательств неких поэтических снобов. Как будто снобы и запрещали стихотворение.

Так бывает не только в разговоре о сегодняшней литературе. И тогда, когда автор вспоминает тридцатые годы, воспоминания его гягостны и панически; вся история нашей поэзии кажется ему засильем снобов и декадентов: «Начинающие поэты тридцатых годов оказались как бы в длинном пустом коридоре. Справа из многочисленных дверок и дверей выскакивали клоуны и зазывалы, а слева конструктивисты возводили разрушающую все представления о человеческих жилищах железобетонную стену».

Конечно, эти литературные ужасы, до которых не додуматься и Хичкоку, нам не в новость. Мы еще не забыли «Тли». В этом смысле Коваленков не одинок. Он если чем и выделяется, так непоследовательностью. В самом деле, зачем говорить о засилье снобов, затравивших даже А. Софронова, если точно известно (а Коваленкову это известно, как всегда, абсолютно точно — от книжного продавца), что «модных» попросту не покупают? Сказано же: «А этих, — продавец сделал жест в сторону книжной полки, где пестрели обложки с красными абстракционными треугольниками, — что-то не очень спрашивают».

Правда, на этот раз (в отличие от слушав с Маяковским и Тургеневым) правоту

Коваленкова можно проверить: он указывает точный адрес магазина.

Но не будем проверять. Поверим автору и на этот раз. И только немного не ясно, зачем же он тогда так рьяно оберегает от соблазна не только начинающих, но и тех, кого считает столпами реализма? Ведь, как сказано в его книге, и они не устояли. Софронов, например, увлекся «искусственными блесками», оскар-уайльдовскими красотами и, так сказав, снизился до уровня Уайльда. А с Грибачевым и того хуже: его «нет-нет и качнет в сторону «импрессионистической живописности». И даже больше — Грибачев попадает в плен к «поэтике акмеизма», и тогда в его стихах «начинается эстетничанье и, пусть не обижается поэт, салонный цирк».

Впрочем, эта минутная резкость не нарушает теплого колорита житий Коваленкова. Не только похвалы творчеству его «давних знакомых», но и черточки их быта, их милые ему привычки — все это должно настраивать читателя на умиленный лад.

При этом автор проявляет завидную память, когда речь идет о трогательных подробностях жизни его друзей, даже их внешности. Например, помнит, какой костюм был на Софронове в день их самой первой, давней встречи (синий, шевиотовый) и какого цвета галстук (розовый).

Жаль только, что такой остроты память Коваленкова достигает далеко не всегда. Из общения с Багрицким, Луговским, Асеевым она не вынесла ничего интересного.

Сам Коваленков оговаривается: «Может показаться, что в сложном, разностороннем и противоречивом облике Эдуарда Багрицкого мне хочется выделить приметы ортодоксальные. Нет, это совсем не так».

Я не собираюсь упрекать Коваленкова в этом. Во-первых, не знаю, что он имеет в виду под словом «ортодоксальные»; во-вторых, на любые упреки очевидно всегда может ответить, как отвечает однажды Коваленков: «Проверить, так ли это, сейчас невозможно». И хотя по сравнению с другими — и многими — воспоминаниями облик Багрицкого в изображении Коваленкова не только иной, но прежде всего скучный — этакий педель с тычущим перстом; хотя Асеев изображен человеком не просто мелочным, но мелким и только мелким, чего, если судить по стихам, не было, — я не упрекаю автора. Я ему сочувствую, понимая, что все дело в капризах памяти.

Еще чаще подводит память Коваленкова, когда он цитирует стихи. Он искажает — иногда слегка, иногда до полного уродства — строки Смелякова, Мандельштама, Ахмадулиной; слова Маяковского «нет на прорву карантина» превращает в загадочную «прорву карантина»; Асеева заставляет читать его же собственные стихи с иными словами и даже в ином ритме, а строки Некрасова «Ни звука! Душа умирает для скорби, для страсти. Стоишь...» переделывает в бессмыслицу: «Ни звука! Душа умирает. Для скорби, для страсти, стоишь...»

Иногда капризы памяти более хитроумны. Например, стихи Мандельштама наш забывчивый автор не только совершенно переиначил, переставив строки и перепутав слова, но и изъял из них приметы русского пейзажа, тем самым, как ему кажется, обособив свое суждение о Мандельштаме как о беспросветном космополите. И заключил: «Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама. И было за что».

Пропустим мимо ушей сомнительную достоверность этой свары, очевидцем которой Коваленков, по-видимому, быть не мог (ведь было же сказано: «проверить, так ли это, сейчас невозможно»); попробуем даже не обращать внимания на метод, которым, по мнению Коваленкова, полезно перевоспитывать поэтов. Посочувствуем лишь слабой его памяти, неспособной удерживать стихи. Ведь, как сообщает аннотация, он — преподаватель стиховедения в Литинституте...

По-видимому, Коваленкову вообще нелегко обучать студентов. Слишком часто книга его выдает элементарную неосведомленность автора, неумение внятно выражаться, отсутствие чувства юмора.

«Не разговорная, а песенная, даже, пожалуй, романская интонация» (надо пола-

гать, автор хотел сказать «романсовая»).

«Луговской, что называется, зачислил меня в число своих друзей».

«...авторское «я» скрыто за продиктованным чувством подтекстом».

«Н. Грибачев с небеспартийным темпераментом слагал...»

«Период культовых восхвалений остался бы бесследным в творчестве Софронова, если бы обязанность (?) говорить громкие слова не испортила некоторые и не посвященные культы талантливые стихи поэта (???)».

«Дудин преодолевает тематический отзвук, дав просыпающемуся грузчику черточку своего, а не блоковского характера:

Он кой-кому по морде влепит  
И вытрет руки о штаны...»

Или — вновь о Дудине, о его родной деревне, «единственные, неповторимые приметы которой воплотились в заголовок (?) стихотворения «Мать...» (Не правда ли, чудеса лаконизма?)

Или.. впрочем, кончаю цитировать, потому что конца этому не будет.

Книга А Коваленкова вышла в 1966 году. По правде — не верится. Она так и кажется напечатанной или хотя бы написанной никак не позже, чем пятнадцать лет назад. Не только потому, что нынешний Новомосковск в ней назван Сталиногорском (автор пишет: «...работая в Сталиногорске, тогдашнем Бобрике-Донском...»). Дело в другом. По всем своим особенностям — по резкой грубости к «не своим», по тому, что разговор о «своих» окутан кадильным дымом, по догматической узости взгляда, по бездоказательной демагогичности — книга 1966 года «Хорошие, разные...» принадлежит к худшим образцам тех далеких лет.

Ст. РАССАДИН.



# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ГДЕ ПИСЬМА НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ ПУШКИНОЙ?

Письма Натальи Николаевны Александровны Сергеевичу Пушкину давно стали легендой: они исчезли, будто никогда и не существовали.

Тайна пропавших писем, которые могли бы осветить затененные страницы последних лет жизни поэта, волнует всех любителей русской литературы. Но следы писем затерялись.

И, однако ж, они были. За шесть лет брака Пушкин не раз уезжал из Петербурга: в Москву — по делам, в деревню — для уединения. Наталья Николаевна уезжала однажды с детьми в имение отца — Полотняный завод под Калугой. Во время этих разлук супруги переписывались.

Читая письма Пушкина к жене, мы можем даже установить из его ответов, сколько ее писем он получил. Он живо откликался на них всегда. За восемь разлук Наталья Николаевна написала мужу приблизительно сорок пять писем.

Возможно ли проследить их путь более чем за век с четвертью со дня смерти поэта?

Вначале все было ясно. Когда после кончины Пушкина царь приказал Жуковскому заняться разбором бумаг покойного, а затем придал ему «в товарищи» начальника штаба корпуса жандармов генерала Дубельта, то среди других вопросов возник и вопрос о письмах к Пушкину, и — в частности — о письмах его жены. «Письма вдовы покойного будут немедленно возвращены ей, без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка». Так писал Бенкендорф Жуковскому 6 февраля, через неделю после смерти Пушкина, инструктируя друга покойного, почти не скрывая от него, что идея этого разбора бумаг поэта совместно с «чиновником жандармской полиции» (как назвал Дубельта оскорбленный предостанним сотрудничеством Жуковский в

неотправленном письме Николаю I) преследует цели сыска. «Посмертным обыском» назвал этот разбор известный наш пушкинист М. А. Цявловский.

На второй день разбора бумаг — 8 февраля — на квартире Жуковского (по особому его ходатайству: первоначально для разбора бумаг Пушкина был назначен кабинет Бенкендорфа) среди просмотренных документов оказались и «письма, принадлежащие г-же Пушкиной».

А затем, после пятнадцати дней занятий Дубельта с Жуковским над рукописями Пушкина, в составленной 25 февраля «Описи бумаг покойного камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина» под № 41 записано: «Письма госпожи Пушкиной. Отданы г-же Пушкиной». В графе «Куда отданы» значится: «Вручены г-ну действительному статскому советнику Жуковскому».

Итак, письма были вручены Жуковскому для передачи Наталье Николаевне.

Попытаемся же выяснить дальнейшую судьбу писем, насколько это возможно. После смерти Натальи Николаевны (1863) ее письма Александру Сергеевичу перешли к младшей дочери, Наталье, которая в первом браке (какое трагическое стечение обстоятельств!) была за сыном генерала Дубельта, а во втором,morganaticком, — за принцем Нассаусским и носила титул графини Меренберг.

Наталья Александровна умерла в 1913 году, и в газете «Русская молва» 31 марта этого года вместо некролога было помещено интервью с сыном великого поэта А. А. Пушкиным:

«В связи с недавней кончиной в Канне младшей дочери А. С. Пушкина графини Натальи Александровны Меренберг возник вопрос о судьбе хранящейся, как предполагали, у нее ценной переписки покойного поэта с его женой.

Со своей стороны мы можем сообщить, что вся переписка А. С. Пушкина с его женой хранится в настоящее время в Румянцевском музее (ныне Всесоюзная библиотека имени Ленина — С. Э.). По этому поводу нам пришлось беседовать с живущим в Москве сыном поэта почетным опекуном генералом от кавалерии Александром Александровичем Пушкиным, который сказал следующее:

«Письма перешли ко мне от моей покойной сестры, впоследствии графини Меренберг, еще в 1878 году. По просьбе Ивана Сергеевича Тургенева часть писем была напечатана в «Вестнике Европы». Вскоре после открытия памятника отцу в Москве (1880 год.— С. Э.) сестра моя Наталья Александровна передала мне всю хранившуюся у нее переписку. Я ее принес в дар Румянцевскому музею и поставил условие, чтобы эта переписка не стала общественным достоянием и не была опубликована ранее смерти последнего члена нашей семьи, считая и младшую сестру Елизавету от второго брака моей матери».

В Румянцевском музее вашему корреспонденту заявили, что переписка А. С. Пушкина действительно находится в распоряжении музея, но лежит сейчас, так сказать, под спудом, ввиду поставленных наследниками поэта условий».

В те годы (по крайней мере у пушкинистов) местонахождение писем Натальи Николаевны Александру Сергеевичу не вызывало сомнений.

Б. Л. Модзалевский в 1914 году в некрологе Александра Александровича Пушкина написал, что «покойный с честью пронес через долгую жизнь звание сына великого поэта и передал в Румянцевский музей по соглашению с братом и сестрами и под известным срочным запретом и переписку своих родителей, могущую без сомнения пролить свет на взаимные их отношения и на до сих пор смутную историю последних лет многострадальной жизни поэта».

П. Е. Щеголев в предисловии к первому изданию «Дуэли и смерти Пушкина» (1916) также утверждал, что письма Натальи Николаевны к мужу «хранятся в Румянцевском музее и... будут вскрыты через несколько десятков лет...». Это предисловие было во втором (1917) и в третьем (1928) изданиях книги и отсутствовало только в четвертом издании, вышедшем в 1931 году — в год смерти Щеголева.

Интерес и любопытство к письмам Натальи Николаевны во всем мире объяснить нетрудно — ведь это, можно сказать, единственный из известных биографических материалов о Пушкине, оставшийся неопубликованным. Это всегда волновало воображение любителей литературы. До революции письма оставались «под спудом» по воле наследников поэта. После Октябрьской революции, одним из первых дел которой было — открыть исследователям архивы, поэт В. Я. Брюсов, возглавлявший библиотечный отдел Наркомпроса, решил добиться опубликования писем жены Пушкина.

Двенадцатого июня 1919 года В. Я. Брюсов написал в Наркомпрос:

#### «Заявление.

Об отмене частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях.

В рукописном отделении Московского Румянцевского музея хранятся письма жены Пушкина Н. Н. Пушкиной к ее мужу, переданные в музей наследниками великого поэта под разными условиями, согласно с которыми письма могут быть вскрыты и обнародованы лишь еще через несколько десятков лет.

Строительство социалистического государства ведет к уничтожению частной собственности. Несомненно, такой идеал может быть достигнут лишь путем последовательных этапов, но среди них одним из первых является отмена прав частной собственности на имущества, представляющие всенародное значение. К такого рода имуществам принадлежат безусловно указанные выше письма. Между тем до сих пор они продолжают рассматриваться как некоторая частная собственность, так как по отношению к ним соблюдаются условия, поставленные их бывшими владельцами, и они остаются недоступными исследователям.

Нет надобности говорить о значении каждой строки, проливающей новый свет на Пушкина.

В этом смысле письма к нему его жены заключают в себе интерес исключительный. Анненков, Бартенев и другие ранние биографы Пушкина постарались изобразить его в последний период его жизни монархистом и даже приверженцем царизма,

православным христианином и даже клерикалом, причем такой взгляд на великого поэта продержался более полувека. Ныне исследователи П. Е. Щеголева и других опровергли эту клевету на великого поэта, доказав, что он никогда не изменял вольнолюбивым надеждам своей юности и всегда имел самые широкие, свободные убеждения, но только под гнетом невыносимых условий своей эпохи не мог открыто высказывать их. Когда он, ежедневно ожидая у себя в доме полицейского обыска, не решался даже хранить в своих бумагах все написанное им, принужден был сжечь десятую главу «Евгения Онегина», а строфы, которыми особенно дорожил, записать условным способом, криптограммой, когда гласный и негласный надзор полиции преследовал Пушкина по пятам, причем царю доносили выписки из всей перлюстрированной переписки поэта, когда нужда в семье Пушкина достигла того, что он закладывал ростовщикам шали жены, должен был в мелочную лавку, брал займы у домовых швейцаров и т. д. в то время, как царь насильно держал его при дворе в виде особого украшения (как в прежнее время держали шутов) и не позволял поэту прервать непосильную для него и ненавистную светскую жизнь и т. п. и т. д. Все эти подробности и, вероятно, многие другие, сходные с этими, должны полностью выступить в письмах Наталии Николаевны Пушкиной, которые вместе с тем полнее знакомят и с ее личностью, еще не вполне выясненной.

Согласно с волей завещателей, смотревших на письма Н. Н. Пушкиной как на свою частную собственность, русское общество должно дожидаться обнародования их еще десятки лет.

В таком же положении находятся некоторые другие архивы умерших писателей, композиторов, художников, ученых, переданных наследниками в разные библиотеки, музеи на разных условиях. Эти условия нельзя по большей части объяснить ничем иным, кроме мелочных интересов самолюбия небольшого числа лиц, интересов, которые, разумеется, должны отступить перед интересами всего русского общества. По всем этим соображениям предлагаю коллегии Наркомпроса принять и внести на утверждение в Совет Народных Комиссаров следующий проект декрета. «Отменяются все ограничения, на которых были

переданы бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы (рукописи, переписка и т. п.) умерших русских писателей, композиторов, ученых и других деятелей науки, литературы и искусства. Правления библиотек и музеев, где такие архивы хранятся, обязуются предоставлять их для работ над ними исследователям, с особого каждый раз разрешения Народного комиссариата по просвещению. Право первого издания таких архивов и всяких извлечений из них принадлежит Народному комиссариату по просвещению в лице его литературно-издательского отдела».

Валерий Брюсов»

(ЦГАОР, ф. 2306, оп. 1, ед. хр. 290)

В отделе рукописей библиотеки имени Ленина в не обработанном еще фонде В. Я. Брюсова среди личных его бумаг я видела копию этого же заявления и предшествующий ему вариант. В отличие от приведенного выше документа здесь рядом с именем Н. Н. Пушкиной указаны имена М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского, архивы которых находились в государственных хранилищах. В окончательном тексте Брюсов убрал эти имена, подчеркивая цель заявления — прежде всего добиться опубликования писем Н. Н. Пушкиной.

Заявлению заведующего библиотечным отделом Наркомпроса В. Я. Брюсова ход был дан самый скорый. Через полтора месяца был опубликован декрет Совета Народных Комиссаров, полностью основанный на этом заявлении.

«Декрет Совета Народных Комиссаров об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях.

1. Отменяются все ограничительные для государства условия, на которых были переданы бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы (рукописи, переписка и т. п.) умерших писателей, художников, композиторов, ученых и других деятелей науки, литературы, искусства и общественной жизни.

2. Право первого издания таких архивов и всяких извлечений из них принадлежит Народному комиссариату по просвещению в лице соответствующего отдела Государственного издательства.

3. Означенные архивы предоставляются для пользования исследователям с особого каждый раз разрешения Народного комиссариата по просвещению.

Председатель Совета Народных  
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Совета Народных  
Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь Л. Фотиева.

29 июля 1919 г.».

За четыре дня до опубликования этого декрета, 25 июля 1919 года, Госиздат, видимо, уже зная о нем, направил в Румянцевский музей решительное требование — предоставить письма Натальи Николаевны для опубликования:

«Государственное издательство доводит до Вашего сведения и для принятия к исполнению, что оно намеревается в ближайшие дни приступить в срочном порядке к изданию следующих материалов, хранящихся в Румянцевском музее и относящихся к А. С. Пушкину.

1. Писем Н. Н. Пушкиной. 2. Другого материала, хранящегося в архиве Н. Н. Пушкиной и представляющего общенародное значение. 3. Дневника А. С. Пушкина, недавно приобретенного Румянцевским музеем. 4. Всех других материалов, касающихся А. С. Пушкина, могущих оказаться в Румянцевском музее и до сих пор не опубликованных.

Просим Вас в экстренном порядке сообщить нам:

1. В каком состоянии находятся вышеперечисленные материалы, все ли они доступны для необходимых технических работ, снятия факсимиле и копий, а если недоступны, то по каким причинам.

2. Какой способ считаете Вы наиболее удобным и обеспечивающим точность и скорость для выполнения указанных работ.

3. По каким причинам эти материалы до сих пор не опубликованы.

До сведения Вашего доводим, что выполнение работы принимает на себя 2-я Государственная типография с ее фотографированием. Редактирование изъявил согласие принять В. Я. Брюсов, наблюдение за выполнением работы поручено заведующему технической частью Госиздата М. И. Шелкунову, с которым ввиду за-

тянувшейся болезни В. Я. Брюсова просим вести переговоры.

Зав. Государственным издательством  
(подпись В. В. Воровского  
отсутствует.— С. Э.)

Зав. технической частью М. Шелкунов.  
Делопроизводитель О. Лишкевич.

Это требование Госиздата, поддержанное декретом Совета Народных Комиссаров, в Румянцевском музее произвело действие ошеломляющее. Буквально вслед за получением этих документов, 9 августа 1919 года, в музее было созвано экстренное заседание ученой коллегии (Архив ГБЛ, оп. 17, д. 130, л. 49). Ставилась цель — добиться разрешения не публиковать пушкинские архивные материалы. С докладом выступил хранитель отдела рукописей и старопечатных книг Г. П. Георгиевский. Он говорил «о тяжелом положении, которое создано декретом от 29 июля, отменяющим все ограничительные для государства условия, на которых были переданы бывшими владельцами в публичные библиотеки и музеи архивы...». «Благодаря этому декрету,— уверял Георгиевский,— громадные архивные богатства погибли для русской науки, так как владельцы их уже не пожелают больше передавать в государственные хранилища... Они или погибли, или уйдут за границу... Уже поступил срочный заказ от Государственного издательства об архивных материалах, относящихся к А. С. Пушкину и хранящихся в Румянцевском музее..»

Г. П. Георгиевский предложил возбудить ходатайство «об изъятии Румянцевского музея от действия декрета от 29 июля». Ученая коллегия поручила хлопоты по этому делу ученому секретарю музея А. К. Виноградову.

Ходатайство ученой коллегии Румянцевского музея, очевидно, было отклонено. Об этом свидетельствует документ, найденный мною в архиве В. Ф. Саводника (1874—1940), хранящемся у его дочери Натальи Владимировны. Автор известного учебника русской словесности, друг юности В. Я. Брюсова, В. Ф. Саводник в 1919 году заведовал отделом русской литературы и замещал председателя пушкинской комиссии Румянцевского музея академика М. Н. Сперанского. Перебирая с любезного разрешения Натальи Владимировны архив пушкинской комиссии, я увидела здесь

маленькую серую бумажку, очевидно, телефонограмму, со стершимся штампом учебного секретаря и с его подписью, на которой с трудом удалось разобрать дату — 4 февраля 1920 года:

«Г. П. Георгиевскому.

Тов. В. В. Воровский просит Вас вместе с ученым секретарем музея быть 5 февраля у него в Государственном издательстве с материалами по изданию «Дневника» и «Писем Натальи Николаевны Пушкиной».

А. Виноградов».

Разумеется, при такой поддержке, как декрет Совета Народных Комиссаров, настоячивые требования Госиздата об опубликовании писем Натальи Николаевны не могли долго оставаться без ответа. Действительно, в официальном отчете об издательской деятельности Румянцевского музея за 1920 год (Архив ГБЛ, оп. 17, ед. хр. 145, стр. 8, 10, 26) я увидела следующее: «Письма Натальи Николаевны Пушкиной, три печатных листа, готовы к печати». И далее: «срочными признаются историко-литературные документы первенствующего значения («Письма Натальи Николаевны Пушкиной», «Дневник А. С. Пушкина» и т. п.)».

Как видим, в этом ответе, так же как в предшествующих документах, указанных выше (письме Госиздата от 25 июля 1919 года и телефонограмме от 4 февраля 1920 года), говорилось об опубликовании и «Дневника Пушкина» и «Писем Натальи Николаевны». «Дневник» вышел из печати в 1923 году. Подготовка его заняла у пушкинской комиссии Румянцевского музея четыре года, на тридцати трех заседаниях шло обсуждение текста, споры. В архиве Библиотеки имени Ленина протоколы этих тридцати трех заседаний сохранились. По ним можно точно проследить всю четырехлетнюю историю печатания «Дневника». О «Письмах» же — ни слова. Точно они «пропали, будто вовсе не бывали».

Правда, в упомянутых протоколах есть некоторые странности. Отчетливо видны следы вырванных листов, что вызывало зачеркивание старой нумерации и замену ее новой. Вырваны страницы и в отчете заведующего отделом русской литературы В. Ф. Саводника (Архив ГБЛ, оп. 17, ед. хр. 123); лист 48-й начинается обрывком фразы «...поставленной задачи». В протоколе знаменательного заседания № 16 ученой коллегии от 9 августа 1919 года, поручившего

А. К. Виноградову ходатайствовать об «изъятии Румянцевского музея от действия декрета 29 июля 1919 года», тоже несколько страниц вырвано; страница 54 направлена на 51, далее везде номера страниц переправлены. В протоколе заседания № 26 от 8 июня 1923 года имеется параграф 5 «о письмах Пушкина, вскрытых полицией», а параграф 4 отсутствует.

Может быть, сведения о письмах Натальи Николаевны были на вырванных страницах?

По корешку инвентарной книги, заведенной первым хранителем отдела рукописей А. Е. Викторовым еще в 1863 году, можно увидеть вшитые позже листы (они резко отличаются по цвету). Заметна переделка записей А. Е. Викторова: идет 1880 год, затем 1881, а после этого снова 1880. В инвентарной книге не отмечено такое выдающееся поступление, как письма Пушкина Наталье Николаевне (может быть, и это осталось на вырванных листах?). Однако в печатном отчете Румянцевского музея за 1879—1883 годы отмечено, что сын поэта А. А. Пушкин передал «...в мае 1882 года и подлинные письма самого Александра Сергеевича к супруге его Наталье Николаевне, с условием не выдавать последних для чтения в течение 50 лет».

Небезынтересно отметить, что в советское время, в 1923 году, в упомянутом авторитетном издании «Дневника» председатель пушкинской комиссии Румянцевского музея академик М. Н. Сперанский сообщил в примечаниях, что «Александром Александровичем Пушкиным в мае 1882 года были переданы в Румянцевский музей письма самого Пушкина, его жены, с условием не выдавать их для пользования в течение 50 лет со дня пожертвования...».

Очевидно, академик М. Н. Сперанский, совместно с В. Ф. Саводником комментировавший «Дневник», видел оставшиеся где-то на вырванных страницах данные о поступлении в музей писем жены Пушкина. И несомненно, что исчезновение этих историко-литературных документов первенствующего значения стало возможным лишь потому, что в печатном отчете музея не отмечено их поступление.

Сын поэта Александр Александрович, сдавая в музей письма своей матери, мог погавить условием сохранение полной тайны, потребовать, чтобы и в печатном отчете не упоминалось об этих письмах.



Как известно, переписку родителей дети Пушкина считали семейной тайной, не подлежащей оглашению. В 1878 году Григорий Александрович Пушкин за опубликование в «Вестнике Европы» писем своего отца к жене собирався Тургенева избить.

Итак, документа о передаче Александром Александровичем в Румянцевский музей писем Натальи Николаевны не сохранилось. Мне удалось обнаружить лишь писарскую копию письма А. А. Пушкина директору музея В. А. Дашкову, которым сын поэта сопровождал передачу 64 писем Пушкина Наталье Николаевне. На этой копии имеются приписки А. Е. Викторова о том, что письма Пушкина пожертвованы сестрой Александра Александровича «графиней Натальей Александровной Меренберг с тем, чтобы эти письма в течение 50 лет в чтение никому выдаваемы не были». И эти слова повторены Викторovým в печатном отчете музея за 1879—1883 годы.

Возможно, что дополнения А. Е. Викторова на копии письма Александра Александровича Пушкина о передаче в музей писем отца взяты из несохранившегося письма его о передаче и писем матери.

Вырванные листы, поправки и перделки в документах пушкинской комиссии Румянцевского музея наводят на мысль, что кто-то задним числом пытался доказать, будто писем Натальи Николаевны в Румянцевском музее никогда не было, и — надо сказать — достиг в этом некоторого успеха. Например, П. Е. Щеголев, в трех изданиях «Дуэли и смерти Пушкина» утверждавший, что письма хранятся в Румянцевском музее, в 1930 году вдруг переменял мнение, заявив, что «их там нет и не было» (посмертно опубликованное исследование «Неизданные письма к Пушкину», «Литературное наследство», № 16—18, 1934, стр. 553). Впрочем, П. Е. Щеголев, может быть, сказал это в пику пушкинисту Н. О. Лернеру, с которым постоянно спорил (Лернер упрямо утверждал, что письма должны храниться в Библиотеке имени Ленина, даже когда их там уже не было).

Исчезли письма. Исчезли документы об их поступлении. Но письма ведь, как гласит отчет издательской деятельности Румянцевского музея за 1920 год, были «готовы к печати». Следовательно, должны же где-то быть машинописные или рукописные копии? Но их я не обнаружила нигде — ни в архиве В. Ф. Саводника, ни в бума-

гах В. В. Воровского, хранящихся в архиве МИДа. Ничего не слышали о письмах жены Пушкина внучка В. В. Воровского Ванда Вячеславовна, бывшая сотрудница возглавлявшегося В. В. Воровским советского полпредства в Италии А. Н. Колпинская, секретарь Воровского в Госиздате Шушанижа Никитична Манучарьянц, ставшая затем библиотекарем В. И. Ленина. «Хотя прошло 46 лет, я ничего не могла бы забыть, что касалось бы Пушкина», — сказала Шушанижа Никитична.

Я обратилась к бывшим сотрудникам Румянцевского музея. Была у дочери Георгиевского. Писем жены Пушкина она никогда не видела, хотя и знает, что они хранились в Румянцевском музее. «После отца копии не осталось».

Бывшие сотрудники Румянцевского музея машинистки Елена Николаевна Робер, Мария Георгиевна Нестеренко, заведующая столом личного состава Софья Сергеевна Добролюбова, потомки профессора Льва Александровича Тарасевича ничего не слышали о письмах Натальи Николаевны.

Однако бывшая сотрудница музея Капитолина Александровна Баландина вспомнила об экскурсии в отдел рукописей в 1918 году, когда главный хранитель отдела Г. П. Георгиевский показывал рукописи Пушкина и давал к ним объяснения.

— Не показывал ли вам Григорий Петрович письма жены Пушкина? — спросила я.

— Что вы, Григорий Петрович сказал, что эти письма хранятся в запечатанном конверте и вскрывать их пока запрещено.

В поисках копий писем я побывала в типографиях, с которыми были связаны Румянцевский музей и Госиздат: № 16 Мосполиграф (бывшая Левинсона), где печатался «Дневник» Пушкина; «Искра революции» (б. Мамонтова), познакомилась со старыми рабочими. Я просмотрела в Московском областном архиве архивные материалы этих типографий и еще Первой Образцовой (б. Сытина), побывала, наконец, у сына издателя И. Д. Сытина — Дмитрия Ивановича. Ничего. Ровно ничего не удалось найти и по следам М. И. Щелкунова, в 1919 году заведовавшего техническим отделом Госиздата и направившего в Румянцевский музей упомянутое требование о предоставлении «Писем» для снятия копий.

Пришлось перевернуть опромный архив Госиздата (в Центральном архиве Октябрьской революции). Здесь я нашла все о «Дневнике» Пушкина — о 33 заседаниях пушкинской комиссии Румянцевского музея, о сдаче в набор и наконец о сдаче дела в архив после выхода книги в свет в 1923 году. Но о письмах Натальи Николаевны — ни слова.

Все это заставило меня прийти к заключению, что письма Натальи Николаевны не сдавались в набор и, возможно, даже и не перепечатывались на машинке. Сведения же для Госиздата, настойчиво требовавшего опубликования архивных пушкинских документов, могли даваться как отписка. Ученый секретарь музея А. К. Виноградов (с марта 1921 года он стал директором), подпавший указанный выше отчет (о том, что «Письма Натальи Николаевны Пушкиной», 3 печатных листа, готовы к печати), несколько раз начальническим красным карандашом переправлял даты. Сначала было 1 октября 1920 года, затем 10 октября, 1 декабря и наконец 1 января 1921 года. Отчет этот подписан одним А. К. Виноградовым, а не так называемой «особой» издательской комиссией по контролю издательской деятельности музея, утвержденной Госиздатом, куда, кроме редактора А. К. Виноградова и секретаря этой особой комиссии А. Л. Тарасевича, входили профессор Ю. В. Готье, профессор Н. И. Романов и профессор Л. А. Тарасевич.

Итак, 1 января 1921 года — последняя дата на отчете об издательской деятельности Румянцевского музея — стало и последней датой упоминания о письмах жены Пушкина. Видимо, больше никто уж не тревожил по этому вопросу отдел рукописей.

Где же письма Натальи Николаевны? Вполне вероятно, что лица, считавшие себя вправе помешать опубликованию «архивных пушкинских материалов» ранее указанного наследниками срока (видимо, 1932 года, 50 лет с 1882 года) — вопреки декрету Совета Народных Комиссаров от 29 июля 1919 года, — передали письма наследникам.

Во время исчезновения писем из Румянцевского музея за рубежом жили внуки Пушкина по линии Натальи Александровны: это были графиня Медина и графиня Торби, последняя была в морганатическом браке с великим князем Михаилом Михай-

ловичем (внучка Пушкина — за внуком Николая II). Как сообщает С. Лифарь в своей книге «Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой» (Париж, 1936), у графини Торби хранились автографы ее великого деда, и известный балетмейстер, страстный коллекционер С. П. Дягилев после смерти графини Торби (1928) приобрел эти автографы у ее наследников. А наследником был ее муж — великий князь Михаил Михайлович Романов. Были ли в коллекции Дягилева письма Натальи Николаевны, мы не знаем. После смерти С. Дягилева его коллекция приобретена С. Лифарём, как он сам об этом сообщает.

К наследникам поэта за рубежом относились также его внуки (дети старшего сына) Николай Александрович Пушкин и Елена Александровна Пушкина-Розенмейер.

Любопытно, что в 1923 году Елена Александровна Пушкина-Розенмейер (1890—1943) предлагала известному коллекционеру Онегину (А. Ф. Отто) наряду с другими реликвиями купить у нее... фотокопии писем Натальи Николаевны. Елена Александровна, эжальтированная душа, наперекор истине, но в унисон с теми, кто пытался доказать, что письма никогда не хранились в Румянцевском музее, утверждала, будто ее отец А. А. Пушкин передал ей всю хранившуюся у него переписку великого поэта с женой и даже потребовал, чтобы дочь «во избежание случайностей» сняла с этой переписки фотокопии. В последний момент она от продажи отказалась.

О предложении Елены Александровны стало известно в Пушкинском доме, когда сюда в 1928 году прибыла коллекция Онегина из Парижа. Озабоченный возвращением на родину рукописей великого поэта, Пушкинский дом в марте 1929 года обратился в Российскую Академию наук с просьбой о помощи в розыске и покупке за границей пушкинских материалов. Внука Пушкина, говорилось в письме Пушкинского дома, предложила Онегину, кроме фамильных вещей, рукописи поэта, «среди которых главное место занимает дневник в 1011 страниц... и всю переписку поэта с женой, только отчасти нам известную и коренным образом меняющую наши представления о последнем периоде жизни поэта» (ЦГАОР, «Дело о розыске и покупке за границей рукописей Пушкина», ф. 3316, оп. 1, ед. хр. 815).

Розыски, предпринятые по письму Пушкинского дома в Российскую Академию наук, были начаты в марте 1929 года. В них принимали участие ЦИК СССР, Народный комиссариат иностранных дел, Российская Академия наук и ученые, выезжавшие в научные командировки за границу.

Поиски не привели к успеху и в сентябре 1930 года были прекращены.

Тайна исчезновения писем Натальи Николаевны не раскрыта и в последней книге С. Лифаря «Моя зарубежная Пушкиниана» (Париж. 1966). Автор рассказывает о хранящихся у него автографах Пушкина и реликвиях, сообщает историю их приобретений, говорит, между прочим, и о встречах с Е. А. Пушкиной-Розенмейер, у которой он купил печатку и гусиное перо ее деда. О письмах Натальи Николаевны в книге ни слова. Вряд ли бы С. Лифарь, подводя итоги своих многолетних поисков и находок, умолчал о письмах, если бы он их видел или слышал о них.

Письма Натальи Николаевны Пушкину окружены легендами. Мы до сих пор не знаем точно, где находятся письма — передал ли их кто-то наследникам Пушкина за границу или надежно спрятал. Раньше говорили, что письма погибли на затонувшем корабле, потом — что они хранятся в семье

английской королевы Елизаветы. При этом обычно вспоминают фото — свадьбу королевы: она в подвенечной фате, справа от нее муж, принц Филипп Эдинбургский, воспитывавшийся у правнучки Пушкина графини Н. М. Медина, слева — праправнук Пушкина — сын Н. М. Медина. Легенду о письмах Натальи Николаевны мы находим и у поэта В. Рождественского. Легенда его отсылает на неверный след, будто письма хранятся у правнучки Пушкина в Лондоне. Ему рассказал якобы об этом покойный пушкинист Н. О. Лернер. В действительности же Н. О. Лернер, как известно, считал, что письма Натальи Николаевны находились в Румянцевском музее, и недоумевал, куда они могли деться. (Свою легенду поэт В. Рождественский повторил трижды: в № 6 журнала «Ленинград» за 1945 год, в газете «Литературная Россия» № 7 за 1966 год и в этом же году по радио).

...Почти полвека прошло со времени исчезновения писем Натальи Николаевны из Румянцевского музея. Но где бы они ни были — за границей, в Советском Союзе, кто бы ни хранил их, или списки с них, или фотокопии, настало время их опубликовать. Хранить в тайне эти письма — преступление против Пушкина, против русской и мировой культуры.

**С. ЭНГЕЛЬ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. ПЛАТОНОВ. Избранное. «Московский рабочий». М. 1966. 542 стр.**

«Быть писателем великого народа немислимо без подвижничества», — так пишет М. Лобанов в статье об Андрее Платонове, завершающей новый сборник. По сравнению с вышедшим в 1965 году в издательстве «Художественная литература» сборником «В прекрасном и яростном мире» «Избранное» 1966 года содержит много нового: читатель найдет в нем повести «Джан» (которая недавно была опубликована в журнале «Простор»), «Город Градов», «Происхождение мастера» и несколько рассказов, не переиздававшихся десятилетиями. Путь произведений Платонова к читателям был нелегким. Но мир его прозы человечен и богат, и естественно, что с каждой новой книгой, словно с каждым шагом, этот мир разветвляется перед читателями все шире.

Героев Платонова зачаровывают горизонты жизни. Захар Палыч, герой повести «Происхождение мастера», из тех, «кто может все починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно» и смерти не понимает, потому что вечно занят чем-то новым. «Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями», — утешает Захар Палыч умирающего бобыля. Для мастера мир многозначителен и нов, и его ищущая душа нигде не может остановиться — от деревянного мастерства он уходит к железному, паровозному, а потом видит, как в новых горизонтах жизни рождается новый мастер.

Герои Платонова увлечены простотой и чудесной неразгаданностью мира и потому видят его «сокровенным». Для писателя не было «обыкновенных» людей, он находил «сокровенное» даже в Шамакове, предлагавшем ввести для природы основу прочную и бюрократическую взамен «хищничества, ахи-ней и поэзии», которые только зря мешают документальному и стройному порядку бытия. Шамаков — герой повести «Город Градов», повести сатирической, временами справедливо злой, а в целом скорее грустной: по словам Платонова, «писатель должен знать, что делается на земле и на небе. О чем господь бог думает». Такой писатель занят заботой обо всей жизни, о самых разных людях.

Необычайную жизнь своих «сокровенных людей» Платонов описывает словами абсолютной точности. Поэтому платоновская

фраза увлекательна, неожиданные слова в ней крепко спаяны очевидным и новым смыслом.

«Избранное» открывается статьей Ф. Сучкова «На красный свет», соединяющей воспоминания о писателе с разговором об его прозе. Отрадно, что новый сборник Андрея Платонова сделан бережно и с любовью к нему.

Ю. Айхенвальд.

★

**ИЛЬЯ ЗВЕРЕВ. Трамвайный закон. Рассказы. «Молодая гвардия». М. 1966. 240 стр.**

Когда в прошлом году вышел сборник публицистических заметок И. Зверева «Что за словом?», Корней Чуковский писал в предисловии к этой книге об ее авторе: «Свои незаурядные силы он... отдает гневному разоблачению бытующих у нас в обиходе звонких фраз и патетических слов, «не обеспеченных мыслью и делом».

И вот перед нами новый сборник рассказов Ильи Зверева — вышедший уже после смерти автора. Книга продолжает сражение, которое вел писатель при жизни.

В «Трамвайный закон» вошли некоторые рассказы из предыдущих сборников, большую же часть книги составляют рассказы, опубликованные в последнее время в периодических изданиях.

Человек на своем месте — эта мысль пронизывает большинство рассказов Зверева. «Все дни, включая воскресенье», работай, а все равно не расплатишься за ту помощь и поддержку, которую оказывают тебе люди, твои товарищи, как бы говорит писатель. Но пока ты Человек, пока ты на своем месте, никто не спросит с тебя этого долга, даже не напомнит о нем. И как все хорошо и правильно получается, когда человек на своем месте. И как плохо, когда он забывает о своем долге.

Поверхностный газетчик, бездумный «очеркист» из тех, что ради красного словца не пожалеют родного отца, конъюнктурщик, высшая цель которого «попасть в струю» («Рассказ бывшего щенка»); ретивые и бездумные формалисты от идеологической работы», которые за количественным «охватом» не умеют и не хотят видеть настоящей, живой воспитательной деятельности, для которых форма и «галочка» —

единственное содержание жизни («Пятнадцать суток»); добряки родители, казалось бы, образованные педагоги, не замечающие, как приучают детей к неправде («Второе апреля»), — вот на кого обрушивается гнев писателя.

Зато с какой любовью и нежностью рисует он людей противоположного склада — чутких, скромных, без помпы и заботы о личной выгоде делающих свое дело! И «зв. письмами» большой газеты, бывший фронтовик Иван Прокофьевич — бездарный тупица. «Почему он здесь... этот неказистый, неоструганный, неотесанный человек, похожий на отрицательного управдома из кинокомедии? И кажется, не очень грамотный». Томе надо пережить личное потрясение, чтобы убедиться: Иван Прокофьевич как раз и оказался настоящим журналистом, честным и принципиальным, а вот эффектный Валя Гринев, облучающий ее светом своих серых глаз, — просто мелкий бессовестный ремесленник...

Илья Зверев шел трудным путем беспощадной борьбы со всем, что мешает нам строить коммунизм и воспитывать его строителей. Он мужественно шел этим путем. И идет вместе с нами сегодня. Лучшее доказательство — эта книжка, которой он сам уже не увидел.

**С. Норильский.**

Тула.

★

**ЛЕОНИД САПРОНОВ.** Дело к весне. Рассказы и повесть. «Советский писатель». М. 1965. 254 стр.

О жизни советских людей в фашистской неволе написано немало скорбных и героических страниц. Повесть Леонида Сапронова «За туман-границей» — произведение лирическое. Ее герои — парень из Донбасса Володька Постников и угнанная в Германию украинская девушка «с-пид Полтавы» Галя — через жестокости, бедствия, страдания пронесят свое до целомудренности чистое чувство. Побег с завода во время бомбежки, брошенный немцами зенитный окопчик, отступление гитлеровцев и появление американцев... Но с освобождением испытания для героев не кончаются. Родина встречает оказавшихся на чужбине с недоверием. Галя возвращается в родное село, у Постникова же другой маршрут: вместе с друзьями бывшими военнопленными он совершает долгий путь по Германии, Польше, России, а затем всех их отправляют работать на шахты. Неотступно помня о Гале, Постников не выдерживает — и без документов, зайцем, не думая о последствиях, уезжает за ней.

Не нужно чувствовать себя «бывалым человеком», чтобы понять, какой правдой дышат суховатые подчас, излишне скупые строки повести. Доверие к происходящему обусловлено уже обликом главного героя, несмотря на перенесенное в плену, справед-

ливого, доброго к жизни, набирающегося в тяжелых испытаниях ранней мудрости. Он не намерен прощать врагу причиненных себе и другим страданий. Но он же внутренне резко протестует, узнав, что его сосед по бараку, грубый и чувственный верзила Кеба, после освобождения до полусмерти избил их щуплого коменданта, а потом, изнасиловав молоденькую немку Эрну, скрылся невесть куда в поисках привольной жизни. Постников полон святой любви к родине и веры в нее. Но это не застилает ему глаза на то, как порой несправедливо поступали на родной земле с неповинными людьми.

Повесть «За туман-границей» — наиболее значительное произведение в сборнике Леонида Сапронова «Дело к весне». И не потому только, что занимает две трети книги, но и определяет всю ее тональность. Это тональность вдумчивого, спокойного размышления о жизни. Непохожее, неизведанное, кажущееся чуждым и непримлемым может таить в себе свою правоту: так, юная Аня переоценивает поступок отца, ушедшего от ее матери («Родители»), так, сам рассказчик приглядывается к колючей и внешне самоуверенной Инне, представляющей «самоновейшее» поколение («На горе белым-бела...»). Рассказы Сапронова отмечены тем же тяготением к малоприметному, неэффектному (внутренне же значительному), что и его повесть. Даже воинский подвиг солдата дан в тонах нарочито спокойных и будничных («На рассвете»). Сборник прозы Леонида Сапронова — книга добрая и умная.

**О. Михайлов.**

★

**Г. ФЕДОРОВ.** Дневная поверхность. «Детская литература». М. 1966. 380 стр.

Есть несколько профессий, которые всегда привлекают к себе подростка, задумывающегося о будущем. К таким профессиям принадлежит и профессия археолога. Она сулит путешествия не только в пространстве, но и во времени. Кажется, стоит только углубиться в пласты земли, которые отложило время на старых человеческих поселениях и которые на языке самих археологов зовутся «культурным слоем», — и ты войдешь в прошлое и очутишься среди его оживших теней.

Помню, какое разочарование испытал я, очутившись впервые на археологических раскопках в Новгороде, близ древней церкви Спаса-на-Ильине. Передо мной была не очень глубокая яма. На дне ее торчало несколько полусгнивших бревен. Двое-трое рабочих неторопливо работали заступом, несколько студентов-практикантов копошились в яме, обметая что-то маленькими щеточками и зарисовывая остатки сруба. Слышался грохот проезжающих рядом грузовиков, и в соседнем окне гремел включенный «на полную катушку» приемник. Никакие тени прошлого тут не возникали. И должно пройти немало времени, пока в очищенном щеткой обломке желтой кости на-

учишься распознавать часть женского украшения, на осколке глиняной миски станешь различать следы орнамента, за скупыми и нечастыми находками начнешь угадывать свидетельства жизни, описанной в древних летописях, с ее пожарами, мятежами, моровыми поветриями и с внезапно открывающимся светом человеческой радости или не-просыхающей слезой чьего-то горя.

Тогда археология приносит словно бы второе, внезапное зрение и обнаруживает свою истинную прелесть, оправдывающую юношеские увлечения, но дающуюся не сразу.

История многое может. Какое множество аморальных, жестоких поступков находило себе оправдание в исторических параллелях! Но как часто история учила людей своими примерами и тому, как становиться чище и лучше, оставляя по себе добрый след на земле.

Об этом можно прочитать в книгах. Но можно найти и материальные свидетельства пути, пройденного человечеством; их можно выкопать из земли, взять в руки, рассмотреть, представляя себе, как жили люди и какими они были.

О смысле работы археолога, о страсти поисков и о правде истории, восстановленной по счастливым находкам, хорошо рассказывает книга Георгия Федорова, на протяжении многих лет возглавлявшего экспедиции, ведшие раскопки в различных областях нашей страны. Труд археолога описан в этой книге со знанием и любовью. И целая галерея хороших, увлеченных людей возникает у каждого раскопа.

Перо автора оказывается слабее, когда он пытается восстанавливать в своей книге те самые живые картины истории, которые рисуются по находкам. Тут строгая точность письма уступает место беллетристическому штампу, а он влечет за собой сентиментальность, банальную сюжетную схему. Но живая страсть поисков, ясное ощущение морального долга, присущего самой профессии историка, который углубляется в прошлое ради того, чтобы облегчить движение в будущее, составляют несомненное достоинство книги. Обращенная к юношеству, она будет многими прочтена с пользой.

А. М.

★

**Л. ИВАНОВ.** Дерзаты! Политиздат. М. 1966. 128 стр.

Девять лет назад «Новый мир» перепечатал из «Сибирских огней» сельские очерки Леонида Иванова — первую пробу пера в этом жанре мало известного тогда автора. Явление, к сожалению, не часто встречающееся в современной литературной жизни. Перепечатка вызывалась двумя обстоятельствами — жгучей злободневностью названных очерков и необходимостью поддержать автора, подвергнувшегося за них резкой критике.

А несколько месяцев назад в Политиздате вышла новая книга очерков теперь уже широко известного писателя Леонида Ива-

нова «Дерзаты!», являющаяся своеобразным завершением его «Сибирских встреч».

В новом произведении автор продолжает все тот же взволнованный разговор о людях села, о судьбах урожая, об отношении к земле, о партийной этике и чести руководителя. Разговор принципиальный и острый, местами даже очень острый.

Вот недавно избранный первым секретарем крайкома КПСС Андрей Михайлович Павлов приезжает к одному из лучших председателей колхозов края Ивану Ивановичу Соколову. Секретарю хочется знать, как относятся «в низах» к новому постановлению о планировании. И он слышит от старого хлебороба:

— Умно это — кто на земле хозяйствует, тот сам и планирует. Умно, всякий это скажет. А только, понимаешь, много всяких оговорок сделано. Вроде бы ты свободный, делай как знаешь, а выикнешь поглубже — много загородок, да еще высоких, не перепрыгнешь!.. Свобода-то у нас такая... вроде бы липовая.

А вот что говорит Павлову старейший директор совхоза «Лабинский» Никаноров:

— Мы привыкли к чему? Дадут план, а ты уж и мудришь со своими помощниками: как лучше обмануть начальство?.. Хочется план пониже, а себестоимость в плане заложить повыше, чтобы кое-какие резервы иметь...

В том же признается Павлову и другой директор совхоза — известный далеко за пределами своего края высокими урожаями пшеницы Александр Кириллович Коршун. Секрет урожаяв у него оказался простым: он из года в год вопреки установкам сверху держал чистые пары.

Да, это очень острая, во многом полеми-ческая книга. Это книга о том, чем живет сегодня советская деревня, книга об умных творческих, ищущих партийных руководителях типа Павлова, Несгибаемого, Гребенкина и других, о преданных идеям партии хозяйственниках, таких, как Коршун, Никаноров, Соколов и другие. И тон этой книги глубоко оптимистический.

Ив. Петров.

Омск.

★

**ФРАНЦ ФЮМАН.** Суд божий. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. «Молодая гвардия». 1966. 304 стр.

«Отнеситесь к моей книге как к исповеди немца, который принадлежит к поколению родившихся в 1922 году, как к исповеди немца, который некогда, исполненный ложных представлений и обманутый, вторгся как враг в страну и родину социализма, чтобы впоследствии, пройдя через годы размышлений, возмужания, внутренней перестройки в лагере для военнопленных, покинуть ее пределы, став ее искренним другом». С этими словами обращается к своим советским читателям Франц Фюман, один из наиболее известных писателей Германской Демократической Республики. Первые вышедший на русском языке сборник его по-

вестей и рассказов отражает не только жизненный путь самого писателя, но и основные вехи трагической судьбы целого поколения, отравленного некогда ядом фашистской идеологии. Глубокое проникновение в психологию человека, остро напряженный драматизм повествования при предельном лаконизме стиля — все это отличает повести и рассказы Фюмана от других произведений о войне, заставляет читать их с неослабевающим интересом.

..Июнь 1941 года. Казалось бы, день нападения гитлеровских полчищ на нашу страну достаточно драматичен сам по себе. Но писатель осложняет его еще одной драматической ситуацией. Три пограничника, молодые немецкие солдаты Карл, Иозеф и Томас, нечаянным выстрелом на охоте убивают дочь своего командира, майора Заале. Как выпутаться, как спастись? Так начинается для солдат первый день войны. Отец Иозефа, высокий чин из окружения Гимmlера, затевает провокацию: изуродовав труп девушки, он объявляет ее жертвой русских. Взамен должны повесить двух русских девочек. Как поведут себя немецкие солдаты? Да так, как и следует ожидать от развращенных гитлеровской пропагандой юнцов, отвечает писатель, позволяя нам глубоко проникнуть и понять психологию убийц, находящих оправдание любой подлости в нацистских постулатах. «Я сам вызвался их повесить... Карл умеет, он нас научит. Быть палачом — почетная обязанность, как сказал Геринг», — говорит самый «образованный» из солдат, начитавшийся Ницше Иозеф.

Из новеллы в новеллу, из повести в повесть видим мы молодого немца, сверстника Фюмана. Видим, как рождается тупой, жестокий, нерассуждающий солдат вермахта, как воспитывается психология убийц. Мы видим этого молодого немца у себя дома и на чужой земле, в ослеплении неправых побед и в дни капитуляции и плена, когда пелена начинает спадать с его глаз. В этом отношении особенно характерна автобиографическая повесть «Еврейский автомобиль». Четырнадцать ее глав — это не только четырнадцать критических дней из жизни героя. Это позорная история германского фашизма и история прозрения лучшей части немецкого народа.

Ставший убежденным антифашистом, Франц Фюман написал эту книгу как предостережение тем, кто и сейчас мечтает о возрождении германского милитаризма, лелеет реваншистские планы.

К. Бродер.

★

**ТАДЕУШ КОНВИЦКИЙ. Современный сонник. Роман. Перевод с польского Ю. Мирской. «Прогресс». М. 1966. 343 стр.**

Еще и теперь можно встретить потрепанные экземпляры «Толкователя сновидений известного старца Мартына Задеки», которые переиздавались чуть не каждый год на протяжении целого века, вплоть до самой

революции. Был даже «Энциклопедический словарь сновидений». Его, как сказано на титуле, «собирал в течение 66 лет добрый старичок из Утиной улицы». А в 1915 году в сытинской типографии был отпечатан «Новейший полный сонник. Более миллиона снов». И сны там были такие:

«Кита ловить — веселье».

«Палец чесать — прибыль»...

Роман польского писателя Тадеуша Конвицкого толкует другие сны. Эти сны беспокойны и тяжелы. В них и через двадцать лет продолжает напоминать о себе герою романа Павлу пережитое им прошлое. Сны не отступают и наяву. Думая о прошлом, Павел переосмысливает его наново. Война. Пролитая кровь, своя и чужая. Юношеские ошибки, которые так легко совершать и так трудно исправить. Ведь в эти годы для неискущенного сердца всякий риск благороден и лозунг политика может показаться идеалом, достойным любой жертвы. А предательство, которым обернулся такой лозунг, распознается чересчур поздно и приводит к тяжелому краху. Призывы лондонских политиков повели Павла из рядов Сопrotивления в лесные норы долины Сола, в чужой для него круг вышибленных из колеи людей, силащихся остановить историю и не принимающих новой Польши.

Павел не с ними. Но и оторваться от прошлого, уйти к «вздуродженным людям», созидающим новое, для него не просто. Мир преследующих его кошмаров целоко держит Павла: в этом мире призрачно все — от идеалов до любви, и сонник, пересказывающий сбивчивые сны, преследующие одного из «Колумбов рождения двадцатого года» — так назвал это поколение другой польский романист, — лишен однозначных толкований.

Роман Т. Конвицкого построен сложно. Теме юности, оказавшегося в рядах Армии Краёвой и преданного эмигрантским руководством, посвящено много книг, появившихся в Польше за последнее десятилетие. В этих книгах можно найти и безоговорочное осуждение «аковцев», и такую же безоговорочную идеализацию, оправданную принесенной ими последней жертвой и освященную длинными аллеями крестов на Варшавском военном кладбище, где тысячи семнадцати-восемнадцатилетних павших названы поименно и побатальонно. Конвицкий не идеализирует Павла и не торопится его осудить. Он пытается разобраться в преследующих его снах и проясняется со своим героем в поезде, уносящем Павла из долины Сола.

«Я вдруг подумал, — говорит Павел в последних строках романа, — что вот, через мгновение, я проснусь, стряхну с себя душевный сон, который в какую-то из ночей может прийти к каждому, сон, полный бредовых видений и призраков, обрывков событий, глубоко пережитых и не оставивших следа, придуманных и не свершившихся, сон, залитый кровью памяти, разгоряченной лихорадкой предчувствия, и из этой бурлящей глубины ночи, собрав последние силы.

я выползу на берег яви и встану для рядового будничного дня с его обычными заботами, с его обыкновенным трудом, с его так хорошо знакомой, близкой страдой».

Следует, кстати, сказать, что книга эта нелегка для перевода; слово в ней изысканно и точно, и тем большего одобрения заслуживает работа недавно умершей Ю. Мирской, предложившей читателю перевод, сохраняющий все достоинства оригинала.

**А. Марьямов.**

★

**И. ДЮШЕН. «Жан-Кристоф» Романа Роллана. «Художественная литература». М. 1966. 141 стр.**

Место Роллана в мировой культуре в большой мере определяется его романом «Жан-Кристоф». «Разбор этого романа, его комментирование...—отмечал еще в двадцатых годах А. В. Луначарский,—одна из важнейших задач международной марксистской критики».

В исследовании И. Дюшена о «Жан-Кристофе» рассматривается широкий круг вопросов, связанных с многообразием содержания романа. Автора привлекают эволюция замысла и история создания «Жан-Кристофа», его место в литературной и идейной борьбе конца XIX — начала XX века, трансформация стиля романа.

Интересно освещена в книге И. Дюшена проблема взаимоотношений Роллана и его героя. Кристоф — выразитель этико-философской концепции Роллана, хотя и не всегда их воззрения совпадают. Роллан сочувствует бунту Кристофа, его борьбе против «сплоченного большинства» буржуазного общества. Вместе с тем он иронически улыбается, когда Кристоф в пылу борьбы крушит все авторитеты в искусстве от Баха до Дебюсси. Автор книги подчеркивает, что «милльон терзаний» Кристофа является для Роллана в значительной степени лишь средством характеристики героя, а сам факт его борьбы важнее писателю, чем ее методы.

Критерий зрелости позиции Роллана И. Дюшен видит не только в той эволюции, которую претерпели его взгляды на явления общественной и художественной жизни в процессе создания романа, но и в дифференцированности подхода писателя к этим явлениям, гибкости его эстетических воззрений. В отличие от символистов, искавших в духовном мире человека забвения от жизни, Роллан находит в нем силы для борьбы за изменение этой жизни. Но Роллан далек от огульного отрицания искусства Метерлинка и Верхарна, Кольвиц и Мунха. Более того — он использует в своем творчестве, и в «Жан-Кристофе» в частности, их достижения в области изобразительных средств искусства.

Большое внимание уделено Дюшеном новаторству романа «Жан-Кристоф». Стремление Роллана к возможно более широкому охвату жизни выводит его за рамки тради-

ционного романа XIX века. История жизни музыканта превращается в биографию целого поколения, личные судьбы героев оказываются переплетенными с историческими судьбами их стран, на место ибсеновской проповеди гордого одиночества ставится проблема настойчивого поиска союзников.

От книги к книге романа интересы автора все больше и больше сосредоточиваются в сфере духовной жизни его героев. Повествование становится многослойным. Эмоциональный строй мышления диктует Роллану сближение поэзии и прозы, слова и музыки. И. Дюшен подчеркивает приоритет Роллана во всех этих чертах, которые нам, современникам Т. Манна, У. Фолкнера, Г. Беля, не кажутся уже чем-то исключительным. В исторической перспективе литературного процесса роман Роллана «Жан-Кристоф» рассматривается Дюшеном как значительный этап реалистического искусства.

**В. Юзефович.**

★

**Х. Х. КАМАЛОВ. Морская пехота в боях за Родину (1941—1945 гг.). Воениздат. М. 1966. 216 стр.**

Только в первый период Отечественной войны на суше сражались пятьдесят девять бригад, несколько десятков отдельных полков, батальонов и отрядов морской пехоты. А всего в годы войны флот выделил для боевых действий на суше более четырехсот пятидесяти тысяч человек. Не было пожалуй, ни одного трудного и ответственного участка фронта, где бы не сражались моряки. Рука об руку с сухопутными войсками они защищали столицу нашей родины Москву, колыбель Великого Октября Ленинград, насмерть стояли у стен Одессы, Севастополя, Сталинграда, Либявы Таллина, Новороссийска, самоотверженно сражались на Моонзундских островах, полуострове Ханко, сойках Заполярья, на далеких Курилах и Южном Сахалине.

За годы Великой Отечественной войны флот высадил сто пятьдесят девять морских, озерных и речных десантов, в которых участвовало около ста тысяч человек. В книге широко показаны массовый героизм морских пехотинцев, их несокрушимая стойкость и воинское мастерство.

Пять бригад и два отдельных батальона морской пехоты были преобразованы в гвардейские, многие соединения и части были награждены орденами Советского Союза и удостоены почетных наименований. Сотни морских пехотинцев получили звание Героя Советского Союза, а отважный командир отряда разведчиков морской пехоты капитан 3-го ранга В. Н. Леонов удостоился второй Золотой Звезды Героя.

Одно замечание о построении книги. Она состоит из двух частей: первая рассказывает о боевых действиях морской пехоты в обороне приморских городов, вторая — о морских десантах. Думается, что целесообразнее было бы сгруппировать мате-



риал книги (в том числе и о морских десантах) по флотам или периодам войны, выделив в особую главу действия морской пехоты на сухопутных фронтах, когда они не были связаны с обороной и освобождением военно-морских баз. Этим была бы достигнута хронологическая последовательность и четкость изложения материала.

*Полковник Ф. Криницын,  
кандидат исторических наук.*

★

**М. ПЕВЗНЕР.** Два знамени. Издательство ДОСААФ. М. 1966. 160 стр.

Во время ожесточенного боя за Касторную войны 1023-го стрелкового полка нашли в подвале спрятанное пионерское знамя. Полк взял знамя с собой и пронес его через тысячи населенных пунктов России, Белоруссии, Польши, Пруссии. Не разлучался с ним в течение почти девятиста дней войны. Знамя пионеров Касторной берегалось в самой опасной обстановке; простреленное вражескими пулями, оно стало еще дороже бойцам. Сохранился примечательный снимок: знамя реет над одним из фортов Кенигсберга, где завершился славный боевой путь 1023-го ордена Кутузова стрелкового полка.

Автор рассказывает и о дальнейшей судьбе знамени. Воины, как и поклялись, вернули его после победы касторненским пионерам. И спустя много лет пионеры отправились в поход по тем самым дорогам, которыми шел 1023-й полк. Они разыскивали и приглашали к себе в гости воинов этого полка, слушали их рассказы об отгремевших сражениях, становились в почетный караул у могил героев.

Южнее Орла шли бои местного значения. Энского подразделение взяло высоту, — сообщало Совинформбюро. «Энского подразделения» — это 1023-й полк, а высота — вот она: 254,6. У ее подножия касторненские пионеры услышали рассказ о том, как в далеком 1943 году, в дни исторической битвы на Орловско-Курской дуге, сражались здесь с вражескими танками и умирали бойцы полка. И говорил об этом один из участников битвы, — говорил так, что каждое слово западало в душу.

Много событий связано и с судьбой другого пионерского знамени, которое пронес сквозь дым сражений 85-й Московский комсомольский гвардейский мнсметный полк. Московские школьники, как и их касторненские сверстники, проявляют настоящий «поисковый талант» — они настойчиво ищут ветеранов-гвардейцев, роются в архивах, находят интереснейшие документы и фотографии, устанавливают контакты между здравствующими однополчанами, вместе с ветеранами полка проходят по дорогам войны.

День нынешний и день минувший тесно переплетаются в книге. Героика ратных подвигов сливается с «поисковой» романтикой юных следопытов. Представители двух

поколений связаны узами нерасторжимого духовного единства, подвиги отцов становятся источником нравственной закалки детей.

«Я хочу пожелать доброго пути этой книге, в которой рассказана история о двух знаменах и многих хороших людях, и старых и молодых», — пишет в предисловии Константин Симонов.

*Мих. Цунц.*

★

**Н. РУМЯНЦЕВА.** Фридрих Зорге — человек упрямой справедливости. «Мысль». М. 1966. 175 стр.

В книге Н. Румянцева воссоздается многотрудная, полная революционного бдения жизнь Фридриха Зорге — одного из соратников К. Маркса и Ф. Энгельса. Первое свое боевое крещение двадцатилетний Зорге получил в революции 1848 года в Германии. В рядах баденско-пфальцской революционной армии он сражался за демократическую немецкую республику. Там он встретился с Энгельсом.

После поражения революции начались скитания Зорге. Швейцария... Бельгия... Лондон. Здесь в 1852 году он познакомился и подружился с Марксом. В том же году Фридрих Зорге переехал в США. Вскоре скромный учитель музыки становится руководителем одного из отрядов американского рабочего класса.

В Нью-Йорке вместе со своими товарищами по немецкой эмиграции Зорге в 1857 году создает первую пролетарскую организацию — «Коммунистический клуб», продолживший традиции «Союза коммунистов». Члены «Коммунистического клуба» приняли активное участие в гражданской войне США (1861—1865), сражаясь добровольцами в армии северян против рабовладельческого Юга.

Запоминаются страницы книги, в которых показано активное участие Ф. Зорге в Гаагском конгрессе I Интернационала (1872). На этом конгрессе он был в числе борцов за победу марксистской линии по всем организационным и идейно-политическим вопросам. А когда после поражения Парижской коммуны пришлось перенести центр Интернационала из Европы в США, на долю Зорге выпала нелегкая обязанность возглавить Генеральный Совет (1872—1874).

Последняя глава книги — «Беспокойная старость» — посвящена литературно-пропагандистской деятельности Зорге. После смерти Маркса он продолжает переписку с Энгельсом, принимает участие в подготовке английского издания «Капитала». Особенно волнующе описаны в этой главе приезд Энгельса в США в 1888 году вместе с Элеонорой Маркс и задушевная встреча двух ветеранов революции 1848 года на квартире у Зорге.

Много внимания уделяется в книге литературному наследию Зорге, его многолетней работе по изданию переписки Маркса

и Энгельса, приводится оценка этого труда В. И. Лениным.

Автор подчеркивает удивительную скромность Зорге и его исключительную справедливость. Франц Меринг называл Зорге «человеком упрямой справедливости».

**С. Марлинский,**  
*кандидат исторических наук.*

Одесса.

★

**М. М. ГРОМЫКО.** *Западная Сибирь в XVIII веке.* «Наука». Новосибирск. 1965. 268 стр.

Книга М. М. Громыко относится к Сибири не только по своей теме: автор ее является сотрудником Сибирского отделения Академии наук СССР и книга показывает плодотворность трудов Сибирского отделения в области общественных наук, в том числе и исторических.

Автор исходит из указания В. И. Ленина о необходимости изучения экономического развития наших окраин. В книге поставлена задача изучения процесса колонизации, как процесса распространения феодализма вширь по территории Сибири. Интерес представляют выводы автора о росте производительных сил в Сибири в XVIII веке и вместе с тем о наличии большой пестроты производственных отношений — от феодальных до раннекапиталистических. Росло русское население — как земледельческое, сельское, так и городское, ремесленно-торговое. Отдельную главу автор отвел Колы-

вано-Воскресенским заводам на Алтае, где применялся принудительный труд приписных государственных крестьян, рекрутов и ссыльных, но где были также и наемные рабочие, особенно на вспомогательных работах.

Хозяйственное освоение Западной Сибири выразилось в росте пашни (в конце XVIII века она составляла восемьсот тысяч десятин). Трехполье сочеталось с перелогом, урожайность была выше, чем в европейской части, крестьяне имели большие наделы. В результате сбор хлебов давал избытки зерна, шедшие на рынок и на винокурение. Широко распространена была деятельность скупщиков хлеба. В сибирской деревне уже происходило расслоение, выделялись зажиточные крестьяне, использовавшие в своем хозяйстве наемный труд. У государственных крестьян натуральная повинность в виде обработки «государевой» пашни была заменена деньгами.

Некоторый недостаток книги М. М. Громыко состоит в чрезмерном обилии цифровых данных, затрудняющих чтение и запоминание. Хотя в целом книга написана отчетливо и хорошим языком.

Следует отметить, что советские историки изучают систематически и последовательно историю Сибири, быстро заполняя «белые пятна». Настоящая работа в известной мере продолжает то, что было сделано в книге В. И. Шункова («Очерки по истории земледелия Сибири. XVII век». М. 1956), и ее следует признать значительным достижением.

*Проф. Б. Кафенгауз,*  
*доктор исторических наук.*



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

- В. Афанасьев.** Научный коммунизм. Популярный очерк. 400 стр. Цена 74 к.  
**Беседы по политической экономии капитализма.** Для системы партийной учебы. 232 стр. Цена 24 к.  
**Вышли мы все из народа...** Сборник. 544 стр. Цена 1 р. 5 к.  
**Ф. Кривин.** Божественные истории. 184 стр. Цена 16 к.  
**Л. Леонтьев.** Краткая политическая экономия. Учебное пособие для школ основ марксизма-ленинизма. 416 стр. Цена 64 к.  
**Основы политических знаний.** Учебное пособие для начальных политических школ системы партийной учебы. 288 стр. Цена 51 к.  
**Очерки истории КПСС.** Учебное пособие для школ основ марксизма-ленинизма. 432 стр. Цена 66 к.  
**И. Роздоржний, В. Федоров.** Финляндия — наш северный сосед. 160 стр. Цена 29 к.  
**Хрестоматия по истории КПСС** (В помощь слушателям школ основ марксизма-ленинизма). 424 стр. Цена 69 к.

### «МЫСЛЬ»

- Г. Анохин.** На островах дождей. 60 стр. Цена 8 к.  
**В. Бедненко.** Общественные начала в управлении производством. 184 стр. Цена 59 к.  
**Г. Даль.** В краю мангров. Перевод со шведского. 148 стр. Цена 54 к.  
**И. Железнова, И. Лебедев.** Киви. 182 стр. Цена 46 к.  
**Г. Кузнецов.** Материальные стимулированные труда в колхозах. 184 стр. Цена 59 к.  
**От социалистических производственных отношений к коммунистическим.** 360 стр. Цена 1 р. 28 к.  
**М. Покровский.** Избранные произведения. В 4-х кн. Кн. I. 725 стр. Цена 2 р.  
**С. Помазанов.** Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма. 231 стр. Цена 73 к.  
**Роль мировоззрения в художественном творчестве.** 422 стр. Цена 1 р. 51 к.  
**Л. Степанов.** Австрия. 69 стр. Цена 11 к.  
**Хрестоматия по научному коммунизму.** Ч. I. 383 стр. Цена 77 к. Ч. II. 311 стр. Цена 64 к.  
**Ф. В. Шеллинг.** Философия искусства. 493 стр. Цена 1 р. 80 к.  
**Н. Эйдельман.** Тайные корреспонденты «Полярной звезды». 309 стр. Цена 99 к.  
**Экономика капиталистических стран.** 468 стр. Цена 1 р. 71 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- С. Агиш, Махмудов.** Повесть и рассказы. Перевод с башкирского. 216 стр. Цена 38 к.  
**А. Адалис.** До начала. Новые стихи. 80 стр. Цена 18 к.  
**Р. Бородулин.** Аист на крыше. Стихи. Перевод с белорусского. 88 стр. Цена 16 к.  
**В. Бялин.** Наедине с прошлым. Воспоминания. 352 стр. Цена 70 к.

- И. Вишневская.** Константин Симонов. Очерк творчества. 184 стр. Цена 42 к.  
**Г. Гагиев.** Подснежники на Казбеке. Стихи. Перевод с осетинского. 72 стр. Цена 14 к.  
**Л. Гинзбург.** Вездна. Повествование, основанное на документах. 224 стр. Цена 46 к.  
**Г. Горбовский.** Косые судья. Третья книга стихов. 108 стр. Цена 31 к.  
**М. Горецкий.** Виленские коммунары. Роман-хроника. Тихое течение. Повесть. Перевод с белорусского. 284 стр. Цена 61 к.  
**Г. Диамант.** Правдивая песня. Стихи. Перевод с еврейского. 84 стр. Цена 15 к.  
**В. Жак.** Сколько солнца в небе. Стихи. 104 стр. Цена 15 к.  
**В. Комиссаров.** Острые камни дорог. Роман. 292 стр. Цена 48 к.  
**Г. Корин.** Противостояние. Стихи и поэма. 128 стр. Цена 23 к.  
**Д. Кугультинов.** Я твой ровесник. Стихи и поэма. Перевод с калмыцкого. 164 стр. Цена 41 к.  
**К. Кулиев.** Мир дому твоему. Стихи. Перевод с балкарского. 180 стр. Цена 24 к.  
**Н. Матвеева.** Душа вещей. Книга стихов. 148 стр. Цена 23 к.  
**Т. Мотылева.** Зарубежный роман сегодня. 472 стр. Цена 1 р. 39 к.  
**М. Олейник.** Одержимая. Повесть (о Л. Украинке). Перевод с украинского. 244 стр. Цена 42 к.  
**Ю. Панкратов.** Волнение. Стихи. 112 стр. Цена 22 к.  
**Ш. Руставели.** Витязь в тигровой шкуре. Поэма. Перевод с грузинского и предисловие Н. Заболоцкого. 384 стр. («Библиотека поэта»). Цена 47 к.  
**В. Саянов.** Стихотворения и поэмы. 472 стр. («Библиотека поэта»). Цена 1 р. 34 к.  
**М. Семанова.** Чехов и советская литература 1917—1935 гг. 312 стр. Цена 85 к.  
**Н. Старшинов.** Протока. Стихи. 96 стр. Цена 16 к.  
**И. Утнин.** Стихотворения и поэмы. 384 стр. («Библиотека поэта»). Цена 1 р. 16 к.  
**Г. Фиш.** У шведов. Очерки. 432 стр. Цена 85 к.  
**Х. Хейслер.** Каким будешь, сердце? Стихи. Перевод с латышского. 92 стр. Цена 16 к.  
**М. Чабановский.** Течет вода в синем море. Повесть. Перевод с украинского. 272 стр. Цена 42 к.  
**А. Шогенцуков.** Предгрозые. Стихи и поэмы. Перевод с кабардинского. 140 стр. Цена 18 к.
- ### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
- М. Бирзе.** Песочные часы. Повесть. Перевод с латышского. 203 стр. Цена 39 к.  
**А. Бирс.** «Словарь сатаны», и рассказы. Перевод с английского. 288 стр. Цена 58 к.  
**А. Гатов.** Влюбленным всей земли. Избранные стихи. 232 стр. Цена 48 к.  
**А. Гонтарь.** Мерой любви. Избранная лирика. Перевод с еврейского. 256 стр. Цена 46 к.  
**Луис А. Мартинес.** К берегу. Эквадорские нравы. Роман. Перевод с испанского. 176 стр. Цена 46 к.  
**Ю. Словацкий.** Лирика. Перевод с польского. 143 стр. Цена 33 к.

**«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»**

- В. Абызов.** Сигнал бедствия. Повесть. 176 стр. Цена 18 к.  
**П. Бровка.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.  
**Д. Долинский.** Три признания. Стихи. 128 стр. Цена 17 к.  
**Живут на Неве поэты.** Сборник стихов. 184 стр. Цена 41 к.  
**Б. Изюмский.** Девять лет. Роман. 400 стр. Цена 90 к.  
**В. Коржинов.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.  
**Б. Котельников.** Валтийская легенда. Повесть. 144 стр. Цена 29 к.  
**М. Лисянский.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.  
**С. Львов.** Пятьдесят строк в номер. Повесть. 224 стр. Цена 46 к.  
**И. Мельников.** Несентиментальное путешествие к Лорелее. 136 стр. Цена 27 к.  
**А. Меркулов.** Поход на рубеж земли. Роман. 251 стр. Цена 51 к.  
**С. Поликарпов.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.  
**С. Сарыг-оол.** Повесть о светлом мальчике. Перевод с тувинского. 208 стр. Цена 46 к.  
**Л. Татьяничева.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.  
**Л. Токарев.** Сквозь огненное кольцо. Документальная повесть. 160 стр. Цена 20 к.  
**Б. Уначин.** Ветка горного недр. Стихи. Перевод с алтайского. 88 стр. Цена 13 к.  
**Г. Федосеев.** Злой дух Ямбуя. Повесть. 352 стр. Цена 85 к.  
**Э. Хьюз.** Вернард Шоу. Перевод с английского. 288 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 17 к.

**«НАУКА»**

- Е. Беляев.** Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 280 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Д. Богорад.** Вопросы специализации и комплексного развития народного хозяйства Сибири. 195 стр. Цена 98 к.  
**Борьба за победу и укрепление Советской власти. 1917—1918 гг.** Сборник статей. 339 стр. Цена 1 р. 41 к.  
**А. Зверев.** Проблемы ценообразования и финансы. 136 стр. Цена 45 к.  
**И. Иориш.** Материалы о монголах, калмыках и бурятах в архивах Ленинграда. История, право, экономика. 206 стр. Цена 53 к.  
**Классическое искусство за рубежом.** 259 стр. Цена 2 р. 4 к.  
**М. Козырь.** Имущественные правоотношения колхозов в СССР. 375 стр. Цена 1 р. 41 к.  
**Количественные методы в социологии.** 356 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Ледовое побоище 1242 г.** Труды Комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища. 253 стр. Цена 1 р. 16 к.

**Я. Мазовер.** Топливно-энергетические базы Востока СССР (Сибирь и Средняя Азия). 207 стр. Цена 65 к.

**Международные отношения в Центральной и Восточной Европе и их историография.** 283 стр. Цена 1 р. 34 к.

**Н. Мерзляков.** Становление национальной государственности Республики Мали. 143 стр. Цена 44 к.

**С. Оболенская.** Франц Меринг как историк. 219 стр. Цена 76 к.

**Пулковской обсерватории 125 лет.** Сборник статей. 109 стр. Цена 39 к.

**А. Сахаров.** Русская деревня XVII в. По материалам патриаршего хозяйства. 230 стр. Цена 91 к.

**Советский ежегодник международного права. 1964—1965.** 511 стр. Цена 3 р. 38 к.

**Философские проблемы современной биологии.** 248 стр. Цена 97 к.

**М. Цицерон.** Диалоги. О государстве. О законах. Переводы. 224 стр. («Литературные памятники»). Цена 1 р. 20 к.

**М. Чиковани.** Народный грузинский эпос о прикованном Амирани. 328 стр. Цена 2 р.

**Эшелоны идут на Восток.** Из истории перебазирования производственных сил СССР в 1941—1942 гг. Сборник статей и воспоминаний. 263 стр. Цена 1 р. 9 к.

**«ПРОГРЕСС»**

**Э. Апель, Г. Миттаг.** Новые экономические методы планирования и руководства народным хозяйством в ГДР. Перевод с немецкого. 495 стр. Цена 1 р. 78 к.

**Ф. Гамбоа.** Коста-Рика. Историко-публицистический очерк. Перевод с испанского. 183 стр. Цена 81 к.

**Ф. Гернек.** Альберт Эйнштейн. Жизнь во имя истины, гуманизма и мира. Перевод с немецкого. 245 стр. Цена 1 р. 8 к.

**А. Мэрдок.** Под сетью. Роман. Перевод с английского. 219 стр. Цена 87 к.

**Ф. Муэт.** Испытание льдом. Перевод с английского. 318 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Социологические проблемы польского города.** Перевод с польского. 376 стр. Цена 1 р. 37 к.

**Д. Татарна.** Республика попов. Роман. Перевод со словацкого. 300 стр. Цена 1 р. 1 к.

**«ТУРКМЕНИСТАН» (АШХАБАД)**

**Н. Байрамов.** Колодец Дэвли. Повесть. Перевод с туркменского. 168 стр. Цена 27 к.

**А. Мамедов.** Гулялек — полевой цветок. Повести и рассказы. 236 стр. Цена 29 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/IX 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 2/XII 1966 г.  
 А 10146. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)  
 Зак 3222. Тираж 141.450.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636